

Е. Курилович

ОЧЕРКИ ПО ЛИНГВИСТИКЕ

СБОРНИК СТАТЕЙ

459439

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1962

ОТ РЕДАКЦИИ

Профессор Краковского университета Ежи Курилович известен широкому кругу языковедов как выдающийся индоевропеист и специалист в области общего языкознания. Ему принадлежат такие капитальные и насыщенные материалом работы, как «*Études indo-européennes*» («Индоевропейские этюды», Краков, 1935), «*L'apophonie en indo-européen*» («Апофония в индоевропейских языках», Вроцлав, 1956) и «*L'accentuation des langues indo-européennes*» («Акцентуация индоевропейских языков», Вроцлав, 1958). Наряду с этими монографическими работами Е. Куриловичу принадлежит большое количество статей, в которых нашли отражение многие важные проблемы науки о языке, привлекавшие внимание лингвистов в последние десятилетия. В этих статьях, пожалуй, с наибольшей полнотой обнаруживается лингвистическая концепция Е. Куриловича, содержится изложение многих его оригинальных идей, теоретических изысканий и обобщений, обеспечивших ему почетное место в современном языкознании. Предлагаемый советскому читателю сборник избранных статей Е. Куриловича¹ был издан в Польше в 1960 г., причем все вошедшие в сборник статьи печатались на тех языках, на которых они были опубликованы впервые в различных, часто труднодоступных изданиях. На русском языке сборник воспроизводится полностью, за исключением одной статьи («*Szerzenie się powotworów językowych*»), опущенной по желанию автора с целью избежать повторений; кроме того, редакция сочла необходимым включить в сборник дополнительно две статьи:

¹ J. Kuryłowicz, *Esquisses linguistiques*, Wrocław—Kraków, 1960, 312 p. (Polska Akad. nauk. Komitet językoznawczy, *Prace językoznawcze*, 19).

«Система русского ударения» и «Знал ли индоевропейский язык *a* наряду с *o*?»

Редакция отказалась в данном случае от специальной вступительной статьи, поскольку рассмотреть в предисловии всю совокупность проблем, которых автор касается в своих статьях, весьма затруднительно. Для этого понадобилась бы работа по объему не меньшая, чем сама его книга.

В своем кратком предисловии Е. Курилович указывает, что библиографические ссылки и необходимые поправки даются им в авторских примечаниях. В настоящем издании они приводятся в сносках при каждой статье.

Есть все основания надеяться, что сборник статей Е. Куриловича, свидетельствующих о многосторонности его творческих устремлений, будет с интересом встречен языковедами Советского Союза и займет достойное место в библиотечке трудов зарубежных ученых, которой ныне располагают советские лингвисты.

Перевод книги был осуществлен коллективом переводчиков, имена которых указаны в оглавлении при каждой статье. Переводы статей, относящихся к индоевропейскому языкознанию, дополнительно просматривались ст. научным сотрудником Института языкознания Э. Макаевым, сделавшим много ценных замечаний и тем способствовавшим улучшению переводов.

ОТ АВТОРА

Настоящий сборник включает тридцать статей, посвященных проблемам структурной и исторической лингвистики, из которых только шесть написаны до 1941 года, остальные же — после 1945 года. Они расположены по традиционной схеме: статьи на общие темы, синтаксис, морфологические категории, фонетика и т. д. Однако исторические проблемы, преимущественно индоевропейских языков, служат примерами, позволяющими применить некоторые общие понятия, важность и методическую ценность которых автор всегда подчеркивал: изоморфизм планов, первичные и вторичные функции, семантические и синтаксические функции, отношение детерминации или предсказуемость (*predictability*), субморфы или избыточные (*redondants*) морфы, поляризация, дифференциация.

За исключением нескольких поправок, тексты статей публикуются без изменений. Это не означает, что и в настоящее время автор готов подписаться под всеми содержащимися в них выводами и объяснениями. Поэтому он просит читателей обратить внимание на авторские примечания, содержащие, кроме библиографических ссылок, необходимые поправки.

Е. К.

ЛИНГВИСТИКА И ТЕОРИЯ ЗНАКА¹

(1949)

Термин «семантика» вопреки своей этимологии обычно применяется к науке, которая занимается значениями (смыслом) только языковых форм². Ф. де Соссюр, который ощущал необходимость в новом термине для названия общей теории знака, предложил термин «семиология»³. По отношению к лингвистике и к другим социологическим наукам семиология должна занимать такое же место, какое занимает физика по отношению к естественным наукам. Различные теоремы лингвистики должны представлять собой результат применения семиологии к конкретному частному случаю знаковой системы — к человеческому языку.

Чтобы обнаружить основной слой, относящийся к общей теории знака, следовало бы сопоставить семантику с другими науками, которые занимаются любыми функциями (а не только символическими). Однако при современном состоянии исследований такие сопоставления оказались бы бесплодными. Даже лингвистика, эта наиболее систематичная наука среди социальных наук, еще не имеет, несмотря на усилия К. Бюлера, Ю. Лазициуша, Ломана и других, отчетливой иерархии своих аксиом. С первых же шагов всякой попытке сопоставления препятствуют различия не только в методах, применяемых специальными науками, но и в анализируемом мате-

¹ J. Kuryłowicz, *Linguistique et théorie du signe*, JPs, 1949, стр. 170—180.

² Именно в этом смысле мы и будем употреблять в данной работе термин «семантика». Он относится одновременно и к лексике и к грамматике, к морфологии в узком смысле слова и к синтаксису.

³ Ferdinand de Saussure, *Cours de linguistique générale*, изд. 2, 1922, стр. 33.

риале — то глобальном и непрерывном, то фрагментарном и дискретном.

Наблюдающийся в последние двадцать лет прогресс в фонологии продвинул развитие теории знака вперед. Основная заслуга фонологии в этом отношении состоит в том, что она ввела понятия *п р о т и в о п о с т а в л е н и я* (оппозиции) и *к о р р е л я ц и и*. Эти понятия идентичны понятиям, которые уже давно используются в области семантики (морфологии). Заметим только, что термин *д е р и в а ц и я*, обозначающий отношение *н е й т р а л ь н о - н е г а т и в н о е*: *п о з и т и в н о е* используется в пределах одной оппозиции (например, *château : châtelet* «зámок»: «маленький зámок») и таким образом точно соответствует термину *к о р р е л я ц и я*, употребляемому в фонологии (например, [p] глухое : [b] звонкое).

Другая важная черта, общая для обеих областей — семантической и звуковой, — отношение между элементами одной и той же структуры (=комплекса), или *с и н т а к с и с* в широком смысле слова. Эта черта сначала не привлекала внимания лингвистов, что объясняется невниманием к ней фонологии. Однако уже Л. Ельмслев и Ульдалль, которые в своем докладе на лингвистическом конгрессе в Копенгагене (1936) дали общий очерк *г л о с с е м а т и к и*, подчеркнули глубокий параллелизм обеих областей (названных ими «плерематикой» и «кенематикой»), касающийся главным образом структур.

Впрочем, обычно не отмечалось, по крайней мере в явной форме, что общая теория знака, лежащая в основе теории языкового знака, не нуждается в том, чтобы выходить за пределы языка. Дело в том, что и звуковая область и семантическая область независимо от связывающего их отношения, составляющих самую сущность языка, представляют собой *к а ж д а я* в отдельности знаковую систему и более того — систему гетерогенную в отношении формы, содержания и функции знака.

В области звучания имеются элементарные подтипы, форма которых может быть исследована и описана методами, относящимися к физике и к физиологии. Функция этих подтипов не является ни в коей мере (и на этом следует настаивать) функцией семантического порядка, то

есть данные подтипы непосредственно не служат символами. Они служат для построения семантических единиц: корней, аффиксов и т. д. Именно эти единицы функционируют в области семантики в качестве отдельных элементов внутри структур с семантической функцией: слов и более сложных структур (словосочетаний и предложений). Иначе говоря, звуковые элементы служат для построения семантических единиц, которые в свою очередь входят в качестве элементов в семантические структуры. Между расчленением семантической структуры на семантические единицы (элементы) и звуковым анализом последних лежит пропасть, которая дает возможность осознать, насколько глубоко различия между фонологией и семантикой.

Расстояние, разделяющее их, столь же велико, сколь и то, которое лежит между элементами архитектурного стиля и физико-химическими свойствами материала, использованного для какого-либо сооружения. И если, несмотря на это, звуковые и семантические системы обладают в области структуры рядом общих особенностей или даже идентичных черт, то приходится признать существование законов, справедливых не для какой-либо одной определенной системы, а вообще для систем, удовлетворяющих некоторым общим условиям.

Чтобы проиллюстрировать эти общие особенности, мы укажем на один закон, который действует в обеих областях, — звуковой и семантической. Этот хорошо известный (из элементарной логики) закон касается содержания и употребления (функции) понятий: чем уже сфера употребления, тем богаче содержание (смысл) понятия; чем шире употребление, тем беднее содержание понятия. Закон этот знаком и лингвистам. Обобщение и специализация значения слова, суффикса и т. д. тесно связаны с расширением и сужением его употребления. Аналог этого закона существует в звуковой системе; мы пытались проиллюстрировать это в статье «О понятии передвижения согласных»¹.

Еще Н. Трубецкой показал², что так называемое привативное противопоставление фонем (то есть проти-

¹ См. настоящий сборник, стр. 334.

² JP, XXX, 1933, стр. 227—246.

вопоставление, которое нейтрализуется в известных условиях) создает тесную связь между двумя фонемами, одна из которых — п о з и т и в н а я — выступает только в противопоставлении, а другая, н е г а т и в н о - н е й т р а л ь н а я, выступает либо в противопоставлении (негативно), либо вне его (нейтрально). Наиболее известный пример — противопоставление [p] : [b], [t] : [d] и т. д., которое во многих языках функционирует как противопоставление г л у х и х з в о н к и м. В отличие от [t], [p] и т. д. фонемы [d], [b] и т. д. обладают з в о н к о с т ь ю, которая отсутствует у [t], [p] и т. д. Глухость последних воспринимается не как положительное качество, а как о т с у т с т в и е звонкости: [p] определяется как губной взрывной, а [b] — как звонкий губной взрывной. Содержание, то есть сумма важнейших характеристик, у [b] богаче, чем у [p]. Это различие отражается в употреблении указанных фонем. Так, в ряде языков (русском, польском, немецком) противопоставление [p] : [b], [t] : [d] и т. д. в конце слова нейтрализуется и бывает представлено глухой фонемой. В начале слога это противопоставление, напротив, всегда сохраняется. Следовательно, имеются позиции, общие для глухих и звонких, и позиции, где допускаются только глухие. Отсюда следует, что сфера употребления глухих превосходит сферу употребления звонких и что упомянутое отношение между содержанием и употреблением (функцией) имеет место не только в области значений, но и в области звуков. Старая формула, применяемая ранее только к понятиям или к семантическим единицам, отныне применяется и к другим знакам — к фонемам.

Логический (семантический) закон соотношения между содержанием и употреблением п о н я т и й становится с е м и о л о г и ч е с к и м законом, относящимся к содержанию и употреблению з н а к о в. Возникает вопрос, на какие существенные сходства обеих систем опирается этот закон, действующий как в фонологии, так и в семантике (морфологии)?

Приведем таблицу, в которой обобщим сказанное выше.

Сводная таблица обеих (изоморфных)
систем

Область	Семантическая	Звуковая
Форма	Фонемы	Звуки
Содержание	Смысл	Фонема
Употребление (функция)	Противопоставление или класса	внутри структуры
Структуры	Предложения, словосо- четания	Слоги
Классы	Части речи, группы де- риватов	Гласные и со- гласные с их подразделениями

Наиболее важная общая черта — двойная группировка элементов: с одной стороны, в структуры, с другой — в классы. В области семантики предложения состоят из слов, а эти последние принадлежат к классам, называемым «части речи». Семантика использует два ряда терминов: синтаксические — например, сказуемое, подлежащее, определение, обстоятельство, и собственно семантические — глагол, существительное, прилагательное, наречие.

Термины первого ряда относятся к функциям элементов внутри структур, то есть предложений и словосочетаний; термины второго ряда связаны с семантическим содержанием (действия или состояния, объекты, качества, обстоятельства) и, таким образом, служат основанием для разделения на классы. Причем наиболее важен тот факт, что это содержание отражает прежде всего синтаксические функции, а также некоторые специальные семантические функции. Глагол обозначает действие именно потому, что он выступает в роли сказуемого, то есть определения *in statu nascendi*; прилагательное обозначает качество, поскольку оно тоже употребляется как определение, но только определение, данное заранее; существительное обозначает объект, так как оно обычно является определяемым и т. д. Основные черты семантической системы языка могут быть определены следующим образом: на базе синтаксических функций строятся классы, характеризующие

емые общностью семантического содержания; внутри класса имеются группы и подгруппы, члены которых объединены более специальным значением (например, во французском языке уменьшительные на *-et* в классе существительных).

В настоящем очерке нам придется обойти молчанием некоторые вопросы, имеющие вообще большое значение для лингвистики; мы имеем в виду прежде всего проблему деривации (словопроизводства), стоявшую на повестке дня VI Международного лингвистического конгресса (Париж, июль 1948), где обсуждали синтаксические основания деривации и, кроме того, проблему семантических элементов и структур. Если у нас эти понятия эквивалентны соответственно понятиям *с л о в а* и *п р е д л о ж е н и я*, то это всего лишь одно из возможных решений, хотя и наиболее важное. Слово само по себе является сложной структурой, состоящей из корневой (автосемантической) части и аффиксальных (синсемантических) частей; функциональные отношения этих частей также ставят вопросы «синтаксического» и семантического порядка. Однако, переходя от наиболее сложной структуры — от предложения — к элементарным семантемам — к корням и аффиксам, нельзя миновать промежуточный этап — *с л о в о*.

Что касается звуков, то прежде всего отметим, что различным классификациям, принятым как в традиционной фонетике, так и в фонологии, не хватает единства общих принципов. Разделение звуков на *г л а с н ы е* и *с о г л а с н ы е* основано на «синтаксической» функции этих элементов внутри слога, с чем всегда молча соглашались. Последовательное применение этого функционального принципа позволяет продолжить классификацию и выделить подгруппы изофункциональных согласных; содержание этих согласных частично перекрывается (имеется в виду идентичность некоторых артикуляционных признаков). В этом плане автор опубликовал недавно статью в BSLP¹.

¹ Е. Курлович, Вопросы теории слога, см. настоящий сборник, стр. 267.

Отвлекаясь от содержания и обращая внимание только на функцию, мы можем построить для наглядности следующую таблицу соответствий:

предложение	слог
сказуемое	гласная
подлежащее	начальная группа согласных
обстоятельство	конечная группа согласных и т. д.

В упомянутой статье читатель найдет объяснение функционального различия между начальной (эксплозивной) группой согласных и конечной (имплозивной) группой согласных по отношению к вокалическому центру.

В обеих системах — семантической и звуковой — элементы или, скорее, классы элементов основаны на структурах. Этот важнейший факт объясняется непосредственными данными речи. Язык всегда реализуется в форме высказываний (предложение — частный случай высказывания) и в форме слогов. Короче говоря, данные, получаемые из наблюдения, — это структуры, а не элементы.

Существенной чертой, общей для звуковой и семантической систем, является то, что классы изофункциональных элементов основаны на структурах. Если наука движется в обратном направлении — от элементов (например, фонем) к структурам (например, слогам), то это возможно постольку, поскольку в результате предварительного анализа, хотя и в неявной форме, элементы были выделены из структур. От современной лингвистики мы ждем именно строгого и явного анализа структур, в результате которого будут получены классы, основанные по своим синтаксическим функциям на структурах.

Следует отличать элементы, входящие в один класс, между которыми возможна коммутация (например, два существительных), от элементов, входящих в одну структуру (например, сущест-вительное + глагол, образующие предложение). Если в первом случае между обоими элементами существует отношение, то это отношение логического подчинения, например, *château* «зámок»: *châtelet* «маленький зámок»; *oiseau* «птица»: *rossignol* «соловей».

Существует, как было показано выше, нейтральный (негативный) член и позитивный член, причем первый может всегда быть подставлен вместо второго, тогда как обратное невозможно. Между членами фразы, например *l'oiseau chante* «птица поет», существует отношение совсем другого плана. Сказуемое здесь — конституирующий член (центральный, по Ельмслеву и Ульдаллю), а подлежащее — комплементарный (периферийный — у тех же авторов) член, поскольку сказуемое само по себе выполняет ту же синтаксическую роль, что и целое предложение¹. В звуковой области гласный является конституирующей частью слога, поскольку он один может составлять слог; группы согласных — это комплементарные части.

Существуют противопоставления двух видов: между членами одного класса и между членами одной структуры. Как позитивный член класса определяется нейтральным (негативным) членом, то есть нейтральный (негативный) член является определяющим (*definiens*), а позитивный — определяемым (*definiendum*), так и комплементарный член структуры (например, подлежащее предложения или группа согласных в слог) определяется противопоставлением (на этот раз — синтаксическим) конституирующему члену.

Семантический закон содержания и сферы употребления оказывается частным случаем семиологического закона. Этот закон касается взаимозаменяемых элементов, противопоставленных друг другу внутри одного и того же класса; одни из этих элементов являются более общими, другие, подчиненные первым, — более частными. Возникает вопрос, существует ли соответствующий семиологический закон, касающийся элементов — частей структуры.

В статье «О природе так называемых «аналогических» процессов»² мы попытались определить пути, по которым происходит распространение языковых инноваций, приписываемых «аналогии». Эмпирические данные указывают

¹ Формальное доказательство этого положения содержится в нашей статье «Основные структуры языка: словосочетание и предложение», см. настоящий сборник, стр. 48.

² См. настоящий сборник, стр. 92.

два таких пути. Один — развитие от общего к частному; например, то, что верно для исходного слова, верно также и для производного (принцип II). Другой путь — от полной структуры к ее конституирующему члену (принцип III); например, в ряде индоевропейских языков простой глагол принимает акцентуацию сложного глагола. Если во всех сложных глаголах в результате слияния приставки с глаголом, какова бы эта приставка ни была, глагольная основа оказывается под ударением (или не под ударением), простой глагол, не имеющий приставки, получает ту же акцентуацию (или также лишается ударения). Изофункциональные структуры (здесь — глаголы) выступают то в полной, развернутой форме (п р и с т а в к а + о с н о в а), то в форме, сведенной к одной конституирующей части (= о с н о в а). Так как эти формы изофункциональны, одна и та же глагольная функция распространяется как на соединение п р и с т а в к а + + о с н о в а, так и на одну о с н о в у. Можно сказать, что в последнем случае эта функция имеет более узкую сферу употребления, чем в первом случае, однако здесь сферы употребления измеряются совсем иначе, чем в предшествующей логической теореме.

Оба пути, по которым распространяются языковые инновации, называемые а н а л о г и ч е с к и м и (то есть от общего к частному и от полных структур к сокращенным структурам), показывают нам структуру обеих систем — звуковой и семантической. Прибавим, что эти пути соответствуют двум основным путям человеческого мышления: первый — это дедукция, ведущая от общего к частному (то, что верно для общего понятия A , верно и для частного понятия a); второй — это индукция, ведущая от частного к общему (то, что верно для конституирующего члена плюс дополнительный член $a_1, a_2, a_3 \dots a_n$, где n исчерпывает все возможности, верно и для конституирующего члена плюс ноль).

В системе языка и в звуковой, и в семантической области взаимные отношения между членами системы подчинены двойной иерархии. Одна иерархия идентична логическому закону подчинения частного целому. Вторая,

до сих пор не рассматривавшаяся, но являющаяся точным аналогом первой, состоит в подчинении сокращенных структур изсфункциональным полным структурам. Несомненно, ошибочное мнение, будто предложения строятся из изолированных слов, явилось причиной того, что традиционная логика, возникшая из грамматики, не замечала общего закона структур.

Современная грамматика также не признает этого закона, что влечет за собой тяжкие последствия как для фонологии, так и для морфологии и синтаксиса. Так, например, иногда безличные предложения типа лат. *pluit* «идет дождь» рассматриваются как прототип личных предложений или как элементарные формы, от которых происходят полные формы. Однако в соответствии с указанной теоремой как раз сокращенные *м о т и в и р о в а н н ы е* формы являются производными от полных двучленных предложений типа подлежащее (*г р у п п а п о д л е ж а щ е г о*) + сказуемое (*г р у п п а с к а з у е м о г о*). Вопрос об историческом происхождении различных типов предложений здесь нами не рассматривается.

Семиология, о которой идет речь, не будет общей теорией знака. Она будет основываться на двух разнородных областях, которые, однако, обнаруживают поразительное сходство в структуре, особенно в том, что касается классов знаков, основанных на «синтаксических» функциях. Но если грамматика породила логику, то теперь необходимо пересмотреть труд Аристотеля, чтобы получить семиологию, где были бы исправлены два основных недостатка его логики.

Первый недостаток состоит в том, что содержание не традиционно рассматривается как данное заранее. Однако содержание элемента, например сумма артикуляционных признаков фонемы или семантическое содержание морфемы, является лишь как бы конденсацией употреблений этого элемента, то есть вытекает соответственно из звуковых или семантических противопоставлений, в которых участвует фонема или морфема. Содержание обусловлено сферой употребления, но не наоборот. Это подтверждается приведенным выше фонологическим аргументом (относительно нейтрально-негативного и позитив-

ного членов фонологической корреляции). Теорема о с о д е р ж а н и и и у п о т р е б л е н и и напоминает нам знаменитую теорему о массе и энергии.

Другой серьезный недостаток — это то, что традиционная логика рассматривает понятия как нечто существующее до суждений, то есть считает, что предложения строятся просто из слов. Однако тот факт, что семантические классы определяются синтаксическими функциями, и теорема о том, что сокращенные структуры основаны на полных, говорят в пользу обратной точки зрения.

Мы оставляем в стороне вопрос о хронологических изменениях системы. В статье «О природе так называемых «аналогических» процессов» мы использовали некоторые понятия, относящиеся к диахронии, например понятия д и ф ф е р е н ц и а ц и я и п о л я р и з а ц и я. Здесь же наиболее важно рассмотреть иерархию и взаимозависимость структур и элементов, удерживающиеся и сохраняющиеся, несмотря на все изменения. При этом мы не можем подробно разбирать понятия п е р в и ч н а я ф у н к ц и я (или з н а ч и м о с т ь — *valeur*) и в т о р и ч н ы е ф у н к ц и и, хотя эти понятия имеют капитальное значение как для диахронического, так и для синхронического аспекта исследований.

Это еще не все. С о ц и а л ь н ы й фактор, который с первого взгляда кажется внешним по отношению к системе языка, в действительности органически связан с ней. Расширение употребления знака внутри системы является лишь отражением расширения его употребления в языковом коллективе¹. Это отношение характеризуется не только динамической стороной, но и статическим аспектом. Сфера употребления знака внутри системы соответствует сфере его употребления в языковом коллективе. Иначе говоря, чем обобщеннее (беднее) содержание знака, тем шире сфера его употребления говорящими; чем специальнее (богаче) содержание, тем уже сфера употребления не только внутреннего (= внутри системы), но и внешнего (в языковом коллективе).

¹ Всякая «аналогическая» инновация основывается на пропорции, члены которой принадлежат к двум различным говорам, ср. принцип (VI).

В области семантики эта зависимость между системой и социальным фактором уже давно была указана Мейе¹. С другой стороны, Тводл² подчеркивал социальную природу фонемы. Но социальный характер, внутренне присущий рассматриваемым здесь системам, а следовательно, и семиологической системе, которая лежит в их основе, вытекает прежде всего из общих соображений. Различные исследования, ставящие себе целью обнаружение системы языка в ее реализациях, всегда исходили из той гипотезы (более или менее предположительной, но справедливой), что единственная функция языка, заслуживающая внимания,— это функция репрезентации, или символическая функция («Darstellungsfunktion» по Бюлеру³). Именно в этой функции сосредоточена социальная сторона речевой деятельности, то есть язык как система (langue). Что же касается экспрессивной и апеллятивной функций⁴, то эти функции в той мере, в какой они носят спонтанный, не канонизованный характер, выступают только в речи (parole) и относятся скорее к теории человеческой деятельности, нежели к теории знаков. И все то, что справедливо по отношению к социальной природе символов, сохраняет силу и применительно к звуковым элементам, из которых строятся эти символы, то есть к фонемам, социальный характер которых не менее очевиден.

¹ A. Meillet, Comment les mots changent le sens, AS, 1905—1906; Linguistique historique et linguistique générale, I, 1921, стр. 230.

² M. Twaddell, On defining the phoneme, «Language Monographs», XVI, 1935.

³ В русской лингвистической традиции «Darstellungsfunktion» К. Бюлера принято переводить как «функция сообщения». — Прим. ред.

⁴ В русской лингвистической традиции соответственно функции выражения и обращения. — Прим. ред.

ПОНЯТИЕ ИЗОМОРФИЗМА¹

(1949)

Цель настоящей статьи — популяризация некоторых идей глоссематики с помощью обычной традиционной терминологии. Опыт обучения показывает, что новые понятия усваиваются более эффективно, если они не отягощены новой терминологией (хотя при этом несколько страдает научная строгость). Так, прежде чем слово *фонема* закрепилось в качестве рабочего термина, Бодуэн де Куртене, Есперсен, Сепир, Джоунз и другие подготовили для этого почву, говоря о звуковых представлениях, звуках-типах, звуковых моделях (*sound-patterns*) и т. д. Термин *глоссематика* и плеяда вызванных им к жизни дополнительных терминов-неологизмов (*к а т а л и з*, *к е н е м ы*, *п л е р е м ы* и пр.) оправданы, поскольку они являются необходимыми орудиями новой лингвистической теории, и их существование может оспариваться только с точки зрения их удобства. Однако мы полагаем, что сможем успешнее пропагандировать идеи, если, оставив в стороне термины, сосредоточим наше внимание на самих идеях, стоящих за ними.

О чем пойдет речь? Звуковые комплексы (например, слоги) и семантические комплексы (например, предложения) независимо от функциональных отношений, которые их объединяют, обладают глубоким структурным параллелизмом. Между ними существует весьма примечательное сходство, которое можно назвать *и з о м о р ф и з м о м*. Главная идея глоссематики состоит в том, чтобы выделять структурные особенности, общие для обоих планов языка, звукового и семантического (выражения и содержания).

¹ J. Kuryłowicz, La notion de l'isomorphisme, TCLC, 5, 1949 = Recherches Structurales dédiées à L. Hjelmslev, стр. 48—60.

Ниже мы постараемся провести параллель между структурой слога и структурой предложения. Можно было бы сравнить слог со словом или словосочетанием, но мы выбрали предложение, поскольку его богатая и разнообразная форма позволяет нам продолжить сравнение сколь угодно далеко.

Возможность существования общих правил, вытекающая из природы комплексов (звуковых или семантических), очевидна, когда речь идет о порядке элементов. Поскольку комплекс может быть сведен к одному конституирующему члену, по отношению к нему и определяется место второстепенных членов. С этой точки зрения не всегда правильно, считая конституирующим членом личный глагол¹, определять его место внутри предложения как «начальное», «второе», «конечное». Неверные формулировки типа «обычный порядок слов = подлежащее + глагол + прямое дополнение + обстоятельства» весьма распространены и даже нормальны в описательных грамматиках. Природа же предложения категорически требует определять место подлежащего (группы подлежащего) по отношению к сказуемому (группе сказуемого) и — внутри каждой группы — место определяющего по отношению к определяемому. Приведем несколько примеров.

В арабском предложении *Katala zaidun 'asadan kabiran* «Саид убил большого льва» (глагол + подлежащее + прямое дополнение + определение к дополнению) адекватное определение порядка слов таково: подлежащее (группа подлежащего) расположено между конституирующими и второстепенными членами группы сказуемого; в обеих группах (подлежащего и сказуемого) второстепенные члены следуют за конституирующими. В немецком языке высказыванию типа *Die Donau mündet ins Schwarze Meer* «Дунай впадает в Черное море» (стилистический вариант: *ins Schwarze Meer mündet die Donau*) соответствует следующая формулировка: подлежащее (группа подлежащего) предшествует группе сказуемого; внутри последней второстепенные члены следуют за конституирующим (личным глаголом). В примере типа *Ins Schwarze Meer mündet in mehreren Armen die Donau, der grösste*

¹ Е. Курилович, Основные структуры языка: словосочетание и предложение, см. настоящий сборник, стр. 48.

Fluss der ungarischen Tiefebene «В Черное море многочисленными рукавами впадает Дунай, самая большая река Венгерской низменности» происходят изменения во взаиморасположении группы подлежащего и одного второстепенного члена группы сказуемого. Это изменение следует рассматривать как постановку в начале предложения оборота *ins Schwarze Meer*, что со своей стороны влечет за собой изменение места подлежащего. Наряду с относительными определениями позиции (подлежащее по отношению к сказуемому, дополнение по отношению к глаголу и т. д.) существует также абсолютное определение позиции: начальная или конечная позиция. Например, позиция преверба, отделенного от личного глагола, обычно определяется абсолютно. Что же касается вопросительного предложения (*Mündet die Donau ins Schwarze Meer?* «Впадает ли Дунай в Черное море?»), то здесь возможны две формулировки: первая — личный глагол ставится в начале предложения, в остальном сохраняется порядок слов повествовательного предложения; вторая — подлежащее помещается между глаголом и дополнениями. Мы предпочитаем первую формулировку, поскольку порядок слов вопросительного предложения основывается на порядке слов соответствующего повествовательного предложения и любое изменение порядка должно рассматриваться прежде всего как перемещение конституирующего члена (то есть группы сказуемого, и в частности личного глагола). В придаточном предложении, присоединенном с помощью союза, типа (*Ich weiss*), *dass die Donau ins Schwarze Meer mündet* «(Я знаю), что Дунай впадает в Черное море», речь идет, следовательно, не о помещении дополнения между подлежащим и личным глаголом, а о конечной позиции личного глагола.

Таким образом, можно сказать, что в немецком порядок слов вопросительных и придаточных предложений определяется в зависимости от порядка слов повествовательного главного предложения, причем учитывается только перемещение глагола (соответственно к началу или концу), в то время как порядок других элементов остается неизменным. С другой стороны, так как в главном повествовательном предложении порядок слов не мотивирован, он может быть определен только через позицию консти-

тулирующих и второстепенных элементов по отношению друг к другу. Правильной является не формулировка типа «глагол стоит на втором месте», а формулировка типа «подлежащее (группа подлежащего) предшествует сказуемому (группе сказуемого); внутри группы сказуемого дополнения следуют за глаголом». В качестве стилистического варианта допустима перестановка любого дополнения и подлежащего (группы подлежащего).

В области звуков полный слог¹, состоящий из начальной группы согласных + слоговой центр + конечная группа согласных, построен, как и предложение, по принципу дихотомии. Гласный + конечная группа образуют единство, противопоставленное начальной группе. Это единство вытекает из того факта, что некоторые свойства слога, например его количество или его интонируемость, тесно связаны с гласным + конечная группа и никак не зависят от начальной группы. Если через i , V , f обозначить начальную группу, гласный и конечную группу, можно утверждать, что дихотомия $i + (V + f)$ является оправданной и уместной. $V + f$ — это конституирующая часть слога, конституирующим членом которой является V (слоговой центр, без которого слог не мог бы существовать), а второстепенным — f (который не необходим для наличия слога). Таким образом, можно говорить об изоморфизме между слогом $i + V + f$ и предложением подлежащее (группа подлежащего) + глагол + дополнения.

Слог	Предложение
конституирующая часть	группа сказуемого (глагол + +дополнение)
(1 дихотомия) $V + f$	
конституирующий член	глагол
(2 дихотомия) V	
второстепенный член	дополнения
(2 дихотомия) f	
второстепенная часть	подлежащее (группа подлежащего)
(1 дихотомия) i	

¹ Е. Курилович, Вопросы теории слога, см. настоящий сборник, стр. 267.

Анализ можно продолжить, производя последующие деления до тех пор, пока мы не придем к отдельным элементам (фонемам, словам). Дихотомия в обоих случаях влечет за собой одинаковые трудности. Так же, как имеются более тесно и менее тесно связанные с глаголом дополнения (например, *hostem occidit gladio* «врага убивает мечом» = *hostem occidit — gladio*), имеются и более центральные и более периферийные консонантные элементы, например лит. *verk*-из *verkti*-«плакать» разлагается на *ver* + *k*, поскольку только *er*-способен нести интонацию. Однако между двумя этими областями существует глубокое различие. В плане семантическом можно отличать внешний порядок элементов от внутреннего порядка элементов. Так, хотя внешний порядок слов в приведенном латинском предложении и может быть различным (*hostem occidit gladio* = *g. o. h.* = *h. g. o.* = *g. h. o.*), тем не менее всюду в силу внутреннего порядка элементов дополнение *hosteni* связано с глаголом более тесно, чем дополнение *gladio*. В плане звуковом мы не находим ничего похожего; по крайней мере до сих пор в фонетике не отмечено ни одного подобного факта (факультативных метатез стилистического порядка). Здесь всегда относительные «синтаксические» единства образуются с м е ж н ы м и элементами. Отсюда не следует заключать, что дихотомии можно производить механически — это далеко не так. Для них нужно найти обоснования функционального характера, что сделать так же нелегко, как и найти обоснования для членения «он прыгнул на стол — в комнате» (а не «он прыгнул в комнате — на стол»¹). Так, анализ начальных групп согласных в греческом языке показывает, что группы *sk-*, *st-*, *sp-* образуют там относительные единства.

Самой важной чертой, общей для обоих планов языка, является, несомненно, двойная обоснованность: частного общим, и наоборот².

В области семантики производные основываются на исходных формах (непроизводные слова > производные

¹ Е. Курилович, Проблема классификации падежей, см. настоящий сборник, стр. 175.

² Е. Курилович, О природе так называемых «аналогических» процессов, см. настоящий сборник, стр. 92.

слова, словосочетания > сложные слова). Производные hort-ul-us «сад-ик», lup-ul-us «волч-онок» отличаются от исходных слов hort-us «сад», lup-us «волк» с точки зрения формальной (наличием суффикса -ul-) и семантической (наличием значения уменьшительности). В области звуков соответствующее явление представлено корреляцией, например $p : b$, $t : d$ в польском или русском. Фонетическое различие между двумя членами пары сопровождается функциональным (состоящим в различии сфер употребления). Точно так же, как производные слова мотивированы соответствующими исходными формами, маркированные фонемы обоснованы соответствующими архифонемами.

Кроме того, имеется еще другого рода обоснованность. Существуют комплексы, которые представляют собой форму неполную, редуцированную по отношению к другим структурам этого же класса. Так, высказывание *pluît* «идет дождь» является, конечно, предложением (как с формальной, так и с функциональной точек зрения), хотя это предложение и не допускает дихотомии на подлежащее и сказуемое. Но это высказывание является предложением, поскольку оно эквивалентно по своей грамматической функции полным предложениям типа *La terre tourne autour du soleil* «Земля вращается вокруг солнца». В предложении *pluît* нет синтаксического противопоставления подлежащего сказуемому; оно существует в полных предложениях, которые служат основанием для предложений, сведенных только к одному конституирующему члену (глаголу). Здесь можно было бы говорить о принципе максимального различия, в соответствии с которым недифференцированные формы интерпретируются как упрощение изофункциональных дифференцированных форм. Этот же принцип заставляет нас анализировать пару t и d с помощью противопоставления, а не синкретизма, или совпадения (например, в конце слова). Заметим, что в отличие от первого случая (производное слово : исходное слово) здесь имеет место обоснование чисто формальное, а не формальное + функциональное. Обе рассматриваемые структуры, полные предложения и редуцированные предложения, являются предложениями, то есть являются изофункциональными комплексами, принадлежащими к

одному и тому же классу структур. Корневые существительные опираются на суффиксальные существительные, непронизводные глаголы основаны на префиксальных глаголах и так далее. Такого рода обоснование встречается также у форм, принадлежащих к одной и той же парадигме. Так, форма генитива мн. ч. типа $\delta\iota\kappa\omega\nu$ «обычаев», $\tau\iota\mu\omega\nu$ «почестей» основана на форме номинатива мн. ч. типа $\delta\iota\kappa\alpha\iota$ «обычаи», $\tau\iota\mu\alpha\iota$ «почести», так как противопоставление между ударением на последнем и ударением на предпоследнем слоге не имеет места в генитиве. Номинатив дает возможность предсказать генитив, но не наоборот.

Следует строго отличать отношение деривации, существующее между $\lambda\epsilon\iota\pi\omega$ «оставляю» и $\acute{\alpha}\pi\omicron\lambda\epsilon\iota\pi\omega$ «растаюсь», являющееся отношением формального и семантического порядка, от чисто формального отношения, связывающего $\lambda\epsilon\iota\pi\omega$ как обоснованную форму с обосновывающей формой преверб + $\lambda\epsilon\iota\pi\omega$. В цитированной выше статье мы предположили, что так называемые изменения «по аналогии» протекают в определенном направлении, а именно — от обосновывающей формы к обоснованной. Эта рабочая гипотеза, подтвержденная практическими результатами, имеет, очевидно, теоретическое значение и позволяет нам делать выводы о фактах обоснованности, то есть о структуре системы.

Теперь же нас интересует следующий вопрос: существует ли обоснованность «полный комплекс : сокращенный (до своего конституирующего члена) комплекс» в области фонологии. В языках с долгими гласными, например в санскрите, греческом, латинском, персидском или классическом арабском, слоги на -ek, -es, -eg, -ep и т. д. служат обоснованием для слогов на -ē (ē обозначает любой гласный)¹. Во всех этих языках -ek и т. д. и -ē изофункциональны с точки зрения количества (слог является всегда долгим); с другой стороны, в случае -ek слог является дифференцированным, поскольку отрезок длительности представлен конституирующим членом (то есть вокалическим центром) плюс

¹ Е. Курнелович, Вопросы теории слога, см. настоящий сборник, стр. 267.

второстепенный член (согласный), а *-ë* является редуцированной формой, поскольку отрезок длительности представлен только вокалическим центром. Обоснованность *-ek*, *-es*, *-er*, *-en* : *-ë* реальна, что доказывается прежде всего распространением акутовой интонации в балтославянском; эта интонация была фонетически обусловлена только для долгих гласных с рецессивным ударением (например, лит. *móteri* < **māterm*), а распространение ее «по аналогии» оказалось возможным именно благодаря тому, что в балтославянском долгота гласных была обособленным фонологическим признаком¹.

Другой поучительный пример дает долгая ступень чередования в индоиранском корне². Модель *iT : aiT*, *uT : auT* (*T* = взрывной или *s*) порождает *aT : āT*, но только перед гласным (то есть где *T* относится к следующему слогу). Перед согласным различию *iT : aiT* соответствует *aT*. Нетрудно найти причину этой ассиметрии: она вытекает из структуры индоевропейского корня. Корень содержит основной гласный *e/o* и затем либо один согласный (взрывной, *s*, сонант, полугласный), либо группу из двух элементов: *j*, *ɟ*, *g*, *l*, *n*, *m* + взрывной или *s*. Ясно, что корни *iT : aiT* с *T* перед согласным (принадлежащим к тому же слогу, что */a/i/*) не могли повлиять на корни типа *aT*. В первом случае в роли *T* выступает взрывной или *s*, во втором — любой согласный. Перед гласным же, напротив, *T* никак не влияет на предшествующий слог, так как отделено от него слогоразделом. Важно то, что здесь проявляется обоснованность:

корни обосновывающие: *-eiT*, *-euT*, *-erT*, *-elT*, *-enT*, *-emT*

корни обоснованные: с одной стороны, *-ei*, *-eu*, *-er*, *-el*, *-en*, *-em*, с другой стороны, *-eT*

Разнообразные и сложные вопросы связаны с классами элементов. Части речи в узком смысле слова³ (глагол, существительное, прилагательное, наречие) являются классами слов. Следовательно, союзы и предлоги, которые являются только синсемантическими

¹ SB, VII, стр. 45.

² BSL, XLIV, 1947—1948, fasc. I, стр. 54.

³ Е. Курилович, Деривация лексическая и деривация синтаксическая, см. настоящий сборник, стр. 57.

морфемами, не входят в эту классификацию с а м о с т о я т е л ь н ы х слов. Вообще синсемантические элементы находят параллель в п р о с о д е м а х (количество, ударение, интонация) — признаках, прибавляемых к готовым фонологическим комплексам¹. Фонемы тоже образуют классы (гласные, согласные со своими подклассами), как и самостоятельные слова.

В обеих областях значимость класса вытекает из его первичной «синтаксической» функции. Термин с и н т а к с и ч е с к и й употребляется здесь в широком смысле, соответствующем его этимологии, аналогией может служить употребление греческими грамматистами термина σύνταξις применительно как к фонологической структуре (слога, слова), так и к структуре предложения. В плане семантическом мы уже имели случай отметить внутреннюю связь между общим значением (= значению класса) самостоятельных слов и их первичной синтаксической функцией². Поскольку существительное выступает как определяемое, оно служит знаком для объектов (вещей); поскольку прилагательное выступает как определение, оно обозначает качества и т. д., и наоборот. Мы склонны заключить из этого, что определенные свойства фонем вытекают из функции, выполняемой ими внутри слога: так, конституирующая роль гласного влияет на степень его открытости и т. д.

Классы связаны между собой процессами деривации. Эти процессы бывают двух типов: исходное и производное слова могут относиться к одному и тому же классу или к различным классам, например *château* : *châtelet* «замок : маленький замок» и *blanc* : *blanchir* «белый : белить». В первом случае можно говорить о семантическом различии (уменьшительность), во втором имеет место двойное различие: синтаксическое и семантическое. С одной стороны, *blanc* отличается от *être blanc* «быть белым» первичной синтаксической функцией (определение: именная часть сказуемого), с другой стороны, *être blanc*, хотя и идентично с *blanchir* по синтаксической функции, отличается

¹ Л. Е ль м с л е в, см. в SB, VI; стр. 6 и 40.

² Е. Курилович, Деривация лексическая и деривация синтаксическая, см. настоящий сборник, стр. 57.

от *blanchir* по семантическому содержанию. Чтобы от *blanc* прийти к *blanchir*, надо пройти два этапа:

blanc → *être blanc*

↓
blanchir

Здесь имеет место горизонтальный — синтаксический — сдвиг и вертикальный — семантический. То же самое верно для отношения существительное : производное прилагательное, например *printemps* «весна» и *printanier* «весенний».

printemps → *de printemps* „весенний(происходящий весной)“
↓
printanier

Семантическое различие между *de printemps* и *printanier* налагается на различие синтаксического плана между *printemps* и *de printemps*.

Однако отношения между исходным и производным словами не всегда столь просты. Для *blanc* и *blancheur* существуют две промежуточные стадии, так как сдвиг разлагается следующим образом:

blanc → *être blanc* → *le fait d'être blanc* „бытие белым“
↓
blancheur

Иначе говоря, чтобы образовать абстрактное существительное от соответствующего прилагательного, необходимо пройти через именную часть сказуемого и имя действия, что, впрочем, не оказывает никакого влияния на форму производного¹.

Из этих примеров видно, что горизонтальный сдвиг выражается с помощью флексии исходного слова, а процесс собственно деривации состоит в вертикальном изменении. Это становится еще яснее на примере языков «синтетических», скажем русского:

белый → *бел* или *весна* → *весны*
↓ ↓
белеть *весенний*

¹ V. Réponses au questionnaire du VI^e Congrès International de Linguistes (Paris, 1948).

Изменение класса (части речи), проиллюстрированное последними примерами, объясняется изменяемостью синтаксической функции. Каждый класс имеет свою синтаксическую функцию, но слова могут выступать и во вторичных функциях, выраженных или не выраженных специальными флективными формами. В *omnia praesentia* гага «все знаменитое редко» сказуемое гага не содержит никакого синтаксического показателя, в то время как, например, вторичная функция прилагательного в русском *снег бел* воплощается в особой форме. Ясно, что принадлежность формы к определенному классу (категории) определяется первичной функцией. Французские глаголы *avoir* и *être* являются глаголами, хотя и употребляются при определенных условиях как синсемантические элементы (*il a dormi* «он спал», *il est venu* «он пришел», *il est jeune* «он молодой»). В крайнем случае можно выделить специальный класс вспомогательных слов с двойной функцией, причем вторичная функция — это функция синсемантом. Исходя из аналогичной идеи, мы выделили особый класс конкретных падежей, занимающих промежуточное положение между наречиями (первичная функция) и грамматическими падежами (вторичная функция)¹.

При фонологической классификации согласных, то есть при классификации с учетом употребления согласных (а не их физиологических признаков), получаются классы, элементы которых обладают только одной синтаксической функцией (обосновывающие классы), наряду с другими классами, элементы которых имеют две функции (первичную и вторичную) и которые занимают промежуточную позицию между двумя обосновывающими классами. Греческие согласные образуют три основных класса², так как начальные группы согласных в греческом языке состоят максимум из трех элементов:

класс I: ρ, λ, ν, μ

класс II: κ, τ, π; χ, θ, φ; γ, δ, β

класс III: σ

¹ Е. Курилович, Проблема классификации падежей, см. настоящий сборник, стр. 175.

² Е. Курилович, Вопросы теории слога, см. настоящий сборник, стр. 267.

К классу I принадлежат такие согласные, которым не могут предшествовать другие согласные, но которые сами могут предшествовать другим согласным. Класс II включает такие согласные, которые сами могут следовать за другими согласными и за которыми могут следовать согласные. К классу III принадлежат такие согласные, после которых согласные бывают, но перед которыми — не бывают.

Однако некоторые согласные имеют более одной функции. Губные взрывные π , β , ϕ имеют функцию₂ (= функции класса II) в группах типа $\sigma\pi$ -, $\sigma\pi$ -, $\pi\phi$ - и функцию₃ в группах типа ψ -, $\pi\tau$ -, σ : функция₃ в группах типа $\sigma\pi$ -, $\sigma\pi$ -, $\sigma\mu$ -, функция₁ в ψ -, ξ -, μ : функция₁ в группе $\delta\mu$ -, функция₃ в $\mu\nu$ -¹.

Если мы попытаемся установить промежуточные классы, учитывая вместе с тем иерархию функций, получится следующая группировка:

$$\begin{array}{ccccc} \text{II} & \left(\begin{array}{c} \text{II}^2 \\ \text{III} \end{array} \right) & \left(\begin{array}{c} \text{III} \\ \text{I} \end{array} \right) & \left(\begin{array}{c} \text{I} \\ \text{III} \end{array} \right) & \text{I} \\ \kappa, \chi, \gamma & \pi, \phi, \beta & \sigma & \mu & \rho, \lambda, \nu \\ \tau, \theta, \delta & & & & \end{array}$$

Следует наконец определить взаимные отношения элементов внутри одного комплекса.

В группе *un soldat blessé d'un coup de baïonnette* «солдат, раненный ударом штыка» *к о н с т и т у и р у ю щ и й* член (*un soldat*) определен группой, которая сама состоит из *к о н с т и т у и р у ю щ е г о* члена (*blessé*) и *в т о р о с т е п е н н о й* группы; последняя в свою очередь распадается на *d'un coup* (*к о н с т и т у и р у ю щ и й* член) и *de baïonnette* (*в т о р о с т е п е н н ы й* член.) Итак:

un soldat + [blessé + (d'un coup + de baïonnette)].

Такой комплекс, как *les vieux remparts de la ville* «старые стены города», имеет другую структуру:

les (vieux + remparts) + de la ville.

¹ В цит. выше статье были предложены критерии, позволяющие отличить первичную функцию от вторичных.

² Расположение знака III под знаком II указывает на иерархию: II — первичная функция, III — вторичная.

В первом примере конституирующий член определен группой, состоящей из двух частей. Во втором — менее отдаленным второстепенным членом (*vieux*), в то время как более отдаленный член (*de la ville*) служит для определения всей группы (*les vieux remparts*).

Изоморфизм между двумя планами заставляет нас ожидать сходных отношений между элементами группы согласных. В греческом имеются начальные группы *στρ-*, *στλ-*, *σκλ-*, *σκν-*, которые могут сокращаться до *τρ-* и т. д., но никогда до **σρ-*, **σλ-*, **σν-*. Отсюда вытекает, что в *στ-*, *σκ-* конституирующими членами являются взрывные, а второстепенными — *σ*. Во всяком случае *στ-*, *σκ-* образуют относительные единства внутри групп *στρ-*, *στλ-*, *σκλ-*, *σκν-*. Это подтверждается, как нам кажется, отношением *σκ-*, *σχ-* → *ξ*; *σλ-*, *σφ-*, *σβ-* → *ψ*, где *ξ*, *ψ* являются как бы «сложными словами», построенными на базе «синтаксических групп» *σκ-*, *σλ-*.

Аналогичное рассуждение может быть проведено для начальных групп из трех согласных индийского или латинского. В индийском отношение *kr-*, *gr-*, *ghr-* → *skr-*, где после *s-* уничтожаются артикуляционные различия, позволяет нам говорить о «деривации» *skr-* < *kr-*, *gr-*, *ghr-* (ср. также *k-*, *g-* → *sk-*; *kh-*, *gh-* → *skh*), иначе говоря, о второстепенной роли *s-* в *sk(r)-* и т. д. Со своей стороны *sk-*, *skh-* (где сохранилось противопоставление «непридыхательный : придыхательный») обосновывают «сложное слово» *kṣ-*.

В латинском противопоставление *c(r)-*, *g(r)-* → *sc(r)-*, как и в санскрите, и в то же время отсутствие *sr-*, *sl-*, *sn-*, как в греческом, доказывают второстепенную роль *s-* в *sc(r)-*, *st(r)-*, *sp(r)-*.

Следовательно, во всех этих языках закономерно разложение *str-* на $(s + t) + r$, причем взрывной — это конституирующий член сочетания внутри скобок.

Остается еще выяснить, каков конституирующий член всего сочетания *str-*: $(s + t)$, т. е. *t*, или *r*? Здесь полезно вспомнить о параллелизме в структуре слога и предложения и о том, что в слоге внешний порядок является одновременно и внутренним порядком, то есть что «синтаксически» связанные элементы являются элементами смежными. Если гласный сравнить с глаголом, а начальную

группу согласных — с группой подлежащего, конституирующий член группы будет представлен сонантом (*i, u, r, l, n, m*), который, непосредственно предшествуя гласному, определяется им¹. С другой стороны, так же как существительное — конституирующий член группы подлежащего — является одновременно конституирующим членом группы дополнения, так и сонант, находясь в конечной группе согласных, во всех трех рассматриваемых языках занимает в этой группе первое место (то есть стоит сразу после гласного). В инд. *tras-* «подлежащее» *tr-* (конституирующий член—*r*, второстепенный—*t*) определяется «сказуемым» *-as-* (*a* = «глагол», *s* = «дополнение»); в *var-* «дополнение» *-rt-* разлагается, как и *tr-* из *tras-*, на конституирующий член *r* («существительное») и второстепенный *t* («определение»).

Тот факт, что в большинстве языков конечные группы согласных (как *-rt*) представляют собой инверсию начальных групп согласных (как *tr-*), опирается именно на закон внутреннего порядка, который постулирует смежность конституирующих членов двух связанных комплексов.

Однако параллелизм между двумя планами не ограничивается этим. Любая группа подлежащего, как бы сложна она ни была, может быть превращена в о д н о из дополнений, наряду с которым могут существовать 'и другие. Аналогично конечная группа согласных слога состоит из «прямого дополнения», представляющего собой п е р е в е р н у т у ю начальную группу, и последующих «косвенных дополнений». Например: $(h)art = a + (r + t)$, но $(H)arm = (a + r) + m$, поскольку начального *mr-* не существует; $(H)erbst = /e + (r + b)/ + (s + t)$ и т. д.

Мы видим, что при описании фонологических структур можно, не боясь двусмысленности, использовать термины синтаксиса и даже морфологии, заключив их в кавычки. Для греческого или старофранцузского языка можно, например, говорить о «сочинении» и «подчинении» в фоно-

¹ Е. Курдюкович, Основные структуры языка: словосочетание и предложение, см. настоящий сборник, стр. 48: «В своих внешних связях словосочетание представлено только определяемым членом» (то есть конституирующим); «Предложение представлено в своих внешних связях сказуемым» (= конституирующим членом).

логии, противопоставляя гр. *οἱ* (два слога) и *οἷ* (один слог) или ст.-фр. *suer* «потеть» и *sueur* «сестра». В слоге *οἷ* самостоятельное *ι* превратилось в несамостоятельное определение *к о* и т. д. Ср. *Il lit, il mange* «он читает, он ест» > *il lit en mangeant* «Он читает кушая» или *Il mange en lisant* «Он ест читая».

Таковы структурные аналогии, выявить которые с помощью новой терминологии и призвана глоссематика.

Очевидно, что параллелизм существует не только между слогом и предложением, но и между слогом и словом (как семантической структурой). Семантема, или корень слова, представляет собой его конституирующую часть, а второстепенными элементами являются различные синсемантические морфемы или аффиксы (суффиксы, префиксы, инфиксы). Здесь возникают те же проблемы, и прежде всего проблема правильной дихотомии. Известно, например, что неверный анализ сложных глаголов долго мешал правильному анализу морфологии славянского глагола. Форма типа *prinositi* разлагается не на *pri + positi*; она образована от *prinesti* и должна разлагаться на *pri + pos + iti*. Комплекс *pri + pos + i* разлагается на *(pri + pos) + i*, где приставка *pri-* является более близкой морфемой (или более центральной), чем суффикс *-i-*. Именно поэтому славянские итеративы с приставками не становятся формами совершенного вида: они являются не сложными словами, а производными, образованными от сложных слов. Важной особенностью, сближающей слово с предложением и противопоставляющей его слогу, является тот факт, что внутренний порядок морфологических элементов слова не всегда совпадает с внешним. Так, морфологический признак среднего залога в индоевропейских языках стоит, как правило, в конце глагольной формы (*ābhagat-a*, *ḗféret-o*, *fert-ur*), хотя с функциональной точки зрения изменение залога, которое затрагивает лексическое значение слова (*tuer : mourir* «убивать : умирать», *perdre : périr* «губить : погибать» и т. д.), является более центральным, чем, например, изменение вида или времени.

Отметим, что, с другой стороны, слово имеет другую общую со слогом структурную особенность: фиксированный внешний порядок элементов (морфем).

Глоссематика еще только начинает свой путь. Всякая теория оправдывает свое существование, если она предлагает метод, который позволяет специалисту разрешать существующие проблемы, а также ставить и разрешать новые. Метод, выдвигаемый глоссематикой,— это метод внутреннего сравнения двух планов языка; мы нисколько не сомневаемся в том, что он позволит нам глубже изучить внутренние свойства, присущие языковым структурам. Из приведенных выше примеров видно, насколько при описании звукового плана возможно систематическое сравнение с планом содержания.

АЛЛОФОНЫ И АЛЛОМОРФЫ¹

(1958)

Распределение звуков языка выступает в двух формах, принадлежащих к разным планам: мена фонем, с одной стороны, и распределение комбинаторных вариантов одной и той же фонемы — с другой. Ср. нем. Rad(-t) «колесо» : Rades(-d) и Macht (χ) «власть» : Mächte (χ').

Комбинаторные варианты относятся к субфонологическому уровню («узус» в противопоставлении «норме» или «системе»). Хотя и нельзя отрицать, что комбинаторные варианты выполняют некоторые специфические, присущие им функции, эти функции не являются различительными и поэтому не относятся к фонологическому плану.

Оба класса явлений — мена фонем и комбинаторные варианты — имеют общую особенность: обусловленность, которая в обоих случаях носит одинаковый характер. Нельзя сказать, что мена фонем обусловлена ф о н о л о г и ч е с к и, а комбинаторные варианты — ф о н е т и ч е с к и. И там и здесь обусловленность определяется в фонологических терминах. Велярное произношение *a* в русск. *брат* и палатальный оттенок *a* в *брать* зависят от твердости (непалатальности) или мягкости (палатальности) конечных взрывных. Речь идет о релевантном (фонологическом) признаке окружения. То же самое мы имеем в Macht : Mächte. Противопоставление *з а д н и е г л а с н ы е* : *п е р е д н и е г л а с н ы е* является релевантным в немецком языке, ср. перегласовку (умлаут) *a* : *ä(e)*, *o* : *ö*, *u* : *ü*, *au* : *äu (eu)*.

Итак, одни и те же условия определяют как распределение фонем, так и распределение комбинаторных вариантов одной и той же фонемы. Так, в литовском языке велярные взрывные всегда палатализуются перед передними гласными. Но за палатальным *k* не всегда следуют

¹ J. K u r y ł o w i c z, Allophones et allomorphs, «Omajiu luforgu Iordan», 1958, стр. 495—500.

передние гласные, что придает этому *k* характер фонемы, так как возможно противопоставление *k* и *k* перед задними гласными, например *káuké* «маска»: *kiáuké* «галка». Однако во многих языках мягкость веллярных всегда обуславливается последующими гласными, так что эти мягкие — не что иное, как комбинаторные варианты. Таким образом, одни и те же условия определяют распределения двух типов: ф о н о л о г и ч е с к о е (распределение фонем) и с у б ф о н о л о г и ч е с к о е (распределение вариантов).

Возникает вопрос, существует ли аналогичная двойственность на м о р ф о л о г и ч е с к о м уровне? Действительно, дело обстоит именно так. Под влиянием морфологического окружения могут иметь место: 1) устранение контраста между двумя морфемами (явление управления) подобное мене фонем; 2) фонологическое изменение морфемы, не имеющее никакой морфологической функции.

Первый случай можно проиллюстрировать примерами управления или согласования. В таком словосочетании, как лат. *reg urbem*, аккузатив предопределяется предлогом; однако форма *urb-em* идентична с формой *urbem* в словосочетании *urbem defendere* и т. д. Все возможные контрасты аккузатива с другими падежами аннулируются после предлога. С этим полезно сравнить мену фонем и наличие «архифонем», идентичных негативному члену противопоставления п о з и т и в н ы й: н е г а т и в н ы й, например конечная фонема в русск. *град*, идентичная фонеме /t/ в противопоставлении *там*: *там* и т. д.

С другой стороны, мы имеем такие примеры, как и.-е. **liktós*, **klutós*, **pektós*, **settós* — отглагольные прилагательные, образованные от корней **leiqʷ*, **kleu*, **reqʷ*, **sed* соответственно. Словообразовательным элементом, выступающим во всех этих примерах, является суффикс -*tó*-. Изменение корневого вокализма имеет место только в части примеров: *eí* > *i*, *eu* > *u*, но *e* сохраняется без изменения. Таким образом, апофония зависит от фонологических факторов, хотя сама она — явление не фонологическое. Здесь перед нами фонологическая обусловленность, подчиненная морфологической обусловленности. Суффикс -*tó*- вызывает изме-

нение корневого вокализма лишь в том случае, когда это допускается структурой корня. С другой стороны, в корнях определенной структуры (*leiq^u, *kleu) изменение суффикса влечет за собой изменение степени огласовки корня (например, *loi^uq^u-ó-, наряду с *lik-tó-).

Это изменение вокализма корня не имеет самостоятельной морфологической функции. Повсюду в индоевропейских языках оно связано с суффиксацией или флексиями. То же самое можно сказать и о немецком умлауте. Мнимая морфологическая самостоятельность умлаута в Vater: Väter на самом деле может быть объяснена как управление субморфом (умлаутом) со стороны нулевой морфемы множественного числа (ср. der Mieter «наниматель»: die Mieter «наниматели» и т. д.); эта нулевая морфема выступает вместо -е после -er, -el, -en.

В санскрите или классическом греческом апофония или перемещение ударения, взятые сами по себе, не являются, вообще говоря, самостоятельными морфемами. Это не значит, что они не могут иметь морфологической функции. Известно, например, что в греческом существовала тенденция обращать имена нарицательные или прилагательные в имена собственные посредством простого перемещения ударения (γλαυκός «блестящий»: Γλαῦκος «Главк»). С другой стороны, в тех примерах из древних языков, которые обычно приводятся в данном случае, ударение играет особую роль. Нет никакой п р я м о й связи между гр. τόμος «разрез» и τομός «режущий» или между др.-инд. śádman- «сиденье» и sadmán- «сидящий». Каждый член такой пары произведен непосредственно от глагола; следовательно: τέμνω «режу»: τόμος и τέμνω: τομός; śīdati «сидеть»: śádman-и śīdati: sadmán-. Во всех этих примерах акцентуация, как и апофония, является с у б м о р ф о м, сопровождающим суффиксацию (-о- или -men).

Морфема -о- в первично абстрактных существительных требует ударения на предпоследнем слоге; морфема -о- в именах деятеля (в прилагательных) требует ударения на последнем слоге. Так же и далее. Таким образом, ударение — это субморф, обусловленный определенной морфемой. Так как морфема — это морф, наделенный морфологической функцией, суффиксы -о- в τόμ-о-ς (имя действия) и в τομ-ό-ς (имя деятеля) представляют собой

различные морфемы. Поэтому не удивительно, что они требуют различных субморфов (ударение на предпоследнем слоге: ударение на последнем слоге).

Существует, однако, возражение, причем столь естественное, что оно долго мешало лингвистам правильно понять структуру проанализированных выше форм. Кажется вполне закономерным, рассматривая $*lik-tó- < *leiq\text{,}$ считать морфемой, имеющей семантическую функцию, не просто $-tó-$, а $-tó-$ плюс апофонию. Но в $*pek-tó-$ или $*set-tó-$ отрезок $-tó-$ сам по себе является морфемой, служащей для образования отглагольных прилагательных. Это $-tó-$ считается идентичным суффиксу $-tó-$ в $*lik-tó-$. Апофония $ei > i$, присущая данной форме, — это прибавка, которая встречается не во всех формах данного ряда ($*lik-tó$, $*klu-tó$, $*pek-tó$, $*set-tó...$) и поэтому не может рассматриваться как характерный признак словообразовательной морфемы.

Вывод: суффикс $-tó-$ — это морфема, функционирующая в первичном словообразовании и служащая для образования отглагольных прилагательных. Суффикс $-tó-$ обуславливает определенные фонологические изменения (апофонию) в корнях некоторых типов.

Место ударения, например ударение на последнем слоге у образований на $-tó-$, должно рассматриваться иначе. В отличие от апофонии, которая охватывает лишь часть глагольных корней, ударение на конечном слоге имеет ту же сферу распространения, что и суффикс $-tó-$: оно присуще в с е м формам с этим суффиксом. Однако подчиненный характер ударения проявляется в том, что оно может отсутствовать, например, во втором компоненте двучленного сложного слова с ударением на предпоследнем слоге (= на первом компоненте). Вряд ли необходимо напоминать о том, что ударение является по своей природе п р о с о д е м о й и что оно н а к л а д ы в а е т с я на готовые фонологические структуры.

Другие примеры субморфов можно найти среди «соединительных» гласных и согласных, которые встречаются перед некоторыми суффиксами и в то же время обусловлены фонетическим составом предшествующей основы.

Между фонологическим и морфологическим планами существует полный параллелизм:

Фонологическая обусловленность	Морфологическая обусловленность
A_1 Устранение фонологического контраста $x:y$ в пользу x	B_1 Управление одной морфемой со стороны другой (= устранение морфологического контраста) ¹
A_2 Замещение фонемы ее вариантом (аллофоном)	B_2 Замещение морфа его вариантом (алломорфом)

Термин *алломорфы* употребляется в настоящей работе для обозначения ряда форм, которые характеризуются одной и той же морфемой, причем добавочные изменения встречаются только в части этих форм. Так, англ. *went* «шел», *go* «идти» по отношению к *sew-ed* «шил» < *sew* «шить» не является алломорфом в предлагаемом смысле.

По сравнению с явлениями A_1B_1 , явления A_2B_2 принадлежат к более низкому уровню: они принадлежат не к системе в узком смысле этого слова, а либо к субфонологическому (фонетическому), либо к субморфологическому (морфическому) плану. Но относительное различие между фонологическим и морфологическим планами сохраняется в A_2B_2 : варианты фонем не имеют различительной способности, в то время как аллофоны различаются с фонологической точки зрения и эти различия нейтрализуются лишь на уровне B_1 .

Далее рассмотрим некоторые следствия, вытекающие из наличия изоморфизма между планами A и B , каждый из которых характеризуется двумя возможностями, а именно либо однородностью, либо различием обуславливающих и обусловленных явлений (фонема : аллофон; морфема : алломорф).

Параллелизм фактов A_2 и B_2 заставляет более детально рассматривать появление фонологических вариантов, с одной стороны, и алломорфов — с другой. *A priori* представляется вероятным, что побудительные причины их

¹ Например, в предложной конструкции типа польск. *bez chleba* «без хлеба» генитив не имеет партитивного значения, присутствующего ему в выражении *daje chleba* «дает хлеба», противопоставленном выражению *daje chleb* «дает хлеб». Это различие устраняется в предложной конструкции.

возникновения окажутся одинаковыми, хотя процесс протекает по-разному в зависимости от природы каждого плана. В области морфологии возникновение субморфов, как, например, апофония или перемещение ударения, объясняется как *пол я р и з а ц и я*, то есть установление максимального различия между обосновывающей и обоснованной формами (см. J. K u g u ł o w i c z, L'ascentuation des langues indo-européennes, стр. 46, а также L'arophonie en indo-européen, стр. 10).

Углубление различия между исходным словом и его производным может быть результатом фонетической эволюции, ср. *lik-tó-, *klu-tó- наряду с глагольными корнями *leiq̣-, *kleu. Редукция корневого вокализма объясняется предударной позицией корневого слога, но, например, обобщение тембра *о*, который был первоначально ограничен определенной фонологической позицией, в сильных формах перфекта и корневых отглагольных именах (L'arophonie, стр. 45 и 49) — факт, который объясняется *пол я р и з а ц и е й*: различие между *léiq̣-eti и *le-lóiq̣-e, *loik-s большее, чем между *leiq̣-eti и *le-léiq̣-e, *leik-s. Таким образом, существует тенденция к увеличению числа признаков, отличающих производное слово от исходного (или — в более общем виде — обоснованную форму от обосновывающей, L'arophonie, стр. 6). Не следует, однако, забывать, что эта тенденция реализуется в пределах зоны основной морфемы. В приведенных примерах распространение (или, скорее, обобщение) ступени *о*, присущей вначале лишь слабым формам корней одного особого типа, осуществляется под влиянием окончаний перфекта и корневого склонения. Субморф *с т у п е н ь о* встречается не во всех формах перфекта и не во всех корневых отглагольных именах. Если гласный корня — *о* (или *э*), то в перфекте и в корневом имени перегласовка не наблюдается.

Термин *пол я р и з а ц и я* относится прежде всего к в н е ш н е м у аспекту описанного явления; основной мотив, вызывающий данное явление, — несомненно *э к с п р е с с и в н о с т ь*. Отметим, что здесь этот термин употребляется более точно, чем в стилистике или литературоведении. Не касаясь семантической функции, мы прибавляем к производной (обоснованной) форме опреде-

ленные характеристики, которые предоставляются в наше распоряжение данной языковой системой и служат для максимального выделения производной формы на фоне, представленном исходным словом (обосновывающей формой).

Можно ли говорить то же самое о явлениях A_2 ? Иначе говоря, объясняется ли происхождение комбинаторных вариантов тоже экспрессивностью в указанном смысле? Ответ оказывается утвердительным. Более того, в свете фактов B_2 нам удастся правильно интерпретировать происхождение и функционирование комбинаторных вариантов¹ (A_2):

комбинаторные варианты делают более экспрессивными те фонемы, под влиянием которых они появляются.

В таком примере, как русск. *брат* : *брать*, палатальность *-ть* подчеркнута передним произношением предшествующего *а*. Расстояние между непалатальным *-т* и палатальным *-ть* увеличивается благодаря палатальному оттенку гласного в *брать*, который противостоит велярному тембру гласного в *брат*. Различие между *п е р е д н и м* и *з а д н и м* г л а с н ы м в нем. Macht : Mächte усиливается и подчеркивается характером *ch* (велярный: палатальный).

Учитывая факты B_2 , мы склоняемся к тому, чтобы объяснять становление комбинаторных вариантов A_2 экспрессивностью, которая использует с у б ф о н о л о г и ч е с к и е элементы. В B_2 экспрессивность использует для своих целей ф о н о л о г и ч е с к и е элементы.

Экспрессивность в точном смысле термина — это активная сила, обуславливающая эволюцию языка. Однако этого понятия недостаточно, чтобы объяснить все. Наряду с необходимостью различения существует пассивная сила идентификации, неразличения элементов, которые до сих пор различались. Аллофоны и алломорфы не только появляются, но и исчезают.

¹ Под комбинаторными вариантами мы понимаем все варианты, кроме главного («нейтрального»).

При изучении апофонии или акцентуации в индоевропейских языках и объяснении распространения этих явлений приходится на каждом шагу прибегать к принципу поляризации. Характер апофонии и акцентуации тот же, что и дифференциации аллофонов фонем. Степень произвольности или случайности в обоих рядах фактов абсолютно одинакова. Ведь и в области фонологии до сих пор еще не получен ответ на вопрос, почему в некоторых случаях две фонемы стремятся удалиться друг от друга, порождая комбинаторные варианты, а в других случаях, наоборот, — варианты исчезают. Может быть, ответ следует искать вне лингвистики как таковой.

С точки зрения диахронии параллелизм не менее поразителен.

Самый распространенный тип фонологической эволюции может быть охарактеризован следующей формулой: идентификация обуславливающих факторов и в результате — выделение обусловленных фактов, то есть комбинаторных вариантов, которые становятся релевантными. Так, латинская оппозиция $\epsilon : \bar{\epsilon}$, $\omicron : \bar{\omicron}$ и т. д., реализованная как $\epsilon : \bar{\epsilon}$, $\omicron : \bar{\omicron}$, где долгота обуславливает закрытое произношение, перешла после исчезновения фонологического количества в оппозицию $e : \bar{e}$, $o : \bar{o}$ и т. д. Тембр (открытый : закрытый) стал в свою очередь фонологическим средством. Другой пример: исчезновение i в позиции после согласного (в славянских и романских языках, в древнеанглийском, шведском и т. д.) повлекло за собой появление контраста непалатальные согласные : палатальные согласные. В группах $Ti\alpha$ - (которые противопоставлены группам Ta -) согласный i как бы проникся палатальностью, которая стала релевантной лишь в момент падения последующего i (то есть когда i было идентифицировано с нулем).

Субморф может также возвыситься в ранг морфемы. Когда по какой-либо причине исчезает различие между основными морфемами, морфологическую функцию берет на себя именно субморф. Так, в английском различие между *I read* «я читаю» (презент) и *I read* «я читал» (претерит), которое состоит в противопоставлении различных гласных в корне ($i : \bar{e}$), заменило старый контраст, существовавший в среднеанглийском *ich rede : ich rēdde*, где

основная морфема претерита представлена дентальным согласным, а сокращение корневого гласного — это всего лишь побочное явление. Однако фонетическая эволюция не является единственной причиной «морфологизации» субморфов. В такой же степени важны и сдвиги в системе деривации. Известное различие между ударением на последнем слоге в прилагательных и ударением на предпоследнем слоге в существительных в индоевропейских языках идет от в т о р и ч н о г о противопоставления двух классов отглагольных производных, одних с ударением на последнем слоге, других — на предпоследнем. Например, как только в древнеиндийском вместо *sídati : sádman-* и *sídati : sadmán-* появилось противопоставление *sádman : sadmán-*, идентичность основных морфем придала акцентуации морфологическую роль.

Перейдем теперь к проблеме исчезновения комбинаторных вариантов и субморфов.

Исчезновение комбинаторных вариантов несколько не затрагивает эволюции фонологической системы. После исчезновения релевантного контраста ($x : y$) x и y могут по-прежнему оставаться комбинаторными вариантами. В средненемецком и среднеанглийском краткие гласные в открытом слоге под ударением (то есть перед простыми согласными) подверглись удлинению. С другой стороны, удвоенные согласные встречаются в интервокальном положении только после кратких гласных. Старая система $-āTa- : āTa- : āTTa-$ была сведена к $-āTa- : āTTa-$. Различие между T и TT , обусловленное количеством предшествующего гласного, перестало быть фонологическим. Однако оно еще долго сохранялось на субфонологическом уровне (и не только в орфографии). Можно также предположить, что изменение гласных $ě : ē > ę : ę$ в романских языках прошло через такой этап, где долгота, уже перестав быть релевантной, прежде чем исчезнуть, сопровождала в течение некоторого времени закрытое произношение гласных. Романские языки дают пример изменения вариантов ($ę : ę$) в фонемы и изменения фонем ($ě : ē$) в варианты. Морфологическая эволюция также может идти в обоих направлениях: $субморф > морфема$ и $морфема > субморф$ (ср., например, развитие различных

«соединительных» гласных и согласных с нулевой морфологической значимостью).

Положение субморфов в области морфологии, аналогичное положению комбинаторных вариантов фонем, является неустойчивым. Бесспорно, что в некоторых индоевропейских языках, сохраняющих старые морфемы с их традиционными семантическими функциями (-to-, -ti-, -u-...), корневая апофония, которая является субморфом, приходит в упадок (особенно в итало-кельтских).

Если задать себе вопрос, какие силы подрывают основы существования аллофонов или алломорфов, на ум приходит только одна возможность: механический сдвиг границы между основным вариантом и второстепенным вариантом. Дело в том, что сначала варианты v_1 и v_2 (v_3 , v_4 ...) не только отчетливо разграничены — формы v_2 , v_3 , v_4 ..., кроме того, подчинены основному варианту v_1 . Переход $v_2 > v_1$ может повлечь за собой идентификацию всех вариантов v_2 с v_1 , что равноценно исчезновению варианта v_2 . Старая латинская долгота, которая в романских языках оказалась на субфонологическом уровне ($\ddot{e} : \bar{e}$), с момента сокращения безударных гласных (безударные $\bar{e}$ превращаются в $\ddot{e}$) начала полностью утрачиваться. В итало-кельтском некоторых изменений гласных (например, лат. $e > o$, $o > e$, $f > og$...) оказалось достаточно, чтобы пошатнуть всю унаследованную систему апофонии и способствовать ее полному разрушению. Впрочем, этот вопрос еще нуждается, естественно, в подробном исследовании. В индоевропейском в именном склонении основной морфемой было окончание, а субморфом — место ударения. Однако у основ с ударением на конечном слоге ударение на окончании и ударение на основе совпали в результате падения ослабленных промежуточных гласных, например вин. п. * $r\acute{a}t\acute{e}r-m$ →(ударение на основе): дат. п. * $r\acute{a}t_e r-\acute{e}i$ (ударение на окончании) переходит в * $r\acute{a}t\acute{e}r-m$: * $r\acute{a}tr-\acute{e}i$. Ударение становится к о л о н н ы м, то есть отныне оно падает всегда на один и тот же слог, считая от начала слова (в нашем примере — на второй слог). Это влечет за собой исчезновение подвижности ударения во всех двусложных и многосложных основах с ударением на предпоследнем слоге, по вполне определен-

ным причинам субморф ударения сохраняется только у односложных основ.

Цель вышеизложенных замечаний — помочь исследованию проблемы изоморфизма¹.

Хотя очевидно, что оба плана — фонологический и морфологический — различаются и числом своих элементов, и своими структурными возможностями, ясно, что систематическое сопоставление обоих планов поможет исследовать некоторые сложные проблемы, выделить их семиологическую сущность и вскрыть ряд особенностей, которые до сих пор отмечены не были.

¹ Е. Курилович, Понятие изоморфизма, см. настоящий сборник, стр. 21.

ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРЫ ЯЗЫКА: СЛОВСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ¹

(1948)

Предложением в грамматическом смысле термина является двучленный комплекс, сущность которого состоит в противопоставлении сказуемого подлежащему или, в более сложных случаях, в противопоставлении группы сказуемого группе подлежащего например *Au mois de mars de l'année courante les journées étaient le plus souvent brumeuses et fraîches* «В марте этого года дни были чаще всего туманными и прохладными».

Эту характерную двучленность, которую называют предикативным членением предложения, лингвисты и логики часто сравнивают с двучленностью словосочетаний (синтаксических групп), например существительное + прилагательное (*une fleur rouge* «красный цветок»), существительное + существительное в генитиве (*les remparts de la ville* «стены города»), прилагательное или глагол + наречие (*extrêmement timide* «крайне робкий», *ressentir douloureusement* «болезненно переживать»), глагол + существительное в косвенном падеже или существительное с предлогом (*lire un livre* «читать книгу», *être couché au lit* «лежать в постели») и т. д. В этих примерах синтаксическое отношение между определяющим и определяемым членами всюду одинаково (*fleur : rouge; remparts : ville* и т. д.). Это — отношение детерминации (определения), которое можно назвать атрибутивным ² (в широком значении этого термина) отношением в противоположность предикативному отношению, характеризующему предложение. Раз-

¹ J. Kuryłowicz, *Les structures fondamentales de la langue: groupe et proposition*, SPh, III, 1948, стр. 203—209.

² Отметим, что мы употребляем термин *attribut* «атрибут» всегда в интернациональном значении слова. Известно, что во французской грамматике этот термин имеет другое значение. Прилагательное группы *fleur rouge* там называется *épithète*, в то время как термин *attribut* сохраняется за предикативным употреблением прилагательного (*la fleur est rouge* «цветок красен»).

личные разновидности атрибутивного отношения зависят только от части речи слов, составляющих словосочетание.

Тот факт, что мы рассматриваем отношение между определяющим и определяемым членами как одинаковое во всех указанных случаях, объясняется тем, что речь идет только о словосочетаниях, то есть о комплексах, которые играют в предложении ту же синтаксическую роль, что и определяемые члены, взятые отдельно. В данном выше примере словосочетание *au mois de mars de l'année courante* «в марте этого года» с синтаксической точки зрения эквивалентно словосочетанию *au mois de mars* «в марте»; словосочетание *étaient le plus souvent brumeuses et fraîches* «были чаще всего туманными и прохладными» эквивалентно словосочетанию *étaient brumeuses et fraîches* «были туманными и прохладными». Опуская определяющие (или второстепенные) члены словосочетания, мы ничего не меняем в синтаксической структуре предложения, поскольку внешние связи словосочетания — это связи определяемого (или конституирующего) члена с другими частями предложения.

Анализируя временное определение (то есть обстоятельство времени) *au mois de mars de l'année courante*, мы находим, что определяемый, или конституирующий, член этого словосочетания (*au mois de mars*) содержит показатель внешней зависимости (*au* = *à le*) от глагольного сказуемого фразы, в то время как *de l'année courante* содержит показатель внутренней зависимости (*de*) от определяемого, или конституирующего, члена словосочетания.

То обстоятельство, что в своих внешних связях словосочетание представлено только определяемым членом, имеет основополагающее значение для нашего дальнейшего рассуждения. Отметим попутно, что синтаксическую группу (словосочетание) в том значении, которое придается здесь этому термину, нельзя смешивать с комплексами из однородных членов (нем. *Wortreihen* в противоположность *Wortgruppen*), например *Pierre et Paul* «Пьер и Поль», *rouge et noir* «красный и черный», *ni ami ni ennemi* «ни друг, ни враг» и т.д., где слова, участвующие в одинаковых отношениях, как бы выносятся за скобки. Так, например, *Pierre et Paul erraient dans le bois* «Пьер и Поль бродили

по лесу» — это своего рода сокращение высказывания *Pierre errait dans le bois et Paul errait dans le bois* «Пьер бродил по лесу и Поль бродил по лесу». В таких комплексах слова являются однородными членами и между ними не существует никакого отношения детерминации, или подчинения. В интересующих же нас группах (словосочетаниях) такое отношение имеет место.

На первый взгляд может показаться, что существует исключение из правила, согласно которому словосочетание представлено в своих внешних синтаксических связях лишь определяемым членом. Словосочетание *de l'année courante* «этого года» представлено определяемым (конституирующим) членом *de l'année* «года». В то же время данное словосочетание, взятое целиком, играет роль определяющего внутри большего словосочетания *au mois de mars de l'année courante* «в марте этого года», чем и объясняется форма генитива у существительного *l'année*, зависящего от существительного *mois*. В языках типа латинского (*annī currentis* «этого года») прилагательное тоже принимает форму генитива, что создает впечатление одинаковой зависимости обоих членов словосочетания *annī currentis* от определяемого словосочетания, так как и конституирующий член *annī*, и второстепенный член *currentis* принимают форму генитива. Однако это лишь кажущееся исключение. В форме *currentis* генитив имеет иную синтаксическую функцию, нежели в форме *annī*. Окончание *-i* в *annī* — показатель внешней связи словосочетания, то есть показатель того, что словосочетание *annī currentis* само по себе является определяющим членом внутри большего словосочетания. Окончание *-is* в *currentis*, напротив, выражает внутреннюю связь словосочетания — связь между определяющим (*currentis*) и определяемым (*annī*). Отсюда практическое правило: атрибут («*adjectif épithète*» во французском) согласуется со своим существительным в падеже, числе и роде (явление грамматического согласования). Согласование только внешне выглядит исключением из правила, согласно которому во внешних синтаксических связях словосочетания участвует лишь определяемый, или конституирующий, член.

В примере *au mois de mars de l'année courante* словосочетание *de l'année courante* является определяющим

членом внутри большего словосочетания. Au mois de mars определяется целым словосочетанием. Проанализируем подробнее пример определения некоторого словосочетания одним словом. В таком словосочетании, как *les remparts de la ville* «стены города», оба его члена могут быть определены прилагательным, например *ancien* «древний»: смысл словосочетания *les anciens remparts de la ville* «древние стены города» отличается от смысла словосочетания *les remparts de l'ancienne ville* «стены древнего города». Но если мы хотим определить с помощью прилагательного *ancien* словосочетание *les remparts de la ville* в целом, то ничего другого, кроме *les anciens remparts de la ville*, мы не получим, так как *les remparts de la ville* «стены города» — это в конечном счете *remparts* «стены», а не *ville* «город». Иначе говоря, определить словосочетание — значит определить его определяемый (конституирующий) член.

Поэтому, анализируя словосочетание *les anciens remparts de la ville*, можно с равным основанием полагать, что либо *les anciens remparts* определяется посредством *la ville*, либо *les remparts de la ville* определяется посредством *ancien*. Оба определяющих одинаково зависят от *remparts*. Тонкое семантическое различие между *les anciens — remparts de la ville* и *les anciens remparts — de la ville*, если оно и существует, относится к области экспрессии и стиля, но не грамматики.

Эти соображения заставляют нас сделать следующий вывод: синтаксическая функция словосочетания выполняется его определяемым (конституирующим) членом независимо от того, каким членом — определяющим или определяемым — является это словосочетание внутри большего словосочетания.

Какова же в свете всего изложенного выше структура предложения? Нельзя отрицать сходства между *la rose rouge* «красная роза» и *la rose est rouge* «роза — красная» с точки зрения наличия отношения детерминации и определенной иерархии между членами. В предложении *la rose est rouge* подлежащее (*la*) *rose* определено сказуемым *est rouge*, так же как в словосочетании *la rose rouge* существительное (*la*) *rose* определено атрибутом (*adjectif épithète*) *rouge*. Характер подчинения слова *rouge* слову

(1a) *rose* в словосочетании и в предложении одинаков. Подчинение осуществляется в обоих случаях путем согласования, поскольку форма прилагательного *verte* (число, род) зависит от существительного, выступающего в роли подлежащего (*l'herbe est verte* «трава — зелен-ая»). Окончание прилагательного само по себе не выполняет никакой другой функции, кроме выражения подчинения сказуемому подлежащему. То же наблюдается при глагольном сказуемом: *la rose fleurit* «роза цветет», *les roses fleurissent* «розы цветут» (в некоторых языках имеет место также согласование и в роде).

Таким образом, критерий детерминации и иерархии не позволяет нам констатировать различие между словосочетанием и предложением.

Чтобы обнаружить существенное различие между двумя типами структуры, рассмотрим подробнее предложения, входящие в качестве отдельных элементов в более сложные структуры.

Мы будем различать здесь два случая:

1) предложение определяется словом или словосочетанием;

2) предложение определяется другим предложением.

1) Самая важная из возникающих здесь проблем — проблема синтаксической связи между союзом и придаточным предложением. Неважно, рассматриваем ли мы союз как самостоятельное слово (или группу слов: фр. *sans que* «без того, чтобы», *dans le cas où* «в случае, если») или несамостоятельное. Важно то, что союз вступает в тесную связь со сказуемым придаточного предложения. Иначе говоря: формальное преобразование главного предложения в подчиненное состоит в употреблении (подчинительного) союза, который вызывает определенные формальные изменения сказуемого: изменение времени, наклонения, позиции глагола. Ср. употребление сослагательного наклонения в придаточных предложениях, которое часто не является самостоятельным, а зависит только от союза, например лат. *postquam hostes reppulit: cum hostes repulisset* «когда он отразил врагов». Ср. в немецком постановку сказуемого (глагола) в конце придаточного предложения: предложение *Er kann nicht heiraten, seine materiellen Verhältnisse erlauben es nicht* «Он не может женить-

ся, его материальные обстоятельства не позволяют этого» превращается в *Er kann nicht heiraten, weil seine Verhältnisse es nicht erlauben* «Он не может жениться потому, что его материальные обстоятельства этого не позволяют». Все слова второго предложения, ставшего придаточным, сохраняют свои прежние места, кроме сказуемого.

Связь между придаточным предложением и союзом напоминает связь между словосочетанием (существительное + прилагательное) и предлогом, который им управляет. Точно так же, как в словосочетании *avec la rose rouge* «с красной розой» предлог *avec* связан прежде всего с существительным *rose*, в придаточном предложении *quand les arbres commencent à verdir* «когда деревья начинают зеленеть» союз связан прежде всего со сказуемым.

Итак, мы видим, что именно сказуемое (на практике личный глагол или связка) представляет внешние синтаксические связи предложения. Вот почему определить предложение некоторым словом — значит определить сказуемое предложения. Бесплодны были бы попытки понять, определяет ли словосочетание *au mois de mars de l'année courante* (в предложении *Au mois de mars de l'année courante les journées étaient le plus souvent brumeuses et fraîches*) только сказуемое или все предложение *les journées étaient le plus souvent brumeuses et fraîches*. Мы видели выше, что определить все словосочетание целиком (*les remparts de la ville*) — значит определить конституирующий член словосочетания (*les anciens remparts*). Аналогично, определить все предложение — значит определить сказуемое предложения. Таким образом, разрешается часто обсуждаемая грамматистами проблема большей или меньшей независимости обстоятельственных оборотов: связаны ли они со всем предложением или только со сказуемым? Мы говорим, что грамматически это одно и то же, так как сказуемое представляет все предложение. Вопрос о степени связанности обстоятельственного оборота с остальной частью предложения относится уже к области стиля¹.

¹ Разумеется, исключаются случаи, когда обстоятельственный оборот определяет непосредственно существительное или прилагательное, например *the man in the street* «человек на улице», *breit in den Schultern* «широк в плечах» и т. д.

Весьма показательны в этом отношении случаи с отрицанием. В немецком языке отрицание непосредственно предшествует отрицаемому слову: *Nicht der Lehrer hat mich heute belobt* «Не учитель меня сегодня похвалил», *Nicht mich hat der Lehrer heute belobt* «Не меня сегодня похвалил учитель», *Nicht heute hat mich der Lehrer belobt* «Не сегодня меня похвалил учитель». Но в случае, когда отрицается все предложение, отрицание ставится непосредственно перед сказуемым (глаголом). *Hat dich der Lehrer heute belobt? Nein. Der Lehrer hat mich heute nicht belobt.* «Похвалил тебя сегодня учитель? Нет. Сегодня учитель меня не похвалил».

Следует наконец упомянуть о модальности предложения, то есть о субъективном отношении говорящего к высказыванию (сомнение, желание и т. д.). Модальность может быть выражена самостоятельными словами, например *sans doute* «несомненно», *peut-être* «может быть» и т. д. Но если модальность выражается суффиксами (а не самостоятельными словами), то всегда глагольными (субъектива, оптатива и т. д.). Таким образом, модальность, связанная с содержанием всего предложения, прикрепляется именно к сказуемому.

2) В тех случаях, когда одно предложение определяется другим, представителями соответствующих предложений выступают именно сказуемые. Изменение формы глагола (сказуемого) в придаточном предложении определяется сказуемым (глаголом) главного предложения, например: *Je sais, qu'il écrit; Je savais qu'il écrivait* «Я знаю, что он пишет»; «Я знал, что он пишет». Согласование времен — результат зависимости «сказуемое придаточного предложения : сказуемое главного предложения». Другие члены главного предложения подобной зависимостью не связаны. Ср. также употребление в латинском языке конъюнктива во всех предложениях, зависящих от предложения с конъюнктивом.

Широко известен тот факт, что семантика глагола главного предложения часто определяет наклонение глагола придаточного: *J'ordonne qu'il le fasse* «Я приказываю, чтобы он сделал это»; *Je crains qu'il ne le fasse* «Я боюсь, как бы он не сделал этого».

Когда главное и придаточное предложения находятся в простом соположении и не соединены союзом, их связь часто выражается специальным порядком слов в придаточном предложении, а именно специальной позицией личного глагола этого предложения: *eût-il essayé encore une fois, il eût réussi* «Попробуй он еще раз, ему бы это удалось». То же самое наблюдается в английском и немецком.

Нет необходимости увеличивать число примеров. Итак, предложение представлено в своих внешних связях сказуемым, то есть определяющим членом, в отличие от словосочетания, которое, как мы видели, представлено определяемым членом.

Можно сформулировать различие между словосочетанием и предложением следующим образом: конституирующим членом словосочетания является определяемый член, а конституирующим членом предложения — определяющий, то есть сказуемое.

Или, иначе говоря: двухчленный организованный (в соответствии с принципом иерархии членов) комплекс является словосочетанием, если конституирующий член — определяемый, и предложением, если конституирующий член — определяющий.

Обычно лингвисты совершенно верно отмечают различие между словосочетанием (*la rose rouge*) и предложением (*la rose est rouge*). Словосочетание (*la rose rouge*) строится для существительного *rose*. Во втором случае, напротив, предложение существует или строится только для сказуемого (*être rouge*), но не для подлежащего (*rose*). Это интуитивное мнение подтверждается приведенным формальным лингвистическим доказательством. Формальным представителем словосочетания является его определяемый член, формальным представителем предложения — определяющий член, то есть сказуемое. Словосочетание выполняет ту же синтаксическую функцию, что и его определяемый член. Предложение выполняет ту же синтаксическую функцию, что и его сказуемое (личный глагол). Сводя предложение к его конституирующему члену, мы получаем безличное предложение (типа лат. *pluit* «идет дождь», *ninguit* «идет снег», *oportet* «надо, полезно» и т. д.). Безличные предложения являются предложениями с функциональной

и формальной точки зрения. Слова или группы слов типа: *Nuit. Bruit lointain de canons. Va-et-vient continuel de soldats.* «Ночь. Далекий гул пушек. Непрерывное движение солдат» можно рассматривать как выполняющие функцию предложений (*Satzäquivalente*), но они не являются предложениями с формальной точки зрения, так как лишены конституирующего члена — сказуемого (личного глагола).

В связи с вышесказанным возникает ряд ожидающих своего разрешения проблем:

1. Встречается ли в других областях, кроме языковой, противопоставление между комплексом (структурой), в котором конституирующим является определяемый элемент, и параллельным комплексом, где конституирующим является элемент определяющий?

2. Какое значение имеет констатация этого противопоставления для теории структуры объектов (специальных объектов: синтем и синтезов)?

3. Имеется ли связь, прямая или косвенная, между обеими элементарными формами языкового сознания, словосочетанием и предложением, и понятиями пространства (субстанции) и времени (изменения)?

ДЕРИВАЦИЯ ЛЕКСИЧЕСКАЯ И ДЕРИВАЦИЯ СИНТАКСИЧЕСКАЯ

К теории частей речи¹

(1936)

Между лексическим значением части речи и ее синтаксическими функциями существует определенное отношение. Оно отражается на направлении процессов деривации и, по-видимому, не зависит от индивидуальных особенностей языковых систем.

Совсем недавно Слотти² обрисовал двойственный характер частей речи. По его мнению, они представляют собой категории (слов), обладающие, с одной стороны, некоторым очень общим лексическим (или семантическим) значением, а с другой стороны,— определенной синтаксической функцией. Так, например, существительное обозначает предмет и в то же время выполняет функцию подлежащего и дополнения, прилагательное обозначает качество предмета и одновременно выполняет функцию определения, глагол обозначает изменение, состояние (временное) или действие и функционирует как сказуемое

¹ Сообщение, представленное на Копенгагенский лингвистический конгресс. J. Kuřutowicz, *Dérivation lexicale et dérivation syntaxique* (Contribution à la théorie des parties du discours), BSL, 37, 1936, стр. 79—92.

Сегодня вместо лексическая: синтаксическая автор предпочел бы употребить термины семантическая: синтаксическая, сохранив термин лексическая для соотношения с термином грамматическая. Флексия может включать и семантические и синтаксические черты, ср. число и падеж в склонении существительных.

Что касается отношения между членами предложения и частями речи, то их иерархия зависит в каждый данный момент от точки зрения говорящего. В акте кодирования синтаксическая функция заставляет нас выбрать наиболее подходящую для нее часть речи. В акте декодирования часть речи позволяет нам правильно воспринять синтаксическую структуру высказывания.

² С.м. Slotty, *Problem der Wortarten*, «Forschungen und Fortschritte», VIII, 1932, стр. 329—330.

и т. д. С другой стороны, существуют, например, формы, обозначающие действие и функционирующие как подлежащее или дополнение (отглагольные существительные); существуют «анафорические» прилагательные, которые являются настоящими прилагательными с точки зрения их лексического значения, но с синтаксической точки зрения функционируют как существительные; существуют причастия, лексическое значение которых эквивалентно лексическому значению соответствующего личного глагола, но которые с точки зрения их синтаксической функции могли бы рассматриваться как прилагательные, и т. д. Попытка Слотти установить соотношение между лексическим значением и синтаксической функцией кажется с первого взгляда одним из тех философских построений, которые претендуют на почетное место в общей грамматике, но, будучи неприменимы ни к одному реальному языку, остаются бесплодными и не имеют практического значения для собственно лингвистики. В самом деле, может показаться, будто возможность сочетания данного лексического значения с любой синтаксической функцией является блестящим подтверждением независимости двух рядов значений или грамматических функций (значений лексических или семантических, с одной стороны, и значений синтаксических — с другой). Если это так и независимость данных классов функций действительно имеет место, можно устанавливать части речи, исходя либо из одной, либо из другой функции, то есть либо с лексической, либо с синтаксической точки зрения. В зависимости от того, какая точка зрения будет принята, слово *roi* в примерах *Le roi (est mort)* «Король (умер)» и *(Louis XIV) le roi (de France)* «(Людовик XIV) король (Франции)» будет принадлежать к одной и той же или к разным частям речи. Из этого можно было бы сделать следующие выводы: 1) различие между существительным, прилагательным, глаголом, наречием может быть установлено только с одной точки зрения — лексической, как мы увидим, наиболее важной; 2) отношения между лексическим значением и синтаксической функцией не существует. Первый вывод верен, но против второго справедливо восстанут как традиционная грамматика, так и лингвисты-практики. Из того факта, что слово, обознача-

ющее качество (то есть прилагательное), может выполнять функции и определения, и сказуемого, и самостоятельного определяемого (анафорическое прилагательное), отнюдь не следует, что все эти синтаксические функции в равной степени присущи рассматриваемой части речи. Иначе говоря, лингвист-практик выступит за понятие *первичной синтаксической функции* (и *вторичных синтаксических функций*), которое мы находим уже в упомянутом труде Слотти.

Само собой разумеется, что объективное обоснование различия между первичной и вторичной функцией следует искать прежде всего в самом языке, то есть в формальных моментах, а не во внеязыковых явлениях, какими являются, например, общие условия действительности или психический склад. Общий закон, касающийся отношения первичной синтаксической функции к вторичным синтаксическим функциям, состоит в следующем:

Если изменение синтаксической функции некоторой формы (некоторого слова) *A* влечет за собой формальное изменение *A* в *B* (при той же лексической функции), первичной синтаксической функцией является та, что соответствует исходной форме, а вторичной — та, что соответствует производной форме. Примеры: лат. *amat* «он любит» и *amans* «любящий» различаются только по синтаксической функции. Лексическое значение (действие) в обоих случаях одинаково; но, поскольку именно причастие образовано от личного глагола, а не наоборот, можно считать, что у слов с лексическим значением действия (то есть у глаголов) первичной является функция сказуемого, а вторичной — функция определения. Соответственно, факт образования, например, в германских языках слабого прилагательного от сильного свидетельствует о том, что функция определения является первичной функцией прилагательного, а функция анафорическая — вторичной. Формальные различия между первичной и вторичными функциями могут быть присущи не словам, а словосочетаниям, частью которых является рассматриваемое слово. Вместо того чтобы говорить о формальном различии,

удобнее пользоваться термином «различие синтаксического окружения, или синтаксических условий». Так, в большинстве современных индоевропейских языков предикативное прилагательное образовано от прилагательного-определения посредством глагола «быть», например *rouge: est rouge* «красный : красен» (букв. «есть красный»). В русском языке, где сохраняется простая (= несоставная) форма славянского прилагательного в предикативном употреблении, эта простая (краткая) форма образуется от составной (полной), употребляемой в качестве определения. Направление процесса деривации изменилось вследствие изменения синтаксической функции форм. Современное направление деривации определяется сопоставлением таких пар, как *белый* — *бел*, с одной стороны, и *маленький* — *маленький* — с другой. Сосуществование подобных пар предполагает отношение *белый* (исходная форма) → *бел* (производная форма).

В достаточно распространенных случаях фонетического совпадения номинатива и аккузатива существует отношение деривации между двумя синтаксическими употреблениями этих форм существительного, которое можно сформулировать так: именно аккузатив образуется от номинатива, поскольку аккузативу отводится определенное место по отношению к глаголу (например, вообще после глагола или непосредственно после глагола). Место аккузатива отмечено, или мотивировано, а место номинатива — не отмечено, или не мотивировано. Известно, что в процессе синтаксической деривации (в отличие от лексической) используются не только суффиксы, окончания и т. д., но также морфемы, присущие словосочетанию, а не слову («Gestalt-qualitäten»).

Из сказанного следует, что слова обладают первичной синтаксической функцией в зависимости от их лексического значения (существительное : подлежащее, прилагательное : определение к существительному, глагол : сказуемое, наречие : определение к глаголу) и что всякое употребление их в другой синтаксической функции, отличной от первичной, является с формальной точки зрения мотивированным и отмечен-

ным употреблением. Структурный анализ языка доказывает, что «устаревшая» теория, устанавливающая соотношения между частями речи и их синтаксическими функциями, не лишена основания. Возражение, состоящее в том, что части речи могут играть любую роль в синтаксической структуре словосочетания или предложения, не учитывает того факта, что между различными синтаксическими функциями одной части речи существует иерархия и для каждой части речи имеется основная (исходная), или первичная, синтаксическая функция. Хотя мы и согласны с В. Брёндалем, когда настаиваем на строгом различении лексических и синтаксических функций слов, подчеркивая лексический характер частей речи¹, мы утверждаем, с другой стороны, что первичные синтаксические функции вытекают из лексических значений частей речи и представляют собой своего рода транспозицию этих значений. Мы употребляем термин «деривация» в широком смысле слова, понимая под деривацией не только факт образования одних слов от других с целью передачи синтаксических функций, отличных от синтаксических функций исходных слов, но также и тот факт, что одно и то же слово может выступать в разных в т о р и ч н ы х синтаксических значениях, будучи в о т м е ч е н н о м синтаксическом окружении. Мы допускаем, что Слотти прав, приписывая каждой части речи свое лексическое (семантическое) значение и свою синтаксическую функцию, однако он не подчеркивает, что вторая функция просто вытекает из первой. Вводя термин «первичная синтаксическая функция», Слотти не дает ему удовлетворительного объяснения. Л. Ельмслев в «*Principes de grammaire générale*» (стр. 331) говорит об обычной (*ordinaire*) функции частей речи. Очевидно, это понятие идентично понятию первичной функции у Слотти, однако Ельмслев тоже не определяет его.

Итак, понятие синтаксической деривации кажется ясным. Синтаксический дериват — это форма с тем же лексическим содержанием, что и у исходной формы, но с другой синтаксической функцией; она обладает синтакси-

¹ L'autonomie de la syntaxe, JP, XXX, 1933, стр. 217 и сл.; Ordtklasserne, стр. 234—235.

ческой морфемой («Feldzeichen» у Карла Бюлера, «Sprachtheorie», стр. 35). Например: флексия у германского прилагательного, фиксированное место дополнения по отношению к глаголу; артикль, служащий для субстантивации, — *tò vōv* «нынешнее время», *das Hier und Jetzt* «здесь и теперь, здешнее и теперешнее» и т. д. (выше мы видели, что *Feldzeichen* может быть присущ слову или большей синтаксической единице). Отсюда наличие форм, которые трудно поместить в какой-либо из традиционных классов. Анафорическое прилагательное (например, слав. **dobъrъ-jъ*) обычно относят к прилагательным, а приглагольный падеж типа лат. *fergō* «железом» считают особой формой существительного на основании лексического значения; в то же время такое слово, как фр. *franchement* «откровенно», рассматривается как наречие на основании синтаксической функции, а причастия иногда выделяют в особый класс, поскольку они с лексической точки зрения являются глаголами, а с точки зрения своей первичной синтаксической функции — прилагательными. Грамматисты справедливо опираются чаще на лексическую функцию и объединяют причастие с личным глаголом, а анафорическое прилагательное с прилагательным-определением. Тем не менее они не решаются отнести к прилагательному так называемые наречия на *-ment* и аналогичные образования других языков, а рассматривают эти образования в главе, посвященной настоящим (обстоятельным) наречиям. Тем не менее очевидно, что морфема *-ment* является синтаксической морфемой («Feldzeichen»), присоединенной к прилагательному не для того, чтобы изменить его лексическое значение, а чтобы сделать его определением к глаголу. Аналогично окончание аккузатива придает существительному функцию прямого дополнения (определения к переходному глаголу): существительное не становится из-за этого наречием и его основное семантическое значение сохраняется, так как окончание является только синтаксической морфемой, не изменяющей семантического значения.

Теперь нетрудно понять, чем отличается синтаксическая деривация от того, что называют лексической деривацией, или короче — деривацией. В то время как синтаксическая деривация происходит внутри одного и

того же лексического значения (например, прилагательное-определение → анафорическое прилагательное, без изменения лексического значения), деривация лексическая предполагает, что исходное и производное слова идентичны друг другу по первичной синтаксической функции. Уменьшительная форма от данного существительного, так же как и существительное, имеет ту же синтаксическую функцию, что и исходное существительное. То же и в случае образования глагола несовершенного вида от глагола совершенного вида. Но не всегда положение бывает столь же ясным. В примере фр. *rouge* «красный» (прилагательное) : (*le*) *rouge* (= «красный карандаш») можно отметить как изменение первичной синтаксической функции (поскольку в этих случаях имеют место разные части речи), так и изменение лексического содержания (поскольку лексическое содержание слова *le rouge*, являющегося названием предмета, включает в себя, кроме качества красного цвета, еще и другие качества). Можно разложить процесс деривации на два этапа: 1) этап синтаксической деривации: прилагательное-определение → анафорическое прилагательное; 2) этап лексической деривации¹: анафорическое прилагательное → существительное. Исходным словом для (*le*) *rouge* (= «красный карандаш») является в действительности анафорическое прилагательное *le rouge* (которое может относиться к любому предмету), а не прилагательное-определение *rouge*. Анализ этого французского примера кажется на первый взгляд преувеличением потому, что во французском языке форма прилагательного не зависит от того, как она употребляется — как определение или как анафорическое прилагательное; поэтому нам кажется, что (*le*) *rouge* образовано просто от прилагательного, а не от прилагательного, употребленного в той или иной синтаксической функции. Однако уже в немецком, где частично сохранилось древнее германское различие между прилагательным-определением и анафорическим прилагательным (*ein junger Mann*, *der junge Mann* «молодой человек», но в анафорической функции только *der junge*),

¹ Ср. термины «синтаксическая субстантивация» и «семантическая (то есть лексическая) субстантивация» у J e l l i n e k, РВВ, XXXIV, стр. 582.

такие существительные, как *der Junge* и *ein Junge* «юноша»¹, связаны по своему происхождению с анафорической формой, которая имеет всегда основу на -п-, в то время как определение может иметь как сильную, так и слабую основу (в зависимости от предшествующего местоименного элемента). Тот факт, что существительное образовано от анафорического прилагательного, а не от прилагательного-определения, имеет основополагающее значение, хотя это выражается формально только там, где язык различает прилагательное-определение и анафорическое прилагательное. Другой поучительный пример — абстрактные существительные, образованные от прилагательных, такие, как фр. *hauteur*, нем. *Höhe* «высота» и т. д. Существенно то, что эти существительные образованы не от прилагательных-определений, а от прилагательных в роли сказуемого («*Prädikatsadjektiv*»). В работе В. Порцига² указывается, что абстрактные существительные как бы резюмируют целое предложение, опираясь на его сказуемое. Это значит, что они основаны на синтаксической субстантивации сказуемого, которое может быть выражено глаголом или прилагательным. Когда говорят «высота этой горы», речь идет не о качестве «быть высоким», а о вертикальном измерении, и мы еще раз встречаемся здесь с деривацией в два этапа: 1) *être haut* → *hauteur* «быть высоким → высота» (= качество быть высоким) — синтаксическая деривация; 2) *hauteur* (= качество быть высоким) → *hauteur* (= размер по вертикали) — лексическая деривация. Здесь могут возразить, что если прилагательное в роли определения *haut* и прилагательное в роли сказуемого (*est*)*haut* формально тождественны, не представляется возможным решить, от какого из двух образовано абстрактное существительное. Однако имеются языки, где прилагательные в рассматриваемых синтаксических функциях различаются; кроме того, сам французский язык позволяет нам установить истину: чтобы выразить смысл абстрактного качества, во французском надо прибегнуть к аналитическому выражению, которое включает связку; например, *le fait d'être haut, la qualité d'être*

¹ Пример Слотти, см. выше.

² W. Porzig, *Die Leistung der Abstrakta in der Sprache*, BdPh. IV, 1930, стр. 66—77.

haut и т. д. образованы от être haut (il est haut) «быть высоким» («он высокий»), а не от haut «высокий».

Теперь мы видим, что, расширяя область деривации, можно обойтись без понятия флексии. Если же мы хотим сохранить это понятие любой ценой и обеспечить ему право на существование, следует различать основные понятия — лексической и синтаксической функции, — разграничивать сначала эти функции в форме флексии и затем устанавливать их иерархию. Например, лексическая функция показателя множественного числа состоит в том, что эта флексия указывает на множественность объектов; синтаксическая функция этого элемента состоит в том, что он указывает на согласование, то есть на атрибутивное или предикативное определение.

Возвращаясь к синтаксической деривации, мы еще раз отметим связь между лексическим значением и синтаксической функцией; всякое отклонение от этого «естественного порядка» сигнализируется или синтаксическими морфемами или синтаксическим окружением (в последнем случае мы будем говорить о вторичной функции рассматриваемой формы). Теперь остается перейти к рассмотрению различных частей речи и указать для них соответствующие первичные синтаксические функции. Существительное является как бы опорой для определяющего — либо «атрибутивного», либо предикативного. Прилагательное является «атрибутивным» определяющим к существительному, то есть определением существительного. Глагол является предикативным определяющим к существительному. Наречие — это определяющее глагола. Синтаксическая связь наречия с глаголом похожа на синтаксическую связь прилагательного и существительного; но с лексической точки зрения прилагательное обозначает качество, а наречие — отношение. Это можно доказать, применив *grosso modo* к этим двум частям речи наш критерий деривации. Существует деривация, направленная от прилагательного к наречию, и обратная деривация, где прилагательное образуется от наречия. С одной стороны, от прилагательных можно образовать наречия качества, с другой — от наречий места и времени можно образовать прилагательные (например, нем. *hiesig* «здешний», *dortig* «тамошний», *heutig* «сегодняшний», *gestrig* «вчерашний»

и т. д.; польск. *tutejszy* «здешний», *tamtejszy* «тамошний», *dzisiejszy* «сегодняшний», *wczorajszy* «вчерашний» и т. д.). Продуктивные процессы деривации показывают, что и для прилагательных и для наречий имеется своя особая семантическая область. Ср. также сложные глагольные образования, которые, как правило, состоят из глагола и предшествующего наречия, выражающего пространственное отношение, а не качество. Только что названные четыре части речи имеют две общие особенности: 1) их основная лексическая функция является символической; 2) они являются словами в смысле известного определения Мейе¹. Будем ли мы называть следующие элементы частями речи или нет, они не могут быть поставлены на одну доску с указанными четырьмя классами, поскольку для них отсутствует одно из двух условий:

1. М е ж д о м е т и я. Их функция состоит в том, чтобы выражать, а не представлять (нечто).

2. М е с т о и м е н и я. Эти элементы представляют указывая, а не символизируя (К. Бюлер).

Оба класса не удовлетворяют первому критерию. Так как местоимение отличается от указанных частей речи только способом представления (а не предметом представления), оно уподобляется с синтаксической точки зрения существительному, или прилагательному, или наречию как только перестает быть лишь сопровождением некоторого жеста.

3. П р е д л о г и. Предложный оборот типа *sur la table* «на столе» является одним словом, а не группой слов. Если бы он был словосочетанием, управляющее слово оборота должно было бы иметь то же синтаксическое употребление, что и все словосочетание. Однако *sur* не имеет такого синтаксического употребления. Предлог — это не слово, а морфема (а иногда «субморфема», образующая единство с падежным окончанием). В таком примере, как *au-dessus de la table* «над столом», мы имеем дело со

¹ «Слово определяется ассоциацией данного смысла с данным звуковым комплексом, характеризующимся данным грамматическим употреблением» (А. Мейе, *Linguistique historique et linguistique générale*, 1921, стр. 30). Термин «смысл» эквивалентен здесь термину «лексическое значение», термин «грамматическое употребление» — термину «синтаксическое значение (функция)».

словосочетанием (au-dessus может играть ту же синтаксическую роль, что и словосочетание в целом), но тогда речь идет о наречии, определяемом существительным, а не о предложном обороте.

4. **С о ю з ы**. Их место в словосочетаниях и предложениях аналогично месту предлогов в предложных оборотах. Они являются словами с самостоятельной синтаксической функцией только в той мере, в какой они сохраняют наречное значение (то есть в той мере, в какой они являются не настоящими союзами).

5. **Ч и с л и т е л ь н ы е** (количественные). Настоящее количественное числительное (не собирательное существительное) образует семантическое единство с окончанием множественного числа того существительного, которое оно определяет. Комплекс типа *centum equites* «сто всадников» анализируется как *centum (equit)-es*, то есть *centum* является лишь определением к морфеме *i*, следовательно, морфемой. Сложную морфему *centum + -es* можно сравнить со сложной морфемой *in (urb)-em*, хотя последняя морфема — синтаксического порядка, а первая — лексического.

Здесь может быть найдено объяснение тенденции собирательных существительных к потере флексии при переходе в количественные числительные.

6. **А р т и к л ь** (определенный). Он выполняет местоименные функции (анафорическую, анамнестическую) или служит для синтаксической субстантивации: *tò vñv*. В первом случае он не имеет символического значения, во втором — является не самостоятельным словом, а просто синтаксической морфемой.

Мы не утверждаем, что только четыре класса: существительные, прилагательные, глаголы, наречия — заслуживают названия частей речи. Такое утверждение повлекло бы за собой бесплодные споры. Мы хотим лишь сказать, что среди классов, до сих пор называемых частями речи, имеется более тесная группа классов, отвечающих указанным выше условиям; члены этой группы различаются между собой только в одном отношении — лексическим содержанием. Существование ее доказывает, что имеющиеся классификации не учитывают скрещивания факторов, которое делает невозможным деление по одному

признаку. Однако второе из упомянутых выше условий сохраняет свое значение, поскольку части речи — это классы слов, а не любых языковых форм (морфем, словосочетаний, предложений). Самое большее, что можно сделать, — это попытаться заменить определение Мейе, которое мы и до сих пор считаем лучшим, другим, более гибким определением (ср., например, К. Bühler, *Sprachtheorie*, стр. 297).

Перейдем к диахроническому аспекту проблемы, а именно к отношению между изменениями синтаксической функции и формальными изменениями, то есть к процессу создания новых синтаксических дериватов. Когда форма *A* принимает вторичное синтаксическое значение, зависящее от синтаксического окружения, она заменяется формой *B* (словом или словосочетанием), для которой это значение является первичной функцией. Замена *A* формой *B* эквивалентна замене окружения формой. Вместо того чтобы выразить некоторую синтаксическую функцию с помощью порядка слов, акцентуации словосочетания, ритма (пауз) и т. д., можно использовать форму, лексическое значение которой уже предполагает рассматриваемую синтаксическую функцию. Так, прилагательное в функции определяемого заменяется существительным, родственным ему с этимологической точки зрения, откуда возникает анафорическое прилагательное; см. герм. **blindan*—«слепой человек» из **blinda*—«слепой»; во французском и древнегреческом используется артикль (определенный), который первоначально мог относиться только к существительному. Индоевропейское прилагательное в функции сказуемого почти во всех новых индоевропейских языках заменяется оборотом с глагольным значением («быть» + прилагательное). Прилагательное в функции определения к глаголу заменяется формой с наречным значением (например, конкретным падежом или предложным оборотом), ср. славянские наречия на -ѣ, которые восходят к формам инструменталю (абстрактных существительных), или романские наречия на -mente, которые также являются древними инструментальными формами. Существительное в функции определения к глаголу заменяется наречием или наречным оборотом, ср. аналитические падежи современных языков. Глагол, определяющий другой гла-

гол, заменяется словом или оборотом с наречным значением (например, конкретным падежом или предложным оборотом), откуда возникает инфинитив и т. д.

Как отмечено в «*Études indo-européennes*», I, стр. 271 и сл., частичная замена формы *A* формой *B* приводит к установлению отношения деривации между *A* и *B*, если эти формы родственные (с этимологической точки зрения). Тот факт, что *B* получает новую базу деривации, приводит к установлению пропорциональных отношений между рядом *A* и рядом *B*, что может повлечь за собой частичную трансформацию серии *B* в *B'*. Приобретая новую базу деривации (*A*), форма *B* получает новую функцию. Так, * *blindan*-перестает быть существительным и становится анафорическим прилагательным, образованным от прилагательного-определения. Формы типа ст.-сл. *prave* или фр. *franchement* «откровенно» перестают быть формами косвенных падежей и становятся «качественными наречиями», образованными от соответствующих прилагательных (определений). Инфинитив перестает быть косвенным падежом имени действия и становится непосредственным дериватом личного глагола. Старая функция этих слов проявляется только в особых синтаксических условиях. Ср. пример *pour juger les bons et les mauvais* «чтобы судить хороших и плохих» со значением существительного, а не анафорического прилагательного.

Здесь более всего важен факт замены, который доказывает еще раз, что каждая часть речи имеет неотмеченную синтаксическую функцию, присущую только ей, не нуждающуюся в специальной примете. Возникает вопрос, почему это так? Каково внутреннее отношение между лексическим (общим) значением и синтаксической функцией? Проще всего допустить, что, например, атрибутивная детерминация (через определение) является только языковой транспозицией психического процесса, заключающегося в выделении качеств объектов (реальных или воображаемых). Поскольку нам представляется, что объекты определяются своими качествами, слова, которые обозначают объекты (существительные), определяются «естественным образом» словами, обозначающими качества (прилагательными). То же — для отношения между действием и обстоятельствами, которые его характеризуют

(глаголы и наречия), и т. д. Однако, развивая эту мысль, мы перейдем границы чисто лингвистического исследования и окажемся в области общей теории знака.

Если наше рассуждение верно, то в нем заключен общий для всех языков закон, являющийся одновременно подлинной основой общего синтаксиса. Научное описание структуры любого языка — французского, китайского и т. д. — сведется в таком случае к ответу на простой и ясный (поскольку он имеет отношение к форме) вопрос: каким путем идет образование вторичных синтаксических функций от первичных функций частей речи? Ответ на этот вопрос будет включать: 1) описание форм с первичной синтаксической функцией и 2) описание формальных способов, характеризующих слово или его синтаксическое окружение и придающих слову вторичную синтаксическую функцию. Видимо, степень самостоятельности слова, связанная с тем, что имеет больший вес, — синтаксические морфемы, присущие слову, или синтаксические морфемы, присущие большим единицам, обуславливает всякое существенное различие между человеческими языками. Однако то обстоятельство, что, например, в английском различия между частями речи в большой мере обусловлены синтаксическим контекстом (a doubt : to doubt «сомнение» : «сомневаться»), нисколько не затрагивает проблемы взаимного отношения синтаксических функций внутри одного и того же лексического значения (например, отношение doubt «сомнение» в роли подлежащего и doubt «сомнение» в роли дополнения).

СТРУКТУРА МОРФЕМЫ

(1938)

Современное языкознание, опираясь на замечательные традиции Бодуэна де Куртене и де Соссюра, пытается создать свою собственную аксиоматику, которая позволяла бы исследователям механически сводить даже очень специальный с виду и детальный вопрос к элементарным понятиям и утверждениям, чтобы с самого начала и до конца работы ясно представлять себе и ее предпосылки и конечную цель. Знаменитый современный математик Гильберт назвал такое мышление «Аксиоматическим мышлением». Не боясь преувеличения, можно сказать, что по крайней мере о д н и м из поворотных моментов в истории языкознания было появление в 1916 году «Cours de linguistique générale» де Соссюра, изданного его женеvскими учениками. Эта дата более или менее совпадает с окончательным истощением лингвистической мысли в Германии. Творческими центрами стали Женеvа, Прага, Вена, Копенгаген. Современные идеи и течения отразились

¹ J. K u r y ł o w i c z, Struktura morfemu, BPTJ, t. 7, 1938, стр. 10—28.

В сложной морфеме существуют отношения подчинения между составляющими ее частями (субморфами). Интонация всегда относится к звуковой форме всего слова. Необходимо строго соблюдать различие между фонетическими законами и морфологическими последствиями этих законов. То, что называется действием закона де Соссюра в с е р е д и н е литовского слова, — морфологический факт. Понятие д о м и н а ц и и, введенное Ельмслевом, совпадает с понятием субморфа, который присоединяется к основному морфу. Интересен вопрос о параллелизме планов (ср. статьи «Понятие изоморфизма» и «Аллофоны и алломорфы»).

Замечания о греческой акцентуации устарели. Ср. J. K u r y ł o w i c z, L'accentuation des langues indoeuropéennes, 1958, стр. 110 и сл.

определенным образом в работе Карла Бюлера¹. Мы не найдем в ней лишь результатов исследований копенгагенской школы (Брёндаль, Ельмслев) и некоторых идей Бронислава Малиновского. Тем не менее автор, по специальности философ и психолог, столь глубоко проник в своеобразие языковых проблем, что его труд был понят и одобрен даже таким эпигоном младограмматиков, как Э. Герман. Несмотря на оговорки, касающиеся прежде всего рассуждений Бюлера о некоторых отдельных проблемах лингвистики, его произведение, по мнению Германа, заслуживает всяческого признания («ungewöhnlich hohes Lob» «необычайно высокой похвалы»).

Бюлер высказывает много новых мыслей, вводит новые понятия, которые станут (возможно, под другими названиями или формой) орудиями лингвистики. Одним из важнейших понятий, которое я намереваюсь здесь использовать, является понятие функционального плана, поля или плоскости («Feld»). Для того чтобы форма, имеющая функцию знака, символического (как слово и выражение), или воспроизводящего (как рисунок, изваяние), была правильно интерпретирована, то есть для того, чтобы воспринимались ее существенные (релевантные) черты, она должна быть отнесена к соизмеримому окружению. Примеры известны. Прямоугольный кусок материи определенного цвета или сочетания цветов имеет одну функцию, когда лежит в витрине магазина тканей, и другую, когда его несут на древке перед шествием. В последнем случае релевантным признаком является прежде всего цвет и в известной степени форма, в то время как качество материи, ее цена и прочее значения не имеют, зато для первого примера существенны именно эти последние элементы. В картине со световыми контрастами серое пятно имеет значение света, если окружение темное, в светлом же окружении релевантными будут контуры пятна и т. д.

Эта многоплановость — явление очень важное в языковой области. Достаточно вспомнить факт широкого диапазона произношения отдельных звуков и так называемые фонетические изменения, обусловленные физиологическими или общественными причинами. Например, факт

¹ К. B ü h l e r, Sprachtheorie. Darstellungsfelder der Sprache. Jena, 1934.

произношения в польском языке а суженного может не играть смысловозначительной роли, но он релевантен для общественной характеристики говорящего; со стороны же говорящего он может быть показателем равноправного, интимного отношения к собеседнику (разумеется, это лишь одна из многих возможностей). Функциональная многоплановость звуков речи должна особенно учитываться при описаниях языков и говоров групп, культурно зависимых от общественных, территориальных, или национальных групп с другим языком или говором. Невозможно представить себе более простой случай, чем двуплановость. Например, в литературном языке, свободном от влияния говоров и иностранных языков, существуют звуковые явления, не имеющие значения для идентификации слова, но важные в экспрессивном отношении; примером может служить количество в польском языке. С точки зрения так называемой диакритической (различительной) функции количество не релевантно в польском языке и относится к шкале допустимых вариаций, но это не значит, что оно не обладает функцией в другом плане, а именно в плане выражения или экспрессии. Можно спорить о том, могут ли обе эти функции, а также и другие, обнаружившиеся в зависимых наречиях, трактоваться лингвистами одинаково при звуковом описании языка или наречия, или их должна прежде всего интересовать функция звуков, выполняемая при построении слогов и слов, то есть так называемая диакритическая функция. Однако нельзя закрывать глаза на многоплановость функций звуков языка и трактовать все их одинаково, будто многоплановых функций вовсе не существует. Если мы ограничимся одним планом, то получим определенную систему звуковых черт, релевантных именно в этом плане, например так называемую фонологическую систему в плане диакритической функции. Некоторые закономерности для экспрессивной функции старался установить Е. М. Коржинек на Конгрессе психологов (Париж, 1937). Общественные функции звуковых форм, собственно уже внеязыковые, тоже имеют свои закономерности, которые видны, например, в так называемых фонетических заменах при заимствованиях слов одного диалекта другим.

Если ограничиться планом диакритической функции, то легко убедиться в том, что из практически бесконечного количества конкретных черт мы воспринимаем только некоторые, существенные для различения слов, то есть такие черты, на основе которых можно установить определенную фонологическую систему. Речь идет о процессе абстрагирования, столь же обязательном в гуманитарных науках, как в естественных науках обязательна искусственная изоляция определенных явлений. Звуки выступают как фонемы: этот факт означает только то, что в соотношении с определенным функциональным планом воспринимаются лишь их некоторые конкретные черты.

Современная физиология сделала выводы из этого факта уже десять лет назад. Ее огромная заслуга состоит в том, что она подчеркнула ограниченную релевантность звуков языка. Мы не пытаемся здесь выяснить, в какой мере обусловили достижения фонологии предшествующие исследования де Соссюра, Бодуэна де Куртене, Есперсена и других. Однако нужно подчеркнуть важную *о т р и ц а т е л ь н у ю* сторону определения фонемы у различных фонологов: они определяют фонему не через ее языковые функции, а через выбор звуковых черт. Прежде всего на это обращает внимание датский лингвист Ельмслев¹. Так, например, *р* датского языка должно быть определено через комплекс функций, которые оно выполняет при формировании слога: оно не может быть центром слога (*cénètte central*), а находится либо в начале его, либо в конце (*cénètte marginal*); в комбинации с другими согласными элементами *р* стоит на определенном месте (например, *pl-*, *pr-* в начале слога и, наоборот, *-lp*, *-gr* в конце слога) и т. д. По мнению Ельмслева, определение фонемы через звуковые черты (например, *р* в датском языке = взрывной придыхательный; по сути дела речь идет об одних артикуляционных чертах) не позволяет нам создать и *д е а л ь н у ю* систему, которую этот автор сравнивает с сетью, имеющей пустые ячейки², и актуали-

¹ Ср., например, L. Hjelmslev, *Neue Wege der Experimentalphonetik*, «Nordisk Tidsskrift for Tale og Stemme», II, 1938, стр. 181—182.

² Там же, стр. 158.

зацией которой являются конкретные звуки языка. Современная фонология как бы застряла на половине пути. Правда, она отдает себе отчет в и д е а л ь н о м характере языковых элементов, но пытается добраться до них путем ошибочных абстракций. В фонологические определения включаются звуковые черты, или, как говорит Ельмслев, «субстанция», в то время как языковые элементы, по его мнению, — это ч и с т а я ф о р м а, требующая функционального определения. Для обозначения этого различия Ельмслев вводит новый термин сепет «кенема» (от гр. *κενός* «пустой») вместо термина ф о н е м а. Следует отметить, что количество кенем точно соответствует количеству фонем, но определяются они через свои первичные и вторичные функции; так, например, кенема *t* польского языка имеет определенную первичную и вторичную функции (а именно, может в конце слова выполнять функцию кенемы *d*, например **ɫad* > *ɫat* «лад, согласие»).

В действительности, хотя лозунг функциональности был выдвинут едва ли не в первый момент формирования фонологических понятий, он не был должным образом реализован. Это нетрудно показать. Определение: датское *p* = взрывной губной придыхательный дает представление не о функциях датского *p*, а лишь о тех звуковых чертах (артикуляционных или акустических), которые выполняют какую-нибудь функцию. То же самое можно сказать об определении: польск. *b* = взрывной губной звонкий. Фонологи говорят нам далее, что польск. *b* маркировано (*merkmalhaltig*; *marqué*, *caractérisé*) по отношению к польск. *p* (которое является немаркированным; *merkmallos*; *non marqué*, *non caractérisé*). Можно спросить, почему не наоборот: например, польск. *p* = придыхательное или *fortis* (маркированное), а польск. *b* = непридыхательное или *lenis* (немаркированное), причем в обоих случаях польск. *p* приписывалась бы некоторая положительная черта, не появляющаяся у *b*. Иначе говоря, мы спрашиваем, каково объективное основание для утверждения, что *b* в польском языке маркировано по сравнению с *p*. Этот вопрос, безусловно, вызовет у фонолога затруднение, если только он не откажется от з в у к о в ы х критериев и не займется исследованием функции звуков, как уже это делал в своих последних

работах Н. С. Трубецкой, ибо ответ на этот вопрос может дать только исследование того, в каких позициях появляются *p*, *b* (в слоге, в слове, в сандхи; вместе или только поодиночке). Звонкость польского *b* — это лишь актуализация его маркированного характера, который со своей стороны вытекает только из сферы употребления *b* в отношении к сфере употребления *p*. Здесь также гениальная мысль де Соссюра опередила современное языкознание и даже фонологию на целое поколение. Для классификации звуков де Соссюр ввел понятие степени раствора, тесно связанное со структурой слога. Однако, поскольку он не ограничился в своей классификации одной конкретной звуковой системой, а принял во внимание скорее общие черты многих языков, его мысль не нашла надлежащего отклика.

Постараюсь показать на соответствующем примере, как следует функционально определять звуковые явления языка. Рассмотрим в качестве примера ударение, которое, правда, нельзя считать языковым элементом в том смысле, как, например, польск. *p*, поскольку оно представляет собой не конституирующий элемент (как *p* и т. п.), а характеризующий большие комплексы («*Gestaltqualität*»). Мы не говорим здесь об интонации слога — явлении, существующем в области ударения. Ударение независимо от того, музыкально оно или динамично, выделяет один слог слова среди всех других. Однако это слишком общая и неудовлетворительная формулировка. Точное определение места ударения требует определения слога, вернее, позиции слога, на который падает ударение. Существенная задача лингвиста — именно определение этого слога, а не констатация того, какой элемент преобладает — силы или высоты. Однако решить этот вопрос не так просто. В языках с так называемым постоянным местом ударения оно падает на слог слова, который установлен: а) безотносительно, как начальный или конечный слог слова (начальная или конечная граница слова); б) относительно, как следующий после начального (то есть второй) или предшествующий конечному (то есть предпоследний) слог слова. В языках с так называемым свободным и подвижным ударением оно (по крайней мере частично) падает не на

отдельные слоги слова, а прежде всего на отдельные морфемы в пределах слова. Различие между польской формой *gękałi* (инстр., мн. ч.) и ее русским эквивалентом *рука́ми* заключается в том, что польская форма имеет ударение на предпоследнем слоге слова, а русская форма — на первом слоге окончания. Прежде чем установить место ударения в русском языке, следует определить ударную морфему в пределах слова, и лишь после этого — слог в пределах этой морфемы (первый, второй, предпоследний или последний). Определить колебания места ударения в пределах парадигмы *рука́, рука́, руку́, руко́й, ру́ки, рука́ми* и т. д. в русском языке как колебания между ударностью последнего и предпоследнего слогов слова было бы ошибочно; это значило бы охарактеризовать явления русского языка с точки зрения польского языка. С точки зрения русского языка речь идет о чередовании: *первый слог окончания: корневой слог*. В своем определении мы можем идти еще дальше, сравнивая словоизменение такого, например, существительного, как *сковорода́, ско́вороду*. Отчетливо видно, что мы имеем дело с параллелизмом: *первый слог окончания: первый слог корня* (поскольку корень *рук-* односложен, мы не могли бы определить, о каком слоге корня идет речь).

В чакавском диалекте сербского языка в кратком прилагательном *glûho* «глухое» мы имеем дело с ударением не на предпоследнем, а на *первом* слоге слова. В то же время в соответствующей полной форме *glúhō* «глухое» ударным является не *предпоследний* слог слова, а последний слог корня. Это различие реализуется в многосложных прилагательных: *òkrûglo* «круглое», а в полной форме *okrúglb̌*. Следует заметить, что даже у односложных прилагательных это различие в функции ударения в случае с долгой гласной влечет за собой интонационное различие, поэтому *glûho*, но *glúhō*. Итак, разница в понимании места ударения (или различие в функции ударения) имеет последствия формального характера. Так называемое славянское регрессивное ударение (например, сербохорв. *róvijest* «повесть, история»: *pá rovi-jest, órovijest* «история»: *pá orovijest* и т. п.), распространенное в сербохорватском, а частично и в русском язы-

ках, не представляет собой чисто фонетического явления; это следствие того факта, что в таком славянском слове, как *róvěstь*, ударение воспринимается падающим на первый слог слова, а не корня. Итак, основную роль в грамматике играет способ определения места ударного слога в слове или в пределах морфемы (например, окончания).

Заметим, что исследования функции ударения в указанном выше смысле позволяют утверждать, что при обозначении места ударения мы никогда не имеем дела с расстоянием в два, три и т. д. слога (хотя следует проверить это на более широком материале). То же самое характерно для порядка слов в предложении, если место слова имеет грамматическую (синтаксическую) функцию. Существуют правила порядка слов для разных членов предложения, определяющие их положение в начале, конце предложения, непосредственно перед каким-нибудь другим членом предложения или непосредственно после него. Однако нет правила, согласно которому какой-то определенный член предложения должен стоять на втором, третьем и т. д. месте до или после другого члена предложения.

Мы напали здесь на след общего закона позиции элементов, справедливого как для определения места слова в пределах группы предложения, так и для определения места ударения (то есть ударного слога) в пределах слова или его морфологических элементов. В пределах предложения место слова может быть определено: а) *б е з о т н о с и т е л ь н о*, как начальное или конечное; б) *о т н о с и т е л ь н о*, как второе или предпоследнее. Однако никогда это место не может быть определено как *т р е т ь е*, *ч е т в е р т о е* и т. д., считая от начала или конца предложения. Так, например, во французском предложении *Il aime ses parents* «Он любит своих родителей» позиция группы *ses parents* определена по отношению к глаголу, а именно объект следует обязательно после личной формы глагола. Однако слово *parents* не стоит на *т р е т ь е м* месте (после *aime*), а объектная группа *ses parents* следует *н е п о с р е д с т в е н н о* после глагола, в пределах же этой группы определитель *ses* стоит *н е п о с р е д с т в е н н о* перед определяемым

существительным. Определение «третье место» неправильно бы отражало структуру предложения. Невозможность определения места с помощью д и с т а н ц и и (два, три места п е р е д или п о с л е) является лишь последствием осуществления принципа двучленности. Если, например, имеется определенный комплекс *ABC* с обязательным порядком элементов, то следует разложить этот комплекс на *A(BC)* или *(AB)C*, однако *A* никогда не будет стоять на втором месте перед *C* (или *C* на втором месте после *A*), *A* находится непосредственно перед *BC* или *AB* непосредственно перед *C* (или *BC* после *A*, или *C* после *AB*).

С некоторыми изменениями тот же самый принцип применяется для обозначения места ударения. В языках с постоянным местом ударения последнее никогда не может падать на третий, четвертый и т. д. слог, считая от начала или конца слова, потому что, определяя тогда место слога (от начала или от конца), мы должны были бы иметь возможность считать два, три начальных или конечных слога слова единым комплексом, отделяющимся от остальной части слова, за которым или перед которым стоит ударный слог. Такое ударение возможно лишь в том случае, когда между этим единым комплексом слогов и ударным слогом проходит морфологическая граница, то есть в языках, обладающих морфологическим ударением, то есть ударением типа русск. *морóзами*, ведического *taráṇaṇaḥ*: речь здесь должна идти не о третьем слоге от конца, а в первом примере — о конечном слоге корня и во втором — о начальном слоге суффикса. Эту же функцию ударение выполняет и во всех других формах соответствующих парадигм. Ср. ударность к о н е ч н о г о слога корня в им. п. ед. ч. *морóз(ъ)*, род. п. ед. ч. *морóза* (определение «ударность последнего или предпоследнего слога слова» было бы неправильным) и т. д. с ударностью н а ч а л ь н о г о слога суффикса в ном. ед. ч. *taráṇiḥ* «сквозной», акк. ед. ч. *taráṇim* и т. д. (и в этом случае определение «предпоследний слог слова» было бы неправильным). На первый взгляд может показаться, что такие языки, как латинский, классический санскрит, классический арабский язык, среднеиранские языки и другие, опровергают наш принцип, так как в них нельзя определить ударный слог иным путем, кроме как, считая

расстояние до него от конечного слога (третий от конца, то есть находящийся на втором месте перед конечным слогом; четвертый от конца и т. д.). Однако быстро выясняется, что ударность третьего, четвертого и т. д. слогов от конца служит в этих языках лишь фонологическим вариантом ударности предпоследнего слога. Ударность третьего слога от конца в латинском (например, *lŭpulus* «волчонок») представляет собой комбинаторный вариант, вариант ударности предпоследнего слога в том случае, когда он краткий. Ударность третьего слога от конца не имеет в латинском никакой функциональной значимости; ее отношение к ударности предпоследнего слога то же, что и, например, отношение ст.-инд. п палатального перед взрывными палатальными к п в других позициях.

Из вышеприведенного очевидно, что Ельмслев прав, упрекая фонологов в не соответствующем задачам фонологии описании фонетических явлений. В «Трудах», посвященных покойному Казимиру Вуйчицкому, Р. Якобсон в статье, свидетельствующей, впрочем, о глубокой проницательности автора, классифицирует греческое ударение следующим образом: регрессивное ударение (*προδροξύτωνον*, то есть на третьем слоге от конца, как, например, *εὐγενέεσσι* «благородным», дат. мн. ч.), прогрессивное ударение (*προδροξύτωνον*, то есть ударение на предпоследнем слоге, как, например, *εὐγενέος* «благородного», отсутствие ударения (*ὀξύτωνον*), то есть ударение на последнем слоге слова, как, например, *εὐγενής* «благородный»). Между тем функциональный анализ должен был бы показать, что функция ударения во всех трех примерах (*εὐγενέεσσι*, *εὐγενέος*, *εὐγενής*) идентична (ударение конечного слога производной основы). Определения «регрессивное» и «прогрессивное» уходят своими корнями в старое измерение расстояния ударного слога от конечного слога, подобным является определение фонемы *p* = взрывной губной глухой (например, в польском языке), которое содержит лишь тонкое звуковое наблюдение, а не функциональный анализ. Акцентированные слова греческого языка можно разделить на: а) слова без ударения на последнем слоге и б) слова с ударением на последнем слоге. В группе а) ударение падает на слог,

стоящий перед предпоследней морой слова. В качестве комбинаторного варианта выступает ударность последнего слога основы как в области словообразования (παῖδεῖ-ον «воспитывающее», ἐπι-τεῖ «ожидаящая разрешения от бремени»), так и в области словоизменения (πατὴρ-α «отца», акк., ἄσπιδ-α «щит», акк.). Между а) и б) возможно чередование в пределах ударных окончаний и суффиксов: они имеют «регрессивное» ударение, то есть ударение, падающее на слог, стоящий перед последней морой. Таким образом, функция ударения — это сигнализация о конечной границе слова или основы. Кроме того, слог, следующий после так называемого «регрессивного» ударения, содержит, как указывает для зольского Якобсон (цит. соч., стр. 84), предпоследнюю мору слова или суффикса. Итак, греческая акцентуация имеет смешанный характер. Поскольку слово с фонетической точки зрения представляет собой синтез слогов, а с морфологической точки зрения — синтез морфем, постольку ударение, выделяющее определенный слог из комплекса слогов (то есть из слова), имеет фонетический характер, а ударение, выделяющее суффикс в пределах слова (или только определенный слог в пределах суффикса), выполняет морфологическую функцию. Так, смешанный характер имеет, например, немецкое ударение, поскольку оно является не только фонетическим сигнализирующим о начале слова, но и морфологическим сигнализирующим о начале корня, например в определенном типе сложных глагольных форм.

Разница в точках зрения фонолога и функционалиста ярко проявляется при объяснении фонетических вариантов. Для первого — это актуализация идеального звука, для второго — актуализация определенной функции. Однако само понятие актуализации какого-нибудь идеального элемента является общим для обеих точек зрения.

Ельмслев употребляет это понятие и в морфологии. Примеры можно найти в его работе «Accent, intonation, quantité»¹, содержащей анализ закона де Соссюра в современном литовском языке. Наивно было бы утверждать, что этот закон является живым фонетическим законом

¹ L. Hjelmslev, Accent, intonation, quantité, SB, VI.

для современного литовского языка, на том основании, что, например, акк. мн. ч. от заимствованного существительного *cigaras* «сигара» будет *cigarùs*. Гласный *u* сам по себе не обладает свойством перетягивать на себя ударение, например *tuĩgus* «рынок». Поэтому языковой закон, установленный на основе описания современного литовского языка, свидетельствует не о фонетически обусловленном чередовании, а выражает свойство морфологической структуры (ниже мы будем пользоваться термином «структурный закон»). Определенные окончания и суффиксы перетягивают на себя ударение, если предшествующий корневой слог имеет циркумфлексную интонацию. Каковы же эти окончания и суффиксы с современной точки зрения? Это окончания и суффиксы, имеющие акутовую интонацию, находясь во внутреннем слоге и под ударением. Следовательно, *cigar-ùs* так же, как *bas-úos(jus)* «босые» (акк.), *rankà* «рука» — так же, как *bas-ó(ji)* («босая» и т. д. Следует отличать фонетический закон де Соссюра от структурного закона де Соссюра. Закон, сформулированный де Соссюром, является скорее структурным, чем фонетическим; он определяет связь между двумя морфемами в пределах слова. Нечто иное представляет собой фонетическое изменение, являющееся базой структурного закона. Ф о н е т и ч е с к и й закон де Соссюра действовал в доисторический период в пределах двух последних слогов слова в случае, если предпоследний ударный слог имел циркумфлексную интонацию, а последний сокращался. С т р у к т у р н ы й закон де Соссюра действует и теперь в пределах двух соседних слогов (принадлежащих к разным морфемам), если первый, ударный, имеет циркумфлексную интонацию, а второй в случае ударности — акутовую интонацию. Структурный закон де Соссюра гласит, что определенное интонационное соотношение двух соседних слогов, принадлежащих к разным морфемам (корень + суффикс или окончание), имеет определенные последствия для акцентуации слова. Этот закон действует так же строго, как в свое время фонетический закон, но имеет другую сферу действия, поскольку функционирует в другом плане, а именно в морфологическом. Противопоставление *údra* «выдра»: *rankà* (ген.

údro : raĩkos) в сопоставлении с basó-ji «босая», basôs-jos «босые» ж. р. интерпретируется как реализация *údro : *rankó (< *raĩko); отсюда вытекает следующий морфологический закон: с корня с циркумфлексной интонацией ударение передвигается на морфему с акутовой интонацией, представляющую собой следующий слог. Например, слово pirštúotas «пальчатый» имеет акут на предпоследнем слоге, хотя его основа (piřštas «палец») является баритонической, поскольку при окситонической основе (pągas «ноготь, коготь») акцентуация суффикса выражается его акутовой интонацией (pagúotas «когтистый»). Поэтому циркумфлексированное piřšt- теряет ударение в пользу акутированного -úotas, а акутированное kálp- (в kálpnuotas «гористый») удерживает ударение.

Таким образом, на примере закона де Соссюра ясно видно, что структурный закон имеет иную сферу действия по сравнению с фонетическим, на который он опирается. Структурный закон является отражением фонетических законов в морфологическом плане. Закономерности морфологической системы следует объяснять не фонетическими законами, а структурными законами, вытекающими из фонетических.

Исторически на формальный облик морфем могли влиять два фактора: 1) функциональные (семантические) изменения, влекущие за собой изменения основы деривации¹; 2) изменения фонетической системы, влекущие за собой новые структурные законы, понятие которых точно определено. Оставляя в стороне вопросы внешних влияний, а также взаимных воздействий языков и диалектов друг на друга, мы утверждаем, что внутренние причины исторических преобразований морфологической системы следует искать только в пределах этих двух возможностей.

Другой пример: в польском языке в глагольных формах biore «беру», bierzesz «берешь», piosę «несу», niesiesz «несешь» чередование гласных уже не имеет фонетического характера, как в старопольском, поскольку за это время е появилось также перед твердой зубной из

¹ Ср. SprPAUm, 1933, 10, стр. 3—18; J. Kuryłowicz, Études indo-européennes, I, стр. 169—185.

прояснившегося $\text{ь}(\text{ie} < \text{ь})$, например pies «пес». Замена е на о становится поэтому добавочной характеристикой форм парадигмы глагола brać «брать». В таких формах, как biogę «беру», biogą «берут», мы имеем дело с двумя морфологическими чертами: окончанием и меной корневой гласной. Возникает вопрос, являются ли эти черты однородными и образуют простую сумму черт или одна из них подчинена другой. Несомненно, некоторые окончания (ę , ą обуславливают мену е на о , однако не в силу ф о н е т и ч е с к о г о облика окончаний (ведь гласный е может существовать и перед твердой зубной согласной), а в силу их с е м а н т и ч е с к о й ф у н к ц и и. Вместо старопольского чередования, при котором появление о на месте е перед твердой переднеязычной было обязательным, в более позднюю эпоху возникает определенный структурный закон польской морфологии. Он состоит в том, что гласная морфема, следующая за корнем, оканчивающимся на переднеязычную твердую согласную, влечет за собой мену е на о в корне. В результате действия этого закона оба элемента, входящие в характеристику первого лица biogę , образуют не простую сумму, а иерархически организованное единство, в котором один элемент обусловлен или управляет вторым. В нашем примере окончание управляет корневым гласным (д о м и н и р у е т над ним).

Тот факт, что стык двух морфем требует иногда еще дополнительных формальных изменений, Ельмслев называет д о м и н а ц и е й (dominance). Термины «структурные законы» и «законы доминанции» обозначают одни и те же явления. Идеальная форма $*\text{bieg}$ (корень) + ę (окончание 1 л. ед. ч.) актуализируется как biogę в результате доминанции окончания ę над гласным корня. Эта мена $*\text{bieg} > \text{biogę}$ не прибавляет никакого нового оттенка значения к значениям, уже содержащимся в корне $*\text{bieg}$ - и в окончании $-\text{ę}$. Речь идет только об определенной актуализации идеальной формы, или о явлении, параллельном явлению фонетических вариантов. Какая-либо фонетическая функция может актуализироваться различными способами (ср. п и п̃) так же, как и м о р ф о л о г и ч е с к а я. Соотношение gryzę «грызу, кусаю»: biogę таково же, как инд. $\text{п} : \text{п̃}$ (то есть $\text{п} + \text{п а л а т а л ь н о с т ь}$), так как функция окончания ę в gryzę точно

та же, что и функция окончания ϵ + м е н а г л а с н о г о в $\text{biog}\epsilon$. Звуковая форма морфемы так же зависима от соседства другой морфемы, как фонетические (комбинаторные) варианты от фонетического окружения. В комбинаторных вариантах основной звук, в сущности, не зависит от окружения, но его вариант требует строго определенного окружения (например, инд. $\dot{n}$ только перед взрывными палатальными, а n в других положениях); точно так же звуковая структура слова $\text{biog}\epsilon$ требует строго определенных условий (изменения определенного гласного перед определенными согласными, но т о л ь к о п е р е д н е к о т о р ы м и о п р е д е л е н н ы м и о к о н ч а н и я м и). Глаголы одного и того же класса с разными корневыми гласными или согласными ($\text{gryz}\epsilon$ «грызу, кусаю», $\text{kład}\epsilon$ «кладу», $\text{pas}\epsilon$ «пасу», $\text{siek}\epsilon$ «секу» и т. д.) не обнаруживают дополнительной смены гласного перед определенными окончаниями; наличие определенного гласного и определенного согласного само по себе тоже не является достаточным условием для его изменения: $\text{biog}\epsilon$, но, например, акк. ед. ч. $\text{Uwier}\epsilon$ (фамилия).

Комбинаторным вариантам — явлению чисто фонетического плана — можно найти точную параллель в морфологическом плане: варьирование структуры морфем. И в том и в другом случае речь идет о доминации фонемы или морфемы над соседней фонемой или морфемой. Функция некоторого данного звука идентична функции его комбинаторного варианта. Так же как палатальность $\dot{n}$ в ст.-идн. $\text{rā}\dot{n}\text{sa}$ «пять» совершенно не меняет функции p , которая остается той же, что и в словах āntaḥ «конец, граница», rānthāḥ «дорога» и т. д., так и дополнительное изменение $*\text{bie}\epsilon > \text{biog}\epsilon$ морфологического плана ни в чем не изменяет функции значения корня $*\text{bier-}$, а также целого слова ($\text{biog}\epsilon$). Форма $\text{biog}\epsilon$ есть лишь актуализация некоторой идеальной формы $*\text{bie}\epsilon$, подобно тому, как $\dot{n}$ в $\text{rā}\dot{n}\text{sa}$ есть лишь актуализация некоторой идеальной фонемы p .

В фонетическом плане комбинаторные варианты не являются единственным случаем отклонения от идеальной формы: другой подобный случай представляют фонетически обусловленные звуковые чередования. Актуализация польского слова ład как $|\text{tāt}|$ — это пример фонетического чере-

дования, а не комбинаторного варианта, так как *t* — это особая фонема по отношению к *d*, то есть это — кенема, первичная функция которой отлична от первичной функции кенемы *d*. Правда, в таком слове, как /*lat*/, *t* дополнительно выполняет и функцию *d*, но эта ее функция вторична так же, как, например, в области синтаксиса вторичной является определительная функция существительного.

Какое явление морфологического плана можно сравнить с явлением чередования? Поскольку морфологические функции имеют семантический характер, точным эквивалентом был бы синкретизм двух родственных форм в определенных семантических условиях. Так, синкретизму *t* и *d* в конце слова соответствует в морфологическом плане отсутствие различия презенса и перфекта у некоторых глаголов; отсутствие различия форм с артиклем и без артикля у некоторых существительных и т. д. Мы не касаемся вопроса управления и подчинения и не решаем, какой именно из двух звуков или какая из двух родственных форм, подвергающихся синкретизму, является немаркированной, или главной, а какая — маркированной, или подчиненной.

Следует заметить, что фонетическое различие между идеальным элементом и его актуализацией не является различием звуковых функций (ст.-инд. *ñ* и *n* — это только комбинаторные варианты), морфологическое же — наоборот: различие между идеальным элементом и его актуализацией выражается в звуковых функциях: например, мы констатируем различие фонем (кенем) *e* : *o* в идеальной форме **biege* и ее актуализации *bioge*. Несмотря на это, явления такого плана не следует ставить в один ряд с явлениями фонетического чередования, так как различие между идеальной формой и ее реализацией в **biege* : *bioge* относятся к морфологическому или словесному плану. Функции же фонем (кенем) касаются построения слога и высших звуковых комплексов. Итак, морфологически обусловленные звуковые чередования соответствуют не фонетически обусловленным чередованиям, а только комбинаторным вариантам.

Впрочем, очевидно, что в обоих планах — морфологическом и фонетическом — действуют одни и те же законы. Нас интересует здесь морфологическое явление, парал-

лельное комбинаторным вариантам в звуковом плане, то есть звуковая структура морфемы. Основным понятием здесь является понятие доминации.

Явление доминации показывает, что анализ морфологической формы не может ограничиваться перечислением ее черт (например, такой-то суффикс, такой-то вокализм корня или место ударения и т. д.), но он должен также установить иерархию ее черт, то есть зависимость одних черт от других. Форма *bīoŕe* характеризуется не только окончанием *e* и корневым вокализмом *o*, но также доминацией окончания над вокализмом (а не наоборот). Благодаря доминации морфема актуализируется определенным образом в соседстве с другой морфемой. Впрочем, это не единственный пример иерархии в пределах морфемы. В пределах идеальной формы **bīeŕe* мы также имеем дело с явлением подчинения, а именно подчинения суффикса (или окончания) корню. Это — нормальное, естественное, общее для всех языков явление. Ельмслев называет его *ре к ц и е й* в отличие от доминации. Итак, *ре к ц и е й* мы называем (при морфологическом анализе слова, производимом на основе принципа двучленности) явление господства одного морфологического элемента над другим. Например, в слове *mal-arz-om* «художникам» следует не только выделить морфологические элементы (морфемы) *mal-arz-om*, но также показать, что окончание *-om* подчинено комплексу морфем *mal-arz-*, в пределах же этого комплекса морфема *-arz-* (как суффикс) подчинена морфеме *mal-* (как корню). В данном примере мы имеем дело с явлениями *ре к ц и и*, а не доминации. Явления доминации только наслаиваются на явления *ре к ц и и*, как уже отмечалось, представляют собой специальную звуковую актуализацию идеальной формы, построенной на основе *ре к ц и и*.

Для более точной иллюстрации явления доминации возьмем пример итальянских и испанских глагольных форм *coniunctivī praesentis* на *-ga*. В обоих этих языках существует значительное количество конъюнктивных форм, обнаруживающих неорганическое *-g-* перед окончанием конъюнктива *-a*. Например, ит. *dolga* (*dolere* «болеть, сожалеть»), *salga* (*salire* «подниматься»), *valga* (*valere* «иметь силу, стоять»), *rimanga* (*rimanere* «оставаться»),

ponga (porre «ставить, класть») из *ponere, tenga (tenere «держать»), venga (venire «приходить»); исп. salga (salir «выходить»), valga (valer «иметь силу, стоять»), ponga (poner «класть, ставить»), tenga (tener «иметь»), venga (venir «приходить») и т. д. Такое же неорганическое g можно обнаружить и в западных наречиях французского языка и в северных наречиях старофранцузского. В давние времена в этих языках должен был действовать следующий закон морфологической структуры: палатальные l, п (и, по-видимому, r) в конце корня глагола заменялись перед суффиксом конъюнктива -а группами lg, ng (rg). Иначе говоря, идеальные формы dol'a, sal'a, val'a, remañ'a, teña, veña и т. д. (в классической латыни doleat «болел бы», saliat «прыгал бы», valeat «имел бы силу», remaneat «оставался бы», teneat «держал бы», veniat «приходил бы») реализуются как dolga и т. д. Конечно, эта доминация является следствием определенных звуковых изменений, причем не их непосредственным следствием, а как бы отражением звуковых изменений в морфологическом плане. Палатализация латинских групп lg, ng (rg), дающих перед i, e романские l', ñ(r), — это изменение фонетическое. Например, exelgit «выбирает» (вместо exeligit) дает в итальянском языке sceglie «выбирает», а pingit «рисует» — regne «рисует». Для ряда глаголов это фонетическое изменение должно было отразиться в морфологическом плане специфическим звуковым соотношением индикатива и конъюнктива. Именно у таких глаголов, как exelgit, pingit (конъюнктив exelgat, pingat), образование конъюнктива из индикатива основывается на применении вышеназванного закона доминации. На романской почве получаем индикатив sel'e, peñe, конъюнктив selga, penga. В связи с этим замена l', ñ в конце корня глагола перед суффиксом конъюнктива -а на lg, ng как закон морфологической структуры была использована для всех глаголов, обнаруживающих палатальное l' или ñ перед окончанием конъюнктива: dol'a > dolga, sal'a > salga, val'a > valga, remañ'a > remanga, teña > tenga, veña > venga. Во всех этих примерах lg, ng не имеют никакой этимологической основы, эти формы суть только морфологически обусловленные варианты.

Пример значительно более сложной доминанции дают так называемые подвижные парадигмы в славянских языках. Подвижной с точки зрения ударения является парадигма склонения любого односложного существительного с циркумфлексной интонацией или краткой гласной (например, *sâd-*). Парадигма же склонения с акутовой интонацией (например, *grâd-*) является неподвижной. Иначе говоря, интонация корня доминирует над кривой ударения парадигмы. Место ударения в форме какого-либо падежа уже заранее обусловлено интонацией корня, например, в русском языке ген. *sâda*, *grâda*, но ген. мн. ч. *sâdov* наряду с *grâdov*; ср. с точки зрения интонации в чакавском *sâd* «насаждение», но *grâd* «град». Фонетически ничто бы не мешало существованию форм **sâdov* и **grâdov*.

Интересным примером доминанции в пределах целой синтаксической группы служат явления кельтского сандхи. Характер его возникновения, конечно, чисто фонетический; это сандхи основывалось на восприятии слова, начинающегося с согласного и стоящего внутри предложения, аналогичном восприятию согласной внутри слова. Так, например, в староирландском интервокальное *b* дает *ċ*, а интервокальная группа *mb* дает *mm*. Например, *ibait* «они пьют» (читай *b* как щелевой), *imm-* «вокруг, около» (родственное лат. *amb-* и гр. *ἄμφι*). Также может вести себя и *b* в начале слова, например *senben* «старая женщина» из **seno-benā* (читай *b* щелевое), *secht baí* «семь коров» из **sektin boíes* (читай начальное *b* как *m*). Однако эти изменения начальной согласной в староирландском обуславливает не конец предыдущего слова, который к тому же уже исчез, а его синтаксическая функция по отношению к следующему слову. В основном характерные явления внешнего сандхи (лениция, назализация, геминация) имеют место только после слова, выполняющего функцию определения следующего за ним слова, например после прилагательных, местоимений, числительных с определительной функцией. Подобно этому в примерах типа *bíore* надлежащие условия имеют морфологическую (синтаксическую) природу, а не фонетическую.

Как уже отмечалось, явление так называемого морфологически обусловленного звукового чередо-

вания имеет совершенно иной характер, нежели явление собственно звукового чередования. Как в фонетическом, так и в морфологическом плане мы имеем дело с «двух-этажным сооружением». И в том и в другом случае фундаментом является определенная система функций, реализующихся в формах: звуки и их комбинации в фонетическом плане, морфемы и их комбинации в морфологическом плане. Для каждой формы соответствующая функция является ее первичной функцией. Первый этаж этого сооружения в каждом из планов составляют явления альтернации, основывающиеся на вторичных функциях, то есть на принятии одними формами в определенных условиях функций других автономных форм. Второй этаж составляют актуализации форм, не способные к самостоятельному функциональному существованию — так называемые комбинаторные варианты. Они тоже выступают в точно определенных условиях. На основе альтернации мы устанавливаем объективные отношения между формами; так называемые фонологические корреляции в фонетике и деривационно-флективные отношения в морфологии. Таким образом, мы получаем идеальные образы фонем и морфем, которые еще должны пройти стадию актуализации, совершенно не затрагивающую функциональную сторону форм. Итак, актуализация оказывается каким-то слоем, прикрывающим при анализе структуры морфемы идеальную структуру. В упомянутой выше работе «Accent, intonation, quantité» Ельмслев приводит примеры транскрипции идеальных форм, то есть таких, с которых снят слой актуализации, например **ciḡaḡuó* (= инстр. п. ед. ч. *cigaṛu*). То же самое можно сделать другим способом, хотя и менее ярким, показав, например, что при построении формы *biore* мы имеем дело не с **biog* + *e*, а с *biore* < **bieṛe* < **bieṛ-e* и что, следовательно, *biog* не может существовать до возникновения формы *biore*, а вызывается к жизни только данной формой. Это явление иерархии, проявляющееся в отдельных структурных законах, а следовательно, и вообще в построении морфемы, основывается на звуковой обусловленности морфемы соседней морфемой или на доминации морфемы над морфемой, подобно тому как в фонетике комбинаторный вариант есть результат доминации фонемы над соседней фонемой.

При морфологическом анализе чрезвычайно важно определить, какие элементы морфемы являются конституирующими, а какие как бы вытекают из уже готовой морфемы.

Я имею в виду синхронический анализ, который различает обуславливающее и обусловленное. При диахроническом аспекте исследования мы различаем причины и следствия. Выше мы видели на примере закона де Соссюра и романских конъюнктивов на *-lga*, *-nga*, что историческая причина не должна рассматриваться так же, как явления обуславливания, действующие в настоящее время. Явления доминации, вскрытые с помощью синхронического анализа, не следует понимать как непосредственные рефлексы звуковых законов. Опасность ошибки в определении условий и сферы действия этого звукового закона очень велика.

О ПРИРОДЕ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ „АНАЛОГИЧЕСКИХ“ ПРОЦЕССОВ¹

(1949)

Противопоставление исходное слово: производное слово позволяет выделить в производном слове словообразовательную морфему. Например, *fille : fill-ette* (суффикс) «дочь : доченька», *fait : mé-fait* (префикс) «поступок : дурной поступок». Морфема не всегда является простой; иногда она состоит из двух или нескольких частей. Так, немецкое уменьшительное *Bäum-chen* «дерев-це» характеризуется — сравнительно с *Baum* — не только уменьшительным суффиксом *-chen*, но и перегласовкой (умлаут) корня. Словообразовательная морфема здесь двучленна; возникает вопрос об отношении взаимозависимости между суффиксом *-chen* и изменением гласного (умлаутом). Заметим, что с точки зрения современного языка умлаут имеет не фонетический, а чисто морфологический характер. Указанное отношение определяется широтой сфер употребления обеих частных морфем. Умлаут присущ только некоторым производным на *-chen*, так как возможен лишь при корнях, содержащих гласные заднего ряда (а, о, у, ау). Суффикс *-chen* требует умлаута в корне, но обратного явления нет: умлаут в *Bäum-* не влечет за собой обязательного появления суффикса *-chen*, поскольку встречается также в *Bäum-e* или в *Bäum-lein*. Это отношение известно в терминологии Л. Ельмслева как **детерминация** («*Les fondements de la théorie linguistique*», рецензия А. Мартине в BSL, XLII, стр. 25). С точки зрения иерархии умлаут подчинен суф-

¹ J. Kuryłowicz, *La nature des procès dits «analogiques»*, AL, t. 5, 1945—1949, стр. 15—37. Об акцентуации в литовских парадигмах см. в статье J. Kuryłowicz, *L'accentuation des langues indoeuropéennes*, 1958.

фиксации. В рассматриваемом морфологическом процессе существенным фактом является присоединение суффикса -chen; изменение гласного корня — явление вторичное. Это отношение можно проиллюстрировать схемой: Baum > *Baum-chen > Bäum-chen.

В славянских формах несовершенного вида на -ajъ (древних итеративах) корневой гласный в открытом слоге удлиняется. Например, рекъ : -rěkaјъ, bodъ : badaјъ, тьръ : -tirajъ, дьтръ : -dъtајъ и т. д. По сравнению с присоединением суффикса -ajъ удлинение корневого гласного ограничено; так оно не имеет места при долгом корневом гласном (например, sypl'ъ : -syraјъ), а также в закрытом слоге (например, tęgъ : tęgajъ < *teng). В силу таких ограничений удлинение корневого гласного является вторичной (подчиненной, или периферийной) частью итеративной морфемы, а суффикс — основной (конституирующей, или центральной) частью. Формула для указанного случая выглядит так же, как предыдущая: рекъ : -*rekaјъ > -rěkaјъ.

С тем же явлением встречаемся и в области флексии. Ср., например, окончание -er (мн. ч.) в немецком; оно требует умлаута в корнях, содержащих гласные заднего ряда: Wald > Wälder, Huhn > Hühner.

Однако сложная морфема может состоять из трех частей. Возьмем в качестве примера древнеиндийские производные на -á- или -уá- с так называемым врдхи¹ (vrddhi) начального слога: типа brahmaná- (окситонные, то есть с ударением на последнем слоге). Среди таких производных имеются и баритонные (с ударением на предпоследнем слоге), но они составляют особую группу, отличающуюся своим значением (семантикой). Итак, морфема состоит из трех элементов: суффикс, ударение, врдхи. Какова их иерархия? Суффикс и ударение на последнем слоге постоянны; врдхи, хотя и появляется в подавляющем большинстве примеров, тем не менее ограничено, поскольку в тех случаях, когда гласным начального слога является ā, удлинение отсутствует. Значит, врдхи подчинено суффиксу и ударению. Более сложен вопрос о соотношении между этими последними. Суффиксы -уа-, -а̄- без ударения не

¹ Степень максимального удлинения гласного. — Прим. ред.

встречаются, оно сопровождает их постоянно; суффиксальное ударение также не встречается само по себе; оно вообще невозможно без звуковой опоры — суффикса. Суффиксальное ударение — это р е л я ц и я между корнем и суффиксом; оно немислимо без предварительного существования этих оснований — к о р н я и с у ф ф и к с а. Таким образом, три рассматриваемых морфологических элемента располагаются в следующем порядке: brah̥maṇ- (исходное слово) > 1. brah̥maṇ-a- (суффиксация) > 2. brah̥maṇ-á- (суффиксальное ударение) > 3. brāhmaṇ-á- (врдхи).

Отношение между элементами 2 и 1 — иное, чем между элементами 3 и (1 + 2). Элемент 2 основывается на элементе 1 как примета целого комплекса (Gestaltqualität), поскольку примета комплекса требует обязательного существования элементов этого комплекса; в то же время элемент 3 основывается на (1+2) благодаря сфере своего употребления, более ограниченной, чем сфера употребления для (1 + 2).

Отсюда вытекает следующее: явно не формулируемое, но повсеместно принятое мнение о том, что в основе производных слов лежат исходные слова, опирается в конечном счете на объективный критерий широты употребления. Живой способ словообразования, то есть способ образования новых слов, доказывает, что сфера употребления производных не покрывает сферы употребления исходных слов.

Совсем другими являются взаимоотношения между флективными формами парадигмы. В самом деле, если можно полагать, что лат. lupulus «волчонок» основывается на lupus «волк», то есть что lupulus образовано от lupus с помощью уменьшительного суффикса -olo-, было бы серьезной ошибкой считать, что форма ген. ед. ч. lup образована от основы (корня) lup- с помощью окончания -i. Дело в том, что понятие основы производно по отношению к конкретным формам парадигмы: мы получаем ее, выделяя элементы, общие для всех падежных форм (если речь идет о склонении). Например, формы lup-us, -i, -o, -um, -ogum, -is, -os обуславливают основу lup-. Русская парадигма труд, -á, -ý, -óm и т. д. позволяет выделить основу труд-, так как ударение на последнем слове

является общей чертой всех падежных форм. Таким образом, отношение обусловленности имеет место не между *lup-* и *lup-i*, а между *lup-us*, *-i*, *-o* и т. д. и *lup-*. Полученную таким образом основу не следует смешивать с основной, выступающей в качестве первого элемента в сложных словах. Здесь основа часто сохраняет более архаичную форму, поскольку она как бы защищена от изменений, которые претерпевает вся парадигма, например гласным *-a-* в гот. *weina-basi* «виноградина» или гласным *-o-* в слав. *vodoposъ* и т. д.; такие гласные принято называть соединительными («Fugenvokal»).

Итак, основа — это своеобразная абстракция, в которой как бы резюмируется парадигма.

Когда мы говорим, что *lupulus* — это производное от *lupus*, или, более точно, что основа *lup-ul-* произведена от основы *lup-*, это значит, что парадигма *lupulus* является производной от парадигмы *lupus*. Сказанное об основах *lup-* или *lupul-* подтверждается еще и тем, что данные основы требуют вполне определенных окончаний (а именно окончаний второго склонения).

Процесс деривации *lupus* > *lupulus* можно представить в следующей конкретной схеме:

lupus, *-i*, *-o*, *-um*, *-orum*, *-is*, *-os*
↓
lupulus, *-i*, *-o*, *-um*, *-orum*, *-is*, *-os*
или: *lup-(-us, -i, -o* и т. д.)
↓
lupul-(-us, -i, -o и т. д.)

С точки зрения деривации парадигма эквивалентна одной морфеме, а именно основе. Различные падежные формы составляют те частные элементы, которыми определяется структура морфемы. В известной степени такое положение вещей напоминает сложные морфемы, о которых шла речь выше. Возникает вопрос, можно ли считать, что одни падежные формы основаны на других таким образом, что падежная форма *A* предсказывает падежную форму *B*, но не наоборот? На этот вопрос следует ответить положительно. Например, в гр. ном. мн. ч. *τέχναι* «искусства» предсказывает ударение на последнем слоге в ген. мн. ч. на *-ων* (*τεχνῶν*). Обратное правило места не имеет, поскольку существует род. п. мн. ч. на *-ῶν* (*τιμῶν*).

«почестей», соответствующий формам ном. мн. ч. с ударением на последнем слоге *τιμαί*! «почести».

Различие между структурой парадигмы и структурой сложной морфемы состоит в том, что морфема всегда построена по принципу иерархии, в то время как о парадигме того же сказать нельзя. В том случае, если этот принцип находит применение, например в *τέχνηι*, *τιμαί*!, легко видеть, что обусловленность формы *B* (ген. мн. ч.) формой *A* (ном. мн. ч.) определяется, как и в приведенных выше примерах, сферой употребления.

В форме ном. мн. ч., ударение может нести как последний, так и предпоследний слог; в форме ген. мн. ч. ударение несет только последний слог. Схема *τέχνηι*, *τιμαί*!: -ων вполне сравнима со случаями *Kind-chen*, *Baum-chen*, где суффикс *-chen* встречается у слов как с передними, так и с задними гласными в корне, а умлаут возможен лишь для корней с задним гласным.

Принцип иерархии, основанный на сфере употребления форм, — это принцип чисто логического, а не специально семантического порядка. Он касается отношения между формой и функцией, причем значение (семантическое) — это всего лишь случай особой функции. Кроме того, имеются еще синтаксические функции. Та же самая дихотомия существует и для фонем: функции по отношению к другим фонемам того же самого класса и функции по отношению к другим фонемам той же самой структуры.¹ Таким образом, этот принцип применяется и в области фонологии¹.

Итак, мы видим, что указанный принцип применяется по крайней мере в трех сферах:

- 1) в определении отношений между частями сложной словообразовательной (или словоизменяющей) морфемы;
- 2) в определении отношения между производящим (исходным) словом и производным словом;
- 3) в определении отношений между формами одной парадигмы.

В первом случае речь идет о **н е с а м о с т о я т е л ь н ы х** **м о р ф е м а х** и их частях (элементах). Второй случай касается отношений между **ц е л ы м и** **с л о в а м и**.

¹ Ср. Е. Курилович, О понятии передвижения согласных, см. настоящий сборник, стр. 334.

Третий, наиболее интересный случай, как кажется на первый взгляд, тоже касается отношений только между словами; однако здесь имеются в виду слова как элементы парадигмы, которая в свою очередь сводится к единице, называемой «основа». Поэтому третий случай в известной мере может сравниваться с первым.

Различие между случаем 1 и случаем 3, с одной стороны, и случаем 2 — с другой, имеет еще один аспект. Отношение между случаями 1 и 3 — это отношение чисто формального порядка. Абсурдно пытаться разложить значение уменьшительности на более дробные семантические элементы, соответствующие различным морфологическим элементам: суффиксу *-chen*, с одной стороны, и *умлауту* — с другой. Не столь очевиден, однако, тот факт, что отношение обоснованности между *τέχνηαι* и *τέχνην* никак не связано с синтаксическими функциями номинатива и генитива и касается указанных форм лишь постольку, поскольку они образованы от одной и той же основы.

В случае 2, напротив, отношение является в одно и то же время и формальным и семантическим, так как противопоставление исходного слова и производного позволяет выделить и словообразовательную морфему и семантическую модификацию, носителем которой как раз и будет упомянутая морфема. Между двумя падежами одной парадигмы такое отношение встречается лишь в совершенно исключительных случаях; оно возможно, например, если генитив является падежом партитивного прямого дополнения (в противоположность аккузативу — падежу обычного прямого дополнения), то есть, если генитив семантически подчинен аккузативу.

Перейдем теперь к рассмотрению диахронического аспекта перечисленных отношений.

Изменения в морфологической структуре — следствие либо фонологических, либо семантических изменений. В первом случае равновесие морфологической системы нарушают противопоставления фонетически искаженных форм, во втором — новые противопоставления, порожденные функциональными (семантическими) сдвигами. Отсюда возникает необходимость в перестройке, называемой «изменением по аналогии» (*action analogique*). Равновесие морфологической системы состоит в формальной

пропорциональности между обуславливающими и обусловленными формами, ср. постоянное формальное отношение между исходным словом и производным, позволяющее совершенно точно предсказать форму производного.

Итак, законы морфологической структуры рождаются, изменяются или исчезают вследствие фонетических и семантических изменений. Рассмотрим, например, множественное число существительных мужского рода сильного склонения в немецком языке.

В др.-в.-нем. это были либо основы на -a- (tag «день», мн. ч. taga), либо основы на -i- (gast «гость», мн. ч. gesti), если отвлечься от остальных классов основ, которые к этому времени исчезали. Появление умлаута в gesti — факт чисто фонетического порядка: морфема мн. ч. — лишь окончание i; изменение же а > е носит неморфологический характер. Изменения произошли в конце древневерхненемецкого периода в момент перехода конечных гласных (-a, -i) в -e. Оба класса основ совпали по окончаниям множественного числа, однако при этом множественное число старых основ на -i* оказалось связанным еще и с умлаутом: ср. в.-нем. gest-e, где окончание -e обуславливает умлаут корневого гласного, наряду с ср.-в.-нем. tag-e, где это не имеет места. Так фонетическое развитие привело к появлению сложной морфемы.

Впрочем, это еще не все. Образовалось две морфемы: морфема -e, которая служит для образования множественного числа существительных мужского рода сильного склонения, и изофункциональная (то есть также служащая для образования множественного числа существительных мужского рода сильного склонения) морфема -e, требующая умлаута в корне. При этом особо важным представляется распространение умлаута на большинство старых основ на -a-, то есть на большинство основ, имевших в древневерхненемецком множественное число на -a, например Bäume «деревья», Töpfe «горшки».

[1] Морфема, состоящая из двух элементов, стремится уподобить себе изофункциональную ей морфему, включающую только один из этих двух элементов, то есть сложная морфема замещает простую.

Следует подчеркнуть, что такое распространение сложной морфемы не является обязательным. Мы утверждаем лишь, что в случае изменения «по аналогии» побеждает сложная морфема, а не простая, поэтому мы даже не пытаемся найти причину существования в современном немецком языке формы множественного числа на -е без умлаута (Tage).

Удлинение гласного в славянских формах несовершенного вида (итеративах) не может восходить к индоевропейской эпохе. В индоевропейском удлиняться мог лишь основной гласный е о. И если в балтославянском мы встречаем долгую ступень *i*, *u* (то есть *ī*, *ū*), то это очевидный результат исчезновения *ə* перед согласным, например: лит. *gérti* «пить» < **gerti* < **gerəti*-, лит. *pinti* «плести, вить» < **pinti* < **pinəti*- < **p_onəti*-.

Противопоставление -*er-t*- (исходная форма) : -*er-a*jo (производная форма) = -*er-t*- (исходная форма) : -*er-a*jo (производная форма) превращается после сокращения -*ert*- > -*ert*-, в -*er-t*- : -*er-a*jo = -*er-t*- : *x* (*x* = -*er*ajo). Графические знаки имеют здесь особое значение: *e* = любой гласный, *g* = любой сонант, *t* (в суффиксе или окончании) = любой согласный. Удлинение гласного (*e* > *ē*) обобщилось в силу сформулированного выше закона.

Имеются более сложные случаи. Как показал Вакернагель, аккузатив множественного числа от основ с зиянием (типа *εὐγενής* «благородный», ном. мн. ч. *εὐγενέες*; *μεῖζων* «большой, старший», ном. мн. ч. **μεῖζο-ες*, и т. д.) предполагает изменение, которое состоит в замене старого окончания -*ας* окончанием -*υς* (по модели старых основ на гласный: *πολλή-υς* «частый, обширный», *τιμὰ-υς* «почести» и т. д.). Форма **εὐγενέυς* заставляет нас ожидать **εὐγενεῖς* с острым ударением, как в *πολλοῦς*, *τιμῆς*. Форму *εὐγενεῖς* с циркумфлексом Вакернагель объясняет влиянием номинатива, где циркумфлекс фонетически оправдан (-*έ-ες* > -*εῖς*). Однако сам механизм этого превращения до сих пор не объяснен.

Мы объясняем это следующим образом. Окончания множественного числа являются в греческом, как и во всех других индоевропейских языках, глобальными знаками. Семантическая морфема множественности

и синтаксическая морфема падежа сливаются в этом окончании, образуя неразложимое целое. Совершенно иное положение существует в турецком и в классическом арабском, где более центральная морфема множественного числа отчетливо отделяется от падежных окончаний. Морфема *-eṣ* в форме ном. мн. ч. *eḍḍeneṣ* разлагается на части не только с формальной (окончание *-eṣ* + + интонация), но и с функциональной точки зрения: она имеет центральную функцию показателя множественности и периферийную функцию падежного показателя. При этом, конечно, семантическое членение не имеет ничего общего с формальной структурой морфемы (окончание + + интонация). Номинатив и аккузатив изофункциональны с точки зрения их центральной функции (множественность). Наш закон применяется к случаю совпадения окончаний номинатива и аккузатива множественного числа. Побеждает то из двух окончаний, которое требует появления циркумфлексной интонации («облеченного ударения»). Интонация номинатива множественного числа проникает в аккузатив, но не наоборот, так как акутовая интонация («острое ударение») — это не что иное, как отсутствие интонации (циркумфлексной).

С первого взгляда наше объяснение может показаться искусственным и натянутым, но оно подтверждается совпадением номинатива и аккузатива множественного числа мужского рода в славянских языках северной группы (в польском, чешском, русском). Отпадение конечных еров (-ъ и -ь) привело к возникновению противопоставления твердых и мягких согласных: *-tъ -tъ > t' t'*. Затем согласные в позиции перед передними гласными отождествились с мягкими имплозивными согласными. В общих чертах было достигнуто состояние современного русского языка. В этот момент фонологическое различие между *i* и *y* перестало существовать; различие между *t i* и *t y* заменилось различием между *t' i* и *t i*. Гласные *i* и *y* стали комбинаторными вариантами одной фонемы *i*, выступающими либо после мягкого, либо после твердого согласного. Основным вариантом было *i*, так как только *i* могло выступать при отсутствии предшествующего согласного, то есть в начале слова. Это фонологическое совпадение *i* и *y* повлекло за собой совпадение окончаний

номинатива и аккузатива множественного числа в основах на -о- мужского рода. Но хотя формы *trudi* (ном. мн. ч.) и *trudy* (акк. мн. ч.) совпали по своим окончаниям (ном. *trudi*, акк. *trudi*), фонологическое различие между ними сохранилось благодаря различию характера конечного согласного корня (мягкий : твердый). Твердый характер конечного согласного корня в *trudi* (акк.) обусловлен морфемой винительного, так как гласный -і обычно предполагает мягкость предшествующего согласного. Эта твердость конечного согласного прибавляется к окончанию -і (ном. мн. ч.), что приводит к переходу *trud'і* в *trudi* (совпадение номинатива и аккузатива множественного числа в форме аккузатива). Этот пример не только доказывает истинность нашего объяснения акк. *εὐγενεῖς*, но и подтверждает тот факт, что синтаксические функции номинатива и аккузатива никак не влияют на эволюцию падежей. В греческом победила древняя форма номинатива (*εὐγενεῖς*), а в северных славянских языках — аккузатива. В греческом именно морфема номинатива является сложной морфемой и в аккузативе выступает лишь центральная часть этой морфемы, в указанных славянских языках мы встречаем обратное явление.

Распространение сложной морфемы в сфере словообразования эквивалентно созданию полярного противопоставления исходного и производного слов. В самом деле, расстояние между *А* и *А* + суффикс + добавочное изменение больше, чем расстояние между *А* и *А* + суффикс. Хорошим примером тому может служить распространение удлинения гласных в славянских итеративах. Поляризации формального противопоставления между исходным и производным словами соответствует поляризация семантического противопоставления. Заметим, что значение производного слова стремится отодвинуть исходное слово в сторону противоположного значения. Так, исходное слово, от которого образовано уменьшительное, приобретает — по контрасту со значением этого последнего — увеличительное (аугментативное) значение; в других случаях исходное слово, лежащее в основе образования женского рода, приобретает значение мужского рода и начинает обозначать существа мужского пола (*vŕka*- «волк» в противопоставлении к *vŕkŭ*- «волчи-

ца»), хотя по происхождению исходное слово нейтрально в отношении рода.

То, что называют «конглоутинацией» («склеиванием») или фузией суффиксальных элементов, часто представляет собой не что иное, как явление поляризации противопоставления, в результате которого подчеркивается роль производного слова по сравнению с исходным. Схематически это можно представить так:

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B + s_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ B + s_2 & & B + s_1 + s_2, \end{array}$$

где B обозначает исходное слово (основу), s_1 — более центральный суффикс, а s_2 — периферийный суффикс. Если B и $B + s_1$ семантически совпадают, то есть если суффикс s_1 утрачивает свое значение, то обобщение B (= вытеснение группы $B + s_1$ одной основой B) приводит к тому, что производной формой становится не $B + s_2$, а $B + s_1 + s_2$, так как s_2 — это всего лишь часть комплекса $s_1 + s_2$. Новый суффикс $s_1 + s_2$ будет, естественно, иметь значение старого суффикса s_2 . Ср. нем. $-lein < -l + -in$, $-chen < -k + -in$ и т. д.

До сих пор мы говорили, что «аналогия» состоит в распространении сложных морфем за счет простых изофункциональных морфем. Это изменение можно представить с помощью пропорций, совершенно ясных в случае словообразования. Например: $d\ddot{y}m\ddot{o} : -d\ddot{y}ma\ddot{j}o = rek\ddot{o} : -r\ddot{e}ka\ddot{j}o$ и т. д. Основание пропорции — это отношение исходное слово : производное. Чтобы охватить все относящиеся сюда случаи, надо расширить формулу, введя понятия «обосновывающая форма» и «обоснованная форма» (*forme de fondation : forme fondée*).

(II) Так называемые «аналогические» изменения происходят в направлении от обосновывающих форм к обоснованным формам, отношение между которыми определяется их сферами употребления.

Совершенно очевидно, что эта формула — шаг вперед по сравнению со статистическим принципом частоты употребления, который пытались применять к явлениям «ана-

логии». Сферы употребления — это нечто совсем иное, нежели количественные частоты; причем, что весьма существенно, сферы употребления могут быть определены самым строгим образом.

Возьмем, например, парадигму греческого прилагательного. Акцентуация в формах ном. и ген. мн. ч. ж. р. $\delta\acute{\iota}\kappa\alpha\iota\alpha\iota$, $\delta\iota\kappa\alpha\acute{\iota}\omega\nu$ «справедливый», свойственная только прилагательному, объясняется тем, что женский род основан на мужском роде. Сфера употребления мужского рода превосходит сферу употребления женского рода, поскольку имеются прилагательные типа $\chi\rho\upsilon\sigma\acute{o}\theta\rho\omicron\nu\omicron\varsigma$ «златотронный» или $\epsilon\upsilon\epsilon\nu\eta\varsigma$ «благородный», где форма мужского рода употребляется в функции обоих родов. С другой стороны, важно, что первичная функция¹ мужского рода — это «общее» личное значение, так как именно мужской род употребляется там, где пол не различается. Это заставляет ожидать, что изменения фонетического порядка будут компенсированы изменениями, осуществляющимися в направлении «мужской род → женский род», именно такой процесс имеет место при переходе от $\delta\iota\kappa\alpha\acute{\iota}\omega\nu$ к $*\delta\iota\kappa\alpha\iota\omega\nu$. Как раз в этот момент пришел в действие механизм пропорции $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\omega\nu$ (м. р.) : $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\omega\nu$ (ж. р.) = $\delta\iota\kappa\alpha\acute{\iota}\omega\nu$ (м. р.) : x ($x = \delta\iota\kappa\alpha\acute{\iota}\omega\nu$ вместо $*\delta\iota\kappa\alpha\iota\omega\nu$). Более древняя акцентуация $\delta\acute{\iota}\kappa\alpha\iota\alpha\iota$ объясняется аналогично ($\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\omega\acute{\iota}$: $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\alpha\acute{\iota}$ = $\delta\acute{\iota}\kappa\alpha\iota\omega\acute{\iota}$: x , где $x = \delta\acute{\iota}\kappa\alpha\iota\alpha\iota$ вместо $*\delta\iota\kappa\alpha\acute{\iota}\alpha\iota$).

Распространение умлаута в случаях типа Bäume, циркумфлекса в греческих аккузативах множественного числа типа $\epsilon\upsilon\epsilon\nu\eta\epsilon\acute{\iota}\varsigma$, твердого согласного в славянских существительных типа trudy (ном. мн. ч.) объясняется тем, что здесь речь идет о формах множественного числа, то есть об о б о с н о в а н н ы х формах (основанных на единственном числе).

Отношение между ведическими образованиями $vṛkīḥ$ «волчица» и $devī$ «богиня» вытекает из: 1) идентичности их функций: они изофункциональны как образования женского рода, производные от исходных слов мужского

¹ Первичная функция не имеет ничего общего с этимологическим значением формы. Эта функция связана со значимостью формы, определяемой в системе и независимой от семантического окружения.

рода. Их распределение носит механический характер: суффикс *-i/iu-* (типа *vṛkīḥ*) употребляется при исходных словах с тематическими основами, а суффикс *-ī/yā-* (типа *devī*) — чаще при исходных словах с атематическими основами (само *devī* представляет собой исключение); 2) сферы их употребления: тип *vṛkīḥ* встречается только у основ существительных, а тип *devī-* как у основ существительных, так и у основ прилагательных.

Таким образом, тип *vṛkīḥ*, сфера употребления которого является лишь частью сферы употребления типа *devī*, подчинен этому последнему, или, что то же самое, тип *vṛkīḥ* основан на типе *devī*. Следовательно, «аналогические» изменения пойдут по пути *devī* → *vṛkīḥ*.

В Ригведе оба типа еще очень хорошо различаются. Имеется, правда, некоторое количество общих падежных форм, а именно инстр. мн. ч. *vṛkībhiḥ*, *devībhiḥ*, дат.-абл. мн. ч. *vṛkībhyauḥ*, *devībhyauḥ*, лок. мн. ч. *vṛkīṣu*, *devīṣu* и инстр.-дат.-абл. дв. ч. *vṛkībhyām*, *devībhyām* (речь идет о так называемых «средних» падежах). В остальных падежах парадигмы различие сохраняется:

Ед. ч.	ном.	акк.	дат.	ген.	инстр.
	<i>devī</i>	<i>devīm</i>	<i>devyāi</i>	<i>devyāḥ</i>	<i>devyā</i>
	<i>vṛkīḥ</i>	<i>vṛkīyam</i>	<i>vṛkīye</i>	<i>vṛkīyaḥ</i>	<i>vṛkīyā</i>
Мн. ч.	ном.-акк.		ген.		
	<i>deviḥ</i>		<i>devīnām</i>		
	<i>vṛkīyaḥ</i>		<i>vṛkīnām</i>		
Дв. ч.	ном.-акк.		ген.-лок.		
	<i>devī</i>		<i>devyóḥ</i>		
	<i>vṛkīyā(u)</i>		<i>vṛkīyoḥ</i>		

Фонетическая причина, вызывающая влияние формы *devī* на форму *vṛkīḥ*, — это переход *-iu* + г л а с н ы й в *-(i)y* + г л а с н ы й с о с в а г и т а, откуда, начиная с Атхарваведы, мы имеем *-(i)y* + г л а с н ы й с u d ā t t a. Инстр. ед. ч. *vṛkīyā*, ген.-лок. дв. ч. *vṛkīyoḥ* переходят к *vṛkyā*, *vṛkyóḥ*, полностью, таким образом, уподобляясь с точки зрения флексии соответствующим формам от *devī*. Так как *vṛkīḥ* подчинено *devī*, это совпадение означает полную ассимиляцию форм *vṛkīḥ* форм *devī*.

но не наоборот. От парадигмы $v\check{r}k\dot{i}h$ остались только две формы, сохранение которых позволяет различать падежные формы с двойным употреблением: наряду с новой формой акк. мн. ч. $v\check{r}k\dot{i}h$ старая форма $v\check{r}k\dot{i}ya\check{h}$, уступая свою функцию аккузатива форме $v\check{r}k\dot{i}h$, сохраняет старую функцию ном. мн. ч.; новая форма $v\check{r}k\dot{i}$ вытесняет лишь старый ном. ед. ч. ($v\check{r}k\dot{i}h$), в то время как старый ном.-акк. дв. ч. $v\check{r}k\dot{i}ya(u) > v\check{r}k\dot{i}u$ сохраняется, отличаясь таким образом от соответствующей формы единственного числа. Оба эти различия проникают также в склонение слова $dev\dot{i}$ (ном. мн. ч. $dev\dot{y}a\check{h}$, ном.-акк. дв. ч. $dev\dot{y}a(u)$).

Тип $ta\check{p}\dot{i}h$ «тело, лицо, особа», полностью параллельный типу $v\check{r}k\dot{i}h$, подвергается таким же изменениям. В результате $v\check{r}k\dot{i}yam : v\check{r}k\dot{i}m = ta\check{p}\dot{i}vam : ta\check{p}\dot{i}m$, $v\check{r}k\dot{i}ye : v\check{r}k\dot{i}i = ta\check{p}\dot{i}ve : ta\check{p}\dot{i}i$ и т. д. Однако обоснованность на базе отношений между сферами употребления форм не единственная. Она может также быть выведена из отношений между структурой и ее конституирующим членом.

(III) Структура «конституирующий член + подчиненный член» является обоснованием для изолированного, но изофункционального всей структуре конституирующего члена.

Таким образом, должны иметь место поляризация формальных отношений между корнями без суффиксов и корнями с суффиксами; корнями без префиксов и корнями с префиксами; корнями с нулевым окончанием и корнями со слоговым окончанием; односложными морфемами (корнями и окончаниями) и изофункциональными многосложными морфемами¹.

Этот закон говорит не о противопоставлении двух форм, иерархия которых вытекает из сфер употребления. Обоснование одной формы другой формой опирается здесь на сопоставление структуры и ее конституирующего члена.

¹ Это последнее отношение (многосложные морфемы : изофункциональные односложные морфемы) существенно с точки зрения ударения. Ударная односложная морфема содержит только ударный слог (то есть конституирующий с точки зрения ударения), в то время как многосложная морфема включает один или несколько безударных слогов (= подчиненных с точки зрения ударения).

То, что верно для структуры, верно также и для ее конституирующего члена.

Возникает вопрос, совместимы ли формулы (II) и (III). В самом деле, если по формуле (II) производное с суффиксом или префиксом основано на соответствующем исходном слове (например, гр. $\lambdaύω$ «освобождаю» : $\acute{\alpha}\nu\alpha\lambdaύω$ «анализирую»), то формула (III) говорит как будто об обратном ($\acute{\alpha}\nu\alpha\lambdaύω$: $\lambdaύω$). Однако это противоречие лишь кажущееся. Отношения между морфемами (в широком смысле этого термина) бывают двоякими. С одной стороны, морфема контрастирует с другими морфемами того же класса, с другой — противопоставляется морфемам, с которыми сосуществует в том же самом комплексе (= в составе более сложной морфемы). Это наиболее справедливо в отношении слов. Слово принадлежит к с е м а н т и ч е с к о м у классу (= часть речи) и в то же время играет с и н т а к с и ч е с к у ю роль в словосочетании или в предложении. Но в то время, как для слов существует двойная терминология (с одной стороны, мы говорим о глаголе, о существительном, о прилагательном и т. д., с другой — о сказуемом, о подлежащем, об определении и т. д.), с более мелкими морфемами, такими, как корень или суффикс, дело обстоит иначе.

В ряде конкретных случаев отсутствие нужных терминов может маскировать различия между формулами (II) и (III). Заметим, однако, что, если $\acute{\alpha}\nu\alpha\lambdaύω$ основано на $\lambdaύω$ как производное от этого последнего, $\lambdaύω$ в свою очередь основано не на $\acute{\alpha}\nu\alpha\lambdaύω$, а на комплексе п р е ф и к с + $\lambdaύω$, то есть на $\acute{\alpha}\nu\alpha\lambdaύω$, $\kappa\alpha\tau\alpha\lambdaύω$, $\pi\alpha\rho\alpha\lambdaύω$ и т. д. с р а з у. Это означает, что индивидуальные значения всех этих префиксов несущественны и что речь идет только о полной (развернутой) форме глагола, по сравнению с которой простой глагол — результат редукции. В то время, как первичная с е м а н т и ч е с к а я функция — это функция, не зависящая от семантического окружения (например, от суффиксов), первичная с и н т а к с и ч е с к а я функция определяется противопоставлением данной морфемы другим морфемам, входящим вместе с ней в состав структуры.

Перейдем теперь к примерам, связанным с формулой (III).

Спряжение в средневековом французском построено на трех элементах: 1) окончании; 2) месте ударения (старофранцузское ударение еще было подвижно, хотя и в малой степени: слова на -е могли иметь ударение как на последнем, так и на предпоследнем слоге, все прочие слова имели ударение только на последнем слоге); 3) чередовании гласных корня. Эти три элемента играют важную роль и в так называемых нерегулярных спряжениях (II-b: тип *tenir* «держать»; III; IV) и в регулярном спряжении (I), например: *il lève* «он моет»: *pous levons* «мы моем»; *il liève* «он поднимает»: *pous levons* «мы поднимаем».

Итак, структура первой парадигмы спряжения такова: некоторые окончания, содержащие -е, обуславливают ударение на корне; эти окончания + ударение на корне обуславливают в свою очередь чередования ударного коренного гласного. Например, 2 л. ед. ч. **lev-es* > **lèves* > *lièves*. Практически окончания глагола — -е, -es, -е (ед. ч.) и -ent (3 л. мн. ч.) индикатива и конъюнктивa, а также -е во 2 л. ед. ч. императива. Вследствие исчезновения конечного -е фонологическая категория ударения к середине XVI века перестала существовать во французском языке. Все упомянутые окончания стали окончаниями с нулевым вокализмом или, точнее, нулевыми окончаниями. Затем исчезло и чередование гласных в корне, причем обобщился именно безударный вокализм: *avalons*: *avales* = *levons*: *lèves* (вместо *lièves*) = *lavons*: *laves* (вместо *lèves*). После исчезновения конечного -е корневой вокализм глагольных форм с ненулевым окончанием (то есть прежний вокализм безударного слога) становится обязательным для форм с нулевым окончанием. Обобщение ударного вокализма — явление исключительное, обусловленное какими-либо особыми причинами.

Чередование гласных сохранилось у нерегулярных глаголов IIb, III, IV классов; здесь ударный вокализм был всегда присущ не только формам с окончанием на безударное -е (3 л. мн. ч.) *meurent* «умирают», конъюнктив *meure(s)*, но и формам с неслоговыми окончаниями (*meurs*, *meurt*), которые не употреблялись с глаголами первого

спряжения. Однако, что особенно важно, чередование с о г л а с и ы й н у л ь (например, *теус* : *тouvovs* «двигаешь» : «двигаем») начало усложнять взаимоотношения между формами парадигмы. При основе *тouv-* в *тouvovs* формы с нулевым окончанием имеют основу *теu-*, что мешает применению сформулированного выше закона, так как создается впечатление, будто вокализм форм с *теu-* связан с отсутствием согласного *v*.

Заметим, что личные формы с нулевым окончанием изофункциональны формам с полным окончанием: в формах с нулевым окончанием нуль, контрастирующий с полными окончаниями, представляет определенную значимость в пределах системы. Отношение между формами с полными окончаниями и формами с нулевым окончанием — это отношение между полной структурой и изофункциональной ей другой структурой, сведенной к своему конституирующему члену (в нашем случае — к глагольному корню, лишенному окончания или, вернее, снабженному нулевым окончанием).

Акцентуация личного глагола в древнегреческом языке объясняется тем же законом: конституирующий член структуры должен быть основан на структуре. В доисторическую эпоху слияние личного глагола с предшествующим наречием (которое стало превербом) лишило глагол собственного ударения. Так как потеря ударения происходила при любом превербе, простой глагол (то есть глагол без преверба) должен был следовать — в смысле акцентуации — полной структуре п р е в е р б + г л а г о л, что эквивалентно потере ударения личным глаголом. Так, например, *ἀπολείπον* «покидающее» (причастие ср. рода) : *λείπον* = *ἀπ'λείπον* (1 л. ед. ч. аориста) : *x* (*x* = *λείπον* без ударения). То же самое произошло в древнеиндийском. Об общем происхождении здесь думать не приходится, поскольку соединение преверба с глаголом происходит независимо в каждом индоевропейском языке. Тесная связь между отсутствием ударения и образованием сложных глаголов скорее заставляет констатировать параллельное, хотя и независимое развитие. Мы знаем благодаря Вакернагелю, что законы акцентуации в греческом привели к возникновению рецессивного ударения, ставшего характерным для личного глагола. В другом

месте мы увидим, как аналогичные процессы, доказывающие зависимость простого глагола от сложного, шли в индийском языке.

Приведем еще один пример, иллюстрирующий зависимость односложных корней, не несущих интонации (= состоящих из одной моры), от односложных корней, несущих интонацию (= состоящих из двух мор).

Парадигмы индоевропейских основ **sq̥ésor-* «сестра» и **dhugātér* «дочь» частично смешиваются в балтийских языках вследствие сдвига внутренних ударений, причины и условия которого до сих пор еще точно не определены (возможно, внутреннее ударение, падающее на краткий гласный или дифтонг, заменяется начальным ударением). Во всяком случае, сильные формы **duktērī* (акк. ед. ч.), **duktères* (ном. мн. ч.) и т. д. в современном литовском дают *dùkterī*, *dùkter(e)s* в то время, как конечное ударение слабых падежей **dukt(e)rès* (ген. ед. ч.), **dukt(e)rũ* (ген. мн. ч.) сохраняется. Таким образом, происходит частичное совпадение окситонных и баритонных форм, распространяющееся и на сильные падежи: *dùkterī*, *dùkteres* как *sēsērī*, *sēseres*; противопоставление **sēseres* (ген. ед. ч.), **sēsērũ* (ген. мн. ч.) и окситонных форм *dukterès*, *dukterũ* фонетическим изменениям не подверглось.

Каковы же дальнейшие последствия этого частичного смешения обеих парадигм?

1. Полное отождествление парадигм *sesuõ* и *duktẽ*, в результате чего появилась единая парадигма с подвижным ударением.

2. Проникновение этой подвижности ударения во все парадигмы основ на гласный с кратким гласным в корне (то есть с гласным, несущим циркумфлексную интонацию).

Первое изменение касается непроезводных основ с корнем, не несущим интонации. Они подчинены по своей структуре непроезводным основам с корнем, несущим интонацию, которые характеризуются неподвижной акутовой интонацией. Основы *duktẽ sesuõ* подпадают под действие закона, требующего предпочтения простой морфемы. В то время как парадигма *duktẽ* обуславливает перемещение ударения (ср. отношение *dùkterī*, *dùkteres* : *dukterès*, *dukterũ*), в парадигме *sesuõ* (*sēsērī*, *sēseres* : **sēseres*, **sēsērũ*) этот процесс не имеет места. Морфологи-

ческое дополнение, заключающееся в передвижении ударения, выходит за старые морфологические границы и распространяется на баритонные парадигмы, откуда ген. ед. ч. *seserès*, мн. ч. *seserǫ̃*.

Влияние согласных основ (на -г, -п, -nt-, может быть, на -s-) на гласные основы состоит в дальнейшем распространении того же явления «аналогии». Отношение *mótè* «мать» : *duktě* (или *sesuō*) одерживает верх над отношением *vúgas* «мужчина» (неподвижный акут) : *viłkas* «волк» (неподвижный циркумфлекс), поскольку первое отношение состоит в двойном противопоставлении (неподвижный акут : подвижный циркумфлекс). Подвижность ударения в парадигме *viłkas* в современном языке — следствие поляризации, противопоставления по отношению к *vúgas*.

Последний пример. В древнегреческом существительные среднего рода 3 склонения имеют рецессивное ударение (*ἔσθρος* «мрак», *ἑνός* «имя», *ἄλειψα* «мазь, елей»). Вследствие стяжений некоторые двусложные существительные среднего рода превратились в односложники с циркумфлексной интонацией, например *φῶς* «свет». Поскольку односложность некоторых существительных среднего рода 3 склонения имплицитно подразумевает появление интонации (то есть циркумфлексной интонации), исконные односложники среднего рода (как **κῆρ* «сердце») также принимают эту импликацию, откуда *κῆρ*.

То же самое происходит с личными формами глагола, которые также имеют рецессивное ударение. Односложные формы с циркумфлексом, получившиеся в результате стяжений (например, *πλῖε* > *πλῆ* «тянет»), «навязывают» циркумфлекс исконным односложным формам *δῶ* «погрузился», *βῆ* «пошел». Существуют, наконец, односложные вокативы типа *Zeῶ* «О Зевс!», где циркумфлекс объясняется аналогично (ср. ном. *Zeús*). Распространение циркумфлекса, имплицитного этими различными категориями, объясняется тем, что односложники противопоставляются многосложным существительным, на которых они основаны.

Указанным изменениям может препятствовать тенденция к дифференциации. Мы уже видели, говоря о примере *vṛkíḥ deví*, что окончания, ожидаемые a priori, то есть *-íḥ* в ном. мн. ч., *-í* в ном.-акк. дв. ч. (по типу *deví*),

уступили место соответствующим окончаниям типа *vṛkīḥ* (то есть *-/i/yaḥ*, *-/i/yau* соответственно) в силу стремления к дифференциации. Форма *devī* играет двойную роль: она является в одно и то же время номинативом единственного числа и номинативом-аккузативом двойственного. Точно так же форма *devīḥ* является одновременно номинативом множественного и аккузативом множественного. Дифференциация приводит к противопоставлению между *-ī* (ном. ед. ч.) и *-/i/yau* (ном.-акк. дв.), между *-/i/yaḥ* (ном. мн. ч.) и *-iḥ* (акк. мн. ч.). Такое распределение объясняется тем, что исходные (обосновывающие) окончания в соответствии с новым структурным законом подвергаются изменениям, а обоснованные окончания сохраняют старую структуру, отличаясь тем самым от обосновывающих окончаний. Номинатив-аккузатив двойственного числа основан на номинативе единственного числа (ном. ед. ч. «детерминирует» ном.-акк. дв. ч.), так как окончание ном.-акк. дв. ч. *-a(u)* одновременно соответствует ном. ед. ч. основ на *-a-* и на согласный; точно так же окончание *-ī* противопоставляется либо окончанию *-iḥ*, либо окончанию *-ī*, а окончание *-e* предполагает ном. ед. ч. либо на *-am*, либо на *-ā*. С другой стороны, ном. мн. ч. на *-aḥ* основан на акк. мн. ч., так как ном. на *-aḥ* соответствует не только акк. мн. ч. на *-aḥ* основ на согласный, но и акк. мн. ч. с другими окончаниями. Поэтому ном. ед. ч. и акк. мн. ч. получают такие окончания, как у *devī*, а ном.-акк. дв. ч. и ном. мн. ч. сохраняют такие окончания, как у *vṛkīḥ*¹.

(IV) Если какая-либо форма подвергается из-за изменений дифференциации, новая форма соответствует первичной (обосновывающей) функции исходной формы, а сама исходная форма сохраняет вторичную (обоснованную) функцию.

Дифференциация имеет место именно для типа *vṛkīḥ*, где она оказывается возможной благодаря вытеснению старых окончаний окончаниями парадигмы *devī*, и лишь тогда.

¹ Утверждение, что окончания *-(i)yaḥ*, *-(i)yau* парадигмы *vṛkīḥ* вытесняют соответствующие окончания парадигмы *devī* в силу своей «прозрачности», является лишь менее точной формулировкой всего сказанного нами выше.

затем эта дифференциация распространяется на парадигму *devī*.

Дифференциация играет существенную роль в «аналогических» изменениях. Известны явления дифференциации имени собственного и нарицательного, прилагательного и уменьшительного существительного, падежной формы и наречия, сложного слова типа *bahuvrīhi* и сложного слова типа *tatpuruṣa* и т. д.

Иногда дифференциация отличается специфическими особенностями; пример такой дифференциации можно найти в романском склонении, где падежные различия утратились, а различия единственного и множественного числа сохранились. Латинская система ед. ч. *panis* «хлеб», *panem*, мн. ч. *panes*, *panes* в западороманском преобразовалась из-за исчезновения конечных носовых и совпадения *i* и *e* в *e*, в *panes*, *pane*; *panz*, *panes*. Фонетическое совпадение форм номинатива единственного и множественного чисел приводит к потере семантического различия — различия чисел; восстанавливается оно за счет падежных различий, поскольку они, как явление синтаксическое, занимают по сравнению с семантическим различием чисел более периферийную позицию.

По образцу (акк.) мн. ч. *panes* : (акк.) ед. ч. *pane* восстанавливается номинатив ед. ч. и получается (ном.) мн. ч. *panes* : (ном.) ед. ч. *pane*.

Номинатив ед. ч. на *-s* был утрачен в иберо-романском (исп. *pan*, порт. *pão*); старофранцузский, последовавший тому же принципу, воспользовался другой пропорцией. Чтобы противодействовать смешению чисел в 3 склонении (**rains* от *panis* и от *panes*, **flours* от **floris* и от *flores*), в старофранцузском ном. мн. ч. был перестроен по аналогии со 2 склонением (для существительных мужского рода) или ном. ед. ч. был перестроен по аналогии с 1 склонением (для существительных женского рода). В результате для мужского рода: (ном.) ед. ч. *murs* «стена» (ном.), мн. ч. *mur* = (ном.) ед. ч. *rains* : (ном.) мн. ч. *rain*; для женского рода: (ном.) мн. ч. (уже перестроенный) *terres* «земли» : (ном.) ед. ч. *terre* = (ном.) мн. ч. *flours* «цветок» : (ном.) ед. ч. *flour*.

Здесь следует заметить, что у Кретьена де Труа встречаются существительные женского рода типа *flour* с окон-

чанием ном. ед. ч. -s; архаический характер этих случаев до сих пор является предметом дискуссии.

Пропорция, использованная в старофранцузском, не могла быть применена в иберо-романском. Формы типа *mugos, *mure (< mugus, muri) или *terra, *terre (< terra, terrae) в силу чисто фонетических причин (различия в огласовке конечного слога) никак не могли влиять на *rapes и т. д. Замещение номинатива *rapes аккузативом rape, происшедшее в иберо-романском, привело к тому, что аккузатив распространился за счет номинатива, на 1 (исп. tierras) и 2 (mugo, mugos) склонения.

В восточнороманском (румынский, итальянский) из-за утраты конечного -s еще в долитературную эпоху результат был иным. Однако и там развитие следовало указанному принципу. Три склонения, представленные формами mugus, terra, panis, получили в итальянском языке следующий вид:

ном. terra terre muro muri *pani pani
акк. terra *terra mugo *muro rape pani

Нет необходимости специально останавливаться на очевидном механизме дифференциации, корни которого уходят в историю языка.

Данные романские примеры говорят о следующем:

(V) Чтобы восстановить центральное различие, язык может отказаться от различия, более периферийного.

Пять формул, проиллюстрированных примерами, касаются:

1) принципов изменений, которые осуществляются в силу наличия тех или иных соотношений. С одной стороны, эти принципы определяются отношением общего к частному, то есть отношением, которое объективно характеризуется соответствующими сферами употребления (формула II); с другой стороны, — отношением структуры к своему конституирующему изофункциональному члену (формула III). Эта дихотомия соответствует двум большим классам отношений, существующих в системе языка: отношения деривации и синтаксического отношения, то есть отношения между элементами, принадлежащими к одному и тому же классу, и отношения между элементами, входящими в одну и ту же структуру;

2) результата указанных изменений, который состоит в обобщении сложных морфем за счет простых (частных) морфем (формула I);

3) дифференциации как результата неполной перестройки, приводящей к расщеплению одной формы *A* на две формы: *A'* и *A*, причем новая форма *A'* представляет первичную функцию формы *A*, а вторичная функция сохраняется за старой формой *A* (формула IV). Распространение дифференциации может повлечь за собой утрату периферийных различий, если это необходимо для сохранения центральных различий (формула V).

Однако хотя упомянутые формулы проливают свет на механизм так называемых «аналогических» изменений, они не устраняют характер случайности, который часто приписывают этим изменениям. То обстоятельство, что преобразование может быть как полным, так и неполным (в случае дифференциации), заставляет нас считать, что оно может и вовсе не иметь места. Соответствующее доказательство можно найти в близкородственных диалектах, которые при одном и том же фонетическом изменении подвергаются «аналогическим» трансформациям различной степени охвата. Мы рассмотрим один пример такого типа.

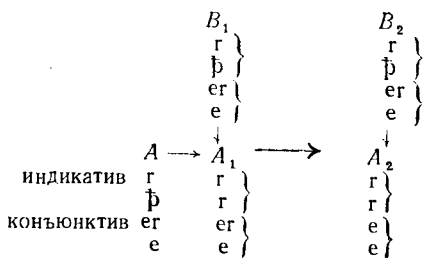
В древнескандинавском было утрачено различие между формами 2 и 3 л. ед. ч. презенса индикатива. Старые окончания сильных глаголов были: **-iz* во 2 л., **-iþ* — в 3 л. В результате выпадения предконечного гласного окончания *-z* и *-þ* оказались в контакте с конечным согласным корня. Если им является *-l* или *-n*, происходит ассимиляция: *-iz* > *-ll*, *-iþ* > *ll*; *-nz* > *-nn*, *-nþ* > *-nn*. Таким образом, у некоторых сильных глаголов в презенсе индикатива совпали формы 2 и 3 лица. Затем по «анalogии» совпадение распространилось на все сильные и слабые глаголы. Так, в древнеисландском *þú býrð* «ты живешь» и *hann býrð* «он живет», *þú ðómr* «ты полагаешь» и *hann ðómr* «он полагает», *þú kallar* «ты зовешь» и *hann kallar* «он зовет» и т. д. В западноскандинавском процесс дальше не идет, но в древнешведском дело обстоит иначе: там совпадение продолжало распространяться и в конце концов проникло во все парадигмы, в том числе в парадигму претерита и в парадигмы обоих конъюнктивов. В то время как в древнеисландском формы 2 и 3 л. (*kallar*)

совпадают только в презенсе индикатива, а в претерите различаются: (†ú)kallader «ты звал» и (hann)kallade «он звал», в древнешведском совпадают и форма презенса и форма претерита (kallade).

Итак, один и тот же фонетический толчок имел в западноскандинавском и в восточноскандинавском различные последствия. В западноскандинавском действие «аналогии» распространилось сначала на сильные глаголы, а потом на слабые исключительно в пределах презенса индикатива. В восточноскандинавском презенс индикатива повлиял в свою очередь на претерит индикатива и на конъюнктив. Естественно, что совпадение форм 2 и 3 л. влечет за собой расширение обязательного употребления личного местоимения *ǫ́* «ты», так как теперь различать 2 и 3 л. позволяет только личное местоимение.

Почему же совпадение обеих форм охватывает в западноскандинавском и в восточноскандинавском разные сферы? Нам кажется, что причиной этого могут быть лишь внешние факторы, не зависящие от данной языковой системы. То, что сфера действия аналогии в восточноскандинавском шире, чем в западноскандинавском, доказывает, как нам кажется, что в западноскандинавском распространение новой формы (то есть совпадение двух форм) шло на протяжении более долгого срока, так как натолкнулось здесь на более серьезное социальное сопротивление.

Механизм распространения новых форм можно представить следующей схемой, где *A* — центр, или исходная точка определенной инновации, а *B₁B₂* и т. д. — различные общественные слои (классы, поколения, профессиональные и территориальные группы и т. д.), в которые постепенно эта инновация проникала.



Когда группировка B_1 принимает совпадение личных форм, происшедшее в среде A , окончание $-г$ обобщается в соответствии с пропорцией $-ф$ (среда B_1) : $-г$ (среда A) в форме 3 л. ед. ч. презенса индикатива. Тому представителю среды B_1 , который различает в своей речи окончания $-г$ и $-ф$, совпадение этих окончаний кажется характерным признаком языка среды A ; стремясь подражать этому языку, он преувеличивает (обобщает) различие между языком среды A и языком среды B_1 , распространяя это различие на случаи, где оно ранее не существовало, создавая тем самым гиперкорректные формы: то есть вводя повсюду в презенсе индикатива окончание $-г$ вместо окончания $-ф$. Если язык среды A продолжает распространяться в этом видоизмененном виде (A_1), проникая, например, в среду B_2 , то он может быть источником дальнейших поляризаций и новых гиперкорректных форм. Для представителя среды B_2 совпадение всех форм 2 и 3 л. презенса индикатива кажется приметой языка A_1 , что приводит к совпадению этих личных форм и в презенсе конъюнктива (в языке A_2), поскольку в B_2 они различаются ($-ег$, $-е$).

Итак, язык A (им может быть общенародный, официальный, литературный и т. д. язык), проникая последовательно в социальные среды B_1 , B_2 и т. д., подвергается изменениям, которые обусловлены противопоставлением собственного говора (в широком смысле этого термина) и языка A , существующим в мозгу говорящего.

Если вначале говоры B_1 , B_2 и т. д. совпадают по интересующей нас морфологической особенности (в части глагольных окончаний как таковых), то «аналогическая» инновация (совпадение форм 2 и 3 лица) имеет шансы распространиться на всю систему (здесь — на оба времени и оба наклонения).

2 и 3 л. ед. ч.	през. инд.	през. кон.	прет. инд.	прет. кон.
др.-исл. др.-шв.	-аг, -аг -аг, -аг	-ег, -е -е, -е	-ег, -е -е, -е	-ег, -е -е, -е

Иначе говоря, распространение новой формы в системе языка прямо и тесно связано с ее распространением внутри языкового коллектива. Доказательство этому можно найти не только в морфологии, но и в словаре. Так, богатство смысловых нюансов слова, то есть его полисемия, отражает его большее или меньшее употребление в пределах различных социальных, профессиональных и территориальных групп и т. д. Но чем более однороден языковой коллектив, тем больше шансов, что инновация распространится в нем, не выходя за пределы первоначальной сферы своего употребления.

В этом отношении весьма поучительно различие между западноскандинавским и восточноскандинавским. Западноскандинавский бытовал, очевидно, в более однородной среде и поэтому был больше подвержен изменениям, чем восточноскандинавский.

Однако рассматриваемый вопрос имеет еще один аспект. Распространение совпадения форм 2 и 3 л. ед. ч. в западноскандинавском эквивалентно употреблению личного местоимения 2 л. ед. ч. þú «ты», например þú kallaþe перед формами 3 л. ед. ч. типа kallaþe «он позвал», обычно употребляющимися с существительным. Говорящие, которые приняли новую форму 2 л. ед. ч., воспринимают ее как замещение старой «синтетической формы» kallaþer «clamavisti» «аналитическим» оборотом þu kallaþe «*tu clamavit». Подражание такому распространению инновации приводит к замещению синтетической формы аналитическим оборотом и в 1 л. ед. ч., откуда конструкция ek kallaþe вместо kallaþa. Таким образом, инновация распространяется в двух направлениях: из парадигмы индикатива на другие парадигмы, от 2 л. ед. ч. на 1 л. ед. ч. Конечный результат этого — совпадение всех трех лиц единственного числа во всех глагольных парадигмах западноскандинавского.

Для этих скандинавских морфологических явлений можно найти параллель из истории западногерманских языков. В древнесаксонском (и англофризском) во множественном числе обоих времен и обоих наклонений существовало одно окончание глагольных форм: gēbath «мы даем, вы даете, они дают», gēben «мы, вы, они дали», gâbun «мы, вы, они дали бы» (претерит конъюнктива); gâbin «мы,

вы, они давали бы» (презенс конъюнктива). В то же время во франконском мы имеем в през. инд. *wërthan* «становиться», *wirtheit* «он становится», *wërthanit* «они становятся» и т. д. Данная морфологическая особенность саксонского и англофризского объясняется тем, что в этих языках выпали носовые согласные перед спирантами *f*, *p*, *s*. Окончания *-ar* 2 л. мн. ч. и *-ān* 3 л. мн. ч. совпали, так как компенсирующее растяжение предшествующего гласного (ср. *ūs* < *uns*, *fif*-*fimf*) аннулируется из-за сокращения безударных гласных (*-an* > *-ar* > *-a*). Это совпадение, фонетически объясняемое для глаголов на *-an* и *-jan*, обобщилось: в историческую эпоху оно стало обязательным в саксонском и англофризском для всех глаголов во всех четырех парадигмах. Далее, аналитическая конструкция, ставшая необходимой во 2 л. мн. ч. (например, др.-сакс. *gi gēbath* «вы даете»), переходит и в 1 л. мн. ч. В древнесаксонском и в англофризском изменения произошли во множественном числе точно те же, что и в единственном числе в восточноскандинавском:

а) совпадение 2 и 3 л. презенса индикатива у некоторых глаголов (в единственном числе — в восточноскандинавском, во множественном числе — в древнесаксонском);

б) совпадение охватывает претерит индикатива и обе парадигмы конъюнктива (в единственном числе — в восточноскандинавском, во множественном числе — в древнесаксонском);

в) совпадение охватывает 1 л. мн. ч. всех парадигм (в единственном числе — в восточноскандинавском, во множественном числе — в древнесаксонском).

Третий пример совпадения всех трех лиц можно найти в истории алеманских диалектов, где общее окончание множественного числа *-et* (*gebet*). Вначале имело место лишь совпадение 2 и 3 л. мн. ч.; такое состояние не только засвидетельствовано Ноткером (*wir gēben*, *ir gēbent*, *sie gēbent*), оно встречается и в современном валлисском говоре (*-z*, *-et*, *-et*).

Эти три примера показывают, что аналитическая конструкция (личное местоимение + глагол в 3 л. мн. ч.) обобщается внутри парадигмы числа (единственного или

множественного). Аналитическое изменение происходит либо в направлении от 2 л. ед. ч. к 1 л. ед. ч., либо от 2 л. мн. ч. к 1 л. мн. ч., но никогда в направлении от 2 л. ед. ч. ко 2 л. мн. ч. или наоборот. Аналитическая конструкция типа **tu amat* с *amat* вместо *amas* может вызвать замещение формы *apio* конструкцией типа **ego amat*, но не может привести к замене формы *amatis* конструкцией **vos amat*, поскольку во множественном числе грамматическая система требует *amant*, а не *amat*. Результат **vos amat* возможен лишь в том случае, если формы 3 л. ед. и 3 л. мн. ч. предварительно совпали, как это произошло, например, в литовском.

В уже упоминавшихся алеманских диалектах можно найти еще более ясные примеры гиперкорректных форм, которые объясняются реакцией носителей местного говора на общенациональный литературный язык. В говоре Базеля¹ для всех трех лиц множественного числа существует общее окончание -е (< -en).

Оно обусловлено пропорцией, обосновывающие члены которой — диалектные особенности, а обоснованные члены — факты литературного языка:

обосновывающие формы — *gebe(t)*, *gebet*, *gebet*;
обоснованные формы — *gebe(n)*, *gebet*, *gebe(n)*.

Отношение *gebet* : *gebe* в 3 л. мн. ч. влечет за собой отношение *gebet* : *x* (*x*=*gebe*) также и во 2 л. мн. ч.

Аналогичные изменения произошли на территориях говоров, переходных от алеманских к франкским:

обосновывающие формы — *gebet*, *gebet*, *gebet*;
франкский диалект и литературный язык — *geben*, *gebet*, *geben*;
переходные говоры — *geben*, *geben*, *geben*, *gebet* :
geben (1 и 3 л. мн. ч.)=*gebet* : *x* (*x*=*geben*).

Особенностью пропорций, лежащих в основе этих изменений, является тот факт, что их члены — это и де н-

¹ См. B e h a g h e l, *Geschichte der deutschen Sprache*, изд. 5, 1920, стр. 168 и сл.

т и ч н ы е элементы, принадлежащие к двум различным системам. Приведенные пропорции представляют собой особый случай и показывают, что в н у т р е н н е е обоснование, определенное формулами (II) и (III), является в то же время и в н е ш н и м обоснованием.

(VI) П е р в ы й и в т о р о й члены пропорции принадлежат в н а ч а л е к р а з н ы м системам: о д и н к п о д р а ж а е м о м у г о в о р у, д р у г о й — к п о д р а ж а ю щ е м у.

Возвращаясь к нашим исходным позициям, отметим, что невозможно предвидеть заранее сферу охвата «аналогического» изменения (ср. западноскандинавский : восточноскандинавский). Распространение морфологического изменения является одновременно и в н е ш н и м (в языковом коллективе), и в н у т р е н н и м (внутри грамматической системы). С одной стороны, определенная система используется многими индивидуумами, с другой — индивидуум представляет собой как бы точку пересечения нескольких систем (говоров, диалектов, языков). Шухардт называл это пересечение *Sprachmischung* (букв. «смешением языков»), но было бы точнее говорить об обосновании системы *A* системой *B* (см. вышеприведенную схему), которое вызывает эффекты противопоставления, поляризации и т. д., так как различия, существующие между двумя родственными системами, обычно обобщаются говорящим индивидуумом (гиперкорректные формы). Явления этого рода были выявлены и подробно описаны отцом лингвистической географии Ж. Жильероном.

Подведем итог. Конкретная грамматическая система позволяет увидеть, какие «аналогические» изменения в ней возможны (формулы I—V). Однако лишь социальный фактор (формула VI) определяет, осуществляются ли эти возможности и если да, то в какой мере. Дождевая вода должна течь по предусмотренному пути (водосточные трубы, желоба, стоки) при условии, что идет дождь. Но сам дождь не является необходимостью. Изменения, предусмотренные «аналогией», тоже не являются необходимостью. Поскольку лингвистика вынуждена считаться с этими двумя различными факторами, она никогда не может предвидеть будущих изменений. Наряду с взаимозависимостью и иерархией языковых элементов внутри данной

системы, лингвистика имеет дело с исторической случайностью (в социальной структуре). И хотя общая лингвистика склоняется скорее к анализу системы как таковой, конкретные исторические проблемы могут решаться удовлетворительно лишь с учетом обоих факторов одновременно¹.

¹ Настоящая статья была отослана в АЛ в апреле 1947 года. С тех пор автор занимался исследованиями балтославянской акцентуации, в результате которых отношение между парадигмами с подвижным циркумфлексом и парадигмами с неподвижным акутом предстало перед ним в новом свете. Однако основной факт *п о л я р и з а ц и и*, вытекающий из отношения обоснования, сомнениям не подвергается.

ЭРГАТИВНОСТЬ И СТАДИАЛЬНОСТЬ В ЯЗЫКЕ ¹

(1946)

Синтаксис языков с так называемым номинативным строем, к которым принадлежат, например, индоевропейские и семитские языки, отмечает различие между подлежащим и (прямым) дополнением (*subjectum*, *objectum*). Подлежащим является слово, нормально существительное или местоимение, определяемое предикативно сказуемым (обыкновенно глаголом), и дополнением же — существительное или местоимение, определяющие сказуемое, например *дворник* ← *пилит* ← *дрова*, где стрелы направлены от определяющего к определяемому (хотя оба эти определения по сути разны). Большинство языков располагает возможностью применить пассивную] конструкцию, т. е. переменить прямое дополнение в подлежащее, подлежащее в косвенный падеж, преимущественно творительный, а активный глагол в пассивный — *дрова пилятся дворником*; *janitor lignum secatur: lignum secatur a janitore*.

Таким образом, одно и то же действие представлено двумя языковыми способами, двумя конструкциями, активной и пассивной. В первом случае грамматическим подлежащим является *agens*, т. е. то, что действует (в нашем примере действующее лицо «дворник»). Во втором случае роль подлежащего играет *patiens*, т. е. определяющее лицо или предмет (в нашем примере «дрова»). *Agens* и *patiens* — каждое может быть исходным пунктом, т. е. подлежащим предложения. Таким образом, нельзя смешивать *agens*'а с подлежащим, *patiens*'а с прямым дополнением. Подлежащее и прямое дополнение — это

¹ Е. Курлович, Эргативность и стадияльность в языке, Изв. АН СССР, 1946, т. 5, стр. 387—394; перепечатывается без редакционных изменений.

грамматические категории, *agens* и *patiens* — понятийные категории¹. В вышеупомянутых языках нормальной является активная конструкция, т. е. с *agens*-ом как подлежащим, пассивная же конструкция имеет две различные функции: одну грамматическую, вторую стилистическую.

Грамматическая функция страдательной формы — это ее употребление в том случае, когда предложение строится без *agens*-а или потому, что он неизвестен, или потому, что не обращают на него внимания: *в лесу был убит солдат (в лесу убили солдата), пар вспахивается*, латинское *itur* «идут» (буквально «идется»). Обыкновенно, если *agens*-ом является лицо, неизвестное или неназванное, возможна и активная конструкция: говорят *dicunt*, *on dit*, *man sagt*. При пассивной конструкции без *agens*-а имеем только два основных члена, глагольную форму и *patiens*.

Другую, а именно не грамматическую, но стилистическую функцию имеет полная (трехчленная) пассивная конструкция: *солдат был убит врагом, пар вспахивается крестьянином*, которая совсем не отличается своим содержанием от соответствующих активных конструкций: *враг убил солдата, крестьяне вспахивают пар*. Эти две конструкции разнятся между собою только стилистическим оттенком. Говорят, например, *Пушкин был убит в поединке Дантесом*, если речь шла о Пушкине, но *Дантес убил Пушкина в поединке*, если речь шла о Дантесе. В первом примере *patiens*, во втором *agens* являются психологическим, а не только грамматическим подлежащим. Но психологическое подлежащее — это уже термин стилистики.

Наличие пассивной конструкции в разных языках оправдывается не этой стилистической функцией, а первой, грамматической функцией. Это следует из факта, что могут существовать или обе или только вторая, но никогда не существует только вторая. Это значит, что нет языка, который бы образовал и сохранял страдательный залог исключительно для стилистических целей. Наоборот, есть языки, в которых *passivum* служит только

¹ Так как в русском языке существуют, кроме своих терминов (подлежащее, дополнение), и соответствующие иностранные (*subjectum*, *objectum*), некоторые русские ученые употребляют вместо *agens* и *patiens* термины субъект и объект.

грамматическим целям, например латынь в своей старшей стадии или классический арабский. В этих языках *passivum* употребляется только в двучленных конструкциях, состоящих из глагола и *patiens'a* (но без *agens'a*). Нет языков, в которых бы пассив употреблялся только в трехчленных конструкциях.

С другой стороны, есть языки, в которых нормальным является не наш номинативный, или активный, строй (*враг убил солдата*), но так называемый э р г а т и в н ы й строй, который можно бы сравнить с нашим пассивом. Но сравнение это не вполне оправдано, так как этот эргативный строй считается в данных языках основным и нормальным, как наш активный, не производным и стилистически подчеркнутым, как наш пассив. Например, ср. Г у х м а н, Происхождение строя готского глагола, стр. 136 (пример Дирра): в грузинском «охотник убил оленя» передается так: *monadire — man irem — i mohkla*, т. е. «охотником олень убит», в то время как в настоящем времени имеется *monadire irem — sa mohklav*, т. е. «охотник оленя убивает». Таким образом, грузинский имеет в прошедшем времени (так называемом аористе) эргативную конструкцию, в настоящем — номинативную.

В эргативной конструкции исходным пунктом является *patiens* («олень»). Он выступает в падежной форме, которую имеет подлежащее непереходного глагола. *Agens* стоит в косвенном падеже, называемом обыкновенно эргативным падежом или *casus activus*.

Эргативной (или менее правильно «пассивной») конструкцией баскского, кавказских и североамериканских языков занимались в начале века западноевропейские языковеды (Schuchardt, Finck, Uhlenbeck), потом русские лингвисты (Марр, Мещанинов, Кацнельсон и др.). Schuchardt первый обратил внимание на возможность происхождения индоевропейского номинативного строя из эргативной конструкции. Марр же и его школа пытались придать вопросу номинативной и эргативной конструкций более глубокий характер, связывая их с теорией стадийности языков.

Теория эта представляется в нескольких словах таким образом. Языковые формы (главным образом предложение как основная форма) развиваются в определенном направ-

лении. Можно различать несколько главных этапов или стадий (три или четыре). Эволюция эта тесно обусловлена соответственным развитием социальной структуры общества, производственных отношений и т. д. Члены предложения и части речи возникают постепенно путем дифференциации.

Нас интересует здесь строй предложений. В этом отношении школа Марра отмечает отсутствие различия между словом и предложением на первой стадии, эргативный строй предложения на высшей стадии. Если, как в грузинском или в некоторых индоевропейских (а именно индоиранских) языках существуют рядом и номинативная и эргативная конструкции, то следует последнюю считать пережитком, не соответствующим действительному строю общества и мышлению (миросозерцанию). Ибо эргативная конструкция, рассматривающая действие со стороны *patiens*'а, соответствует (по К а ц н е л ь с о н у, К генезису номинативного предложения, стр. 92) мышлению, для которого предметы сами по себе являются инертными; с другой стороны, номинативная стадия связана с «возникновением в мышлении понятия о предмете как обладающем свойствами субстанции и соответственно в языке именительного падежа как средоточия в с е х м ы с л и м ы х г л а г о л ь н ы х п р е д и к а т о в» (разрядка моя.— Е. К.).

Прежде всего рассмотрим здесь номинативный и эргативный строй в их взаимном параллелизме.

Как при номинативном, так и при эргативном строе существуют у переходных глаголов три возможности:

1. Существует только эргативная конструкция.

2. Существует эргативная конструкция и, кроме того, а б с о л ю т н а я конструкция, т. е. такая, в которой нет *patiens*'а, который является пропущенным или потому, что неизвестен, или потому, что не обращается на него внимания. Ср., например, *женщина варит, он пьет* (если неизвестно что — водку, пиво, вино и т. д.; или если это не стоит внимания). Но глагол в этом случае выступает в некоторых языках эргативного строя, например в абхазском (М е щ а н и н о в, 'Новое учение о языке, стр. 166) в специальной форме, которую зовут субъектной в отличие от субъектно-объектной, употребляемой при

наличии *patiens'a*. Что же касается *agens'a*, то он выступает в а б с о л ю т н о м падеже, как при непереходном глаголе или в номинальной фразе. То же самое прослеживается и в ряде других яфетических языков (Мещанинов, *Общее языкознание*, стр. 158 и 159).

3. Существует эргативная конструкция, т. е. *agens* в эргативном падеже, глагол в субъектно-объектной форме, *patiens* в абсолютном падеже, а рядом с ней — подчеркнутая стилистически обратная конструкция: *agens* в абсолютном падеже, глагол в субъектной форме, *patiens* в косвенном падеже. В то время как в эргативной форме пунктом исхода является *patiens* (потому что его форма является подлежащим и во фразах с непереходным глаголом и в номинальных фразах), в обратной конструкции исходным пунктом становится *agens*. Имеем здесь будто полярную противоположность современным европейским языкам, в которых активная, т. е. нормальная, фраза исходит от *agens'a*, а стилистически подчеркнутая пассивная форма от *patiens'a*.

Такое положение дела находим в описанных Мещаниновым (в его «Новом учении о языке») палеоазиатских языках. Он говорит (стр. 69): «В унанганском (алеутском) языке мы имеем два строя спряжения с различными формативами: прямой (субъектный), относительный (субъектно-объектный). Один из них (прямой, субъектный) указывает местоименную частицу на субъект, объект же, если он налицо во фразе, вовсе не отражается в глагольном оформлении». В другом (относительном) субъект (существительное) ставится в относительном, а не в прямом падеже, как при глаголах первой формы.

Например, *qa-h anǵaǵi-m su-kū* «рыбу человек берет» (стр. 65), *anǵaǵi-h qa-h su-kū-h* «человек рыбу берет» (стр. 70). Стр. 85: И в языке немепу (в Северной Колумбии), «как и в унанганском (алеутском), непереходная форма вовсе не означает непереходного глагола, который уже по одной своей семантике не требует прямого дополнения. В языке немепу, как и в унанганском, наоборот, непереходная форма характеризуется лишь отсутствием объекта в ней самой, что вовсе не означает невозможности объекта во фразе с глаголом безобъектным по форме». Это значит, что для переходных глаголов имеем два залога, субъектный

и субъектно-объектный, и, следовательно, две возможности конструкции фразы с переходным глаголом, как в унаганском языке.

То же самое для одульского (юкагирского), стр. 107, пункт 3, для чукотского, стр. 121 и 122. В этом последнем языке предложение типа *женщина варит мясо* передается или через

женщина — в орудийном падеже, *варит* — в субъектно-объектной (переходной) форме, *мясо* — в абсолютном падеже, или

женщина — в абсолютном падеже, *варит* — в субъектной форме, *мясо* — в косвенном (орудийном) падеже.

Таким образом, говорит здесь Мещанинов, одна и та же фраза оказалась построенной по двум видам глагольного оформления, с различием формальным при тождестве содержания. В чукотском языке находим, по автору, «выдержанное проведение эргативности» (стр. 121).

На основе этих материалов получается следующий параллелизм номинативных и эргативных конструкций:

А. номинативные

1. *женщина варит мясо*
2. *женщина варит мясо*
мясо варится
3. *женщина варит мясо*
мясо варится
мясо варится женщиной

Б. эргативные

1. *женщиной варится мясо*
2. *женщиной варится мясо*
женщина варит
3. *женщиной варится мясо*
женщина варит
женщина варит мясо

Надо отметить, что в эргативной конструкции в некоторых языках различаем подгруппу глаголов *sentienti*, в которых *agens* принимает форму не орудийного, а дательного падежа.

С другой стороны, в конструкции Б, *женщина варит мясо* *patiens* в чукотском является в орудийном падеже.

Но эти детали не влияют на общую картину: суть дела в том, что один раз *agens*, другой раз *patiens* является в той падежной форме, которую имеет подлежащее в предложениях с непереходным глаголом или в номинальной фразе.

В А₂ и Б₂ находим одну полную конструкцию (с *agens*'ом и *patiens*'ом) и одну неполную: в номинативном строе

это конструкция *мясо варится* (без *agens'a*), в эргативном строе конструкция *женщина варит* (без *patiens'a*). Эти неполные конструкции имеют грамматическую функцию. Когда по разным причинам *agens* или *patiens* не упомянуты, глагол принимает специальную форму, пассивную в первом, абсолютную во втором случае. Под *A₂* и *B₂* находим по две полные конструкции. И в номинативном и в эргативном строе их противоположность чисто стилистическая. В обоих случаях и *agens* и *patiens* могут являться исходным пунктом конструкции, с той разницей, что в номинативном строе н о р м а л ь н о является подлежащим *agens*, а конструкция с *patiens'ом* в роли подлежащего — это ее стилистически подчеркнутый вариант, в эргативном же строе — наоборот.

И под 2. и под 3. язык имеет по два залога, в номинативном строе — активный (действительный) и пассивный (страдательный), в эргативном строе — эргативный и абсолютный (или субъектно-объектный и субъектный). *A₁* и *B₁* представляют собой языки с одним только залогом. Язык может обойтись без другого залога даже в случае неполной конструкции (где, как мы видели, второй залог играет грамматическую роль). В санскрите можно сказать *māṁsam rasati* «варит мясо» в значении русского *мясо варится кем-то* с той глагольной формой, что *māṁsam rasati strī* «женщина варит мясо». С другой стороны, в ряде языков с эргативной конструкцией говорят *женщиной варится (что-то)* с той же формой глагола, что и в полном предложении *женщиной варится мясо*.

Возникает теперь вопрос, в какой мере разница между номинативным и эргативным строем отражает разницу мышления. В конструкциях *A₁* и *B₁*, для которых нет в пределах одного и того же языка сопоставления с другой конструкцией — ни с конструкцией пассивной для *A₁*, ни с конструкцией абсолютной (субъектной) для *B₂*, разница в мышлении совсем не может отразиться в конструкции¹, так как существует только одна грамматическая

¹ Ср. В а н д р и е с, Язык (русский перевод), стр. 218—221. Мышление может отражаться в языке частично (откуда языковое и внеязыковое мышление). Разница, существующая в языке, должна существовать и в мышлении. Но, наоборот, нельзя заключить из отсутствия в языке разницы отсутствие ее в мышлении, например,

форма выражения, несмотря на то, что является пунктом исходным в мышлении, *agens* или *patiens*. То же самое можно сказать о конструкциях A_2 и B_2 , для которых тоже нет противоположностей, так как строй неполных форм, пассивной в A_2 , абсолютной для B_2 , обуславливается чисто грамматически отсутствием *agens'*а в A_2 и *patiens'*а в B_2 . Противоположность налицо только в A_1 и B_1 , где имеем по две полные конструкции, в A_1 — нормальная — *женщина варит мясо*, и стилистически подчеркнутая — *мясо варится женщиной*, в B_1 — наоборот. Здесь разница в мышлении действительно в некоторой мере отражается и в языковой форме¹. В зависимости от субъективного психического расположения говорящего исходным пунктом (т. е. подлежащим предложения) является или *agens* или *patiens*. Но, с другой стороны, мы видим, что эти возможности наличествуют и в номинативном и в эргативном строе. Разница здесь та, что в первом случае употребляем нормально активную, во втором случае нормально эргативную (субъектно-объектную) конструкцию. Но это не качественная, а скорее количественная разница: употребление нормального и стилистически подчеркнутого залога будет зависеть от индивида, воспитания, стиля (класса, литературного языка) и т. д. Существенным является наличие обеих возможностей в обоих строях. Это значит, что эти два строя не отражают двух разных мышлений.

Но можно бы возразить, что характерными для этих двух строев являются не конструкции A_2 и B_2 , но конструкции A_1 и B_1 , а именно: во время их возникновения в языке, когда возникло трехчленное предложение, язык выбрал один из двух возможных пу-

все люди различают пол (*он, она*), но не все грамматический род (ср. иранское $\bar{o}$ = «он, она»). Если существует только один залог, нельзя определить, что является для говорящего в разных случаях исходным пунктом действия; не говорим о других средствах, как порядок слов, ударение. Во всяком случае, нельзя смешивать мышление, как представляемое (языком), с категориями, как орудием представления.

¹ А именно: отражается индивидуальное отношение говорящего к высказыванию. Оно образует полюс внеязыкового мышления, в то время как содержание обеих конструкций (языковое мышление) тождественно.

тей, от *agens'*а до *patients'*а, или наоборот. Это была бы уже не функциональная, а генетическая связь языка с мышлением. Не хочу здесь пользоваться аргументом, вытекающим из собранных И. И. Мещаниновым материалов, а именно: что как раз стадиально, по его мнению, старшие палеоазиатские языки имеют противоположность двух полных конструкций, отмечаемых под B_3 . Это значило бы, что изолированная конструкция B_1 является редукцией из старшего, двузалогового строя. Гораздо важнее, по моему мнению, то, что если эргативная конструкция B_1 отражает мышление в момент своего генезиса, тогда нам приходится принять одно из двух: 1) или она опять выбрана из двух конструкций, из которых другая исчезла, тогда получаем более древнюю стадию, на которой или *agens* или *patients* могли стать подлежащим фразы; 2) или мы имеем в виду момент возникновения языка, что, во-первых, является только отвлеченным построением, без эмпирического основания, а, во-вторых, опять противоречит принципу стадиальности, по которому эргативность возникает на определенной, сравнительно поздней, стадии языкового развития.

Итак, приходим к выводу, что номинативность и эргативность или ничего общего с разницей мышления не имеют (A_1 , A_2 ; B_1 , B_2), или отражают стилистические оттенки (A_3 , B_3), но в таком случае одинаковым с п о с о б о м в номинативном и эргативном строе, значит, независимо от придаваемой школой Марра этим конструкциям стадиальности.

Но и само понятие стадиальности неприменимо по отношению к номинативному и эргативному строю. Приверженцы теории стадиальности могут защищаться на новых позициях, утверждая, что эргативность хотя и не представляет собой более примитивного (т. е. соответствующего более примитивному общественному строю) мышления, чем номинативность, но все-таки она является более древней конструкцией, чем номинативность¹. Такое утверждение было бы неправильно. Раз язык имеет выбор между двумя стилистически дифференцированными конструкциями (A_3 , B_3), исчезновение одной из этих может повлечь

¹ Т. е. более древним орудием представления мышления.

за собой и изменение строя (номинативного на эргативный и наоборот). Если в случае A_3 (противоположность активно-пассивная) исчезает пассив, получаем A_1 . Но если исчезает актив, получим B_1 . Уже давно было открыто, что разница между пассивной и эргативной конструкциями состоит в том, что первую сопоставляют с активной, как основной, вторую же — нет. Так объясняется генезис эргативной конструкции в индоиранских языках. Прибегать к понятию пережитков здесь не нужно¹.

Французский язык, кроме нормальной конструкции — *le maître prend le livre, les élèves prennent les plumes*, имеет пассив — *le livre est pris par le maître, les plumes sont prises par les élèves*, и, кроме того, менее литературную, но правильную конструкцию: *le livre le maître le prend; les plumes les élèves les prennent*.

Если бы вследствие потери контакта с литературной традицией, в определенных условиях, например в какой-то французской колонии, пассивная конструкция вытеснила две остальные, научному описателю языка пришлось бы говорить об эргативном строе его фразы. Если бы, с другой стороны, осталась только конструкция *le livre le maître le prend*, лингвистам пришлось бы говорить о субъектно-объектном строе французского глагола:

le livre — le maître — le prend
les plumes — les élèves — les prennent.

Местоимения *le, les*, стоящие перед глаголом, казались бы описателю просто неударяемыми, префигированными глаголу элементами, согласующимися с *patiens'*ом (*le livre, les plumes*), в то время как личные окончания глагола (*prend, prennent*) соответствовали бы *agens'y* (*le maître, les élèves*). Аналогично при упражнении B_3 получаем B_1 , если исчезает вторая (субъектная) конструкция, но A_1 , если исчезает субъектно-объектная (эргативная) конструкция. Если бы чукотское *женщина варит мясо* вытеснило выражение *женщиной варится мясо*, возникла бы номинативная конструкция A_1 .

Все это следует из принципа противоположности. Функции языковых форм определяются объемом упот.

¹ Принцип смещения языков (арийских с доарийскими) или билингвизма применять специально здесь нельзя, так как этот принцип важен вообще для всех языковых изменений.

ребления этих форм. Потому и функция формы должна определяться в отношении к другим формам, употребляемым рядом с ней в данной семантической или синтаксической области. Остановимся еще на таком вопросе: какое значение придать разнице между A и B , специально между A_3 и B_3 , какое значение имеет для системы языка то обстоятельство, что в первом случае форма с *agens*-ом как подлежащим является нормальной, стилистически бесцветной, а форма с *patiens*-ом стилистически подчеркнутой, во втором же случае наоборот.

Такую разницу обнаружим в языке в случае, когда дело идет о внешнем или внутреннем порядке элементов. Так, например, в одних языках определение (прилагательное) стоит или обязательно или нормально перед определяемым (существительным), в других — после. В первых — позиция после определяемого, во вторых — перед определяемым считается стилистически подчеркнутой (если вообще допускается). В фонетике в одних языках интонация является положительной на второй части (например, в славянском или латышском), в других на первой части (в литовском). В этих примерах речь идет о внешнем порядке элементов, о первом или втором месте. В случае же номинативной и эргативной конструкции можно говорить о внутреннем порядке элементов: исходным членом фразы, т. е. подлежащим, несмотря на порядок слов, является один раз *agens* (в номинативной конструкции), другой раз — *patiens* (в эргативной конструкции). Внешний порядок во фразе в этой связи нас не интересует.

Можно ли две полные конструкции A_3 считать просто обращением двух конструкций B_3 ? Ответ на этот вопрос должен быть отрицательный. Совершенно правильно в языковедении употребляют разные термины, говоря в первом случае об отношении **а к т и в н о й к п а с с и в н о й** конструкции, но во втором — об отношении **э р г а т и в н о й к а б с о л ю т н о й** конструкции (но не **п а с с и в н о й к а к т и в н о й**)¹. Точно так же, как в

¹ По внешней форме актив можно сравнить с абсолютной, пассив — с эргативной конструкцией. Но по функции в языковой системе актив играет такую же основную роль, как эргативная конструкция, пассив же является надстройкой, как и абсолютная конструкция.

области фонетики, верхненемецкое или датское отношение $b : p$ не может считаться просто обращением славянско-романского $p : b$, так как в первом случае p , во втором b является положительным элементом. И здесь тоже совсем правильно языковеды употребляют разные термины: *lenis* и *fortis* — для первой пары, *tenuis* и *media* (или глухая и звонкая) — для второй пары. Это основано на другом лингвистическом принципе, принципе положительности и отрицательности языковых знаков, стоящем в тесной связи с вышеупомянутым первым принципом.

Фонетический состав языка изменяется быстрее, чем структура его фразы. На примере германского видим, как отношение $p : b$ изменялось несколько раз в течение предистории и истории германского. Индоевропейское отношение *tenuis* : *media* заменено было во время первого передвижения согласных (*erste Lautverschiebung*) отношением *lenis* : *fortis*. В исторических германских языках (например, в нижненемецком, английском, голландском, шведском, норвежском) опять находим противопоставление *tenuis* : *media*. И опять эта противоположность в верхненемецком и датском переходит в противоположность *lenis* : *fortis*. Можно ли сказать, что эти два разных вида отношений между p и b принадлежат разным стадиям развития человеческой артикуляции?

Нет. Как на основе разницы между немецкой парой $b : p$ и русской парой $p : b$ нельзя говорить о стадильности в развитии артикуляционных органов, точно таким же образом на основе разницы между парой полных конструкций A_1 и парой B_1 нельзя говорить о стадильности человеческого мышления, даже нельзя говорить о стадильности языковых средств.

Не затрагиваем здесь других признаков, которые Марр и его школа выдвинули как характерные для разных предполагаемых ими стадий языкового развития.

Утверждаем только на основе предыдущего, что эргативность и номинативность не только не отражают никакой разницы мышления, но и являются формами, стадильно совсем неопределенными.

Если стадильность в языковом развитии существовала, то в находящихся в нашем распоряжении и изложенных выше материалах она следа не оставила.

СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА В РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ¹

(1931)

Соотношение между непереходным глаголом и соответствующим переходным бывает двойкой природы. В первом случае подлежащие обоих глаголов могут быть идентичны: фр. *Je cours* «Я беру», *Je parcours une distance* «Я пробегаю дистанцию»; лат. *venire* «приходить», *Romam venire* «приходить в Рим» и т. д. Во втором подлежащее непереходного глагола может превращаться в прямое дополнение соответствующего переходного: фр. *Le cheval sort de l'écurie* «Лошадь выходит из конюшни», *Je sors le cheval de l'écurie* «Я вывожу лошадь из конюшни»; лат. *Discit puer litteras graecas* «Мальчик учит греческие буквы», *Doceo puerum litteras graecas* «Я учу мальчика греческим буквам». Мы ограничимся в своем изложении второй разновидностью отношений. Известно, что в этом случае переходный глагол называется к а у з а т и в о м соответствующего непереходного глагола. Мы сохраняем термин к а у з а т и в за глаголами, п р о и з в о д н ы м и о т г л а г о л о в (что касается термина ф а к т и т и в, то его лучше применять к о т ы м е н н ы м г л а г о л а м, производным от существительных или чаще от прилагательных, например фр. *hausser* «поднимать», *baisser* «опускать» < *haut* «высокий», *bas* «низкий»). В то время как переходный или непереходный характер глагола определяется только его употреблением (синтаксическим), переходный глагол является каузативным лишь тогда, когда он противопоставляется родственному с точки зрения формы непереходному глаголу, подлежащее которого идентично прямому дополнению переходного глагола.

¹ J. Kuryłowicz, Les temps composés du roman, PrF, t. 15, № 2, 1931, стр. 448—453.

В статье «Über den aktivischen und passivischen Charakter des Transitivums» (IF, XVIII, стр. 528 и сл.) Г. Шухардт попытался показать, что с этимологической точки зрения конструкция с переходным глаголом является, как правило, продолжением пассивной конструкции: конструкция *ἀπώλλυμι τὸν ἐχθρὸν* «я уничтожаю врага» — это, в конечном счете, трансформация конструкции *ὁ ἐχθρὸς ἀπώλλυται* (ὁπ' ἐμοῦ) «враг уничтожается (мною)».

Для индоевропейских языков доказательство тезиса Г. Шухардта представляет на первый взгляд непреодолимые трудности, так как во всех этих языках конструкция с переходным глаголом является наследием индоевропейской общности. Но в ряде случаев, где вопрос о происхождении переходного глагола ясен, история подтверждает гипотезу Шухардта. Ф. Н. Финк выступил против общего характера этой гипотезы в своей известной работе «Der angeblich passivische Charakter des transitiven Verbs», KZ, XLI, стр. 208—281, ср. особенно стр. 266 и сл. Не вдаваясь в подробности данной дискуссии, мы приведем классический пример, подтверждающий тезис Г. Шухардта. Удивительно, что этот пример, почерпнутый из истории латинского языка и романских языков, совершенно не привлек внимания Шухардта, хотя романское языкознание составляло специальную область его исследований.

Мы имеем в виду сложные времена с глаголом *habere* в романских языках. В старороманских эти времена могут иметь переходное значение, даже если глагол сам по себе непереходный¹, например «Chanson de Roland», 3591: *mort as mon filz* «ты убил моего сына»; «Couronnement Louis»: *quant deus l'ot mort* «когда бог убил его», ит. *l'ho morto* «я убил его», а также соответствующие обороты других старороманских языков. В ходе поздней эволюции каузативное значение либо распространяется на всю парадигму глагола, либо устраняется вовсе. В первом случае непереходное значение сохраняется наряду с каузативным. Ср. такие французские глаголы, как *descendre* «спускаться» и «спускать», *entrer* «входить» и «вводить», *sortir*

¹ Ср. A. Gaspary, ZfPh. IX, 425—428; F. Brunot, Histoire de la langue française, Paris, I, 1939, стр. 236.

«выходить» и «вынимать», «выводить», *sonner* «звучать» и «звонить» и т. д., которые в современном языке употребляются и как переходные и как каузативные. В испанском, например, *correr* означает «бежать» и «гнать» (например, *correr toros, ciervos* «гнать быков, оленей», ср. фр. *courre le cerf*), *volar* «лететь» и «взрывать», *crescer* «расти» и «увеличивать». В португальском мы находим аналогичные примеры. Ит. *scendere* «спускаться» и «спускать», *crescere* «расти» и «растить», «увеличивать», *perire* «погибать» и «губить», *sonare* «звучать» и «звонить» также имеют оба значения, как и французские глаголы. Следы этой тенденции имеются и в румынском, например *scădea* «упасть» и «опрокинуть». С другой стороны, латинский глагол *morī* в современных романских языках перестал быть каузативным; значение «убить», распространенное в старороманских языках (в сложных временах с *habere*), исчезло. То же самое произошло с фр. *apprendre* (в ст.-фр. «изучать» и «обучать»), *choir* («падать» и «ронять»), *croître* (в значении «увеличивать» вплоть до XVII века), *périr* (в ст.-фр. «погибнуть» и «погубить, потерять»), *tomber* (в значении «ронять», «опрокидывать» еще в XVII веке).

Ни один из глаголов этой категории не был каузативным в латинском языке. В старороманских языках их каузативный характер проявлялся только в сложных временах с *habere*. Если гипотеза Шухардта верна, то романская конструкция *h a b e r e + п р и ч а с т и е* является, очевидно, продолжением пассивной конструкции.

Нам кажется, что это предположение подтверждается историческими фактами. Происхождение романской конструкции *h a b e r e + п р и ч а с т и е* проясняется в свете употребления глагола *habere* в классическом латинском языке. Классическое значение этого глагола — «держатель». Для выражения менее конкретного и более общего значения «иметь» в латинском обычно используется конструкция *d a t i v + e s s e*. Народнолатинская конструкция *habeo factum* (букв. «имею сделанным») является регулярным продолжением доклассической и классической конструкции *mihi factum est* (букв. «мне сделано»), так же, как *habeo aliquid* («имею что-либо») продолжает *mihi aliquid est* (букв. «мне есть что-либо»). Конструкция *habeo*

factum не является инновацией народной латыни; эта конструкция имеет классического «предка»: *mihi factum est*. *Habeo factum* — это механическая трансформация конструкции *mihi factum est*. Что же касается идиоматической конструкции *mihi factum est*, засвидетельствованной начиная с эпохи Плавта, то это, по сути дела, пассивная конструкция. *Mihi factum est*, где датив *mihi*, — это *dativus auctoris*, равнозначно *à me factum est*.

У Плавта (*Trin.*, 347) в *multa bona bene parta habemus* значение «держат, обладают» выступает еще вполне отчетливо. В классической латыни оборот страдательное причастие + *habere* встречается sporadически — только в отдельных выражениях (*cognitum*, *exploratum*, *perspectum*, *persuasum*, *habere*)¹. Значение перфекта появилось достаточно поздно. Полностью оно развилось у Григория Турского (VII век), например *Episcopum invitatum habes* «Ты пригласил епископа».

Эта пассивная латинская конструкция, которую мы считаем источником сложных романских времен с *habere* и каузативного значения этих времен, охватывает прежде всего перифрастические глагольные формы, то есть сложные формы, содержащие либо страдательное причастие прошедшего времени, либо герундив. Таким образом, конструкция *mihi occisus* или *occidendus est* (букв. «он мне убит» или «должен быть убит») противопоставлена конструкции *a me occiditur* («он мной убивается»). Это распределение точно соответствует распределению каузатива и некаузатива в романских языках: например, ст.-фр. *j'ai mort* «я убил», но *je fais mourir* (а не *je meurs*) — для того, чтобы передать значение «я убиваю». Это соответствие между латинским и романскими языками, несомненно, является наилучшим аргументом в пользу нашей гипотезы.

В работе Тильмана о *dativus auctoris*² содержатся материалы по истории этой конструкции от Плавта и Энния до Отцов церкви (Тильман исследовал более 1200 случаев этой конструкции). У Плавта, например, мы находим: «*Mostellaria*», 2, 2, 11; *Expectatus veniam familiaribus*

¹ Ср. замечания Германа в Schmalz — Stolz, Lat. Gramm., стр. 561.

² Н. Tillmann, De dativo qui vocatur graecus, ASPHE, II, 1881, стр. 81 и сл.

«Я приду, ожидаемый домашними»; «Captivi», 3, 4, 105; *Satin istuc mihi exquisitum est* «Достаточно здесь мной выведено»; «Pseudolus», 942: *Meditati sunt mihi doli* «Обдуманы мной хитрости». В ходе развития латинского языка *dativus auctoris* становится все более частым. У Тита Ливия (9,36): *Silva erat Ciminia... nulli ad eam diem ne mercatorum quidem adita* «Лес Циминский... даже ни одним из купцов до этого дня не был посещен». У Вергилия встречается около шестидесяти примеров, у Овидия датив превосходит по частоте аблатив с предлогом *a(b)*. Тацит дает сотню примеров. Эпический поэт Силий Италик употребляет *dativus auctoris* сто пятьдесят раз, а аблатив с *a(b)* — только двадцать раз. Правда, как в классическую, так и в послеклассическую эпоху датив употребляется больше в поэзии, чем в прозе. У Тертуллиана мы находим, например, *quae nec inveniri nec investigari nisi soli Deo potest* «что не может быть ни изобретено, ни исследовано, кроме как одним (самим) богом».

Начиная с III века нашей эры *dativus auctoris* все реже встречается в литературном языке.

Статистическая таблица Тильмана показывает, что из 1222 случаев употребления *dativus auctoris* он встречается 934 раза (то есть в более чем 75% случаев) при перифрастических глагольных формах и 288 раз (менее 25%) при простых глагольных формах. Исчезновение датива, начинающееся в III веке, является, по нашему мнению, косвенным доказательством того, что в разговорном языке конструкция *mihi occisus* или *occidendus est* вытесняется конструкцией *habeo occisum* или *occidendum*.

Для понимания романских каузативов особенно важны случаи употребления датива при непереходных глаголах. Например, у Вергилия, «Georgica», 2, 206: *Non ullo ex aequore cernes — plura domum tardis decedere plaustris* «Ты не увидишь, как с какого-либо поля удаляются в сторону дома многочисленные телеги, влекомые медленными волами»; у Силия Италика, 10, 28—29: *Cadit ingens populi expers uni turba viro* «Огромная толпа, лишенная имени, падает, повергнутая одним мужем» (букв. «падает одному мужу»); 15, 647: *fratri iacet* (= *prostratus est a fratre*) «братом повергнут» (букв. «брату лежит»). Заменяя конструкцию *д а т и в + e s s e + н о м и н а т и в* кон-

струкцией н о м и н а т и в + h a b e r e + а к к у з а т и в, мы переходим от типа *inimicus mihi mortuus est* непосредственно к типу ст.-фр. *j'ai mort l'ennemi* (*inimicum mortuum habeo*).

Полную параллель сложным романским временам, содержащим h a b e r e + страдательное причастие прошедшего времени, представляет романское будущее типа *cantare habeo* (фр. *chanterai*, ит. *canterò*, исп. *cantaré* и т. д.). Это будущее продолжает перифрастическую форму *mihi cantandum est*. В послеклассическую эпоху герундив употреблялся преимущественно в перифрастическом спряжении¹.

Конструкция г е р у н д и в + e s s e (типа *laudandus sum*) стремится занять место пассивного будущего, например «*Salv. eccl.*» 1, 35: *Torquendus es, quia homicida es* «Ты будешь подвергнут пытке, так как ты человекоубийца»². Отсюда следует, что соответствующая конструкция с *dativus auctoris* (*mihi cantandum est*) должна была в ту же эпоху иметь значение активного будущего. Тип *mihi cantandum est* переходит в *cantandum habeo*, откуда *cantare habeo*.

Известно, что в германских языках также имеются перифрастические глагольные формы, состоящие из глагола со значением «иметь» (др.-в.-нем. *habên*, англ.-сакс. *hafian*, др.-исл. *hafa*) + страдательное причастие прошедшего времени. Готский перевод евангелия не знает этих форм; они встречаются только в западногерманском и в северогерманском. Об их происхождении ничего не известно, но поскольку они восходят почти к той же эпохе, что и соответствующие формы романских языков³, здесь не исключено, как нам кажется, романское влияние.

Как мы видим, гипотеза Шухардта плодотворна. Она позволяет нам решить проблему происхождения каузативных глаголов в романских языках. Кроме того, она проливает свет на происхождение перифрастических глагольных форм, которые объясняются как старые пассивные конструкции.

¹ См. Hoffmann, цит. пр., стр. 594.

² Ср. Hoffmann, цит. пр., стр. 555.

³ Ср. F. Kluge, *Urgermanisch*, Strassburg, 1913, стр. 191.

В описанном процессе перехода пассива в актив решающий шаг состоит в замене конструкции *д а т и в + + e s s e + н о м и н а т и в* конструкцией *н о м и н а т и в + h a b e r e + а к к у з а т и в*. Пассивная конструкция была преобразована в активную. Но есть случаи, когда форма сохраняется, а изменение состоит только в смысловом сдвиге. В определенный момент истории языка конструкция, пассивная с точки зрения этимологии, начинает восприниматься как активная. Латинская конструкция *ei factum est* (= *ab eo factum est*) в точности соответствует древнеперсидскому *avauā krtam* «им сделано», где *avauā* — это форма генитива-датива, как лат. *ei*. Персидское *vaу kard* продолжает с формальной точки зрения древнеперсидскую конструкцию. Однако значение этой персидской формы чисто активное: «он сделал» (ср. романское *habet factum*). Следует, однако, иметь в виду, что этот семантический сдвиг стал возможным только благодаря фонетической и морфологической эволюции (падению окончаний и исчезновению именной флексии).

ВИД И ВРЕМЯ В ИСТОРИИ ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА¹

(1953)

Уже давно принято противопоставлять языки, имеющие виды, например греческий или славянские, языкам, выработавшим категорию времени, например латинскому или основным языкам Западной Европы.

По-видимому, такое деление, ставшее классическим в эпоху младограмматиков, не соответствует более методическим требованиям структурной лингвистики. В настоящее время целесообразнее, видимо, рассматривать данное расхождение как различие количественного порядка, основанное на большей или меньшей степени грамматикализации и определенных семантических признаков глагола. Действительно, на первый взгляд такое предположение кажется неприемлемым. Если в славянских языках времена все же имеются (ср. различие между настоящим временем и имперфектом = прошедшим временем несовершенного вида), то, например, во французском языке вид как будто бы полностью отсутствует. Ни в английском, ни в немецком мы не обнаруживаем никаких видовых различий в сфере неличных форм глагола², тогда как в греческом и славянском видовые противопоставления в этом случае особенно разительны.

¹ J. Kuryłowicz, Aspect et temps dans l'histoire du persan, RO, t. 16, 1953, стр. 531—542. Определение повествовательного времени, данное на стр. 146 и сл., изменено в работе J. Kuryłowicz, L'arophonie en indo-européen. Благодаря открытию аккадского перфекта (Б. Ландсбергер) стало ясно, что β нужно отождествлять с формой *iktašad*, в то время как *ikšud* — это повествовательное время. Замещение *ḫaktul* формой *ḫaktal* означает, следовательно, замену повествовательного времени перфектом.

² Это не совсем верно, особенно в отношении немецкого языка. — Прим. ред.

И все же именно количественные факторы определяют все различие между польским *pisać* «писать» (несовершенство) : *napisać* «написать» (совершенство), с одной стороны, и французским *écrire* «написать» (одновременность): *avoir écrit* (предшествование) — с другой. Инфинитив *pisać* опирается на личную форму *napisał* «написал», которая, хотя и является совершенной, не соотносится с каким-либо определенным моментом во времени. Совершенство может одинаково относиться как к моменту речи, так и к какому-то моменту в прошлом. Напротив, инфинитив *avoir écrit* опирается на *il a écrit* и *il avait écrit*, то есть на формы, выражающие предшествование — в первом случае по отношению к моменту речи, во втором — по отношению к определенному моменту в прошлом. Мы констатируем, что в силу обязательной соотнесенности с определенным моментом во времени конститутивная категория вида приобретает в западных языках особое содержание, а именно понятие совершенности уступает место понятию предшествования.

Итак, в случае так называемых «языков с видами» мы имеем дело не с принципиально отличными глагольными системами, а просто с системами, относительно менее развитыми (*élaborés*) по сравнению с западноевропейскими.

Западноевропейские времена содержат два элемента: 1) вид, 2) временную веку, с которой соотносится вид. Так, французское прошедшее неопределенное (*il a écrit*) включает понятие совершенности и соотносится с моментом речи. То же относится и к английскому *I have written*, несмотря на второстепенные различия в употреблении французской и английской форм. Формы *j'écrivais* и *I was writing* включают понятие несовершенности и соотносятся с определенным моментом в прошлом.

Поскольку западноевропейские времена имеют сложную природу, необходимо, прежде чем приступить к сравнению двух рассматриваемых типов систем, разложить их. Истинным, конституирующим содержанием глагольных форм является вид. Понятие временной веки присоединяется к нему почти так же, как артикль *la* присоединяется к символическому содержанию *table* в *la table* «стол». Действительно, нельзя думать, что в *la table* речь идет

прежде всего о понятии определенного предмета, которое затем уточняется понятием круглой или квадратной доски на ножках. На самом деле имеет место обратное, о чем свидетельствует также явление грамматического подчинения (род, число, падеж артикля). Понятие момента во времени не может само по себе составить никакого содержания качественного порядка; речь здесь идет прежде всего об указательном элементе, подобном определенному артиклю. Определенный артикль европейских, семитских и других языков представляет собой не только по своему происхождению, но и по функции указательное местоимение, низведенное до ранга синсемантического элемента. Значения *puis* и *tuus*, присущие западноевропейским временам, могут быть также поставлены в параллель с местоимениями ближнего и дальнего указания *celui-ci* : *celui-là* и т. п.

Особо существенно, однако, то, что недопустимо рассматривать как параллельные противопоставления «момент речи: момент в прошлом» и «момент речи: момент в будущем». Нельзя смешивать языковую реальность с логико-математической схемой, на которой прямая линия делится точкой настоящего на две симметричные части — прошедшее и будущее. Если уж мы хотим придерживаться графического изображения, то оно должно быть не таким:

прошедшее настоящее будущее

—————→

а скорее таким:

прошедшее настоящее

—————↓

будущее

По сравнению с настоящим и прошедшим, выражающими действительность, будущее, обозначающее возможность, вероятность, ожидание и т. п., представляет собой *наклонение*. В качестве такового оно противопоставляется *настоящему + прошедшему*, взятым вместе. Будущее — это наклонение, обозначаемое иногда неуклюжим термином «субъюнктив» или «конъюнктив».

(*ḅlotaḵtiḵs*). Было бы желательно ограничить употребление термина «субъюнктив» его этимологическим значением (наклонение гипотаксиса, подчинения). Субъюнктив типа индо-ир. *bharāt* или гр. *φέρῃ* «да несет», употреблявшийся в доисторическую эпоху и в самых древних текстах в главном предложении, представляет собой будущее время, хотя наряду с ним существовало образование дезидеративного характера на *-sje/o-*, в ходе истории вытеснившее его. Древнее будущее *φέρῃ* сохранилось в подчиненных предложениях, превратившись в субъюнктив (*ḅlotaḵtiḵs*) в подлинном смысле этого слова. В течение всего того времени, пока сигматическое будущее представляет собой лишь дезидератив, субъюнктив на *-e/o-* выполняет функции будущего и заслуживает названия будущего.

Поскольку наши заметки касаются только проблемы видов и времен, мы оставим в стороне вопрос о будущем и других наклонениях. Это не значит, однако, что в эволюции глагольной системы обновление наклонений не связано с обновлением видов-времен. Напротив, мы сможем даже указать важные случаи такого рода связи. Однако, поскольку речь здесь идет не о развитии системы наклонений, эти примеры будут носить скорее разрозненный и побочный характер.

Полная система видов, основанная на главном противопоставлении «несовершенство» (негативный член): «совершенство» (позитивный член), предполагает, кроме того, существование нейтральной формы (ни несовершенной, ни совершенной) и сложной формы (сочетающей элементы несовершенного и совершенного видов). Вот система видовых форм:

$$\begin{array}{l} \Gamma = \text{нейтральная} \\ B = \text{несовершенная} \quad \beta = \text{совершенная} \\ \gamma = \text{сложная} \end{array}$$

Сложный член системы, если он вообще имеется в спряжении, представлен формами, выражающими *с о с т о я н и е*. Так, во французском языке формы типа *il est maigri, il était maigri* «он похудел» представляют собой γ по отношению к совершенным формам (β) *il a maigri, il avait maigri*. В аккадском языке *kašid* «он победитель» представляет собой γ по отношению к совершенной форме

ikšud «он победил». Термин «сложный» объясняется тем, что по сравнению с *B* (il maigrit — настоящее время) γ (il est maigri) имеет значение совершенности, а по сравнению с β (il a maigri) γ имеет значение несовершенности, поскольку обозначает состояние.

Однако между β и γ существует особая близость, которая проявляется в исторически известных фактах замещения β прежним γ . Так, латинский перфект (β) scripsi «я написал» был заменен в романском перифрастической конструкцией scriptum habeo (= scriptum mihi est «мною написано») со значением состояния. В западно-семитском совершенная форма iaktul (β) была вытеснена формой katal, значащей по своему происхождению «он убийца» (имя деятеля).

С другой стороны, существует определенная близость между нейтральным и негативным членами системы. Существует тенденция к замещению *Г* прежним *B*, например к замещению так называемого общего настоящего длительным (несовершенным) настоящим. В славянском длительное настоящее типа pripekaю «припекаю», являющееся само продолжением древнего итератива, полностью вытеснило древнее общее настоящее pripekъ, которое приобрело модальную функцию (будущего времени). В то же время в английском языке различие между *Г* (I write) и *B* (I am writing) продолжает соблюдаться. Заметим, что и в этом случае *B* восходит к образованию с первоначальным итеративным значением.

Если ввести понятие временного отношения («момент речи»: «момент в прошлом»), данная выше в и д о в а я система раздваивается и превращается в систему времен:

1 („nunc“)	2 („tunc“)
G_1 = общее настоящее	G_2 = прошедшее определенное
B_1 = настоящее длительное	B_2 = имперфект
β_1 = перфект (прошедшее неопределенное)	β_2 = плюсквамперфект
γ_1 = состояние (настоящее)	γ_2 = состояние (прошедшее)

Среди западноевропейских языков системой, наиболее близкой к полной, располагает английский: G_1 = I write,

B_1 = I am writing, β_1 = I have written, γ_1 = I have been writing; Γ_2 = I wrote, B_2 = I was writing, β_2 = I had written, γ_2 = I had been writing. Французский язык не различает Γ_1 и B_1 , поскольку *je suis en train d'écrire* — это пока еще только лексический оборот, а не перифрастическая грамматическая форма; γ_1 и γ_2 существуют лишь у ограниченного числа глаголов (*pourrir* «гнить», *gâncir* «прогоркнуть», *vieillir* «стареть» и др.); наконец, Γ_2 (прошедшее определенное) в разговорном языке заменено β_1 (прошедшим неопределенным)¹. Такой переход от перфекта к прошедшему определенному также представляет собой частое явление в языковой эволюции. Система литературного немецкого языка (а также нижненемецкая) напоминает систему разговорного французского языка с тем отличием, что здесь различаются β_1 (*ich habe geschrieben*) и Γ_2 (*ich schrieb*), но совпадают Γ_2 и B_2 (*ich schrieb*). В южнонемецких диалектах так же, как в разговорном французском, β_1 (*ich habe geschrieben*) заменило Γ_2 (*ich schrieb*).

Три личные формы польского или русского языков (например, польские *piszę* «пишу», *писаłem* «писал», *napisałem* «написал») занимают следующие клетки: *piszę* = Γ_1 и B_1 , *napisałem* = β_1 и β_2 , *писаłem* = B_2 . Тождество β_1 = β_2 ясно показывает, в чем состоит «видовой» характер славянской системы, проявляющийся в особенности в формах инфинитива и императива. Эта черта является следствием неполноты глагольной системы.

Распределение персидских форм тождественно распределению форм в литературном французском языке:

Γ_1 и B_1 = *mikunam*
 β_1 = *kardah am*
 Γ_2 = *kardam*
 B_2 = *mikardam*
 β_2 = *kardah būdam*

Специальных форм для γ_1 и γ_2 нет.

Эта система, представляющая собой конечный этап эволюции древнеиранского глагола, возникла в результате

¹ Семантическое различие между «неопределенным» и «определенным» в живом языке исчезло; теперь говорят о «сложном» и «простом» прошедшем.

ряда реорганизаций, повторяющихся во всех языках и во все времена. Общее языкознание дает нам в этом полную уверенность и даже позволяет заполнить некоторые лакуны в исторической документации.

Древнейшая система, известная компаративисту, вытекает из данных Ригведы, Авесты и языка Гсмера. Вот она:

- Γ_1 и B_1 = настоящее время
 β_1 и β_2 = аорист (корневой или сигматический)
 γ_1 = перфект (с редупликацией; значение состояния)
 Γ_2 и B_2 = имперфект (повествовательное время)
 γ_2 = плюсквамперфект (значение состояния в прошлом)

Тождество $\beta_1 = \beta_2$ — важная черта; оно придает древнейшему индоиранскому и в особенности греческому языку тот же «видовой» характер, который отличает славянский от западных индоевропейских языков. В индоиранском мы находим инновации в отношении перфекта (γ_1), который лучше всего сохраняет свое первоначальное значение в древнейшем греческом языке, хотя и начинает здесь вторгаться в сферу аориста (β_1). Индоиранский на первый взгляд сохранил древнюю форму прошедшего определенного (Γ_2 = индоевропейский имперфект), которое в греческом было обновлено переходом $\beta_1 > \Gamma_2$ (ср. аналогичное развитие в разговорном французском языке и в южнонемецких диалектах)¹.

¹ Следует, однако, отметить, что при отсутствии специальной формы для Γ_2 язык может прибегнуть для заполнения этой лакуны либо к β_1 , либо к B_2 . Это значит, что одна из двух форм приобретает вторичную функцию прошедшего определенного (= повествовательного времени). Если используется имперфект, то длительность или развитие действия во внимание не принимается, остается только идея момента в прошлом. Точно так же, если в качестве повествовательного времени используется перфект (прошедшее неопределенное), то учитывается только отнесенность действия к прошлому, а не его связь с настоящим (то есть его завершенность к моменту речи). В этом заключается одно из главных различий между немецкими диалектами: $\beta_1 = \Gamma_2$ *ich habe geschrieben*, B_2 *ich schrieb* (как в разговорном французском языке) или β_1 *ich habe geschrieben*, $\Gamma_2 = B_2$ *ich schrieb*. Таким образом, расхождение между греческим и индоиранским сводится, по-видимому, к различию диалектного порядка. В греческом $\beta_1 = \Gamma_2$ (аорист), B_2 (имперфект), в индоиранском β_1 (аорист), $\Gamma_2 = B_2$ (имперфект). Однако вопрос о том, какое

Первое преобразование древнеиранской глагольной системы состояло в замене γ_1 и β_1 древнеперсидской перифрастической формой [maṇa] kartam (krtam) «мною сделано». Этот именной оборот, близкий по значению к древнему перфекту (γ_1), постепенно заменил его, а затем проник в зону употребления аориста (β_1). Возможно, древнеперсидский не достиг еще конечной ступени этого развития, то есть допускал конструкцию (maṇa) kartam в качестве γ_1 как нормальную составную часть спряжения, однако продолжал наряду с (maṇa) kartam использовать в функции β_1 аорист¹.

Клинописные тексты представляют, впрочем, довольно мало возможностей для использования аориста. В силу повествовательного характера этих документов на первый план в них выступает Γ_2 (= древний имперфект). Во всяком случае, именно конструкция (maṇa) kartam является здесь, по-видимому, нормальной формой не только для γ_1 , но также и для β_1 . Плюсквамперфектное значение в западноевропейском смысле (β_2) вырисовывается в такой фразе, как xšašam tya hašā amāxam taumāyā parābartam aha adam ratīradam akunavam «царство, которое у нашей семьи отнято было, я восстановил».

В среднеиранскую эпоху (maṇa) kartam проникает в клетку Γ_2 (прошедшее определенное; повествовательное время). Тем самым достигается современное состояние. Это смещение находится в тесной связи с появлением нового именного оборота — персидского kardah am. Заметим, между прочим, что вопрос о переходности kardah am, равно как и вопрос о залоговой валентности в kardam, не имеет значения для проблемы времени и вида. Оборот kardah am, первоначально выражавший состояние, проник из γ_1 в β_1 и ограничил использование kardam единственной клеткой Γ_2 .

из тождеств установилось раньше, — индоиранское $\Gamma_2 = B_2$ или греческое $\beta_1 = \Gamma_2$ — не может быть решен на основании одних только теоретических рассуждений. Мы надеемся еще вернуться к этому вопросу.

¹ По Э. Бенвенисту (см. E. Benveniste, Etudes sur le vieux perse, BSL, XLVII, fasc. 1, 1951, стр. 51), перифрастический оборот заменяет древний аорист только в некоторых формах парадигмы (в частности, в 3 л. мн. ч.).

Об относительно позднем характере оборота *kardah am* свидетельствуют не только данные памятников (в древнеперсидском эта конструкция отсутствует), но прежде всего сам суффикс *-ka-* (*krtaka-*), характерный первоначально для прилагательных; оборот этот возник не ранее среднеиранской эпохи.

Последовательное смещение γ_1 в сторону β_1 и β_1 в сторону Γ_2 ясно видно из следующей сводной таблицы:

	γ_1	β_1	Γ_2
(индо)иранский	перфект	аорист	имперфект
древнеперсидский	(<i>mañā</i>) <i>kar-tam</i>	аорист (или <i>mañā kartam</i>)	имперфект
среднеиранская эпоха	<i>kartak am</i>	<i>mañ kart</i> (или <i>kartak am</i>)	<i>mañ kart</i>

В ряду γ_1 , β_1 , Γ_2 каждая из форм γ_1 и β_1 стремится проникнуть в зону следующей формы. Обновление γ_1 приводит к ограничению использования прежней формы γ_1 сферой β_1 , обновление β_1 — к ограничению использования прежней формы β_1 сферой Γ_2 . Прежняя форма Γ_2 либо исчезает, как это случилось с иранским имперфектом, либо приобретает модальный (оптативный) стенок, как это произошло, например, со славянским *бухъ*, *бу* (древний аорист) или с латинским оптативом (субъюнктивом) на *-ā-* (тип *veniat* < *venat*), который, возможно, родствен балтославянскому прошедшему на *-ā-*.

Проблемы, касающиеся Γ и B , по-видимому, более сложны. Форма *miškanam*, которая выполняет в современном персидском языке функции как длительного, так и общего настоящего (дуратива), вероятно, первоначально проникла в клетку B . Известно, что в пехлеви наречие *hamē* еще сохраняет свое этимологическое значение («всегда, постоянно»)¹. Обновление B вызвано общеизвестным явлением потери дуративного значения, связанной с контекстными ограничениями (преверб, наречие, прямое дополнение). Настоящее время в этом случае может быть

¹ Ср. *Grundriss der iranischen Philologie*, I, 1, стр. 311: *Ohrmazd bit u hast u hamē bavet* «Ормузд был, есть и всегда будет».

заменено итеративной формой, именем деятеля и т. п., которые восстановят непрерывный (линейный) характер действия, затемненный ограничивающим влиянием контекста. В общем именно такова причина замены прежнего английского настоящего времени *I write* в функции B_2 длительной (continuous, progressive) формой. По той же причине в славянском бывший итератив *grĭpĕkaĭo* занял место *grĭpekŏ* (в функции B_2). Различие между *grĭpĕkaĭo* и *grĭpekŏ* впоследствии стерлось в связи с проникновением *grĭpĕkaĭo* в клетку Γ_1 и ограничением *grĭpekŏ* модальным употреблением (будущее время). Зато славянский дает нам важные сведения о точных условиях замены формы *grĭpekŏ* формой *grĭpĕkaĭo*. Соответствующими итеративами были заменены (сначала в функции B_1 , а затем Γ_1) глаголы, определявшиеся наречными превербными, например *grĭpekŏ*, тогда как простые глаголы (по крайней мере, первичные) сохранили прежнюю форму настоящего времени. Остается открытым вопрос о том, не закрепился ли в английском языке оборот *I am writing* первоначально за глаголами, определяемыми наречиями, то есть не выполнял ли функцию B_1 оборот *I write* и, наряду с ним, например, *I am writing down*. Форма *I am writing*, между прочим, вторглась также в клетку Γ_1 (*he is always grumbl-ing* «он всегда ворчит»), не вытеснив, однако, полностью простой формы. Что касается происхождения данного оборота (причастие, т. е. имя деятеля, или имя действия *op writing > a-writing*), то оно имеет лишь второстепенное значение.

Эти общие соображения дают основания предположить, что *hamĕ kunĕt* (перс. *mĭkupaĕ* «делает») вначале заменило *kunĕt* в функции B_1 ; следовательно, первоначально существовало противопоставление между длительным настоящим *hamĕ kunĕt* и общим настоящим *kunĕt*. Исторические данные подтверждают это предположение. Хотя в настоящее время *mĭkupaĕ* является нормальным представителем как B_1 , так и Γ_1 , имеются надежные свидетельства использования в функции Γ_1 формы *kupaĕ*. По Ензену¹, «аорист» *kupaĕ* используется в качестве общего настоящего в предложениях, пословицах и т. п., например

¹ Н. J e n s e n, Neupersische Grammatik, 1931, стр. 266.

mār pūsti χ^ʼadrā guḏārad amṡā χūji χ^ʼadrā naḡuḏārad «Змея сбрасывает свою кожу, но не сбрасывает всю натуру». В архаическом языке (Фирдоуси и др.) «асрист», особенно с частицей bi-, может выполнять функции настоящего времени, например, naḡ kaiṣar biχ^ʼāham naḡ faḡfūri čīn «я не прошу ни императора (Византии), ни повелителя Китая»; в современном языке он употребляется очень редко.

Особый интерес ввиду наличия славянских параллелей представляет модальное использование прежнего настоящего времени. Если форма χ^ʼāham kard — это еще прозрачный дезидератив, форма bikunam — уже подлинное будущее время, например, čandān diram zāhidānḡā bidiham «столько дирхемов аскетам дам» (Саади). Эта форма имеет, кроме того, ряд специальных употреблений, причем все они носят модальный характер¹.

В славянском типе rḡirekḡ также сохранился, выражая, во-первых, общее настоящее в пословицах и т. п. и, во-вторых, — будущее. Персидская параллель показывает, что значение будущего появилось отнюдь не как следствие значения совершенности, которое имеет сложная основа rḡirekḡ, хотя такое объяснение не раз выдвигалось и прежде и в настоящее время. Речь идет скорее о модальном значении реликтового характера. Всякое настоящее время может употребляться в значении будущего спорадически. Однако такое употребление может быть облечено в грамматическую форму настоящего времени, которая, будучи вытеснена из клеток B_1 и Γ_1 , сохранится лишь в модальном использовании, до сих пор случайном. Причиной того, что в славянском настоящее время с л о ж н ы х глаголов приобретает значение будущего, является замена настоящего времени с л о ж н ы х глаголов в функции B_1 и Γ_1 соответствующими итеративами; простые глаголы сохраняют в настоящем времени функции B_1 и Γ_1 .

Параллельное замещение клетки B_1 формой hamē kardam (ср. англ. $B_1 = I$ am writing, $B_2 = I$ was writing) не сопровождалось дальнейшим распространением этой формы из B_2 в Γ_2 ; таким образом, она продолжает ограни-

¹ H. Jensen, Neupersische Grammatik, 1931. стр. 267.

чиваться значением длительности (имперфекта). Мы видим, что сфера употребления древнеиранского имперфекта *abarāt* ($= B_2 + \Gamma_2$) начиная со среднеиранской эпохи оказывается поделенной между двумя формами: *kardam* $= \Gamma_2$ и *hame kardam* $= B_2$. Возникает, однако, вопрос, не следует ли усматривать между этими двумя этапами еще один. Дело в том, что замещению $B_1 B_2$ «аналитическими» итеративными формами с *hame* могли предшествовать попытки обновления $B_1 B_2$ с помощью «синтетических» форм на *-ауа-*. Основания для такого предположения дает фонетическая форма окончаний настоящего времени, которые, по-видимому, содержат элемент $-i < -e < < -ауа-$ ¹. Помимо окончаний $-ed > -īd$ во 2 л. мн. ч., древнему итеративу следует приписать также удлинение $\bar{a} > \bar{ā}$ (в открытом корневом слого) в таких глаголах, как *tāxtan* «бежать» и др. Необходимо исходить из древнего итеративного, а не каузативного значения образования на *-ауа-*, поскольку каузативное значение, предполагающее изменение залога глагола, не могло бы привести к четкому противопоставлению видового характера между *-atī* и *-ауatī*². Мы констатировали, что в иранском, так же как и в ведийском, образование на *-ауа-* отличалось каузативным значением лишь в противопоставлении с переходными глаголами, тогда как производные на *-ауа-* от переходных глаголов оставались просто переходными. Однако в отличие от индийского, где в послеведийскую эпоху у образований на *-ауа-* возобладало каузативное значение, в иранском, по-видимому, основным оказалось итеративное значение, предшествующее значению длительности.

Можно считать а priori вероятным, что происхождение персидской приглагольной частицы *bi-* связано с развитием системы видов. Не существенно, к чему восходит эта частица. Гораздо важнее то, что мы не знаем первоначальной функции *bi-*. Обычно функцию *bi-*

¹ См. E. Benveniste, *Grammaire sogdienne*, II, 1929, стр. 4 с отсылкой к P. Tedesco, *Zeitschrift für Indologie und Iranistik*, II, 1923, стр. 281—315; ср. еще раньше P. Horn, в «Grundriss der iranischen Philologie», I, 2, стр. 131.

² Ср. также нашу статью в RO, VI, стр. 199—209.

определяют как ограничительную¹, однако четко установить ее характер с помощью релевантных противопоставлений невозможно, по крайней мере в современном языке.

По данным «Grundriss der iranischen Philologie, I», частица *bi-* отсутствует в североиранских (скифских) диалектах, но наличествует во всех центральных и прикаспийских диалектах, в курдском, в белуджском и даже в афганском. С другой стороны, *mi-* почти не встречается за пределами собственно персидского. Так, эта частица не представлена в кашанском диалекте, в габри, в наини, в мазандеранском, гилянском и талышском, не говоря уже о других иранских языках, перечисленных выше. Такое соотношение соответствующих географических зон уже само по себе достаточно убедительно показывает, что частица *bi-* хронологически предшествует *mi-*. Еще более показательно в этом отношении то, что у Фирдоуси частица *bi-* неотделима от следующей за ней глагольной формы, тогда как *hamē*, этимологическое значение которого еще достаточно ясно в пехлеви, пользуется значительной свободой. Наконец, отсутствие у *bi-* строго определенной функции заставляет нас считать префиксацию этой частицы остаточным морфологическим процессом.

Уже в пехлеви частица *be*, хотя она встречается очень часто и может сопровождать любые глагольные формы², по-видимому, не изменяет сколько-нибудь существенно значение этих форм. В современном персидском типы *mīkūnam* и *mīkardam* противопоставляются типам *bīkūnam* и *bīkardam*. Было бы правильно считать, что *bi-* выступает в тех формах, которые отсутствие *mi-* характеризует как недлительные («аорист», императив, претерит, изредка перфект). Формы, которые допускают только *mi-* или только *bi-*, довольно редки. В будущем времени частица *bi-* может присоединяться к вспомогательному глаголу *χ^vāstan* без изменения смысла формы: *bīχ^vāhad raft* = *χ^vāhad raft* «он пойдет»³. Наклонение, которое Ензен называет

¹ Так, в конце концов, считает и Ензен, см. Н. J e n s e n, *Neupersische Grammatik*, 1931, стр. 135.

² См. статью Залемана в «Grundriss der iranischen Philologie», I, 1, стр. 311.

³ Н. J e n s e n, *Neupersische Grammatik*, 1931, стр. 160.

презумптивом¹, образуемое из причастия прошедшего времени и *bāšam* (например, *guftah bāšad* «он, должно быть, сказал»), допускает факультативную префиксацию частицы *bi-* к причастию (*binadādah bāšad* «он, должно быть, не дал»). Наконец, мы обнаруживаем *bi-* в самостоятельных формах причастия прошедшего времени, например: *Kalūn did dēvi bijastah zi-band* «Калун увидел демона, освободившегося из оков»². Спорадическое употребление *bi-* с причастием прошедшего времени явно вызвано наличием *bi-* в прошедшем времени, от которого произведено причастие. Что касается *biχ^vāhad* (*raft*), то здесь речь, возможно, идет о том, чтобы подчеркнуть различие между вспомогательным глаголом и самостоятельной формой *mīχ^vāhad* «он хочет».

В отношении современного персидского языка представляется правомерной гипотеза о том, что *bi-* служит прежде всего для противопоставления недлительных форм длительным и, таким образом, указывая на отсутствие длительности, представляет собой знак отрицания. Чисто формальное сохранение этой частицы в современном персидском объясняется, по-видимому, так же, как нуация в арабском: будучи вытеснена в доисторическую эпоху указательным элементом *al-* (артиклем), она указывает теперь на отсутствие определенности³. Если данная параллель верна, то частица *bi-* должна была играть ту же роль, что затем стала выполнять *hamē*, то есть служить для подчеркивания длительного характера *B₁B₂* (настоящее время и имперфект). Иначе говоря, *bi-* — функциональный предшественник *hamē*.

Вытеснение форм *bikunam*, *bikardam* формами *mikunam*, *mikardam* привело к тому, что формы с *bi-* были отождествлены с *kunam*, *kardam* и получили недлительное значение. Отсюда почти полная эквивалентность *kunam* и *bikunam* «чтобы я сделал», *kardam* и *bikardam* «я сделал», *kun* и *bikun* «сделай». Случаи одновременного употребления *mī-* и *bi-* в классическом языке доказывают отсутствие всякого значения у *bi-*, ср. *orā mī bijustand har sō sipāh*

¹ H. Jensen, *Neupersische Grammatik*, 1931, стр. 160.

² Там же, стр. 146.

³ Ср. Symbolae F. Hrozný, *La mimation et l'article en arabe*, III, стр. 323—328.

«солдаты разыскивали его повсюду». Разную степень частоты употребления *bi-* (почти обязательно в императиве, факультативно в претерите и т. д.) следует отнести за счет более позднего фиксирования норм.

По-видимому, такой же остаточный характер частица *bi-* носит в диалектах, где для обновления формы послужила не *hamē*, а другие частицы. Однако слишком общий и фрагментарный характер данных (в частности, данных «Grundriss der iranischen Philologie») не позволяет установить хронологическую последовательность различных процессов. Отметим также возможность прямого влияния персидского языка.

В афганском языке частица *ba-*, тождественная персидской *bi-*¹, сообщает настоящему времени значение будущего и в то же время превращает претерит в имперфект, выражающий привычное действие. Не является ли это второе употребление архаизмом? В белуджском мы находим наряду с частицей *bi-*, заимствованной из персидского (следовательно, употребляющейся при императиве и обращающей «аорист» в будущее), частицу *k-*, которая сообщает «аористу» значение настоящего времени. С функциональной точки зрения последняя является, таким образом, эквивалентом *hamē*. В. Гейгер² связывает ее с персидскими *aknūn*, *kunūn* «теперь, сейчас». В курдском частица *bē-* имеет в общем те же функции, что и в белуджском, а длительность выражается, по-видимому, префиксом *t-*³. Аналогичное положение мы обнаруживаем в центральных и прикаспийских диалектах.

Ввиду недостаточности сведений о междиалектных отношениях в Иране целесообразно временно оставить в стороне этот аспект проблемы и ограничиться аргументами внутреннего порядка, опирающимися на данные персидского языка, которые, очевидно, подтверждают предложенное решение.

¹ «Grundriss der iranischen Philologie», I, 1, S. 220.

² Там же, I, 2, стр. 243.

³ Там же, стр. 278. В курдском языке показателем настоящего и прошедшего длительного времени индикатива является *-dê*, см. Курдоев, Грамматика курдского языка, стр. 604.— *Прим. ред.*

ЗАМЕТКИ ОБ ИМПЕРФЕКТЕ И ВИДАХ В СТАРОСЛАВЯНСКОМ¹

(1959)

Характерный для 3 л. ед. ч. славянского имперфекта морф -ěaše содержит столько же субморфов, сколько фонем: -ě-, -a-, -š- и тематическую гласную -е. Убедительной будет такая этимология, которая не только укажет на происхождение этих различных элементов, но и сведет их к общей основе, то есть к конкретной праславянской форме, существование которой может быть подтверждено данными сравнительной грамматики.

Чтобы иметь возможность представить нашу интерпретацию имперфекта дедуктивным образом, мы превосхищаем здесь конечный результат: славянский имперфект на -eaše непосредственно продолжает имперфект итератива на -aje/o- и, следовательно, восходит к первоначальному -ajet. С семантической точки зрения ничего более правдоподобного предположить нельзя.

П р о д у к т и в н ы й тип исторически засвидетельствованного славянского итератива характеризуется удлинением корневой гласной везде, где это фонетически возможно. Тот факт, что имперфект не предполагает долгой ступени, показывает, что мы имеем дело с древней формой, отделившейся в результате семантического сдвига «имперфект итератива > имперфект» от продуктивного ряда итеративов. Будучи ж и в ы м и производными формами, эти последние подвергаются удлинению корневой гласной в открытом слоге, что является прямым результатом сокращения долгих гласных перед сонантом того же слога².

¹ J. K u r y ł o w i c z, Réflexions sur l'imparfait et les aspects en v. slave, IJSLP, 1—2, 1959, стр. 1—8. (Редакция сочла возможным сохранить употребленную автором латинскую транскрипцию старославянских примеров.— *Прим. ред.*)

² J. K u r y ł o w i c z, L'apophonie en indo-européen, Wrocław, 1956, стр. 287 и 301 и сл.

Славянский имперфект продолжает имперфект на *-ājet* с нулевой ступенью корня (в той мере, в какой она еще используется), который занял место индоевропейского имперфекта на *-(e)t* (тематического или атематического). Ничто не мешает считать, что лат. *erat* «был» восходит к **esājet* (а не к **esāt*, как считалось до сих пор); ср. настоящее время первого спряжения *amat*, восходящее к образованию на *-āje/o-*.

Из четырех перечисленных выше морфологических элементов два, а именно *-ā-* и тематическая гласная, могут, таким образом, быть объяснены сразу. Тематическая флексия со вторичными окончаниями, а также значение формы заставляют нас думать об имперфекте какого-то производного образования. Совершенно непонятно, каким образом одно из ответвлений древнего аориста на *-s/χ-*, характеризующегося атематическими окончаниями, могло бы заменить эти окончания, прочно ассоциирующиеся с аористом на *-s/χ-*, тематическими — единственными реально засвидетельствованными: *-ъ*, *-е*, *-е*, *-ově*, *-eta*, *-ete*, *-omъ*, *-ete*, *-р*.

Сопоставление *vesti* «вести»: *veděaše*, *viděti* «видеть»: *viděasě* и *byrati* «брать»: *byraaše* показывает, что *-ě-* в *veděaše* представляет собой субморф с нулевым значением, как бы мы его ни называли — «связующим гласным» или как-либо иначе¹. Таким образом, наша задача сводится к объяснению: 1) происхождения этого *-ě-* и исторических границ его употребления; 2) происхождения *-χ(š)* и его возможной связи с *s/χ(š)* аориста.

Эти проблемы тесно связаны с вопросом об основе имперфекта на *-ěaše*. От чего он образован — от настоящего времени или от аориста, или точнее: поскольку речь идет о первоначально производной (итеративной) форме, — какой системой он был ассимилирован: настоящего времени или аориста? Форма типа *veděaχъ* говорит в пользу первого из предположений, однако в *vidě-aχъ* и особенно в *byra-aχъ* (где ступень *byr-* противопоставляется ступени *ber-* в настоящем времени) ясно видна основа аориста. Заметим также, что правило об образовании имперфекта

¹ Критический разбор данной работы см. в *Festschrift Debrunner*, стр. 251.

от инфинитива, распространенного с помощью элементов -е- или -а- (vid-e-ti, byg-a-ti), является чисто практическим и никак не учитывает происхождения инфинитива. Гласные -е-, -а- являются по своему происхождению суффиксами аориста и лишь во вторую очередь проникают в соответствующие инфинитивы, которые сами произведены от аористов на -ехъ, -ахъ; точно так же от них произведены имперфекты типа vidě-axъ, byga-axъ.

Имперфект двояко противопоставлен другим личным формам глагольной системы. С одной стороны, он противопоставлен в плане временном настоящему времени (прошедшее : настоящее), причем вид не меняется. С другой — противопоставлен по виду аористу (несовершенный : совершенный), причем данное различие не является чисто видовым (см. ниже).

Противопоставление форм типа *veda_je byga_je (с нулевой ступенью, характерной для данного образования) соответствующим аористам vêsъ, bygaхъ ведет к преобразованию формы *byga_je. Действительно, по отношению к vêsъ (vêd-s-ъ) *veda_je представляет собой форму, образованную путем отсечения морфемы аориста -s(χ)- (предполагающей удлинение корневого гласного) и присоединения -a_je. Следовательно, при аористе bygaхъ имперфект должен быть образован от основы byga- (отсечением -χ-) с помощью суффикса -a_je. Дело в том, что распространение в доисторическое время -χ- уравнило древние сигматические аористы с аористами на долгий гласный (-а-, -ѣ-). Таким образом, имперфект от берѣ, byrati принимает форму *byga-a_je, заменяющую прежнее *byga_je, которое само заняло место древнего *bere. Аналогично от vidjъ, viděti, аорист viděхъ, образуется имперфект *viděa_je.

Итак, славянский имперфект, являющийся по своему происхождению первичным производным, войдя в систему спряжения исходного глагола, оказался сориентированным на основу соответствующего аориста, а не настоящего времени. Именно такое положение сохранилось в имперфектах глаголов на -ati 1 и 3 классов Лескина, например берѣ «беру», bygaхъ, byga_aše; pišъ «пишу», rьsaхъ, rьsa_aše. Однако уже у глаголов на -ujъ, -ovati наблюдаются колебания: так, от kupa_jъ «покупаю», kupa_aхъ имеем kupa_ja_aše, наряду с kupa_aše.

Другим указанием на связь имперфекта на *-ěaše* с аористом является наличие элемента *s(χ)*, играющего роль «связующего» согласного. В сигматическом аористе чередование *s : χ(š)* определяется морфологическим правилом, которое можно сформулировать так: в некоторых аористах элемент *s* перед окончаниями на гласный заменяется *χ(š)*, откуда *zna-s-ta*, *zna-s-te*, но *zna-χ-ъ* «знал», *zna-χ-ově*, *zna-χ-омъ*, *zna-š-e*. Обратный вариант этого правила (замена *χ* на *s* перед окончаниями на согласный) невозможен, так как существуют аористы, в которых *s* выступает и перед согласными, и перед гласными, например *věsъ* «вел», *věsomъ*, *věste* и т. д.

Таким образом, элемент *χ* в *znaχъ*, *znaχově*, *znaχомъ*, *znaš-e* начинает играть роль «связующего» согласного («consonne de liaison», «Hiatusfüller»). Действительно, поскольку *s* и *χ* не связаны между собой фонетическим противопоставлением, замена *s* на *χ* равносильна переходу *s > ноль > χ*, то есть замене нуля (зияния) на *χ*. Данное правило применимо именно к аористам на *-a-*: *въгаχъ*, *въгаχově*, *въгаχомъ*, *въгаš-e*.

Указанное морфологическое правило распространяется также на имперфект с того момента, как вследствие фонетической эволюции в определенных формах его парадигмы возникает зияние между *-a-* основы и последующим окончанием. Тогда здесь будет *-a-j-ъ*, *-a-j-e*, *-a-j-e*, *-a-j-ově*, *-a-j-eta*, *-a-j-ete*, *-a-j-омъ*, *-a-j-ete*, *-a-j-р*. Далее, совпадение йотированных и нейотированных передних гласных в начале слова и слога, или, если угодно, исчезновение *i* перед передним гласным (есть «есмь», *eže* «которое» < и.е. **esmi*, **od*; *ěmъ* «ем», *ědō* «еду» < **edmi*, **iā-*) создает фонологическое зияние во всех формах, где окончание содержит тематический гласный *e*. Так, **znaae*, **znaaeta*, **znaaete* — это формы с зиянием, по отношению к которым *znaaj-ъ*, *znaaj-ově*, *znaaj-омъ*, *znaaj-р* выступают как формы со «связующим» согласным *j*, появляющимся перед окончаниями с задними гласными (*ъ*, *о*, *р*). Такая оценка *i* вытекает из сопоставления парадигмы *znaje* с парадигмой *vede*: наряду с окончаниями *-e*, *-eta*, *-ete*, тождественными окончаниям форм **znaae*, **znaaeta*, **znaaete*, мы находим после согласной просто (*ved*)*ъ*, *-ově*, *-омъ*, *-р*.

Зияние в формах *znaae, *znaaeta, *znaaete устраняется путем введения элемента χ(š), играющего ту же роль «связующего» согласного в аористе, которому противопоставляется новый имперфект. Таким образом, получаем формы znaaše, znaašeta, znaašete, bygaše, bygašeta, bygašete, а затем¹, после замены элемента j на χ в остальной части парадигмы — формы znaaχъ, znaaχově, znaaχоть, znaaχo и bygaχъ, bygaχově, bygaχоть, bygaχo, исторически уже засвидетельствованные. Такое же рассуждение применимо к *vidēaje > vidēasě и т. д.

Обобщая все сказанное, можно констатировать, что аорист повлиял на новый имперфект в двух направлениях: 1) в имперфект были введены суффиксы аориста -а-, -ě-; 2) в имперфект был введен «связующий согласный» χ(š). Последнее обстоятельство является результатом совместного действия двух факторов: морфологического (влияния аориста как доминирующей формы) и фонологического (исчезновения j перед передней гласной).

Остается одна важная деталь — элемент ě в vedēaše, tečaše; он выступает в имперфектах, образованных от основы настоящего времени.

Прямое соотнесение имперфекта с настоящим временем, ведущее к замене особой огласовки, свойственной древним итеративам, огласовкой настоящего времени, совершается с помощью глаголов на -i-, -ěti (IV *b* класс Лескина). В отличие от глаголов типа berō, byrati глаголы IV *b* класса (vidjō, viděti) не обнаруживают в своем сопряжении никаких следов чередования гласных в корне (возможно потому, что первоначально они имели нулевую огласовку корня и в аористе на -ě-, и в непереходном настоящем времени на -i- или -je'io-, ср. гр. ε-μῖν-η-ν «безумствовал, сошел с ума»: *μῖν-jo-μαι). При противопоставлении имперфекта vidēaše, образованного от аориста viděχъ, настоящему времени vidjō, viditъ, можно выделить -ēaše в качестве суффикса имперфекта, поскольку огласовка корня в настоящем времени и в имперфекте совпадает. Отсюда -ēaše (-aaše после палатальных) и во всех имперфектах, образованных от настоящего времени: vedēaše «вёл»,

¹ Однако ранее перехода io > ie.

teĉaaše «тёк», съхнѣаše «сох», borjaaše «воевал», vѣdѣаše «знал». У глаголов IVa класса (тип ljubiti) мы находим наряду с ljubljaахъ (с палатальной согласной из ljubljъ) такие формы, как radѣахъ, «заботился», priĥodѣахъ «приходил» (Супрасл.).

Такое объяснение элемента -ѣ- в -ѣаše заставляет нас отказаться от гипотезы Ульянова (RVF, 25, 41), предполагающей прямое родство -ѣ- в vѣdѣахъ, teĉaaхъ с -е- в литовских формах прошедшего времени типа tekĕ(jo) «тёк». На самом деле здесь имеет место лишь косвенное родство. Элемент -ѣ-, входящий в -ѣаše, был выделен в самом славянском из аористов на -ѣ- типа vidѣ-. В то время как в славянском аорист на -ѣ- тесно связан с определенными основами настоящего времени (на -i-), в балтийском -ē-, широко распространившись, вытеснило сигматический аорист¹.

Глаголы IV b класса (viděti) дают возможность установить относительную хронологию возникновения формальных отличительных черт славянского имперфекта. Войдя в систему спряжения основного глагола, имперфект итератива на -ājet вначале подвергся влиянию аориста, результатом которого было включение суффиксов аориста -а-, -ѣ- и принятие «связующего» согласного χ. Лишь после этого в силу противопоставления основе настоящего времени суффикс -ѣаše стал восприниматься как единый морф, способный присоединяться к любой основе настоящего времени, за исключением глаголов на -ati, -ěti.

Пока форма на -ājet оставалась производным с итеративным значением, сохранял свое прежнее значение и унаследованный имперфект на -et. После того как -et вытеснила форма на -ājet, имперфект сохранился лишь в качестве повествовательного времени и, следовательно, отождествился с древним аористом. Обновление имперфекта в славянском не имеет никакого отношения к происхождению исторически засвидетельствованной системы видов. Проникновение в систему спряжения глагола ите-

¹ Ср. M. L e u m a n n, Corolla Linguistica Sommer, стр. 159, а также J. K u r y ł o w i c z, L'Apophonie in indo-européen, стр. 299—301.

ративов типа *вурекајо* относится к более позднему времени. Хронологическое различие проявляется особенно ясно в огласовке корня: *бѣгааѣ* «брал», но *-бѣгајо*, *-бѣгааѣ*; *рѣсааѣ* «пѣк», но *-рѣкајо*, *-рѣкааѣ*. Отсюда следует, что сведение древнего имперфекта *vede* к аористу также представляет собой явление, предшествовавшее формированию в исторические времена системы видов¹.

Итак, мы можем наметить в общих чертах относительную хронологию эволюции славянской глагольной системы.

Способ образования системы видов, использованный славянским, позволяет усматривать в этом процессе обновление длительного значения инфекта, то есть презенса-имперфекта. Мы имеем здесь дело с очень распространенным типом эволюции². Когда значение длительности начало стираться, в особенности в настоящем времени-имперфекте сложных глаголов и некоторых производных глаголов на *-пе/о-*, эти формы были заменены соответствующими итеративами (*вурѣкајо*, *вурѣкаахъ*; *dvigaјо*, *dvigaахъ*). Прежние формы настоящего времени-имперфекта (*вуреко*, *вуресаахъ*; *dvignо*, *dvignѣахъ*) сохранили лишь второстепенные функции, получив при этом не длительное значение. Речь идет: 1) об общем настоящем времени (имперфекте), выражающем привычность действия и т. п.; 2) о модальных значениях (значении возможности, в том числе значении будущего времени).

Значение будущего времени, свойственное типу *вуреко*, объясняется не как следствие значения совершенного вида, а как остаточная функция древнего настоящего времени, широко, впрочем, представленная в известных нам живых языках. Ее остаточный характер определяется именно тем, что с ней конкурирует функция выражения возможного или первичного действия, в особенности в священных текстах. Ср., например³: *въsklopitъ sę rorъ* «священник поднимается»; *Slъpsu въsxodeŝtu*

¹ Таким образом, необходимо внести поправку в «Reports of the VIII International Congress», II, стр. 309.

² См. J. Kuryłowicz, L'apophonie en indo-européen, стр. 27 и сл.

³ A. Vaillant, Manuel du vieux slave, Paris, 1948, I, стр. 325; имеется русский перевод: А. Вайан, Руководство по старославянскому языку, М., 1952.

sъkryjetъ sę stěнь «Когда солнце восходит, тень скрывается»; Egda že sъzъrěetъ plodъ, abije posъljetъ sъgrъ «Когда же созреет плод, сразу посылает серп». Точно так же имперфект сложных первичных глаголов (получивших значение совершенного вида) служит для выражения не длительного, а привычного или повторяющегося действия, например¹: Egda bo vъ ratъхъ obrětaахомъ sę i ro-moljaахомъ Boga «Ибо когда мы воевали и молились богу»; Rъkojъ že plъть drъžaахъ, a dušejъ Boga porazuměахъ i... obrěstaахъ čudesno «Рукою я держал плоть, а душою узнавал бога и находил нечто чудесное» (речь идет о Фоме, который все время прикасался к Христу, чтобы увериться, и каждый раз убеждался в чуде); Ašte sę sъlučaaše ne iměti emu ničъsože dati emu, to kotygo... dađeаše ništiumu «Если случалось ему не иметь ничего, чтобы дать нищему, то он отдавал ему одежду».

Причастие настоящего времени глагола совершенного вида, являясь неличной формой, должно отразить значения соответствующих личных форм, а именно означать либо будущее время, например²: o izměneštiiхъ sę «о тех, которые изменятся», synove godeštei sę «сыновья, которые родятся»; либо привычность или возможность действия (а отсюда и способность к действию, в особенности в отрицательных оборотах), например: ljubljaaše že хожденіе prěžde ne dvignyjъ sę «прежде не двигавшийся, он любил ходить», vъ zълě prěbyvaаše ne ispovědy sę «пребывал во зле, (никогда) не исповедуясь», vodonoшъ... vъměstěštъ ро двѣта li tъмъ tѣгатъ «сосуд для воды, вмещающий (способный вместить) две-три меры», cēsarystvije... ni pašъpoto ni prіbyvaješte «царство, не могущее начаться и не увеличивающееся».

Каким образом древние формы смогли образовать систему совершенного вида, противопоставив ее системе инфекта, имеющего значение длительности и несовершенности?³

По-видимому, до сих пор от внимания лингвистов ускользало следующее обстоятельство первостепенной важ-

¹ A. Vaillant, ук. соч., стр. 328.

² Там же, стр. 326 и сл.

³ Учитывая различия в развитии отдельных славянских языков, мы ограничимся здесь примерами польского языка.

ности: чисто видовое противопоставление характерно не для центральной части славянской глагольной системы, а исключительно для ее периферии — наклонений (будущего времени, императива), неличных форм (инфинитива). Так, в польском языке: *będę wypiekał* «буду выпекать»: *wypiekę* «выпеку», *wypiekaj* «выпекай»: *wypiesz* «выпеки», *wypiekać* «выпекать»: *wypiec* «выпечь». Противопоставление же имперфекта и аориста (или — в польском, русском и других — прошедшего «несовершенного» и прошедшего «совершенного», например польск. *wypiekał* «выпекал»: *wypiekł* «выпек»), то есть именно то противопоставление, которое обычно рассматривается как видовое *par excellence*, не является чисто видовым: *wypiekał* имеет значение несовершенности по отношению к определенному моменту в прошлом, *wypiekł* имеет значение совершенности по отношению к неопределенному моменту (моменту речи и л и моменту в прошлом).

Это отсутствие симметрии составляет, с нашей точки зрения, важное внутреннее отличие славянской глагольной системы от систем западноевропейских языков. Последним свойственно противопоставление «одновременность: предшествование». Так, во французском языке, *j'écris, j'écrivais*: *j'ai écrit, j'avais écrit*; форма *écrivant* соответствует *j'écris, j'écrivais*, форма *ayant écrit* — *j'ai écrit* и *j'avais écrit*; точно так же инфинитив *écrire* соответствует *j'écris* — *j'écrivais*, инфинитив *avoir écrit* — *j'ai écrit* и *j'avais écrit*. В целом это то же, что система имперфекта и перфекта в латинском языке. Имеется, таким образом, причастие (инфинитив) со значением одновременности и причастие (инфинитив) со значением предшествования. Вместо одновременности мы можем говорить о непредшествовании, подчеркивая тем самым ее немаркированный характер.

В славянских языках мы находим тип польск. *wypiekał* «выпекаю» (несовершенство в настоящем) + тип *wypiekałem* «выпекал» (несовершенство в прошлом), которым противопоставляется *wypiekłem* «выпек» (совершенство без временной соотнесенности). Различие между *będę wypiekał* «буду выпекать», *wypiekaj* «выпекай», *wypiekać* «выпекать», опирающимися на *wypiekał* «выпекаю» + *wypiekałem* «выпекал», с одной стороны,

и *wurієkę* «выпеку», *wurієsz* «выпеки», *wurієс* «выпечь», опирающимися на *wurієkŭ* «выпек», с другой, есть различие между несовершенностью (немаркированный член) и совершенностью, которое нам следует теперь сопоставить с категорией предшествования, характерной для западноевропейских языков.

Значение предшествования у инфинитива *avoir écrit* опирается на личные формы *j'ai écrit* и *j'avais écrit*, которые обозначают действие, предшествующее, соответственно, моменту речи или моменту в прошлом. Мы могли бы определить действие, предшествующее чему-либо, как действие, обладающее относительной совершенностью, которая характеризуется наличием показателя времени или временной соотнесенности. Напротив, польский инфинитив *wurієс* «выпечь» и личная форма *wurієkŭm* «выпек», на которой он основан, означает действие, обладающее абсолютной совершенностью, без всякой временной соотнесенности. В то же время польские формы со значением несовершенности действия имеют временную соотнесенность, ср. *wurієkam* «выпекаю»: *wurієkaŭm* «выпекал». Различие между предшествованием и совершенностью заключается, таким образом, в том, что предшествование имеет относительный характер. Эта относительность вытекает из симметрии западноевропейской системы, а также из богатства ее элементов:

	I		II
совершен- ность	(1) <i>wurієkam</i>	одновре- менность	(4) <i>j'écris</i> (5) <i>j'éc-</i>
	(2) <i>wurієkaŭm</i>		<i>rivals</i>
	(3) <i>wurієkŭm</i>	предшест- вованіе	(6) <i>j'ai écrit</i>
	(временная соот- несенность уст- ранена)		(7) <i>j'avais écrit</i> (временная соот- несенность со- храняется)

Отсюда не следует, что при переходе от одной системы к другой мы встречаем трудности только одного характера. Дело в том, что относительная совершенность не является в и д о м (в логическом смысле) абсолютной совершенности. В системе I, где абсолютная совершенность является

грамматической и, следовательно, обязательной, относительная совершенность может подсказываться контекстом. Так, польский оборот *książka, którą pisał* «книга, которую он писал», в зависимости от контекста может быть передан не только французским «le livre qu'il écrivait», но также и «le livre qu'il a écrit» или «le livre qu'il avait écrit». Точно так же, чтобы перевести на польский французские обороты *le livre qu'il a écrit* и *le livre qu'il avait écrit*, необходимо учитывать контекст, чтобы сделать выбор как в первом, так и во втором случае между «*książka, którą pisał*» и «*książka, którą napisał*». Вообще форма (1) соответствует форме (4), форма (2) — формам (5), (6) и (7), форма (3) — формам (6) и (7). В обратном порядке форма (4) соответствует форме (1), форма (5) — (2), (6) — (2) и (3), (7) — (2) и (3).

Обе системы имеют тенденцию к совпадению в употреблении деепричастия (*pisząc «écrivant», napisawszy «ayant écrit»*); объясняется это тем, что, во-первых, польское деепричастие прошедшего времени типа *pisawszy* вышло из употребления, а, во-вторых, деепричастие, соотносящееся внутри предложения с глаголом в личной форме, всегда имеет относительное значение.

ДРЕВНЕИНДИЙСКИЙ АОРИСТ VII¹

(1951)

Функциональное тождество сигматических (IV, V) и асигматических (I, II, III) аористов установилось уже в доисторическую эпоху. Как бы ни пытались объяснять различие между этими двумя образованиями², несомненно, что их распределение в исторически засвидетельствованных языках, а именно в индоиранских и в греческом, не связано со смысловыми различиями. От глагольного корня, как правило, образуется лишь один аорист — сигматический или асигматический, если не считать аористов с редупликацией, которые приобретают в древнеиндийском каузативное значение (несомненно вторичное). Правда, более древнее образование (обычно асигматическое) может уступить место новому (сигматическому) аористу; при этом между старой и новой формами могут развиваться вторичные семантические различия, как это было в индийском, где редуплицированный аорист оказался противопоставленным другим типам аориста, и в греческом, где дифференциация, представленная парой ἔβην «я пошел»: ἔβησα «я повёл», принадлежит к той же категории явлений, что и, например, формальная дифференциация между медиальным и непереходно-пассивным залогами (ἔλυσάμην «я развязал себе»: ἐλύθη «я был развязан»).

Возможность вторичного развития залоговых различий явствует также из фактов, представленных в статье Le

¹ J. Kuryłowicz, Le VII^e aoriste indien, Comptes Rendus de la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław, III (année 1948), 1951, communication n°1 («Indoiranica»).

² Ср. недавнюю статью П. Кречмера (Objektive Konjugation im Indogermanischen, SÖAW, m 225,2), где он рассматривает отношение между греческим ἔβην и ἔβησα (каузатив) как унаследованное из индоевропейского и приписывает форманту s древнее местоименное значение (таким образом, речь идет об объектном спряжении).

genre verbal en indo-iranien, RO, VI, 1928—1929, стр. 199—209¹.

Не менее важен другой факт, который подчеркивал покойный Мейе в своей работе «Sur l'aoriste sigmatique»², а именно распространение сигматического аориста за счет асигматического. Что касается древнеиндийского, то здесь этот процесс особенно заметен в медиальном залоге. Активными формам аористов I (корневой атематический), II (корневой гематический) и IV (сигматический) в медиальном залоге уже в ведийском почти всегда соответствуют сигматические формы. Примеры: *adiṣi* «я дал себе» (AB), ср. *adat* «он дал», *asthiṣi* «я встал» (мед.) (Бр.), ср. *asthat* «он встал», *agiṣata* «они пошли» (мед.) (Бр.), ср. *agaṭ* «он пошёл», *ataṣi* «я натянул себе» (Бр.), ср. *aṭan* «он натянул», *agasmahi* «мы пошли» (мед.) (РВ), ср. *agan* «он пошёл», *alieṣata* «они побудили» (мед.) (РВ), ср. *ahenia* «мы побудили», *avikṣmahī* «мы вошли» (мед.) и *avikṣata* «они вошли» (мед.) (РВ), ср. *aviṣṇan* «они вошли», *abhutsi* «я проснулся» (РВ), *abhutṣata* «они проснулись» (AB), наряду с *budhanta* «они проснулись» (РВ), ср. гр. *ἐπύθην* «я узнал», *avitsi* «я нашёл себе» (РВ), наряду с (a)*vidanta* «они нашли себе» (AB), ср. *avidat* «он нашёл», *adṛkṣata* «они увидели» (мед.) (РВ), ср. *dṛṣan* «они увидели», *alipsata* «они намазали себе» (РВ), ср. *alipat* «он намазал», *piṅṣi* «я вымыл себе», ср. *anijan* «они вымыли».

¹ Краткое резюме этой статьи: В ведийском древнее противопоставление «а к т и в — м е д и о п а с с и в» практически перестало быть противопоставлением между каузативно-переходным и непереходно-пассивным значениями. Вместо этого определенные глагольные образования приняли на себя функции, первоначально выполнявшиеся окончаниями. Так, 1) каузативное значение продолжает выражаться активным залогом; непереходное значение выражается настоящим временем на -ya- с медиальными или активными окончаниями (др.-инд. пассив или IV класс основ настоящего времени); 2) каузативное значение выражается активным залогом образования *bhoreje o- (древний итератив); непереходное значение выражается активным или медиальным залогом настоящего времени (обычно корневого), например *vardháyati* «растит» — *váḍnate* «растет»; 3) каузативное значение выражается носовым инфиксом (суффиксом -pa-), изредка другим суффиксом; непереходное значение продолжает выражаться медиальным залогом настоящего времени (обычно корневого).

² «Mélanges de linguistique offerts à M. Ferdinand de Saussure», 1908, стр. 81—106.

Отсюда понятно правило Уитни (Whitney-Zimmer, стр. 296, § 846), согласно которому большинство аористов II образуют сигматический медиальный залог. Следы тематического медиального аориста в Ригведе являются следующие формы: *ah(u)ve* «я позвал», *ah(u) vanta* «они позвали», *luveya* «пусть я позову»; *akhyata* «он увидел»; *vidanta* «они нашли себе»; *voce* «я сказал», *(a)vocanta* «они сказали», *vocemahi* «пусть мы скажем».

Таким образом, по-видимому, следует рассматривать медиальные тематические формы аориста II как инновации, образованные в соответствии с пропорцией «и м п е р ф е к т а к т и в н о г о з а л о г а : и м п е р ф е к т м е д и а л ь н о г о з а л о г а (*bharat : bharata* «нес» и т. д.), и предполагать следующее первоначальное распределение форм:

активный аорист:	атематический	тематический	сигматический
медиопассивный аорист:	атематический		сигматический

Древнеиндийский в своем позднейшем развитии обобщил в медиальном залоге сигматические формы.

Эта доисторическая схема с распределением «тематический актив : атематический медиопассив» подкрепляется, по-видимому, сохранением в гомеровском языке целого ряда медиальных атематических аористов: *ἄρμενος*, «прилаженный», *ἔρτο* «поднялся», *ἐλῆλκτο* «закачался», *λέκτο* «сосчитал для себя», *ἐλέκτο* «лёг», *ἐμικτο* «смешался», *κατέληκτο* «был воткнут», *πάλτο* «затрясся», *ἐφθίτο* «погиб», *ἐκτάτο* «был убит», *λύμην* «я развязал себе», *ἐμλυτο* «ожил, стал дышать», которым, правда, в активном залоге соответствуют сигматические формы.

Таким образом, между активом с *e o* и медиопассивом с нулем существовало, по-видимому, в целом такое же отношение, как между активом опатива с *-ya-* и медиопассивом опатива с *-i-*. Данный факт может пролить свет на условия чередования гласных в спряжении. Не углубляясь в эту проблему, заметим лишь, что подобно тому, как чередование *-ya(i)- < и.-e.-ie(i)-* было устранено внутри активного залога и сохранилось только в противопоставлении залогов (*-ya-* в активе, *-i-* в медиопассиве), отношение *e'o : н о л ь*, характеризующее противо-

поставление залогов, может восходить к древнему распределению «e/o : н о л ь в активе — н о л ь в медиопассиве». По крайней мере именно такое распределение дает основания предполагать спряжение аориста от bhū «быть» в ведийском:

bhuv-a-m		bhū-ma
bhuv-a-ḥ	bhū-tam	bhū-ta
bhuv-a-t	bhū-tām	bhuv-a-n

Возвращаясь к нашей проблеме, рассмотрим вопрос о том, как возникло гетероклитическое спряжение древнеиндийского аориста, характеризующееся обобщением сигматического типа в медиальном залоге¹.

Асигматический аорист лишен суффикса; таким образом, сигматический аорист оказывается по отношению к нему формально доминирующим. Вот, например, структура медиального залога:

древний медиальный залог сигматического аориста: -p-s-i, -p-s-thāḥ, -p-s-ta и т. д.;

древний медиальный залог асигматического аориста: -p-i, -p-thāḥ, -p-ta и т. д.

Упрощение -pstāḥ в -pthāḥ, -psta в -pta означает совпадение соответствующих окончаний сигматического и асигматического аористов медиального залога. Это совпадение приводит к отождествлению форм с окончаниями на гласный. Победа сигматического аориста (-psi, -psata и т. д.) является как раз следствием того, что он является доминирующим по отношению к асигматическому аористу.

Такое положение вещей позволяет нам восстановить развитие активного залога. Здесь доминирующей формой является сигматический аорист с характерным элементом s, предполагающим, во-первых, долгую ступень корня и, во-вторых, атематические окончания.

Подчиненная форма — аорист II (а здесь нас интересует именно он) — характеризуется отсутствием суффикса, слабой ступенью корня и тематическими окончаниями.

¹ Методика анализа приводится в статье Е. Курлович. О природе так называемых аналогических процессов, см. настоящий сборник, стр. 92.

В сигматическом аористе *kṣ* из *ś*, *j* (< *g*), *h* (< *gh*) + *s* перед согласными окончаниями упрощается в *ṣ*. В результате в этих формах сигматический аорист превращается в корневой (например, **-kṣta* > *-ṣta*), так как перед зубными согласными, которые практически только и следует учитывать, *ś*, *j*, *h* сами по себе переходят в *ṣ*. Согласная *k* в *kṣ* (в положении перед гласным, например в 1 л. ед. ч.) воспринимается, таким образом, как вставной элемент, появляющийся перед конечным согласным основы *ṣ* в интервокальном положении. Аорист II как форма подчиненная перенимает у сигматического аориста это распределение (*ṣ* перед согласным, *kṣ* перед гласным), то есть обобщает *kṣ* по всей парадигме, поскольку здесь имеются только гласные окончания. Именно поэтому аорист VII встречается вначале лишь у корней на *ś*, *j*, *h* (и *ṣ*). Если бы имела место лишь простая тематизация аориста IV, это явление не зависело бы от конечного согласного корня. Следовало бы ожидать формы **amṛkṣat* (от *mṛc* «оскорблять»), **agukṣat* (от *guc* «сиять»), параллельные засвидетельствованным формам *amṛkṣat* (от *mṛj* «вытирать», *mṛś* «чувствовать»), *agukṣat* (от *guh* «подниматься»). В действительности речь здесь идет не о тематизации аориста IV, а о преобразовании аориста II путем введения *kṣ* вместо *ś*, *j*, *h*.

В иранском мы находим лишь тематизованные формы сигматического аориста: *uz.važat*, *vašata*, *vašante*; *pāšāiti*, *pāšataēša*; *ava.pašāt*¹. Аорист от *gaoz* «прятать» — *aguze*. Никаких следов аориста VII нет.

Аорист VII образуется также от глагольных основ на *ṣ*. В соответствии с изложенной выше гипотезой *ṣ* перед согласной в аористе IV переходит в *kṣ* в аористе II; таким образом, одинаковое развитие корней на *ṣ* и корней на *ś*, *j*, *h* объясняется совпадением их форм в положении перед согласным. В Ригведе из числа корней на *ś* аорист VII образуют: *kruś* «кричать» (*krukṣa-*), *mṛś* «чувствовать» (*mṛkṣa-*), из числа корней на *j* — *mṛj* «вытирать» (*mṛkṣa-*), из числа корней на *h* — *guh* «прятать» (*ghukṣa-*), *duh* «доить» (*d'h/ukṣa-*), *guh* «подниматься» (*rukṣa-*). В Атхарваведе добавляется *spṛś* (*spṛkṣa-*) и появляется первый

¹ Ср. Н. Reichelt, *Awestisches Elementarbuch*, Heidelberg, 1909, стр. 122.

пример корня на $\dot{s}$ (*dvikṣa-* от *dviṣ* «ненавидеть»). Ср. также 2 л. ед. ч. настоящего времени *dveṣi* вместо **dveṣi*.

Макдонелл в своей «Ведийской грамматике» (стр. 385, § 535), хотя и придерживается ошибочного традиционного объяснения¹, подчеркивает то важное обстоятельство, что речь здесь идет о корнях на *j*, $\dot{s}$, $\dot{s}$ и *h* со срединными гласными *i*, *u*, *ṛ*.

Известно, что тяжелые корни (то есть корни на сонант плюс согласный) образуют главным образом аорист II, тогда как аорист IV образуется преимущественно от легких корней². Это дает дополнительное основание предполагать наличие у перечисленных выше корней древних аористов II, а не IV (к сожалению, в иранском аористы от этих корней не засвидетельствованы).

Настоящая проблема имеет также фонетическую сторону, которую нельзя оставить без внимания. Древнеиндийская группа *kṣ* < $\dot{s}$, *j* (< $\hat{g}$), *h* (< $\hat{g}h$) + *s* представляет собой, по-видимому, позднее и собственно индийское развитие * $\dot{t}s$. Первый звук этой группы (*k*) не имеет никакой прямой связи с артикуляцией индоевропейских $\hat{k}$, $\hat{g}$, $\hat{g}h$. Дописьменная форма $\dot{t}s$ устанавливается по развитию конечного *-ks* не только в номинативах ед. ч. типа *gāṭ* «повелитель» или *viṭ* «селение» и аористах типа *ayāṭ* «принес в жертву», *argāṭ* «спросил», *avaṭ* «повез», но также и в изолированной форме *ṣaṭ* «шесть» < * $\dot{s}$ $\dot{u}$ $\dot{e}ks$; $\dot{t}$ засвидетельствовано также в медиальных падежах на *-bh-*: *-bhiḥ*, *-bhyaḥ*, *-bhyam* (*vidbhiḥ* «селениями» и т. д.). В соответствии с общим принципом индийской фонетики в конце слова от древней группы согласных сохраняется только первый элемент. Этап $\dot{t}s$ (или, если угодно, $\dot{t}s$)³ является во всяком случае индоиранским и позволяет удовлетворительно объяснить иранское развитие * $\hat{k}s$ > $\dot{s}$.

¹ «Тематическое *a*, несомненно, было использовано в этих многих глаголах для того, чтобы избежать при присоединении окончаний труднопроизносимого скопления согласных... Кроме индикатива, встречаются только формы инъюнктива и императива, в общей сложности менее дюжины. Никаких субъюнктивных, опативных или причастных форм не засвидетельствовано.

² Ср. Eos XXX, 1929, стр. 221—227; L'aoriste au point de vue formel.

³ Группа фонем, отличная от единой фонемы $\dot{s}$.

Поскольку *ts* дает здесь *s* (*ts* > *ss* > *s*, например *matsya*-«рыба» > *masya*-), следует а priori ожидать, что *tš* > *šš* > *š*.

Этот гипотетический этап *tš*, с нашей точки зрения, можно считать гарантированным определенными фактами аналогии, опирающимися на пропорцию *s* : *tš* = *s* : *ts*.

По Панини (7, 4, 49; цитировано у Вакернагеля¹) *s* + *s* дает *ts*. Речь здесь идет не о фонетическом переходе, ср. *asī* < *as* + *si*. Это правило выполняется внутри определенных категорий. Сюда относятся прежде всего сигматические глагольные образования: будущее время, аорист, деизидератив.

Примеры (по Вакернагелю): *avātsih* (AB) < *vas* «жить», *jighatsati*, *jighatsu-* (AB) < *ghas* «есть», *vatsyati* (Майтраяни-санхита), *avatsyat* (Бр.) < *vas* «сиять», *vatsyati*, *vivatsati* < *vas* «жить».

Кроме того, известен переход *s* > *t* в конце слова в 3 л. ед. ч. прошедшего времени: *vy-avāt* (AB) < *vi-vas* «сиять», *aśāt* (Бр.) < *śās* «учить» и *śāś* «резать», *asrat* (Бр.) < *srañś* «падать», *ahinat* (Бр.) < *hiñś* «повреждать». В этой группе примеров, возможно, мы имеем дело с процессом дифференциации (-*s* во 2 л., -*t* в 3 л.).

Что касается примеров первой группы, то они не нашли удовлетворительного объяснения. Неубедительны ни фонетическое объяснение Вакернагеля и И. Шмидта, ни объяснение по аналогии, предложенное Бартоломэ. В действительности дело заключается в том, что вставка *t* перед *š* в глагольных образованиях с сигматическим суффиксом (будущее время, аорист, деизидератив) повлекла за собою вставку *t* перед *s*, поскольку в обоих случаях суффикс *s* был поглощен конечным согласным корня².

Таким образом, относительная хронология появления аориста VII может быть установлена с помощью *te r m i p u s a n t e q u e m*: инновация произошла до индийского перехода *tš* > *kš*, будучи, однако, не индоиранской, а только индийской. Действительно, группа *ts* < *s* + *s*

¹ J. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, Göttingen, стр. 178.

² В отношении корней на *ś*, *j*, *h* это верно только с функциональной точки зрения, поскольку с генетической точки зрения древнее *s* представлено звуком *š* группы *tš*.

в приведенных выше примерах должна была возникнуть раньше перехода $\text{tṣ} > \text{kṣ}$, поскольку она основана на пропорции $\text{ṣ} : \text{tṣ} = \text{s} : \text{ts}$. С другой стороны, появление аориста VII должно было предшествовать во времени возникновению этой группы, поскольку нет аористов VII на -tsa-. Аорист VII уже сформировался к моменту появления первых форм типа *avātsīḥ*.

ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ПАДЕЖЕЙ¹

(1949)

§ 1

Неправильный анализ предложных оборотов до сих пор является, по нашему мнению, основным препятствием для анализа категории падежа. В последних работах, посвященных падежу (Л. Ельмслева², Р. Якобсона³, А. В. де Гроота⁴), предложные обороты либо вообще обходят молчанием, либо рассматривают иначе, чем «синтетические» падежные формы. При установлении общего значения падежей Якобсон расчленяет предложные обороты так: *предлог + падежная форма* (о винительном см. стр. 248, о родительном — стр. 260—261, о творительном — стр. 268, о дательном — стр. 272 и о предложном — стр. 274—276), нарушая тем самым морфологическое единство предлога и зависящего от него падежного окончания. Де Гроот, говоря об управлении падежами («доминировании») в оборотах типа *extra urbem* «вне города» или *per urbem* «по городу» (стр. 124) имеет, очевидно, в виду то же членение: *предлог* (управляющее) *+ падежная форма* (управляемое).

¹ J. Kurowicz, *Le problème du classement de cas*, BPTJ, t. 9, 1949, стр. 20—43. Аккузатив выступает только тогда, когда он противопоставлен номинативу (прямое дополнение: подлежащее), в то время как употребление номинатива не зависит от наличия или отсутствия аккузатива. Таким образом, аккузатив базируется на номинативе (символически: номинатив → аккузатив) (данное исправление относится к стр. 195, 199, 203). В эргативных языках (стр. 195) зависимость будет следующая: абсолютный падеж → эргативный падеж.

² L. Hjelmlev, *La catégorie des cas*, I, 1935; II, 1937.

³ R. Jakobson, *Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre*, TCLP, VI, 1936, стр. 240—288.

⁴ A. W. de Groot, *Les oppositions dans les systèmes de la syntaxe et des cas*, MB, 1939, стр. 107—127, в особенности стр. 120 и сл.

Впрочем, чрезвычайно важно, что такого типа управление совершенно не сравнимо с управлением, например, в *facere aliquid* «делать что-либо»; это группа из двух самостоятельных слов, связанных отношением подчинения (*facere* — определяемое, *aliquid* — определяющее). Расчленение *facere aliquid* на *facere* и *aliquid* — это правильная дихотомия, а расчленение *extra urbem* «вне города» на *extra* + *urbem* — это, напротив, дихотомия ошибочная. Существительное *urbs* не определяет предлог *extra*, который не является самостоятельным словом; с другой стороны, и *extra* не определяет *urbs*, если термин «определять» употребляется только применительно к синтаксическим связям между самостоятельными словами. Самостоятельное слово *urbs* определяется предлогом *extra* точно так же и в том же смысле, в каком основа или корень определяются флексивным окончанием или словообразующим суффиксом, то есть несамостоятельной («синсемантической») морфемой. Морфема *extra* со своей стороны обуславливает наличие окончания аккузатива (*urb-em*). Морфологическая структура предложного оборота *extra urbem* такова: самостоятельная («автосемантическая») морфема = корень *urb-*, несамостоятельная (синсемантическая) морфема = предлог *extra*, откуда *extra urb-*; *extra* чисто формально имплицитно подразумевает окончание аккузатива, откуда *extra urb-em*.

Иначе говоря, при первом дихотомическом расчленении оборота *extra urbem* выделяется, с одной стороны, чистый корень (или чистая основа), а с другой — предлог *extra* с зависящим от него окончанием аккузатива. И только при второй дихотомии удастся разложить эту последнюю морфему на основную субморфему, несущую значение (предлог), и на дополнительную субморфему (окончание аккузатива). Такая морфологическая структура вполне обычна. Ср., например, в немецком языке множественное число существительных на *-er*, предполагающее дополнительную субморфему умлаута (**Wald-er* > *Wäld-er*), или различные индоевропейские образования с первичными суффиксами, часто обуславливающими определенный вокализм корня (**loukos*, **luks* и т. д.).

Однако особенность случая с предлогом состоит в том, что предлог, хотя и является не самостоятельным словом,

а морфемой, в известной степени независим от определяемого существительного. Эта независимость проявляется прежде всего в том, что между предлогом и существительным могут вставляться другие самостоятельные члены синтаксической группы: *ad ripam Rhodani* «на берег Роны» = *ad Rhodani ripam*. Эта относительная (ограниченная) свобода предлогов не позволяет считать их рангом выше, чем падежные окончания так называемых синтетических падежей, например др.-инд. инструменталю, аблатива или локатива. С функциональной точки зрения оба средства выражения находятся на одном и том же уровне. Анализируя глагольную систему французского языка, никто не станет проводить границу между «синтетическими» формами презенса, имперфекта, простого прошедшего и «аналитическими» формами перфекта и плюсквамперфекта, отказываясь рассматривать эти формы вместе. Однако «вспомогательность» глаголов *avoir* и *être* является спорной, так как они (особенно первый из них) употребляются и как самостоятельные глаголы. Предлог тоже может употребляться самостоятельно в качестве наречия (например, *avec*), что не мешает ему оставаться внутри предложного оборота несамостоятельной морфемой. Известно, что предлоги обычно происходят от наречий или наречных оборотов; превращение в предлог происходит в тот момент, когда наречие или наречный оборот, до сих пор определявшие существительным, становятся в результате изменения иерархии его несамостоятельным определяющим. Например, французское *à cause de la grève* «из-за забастовки» сначала было равно (*à cause*) → *de la grève*, где стрелка направлена от определяемого к определяющему, а потом стало (*à cause de*) → *la grève*. Несамостоятельная морфема *à cause de* состоит из основной субморфемы *à cause* и падежной субморфемы *de*, что в точности аналогично рассмотренному выше примеру *extra urbem*. Точно так же разлагается *grâce à* «благодаря (чему)» и т. д. Во французском языке единство морфемы *à cause de* ощущается лучше, чем в латинском единство морфемы *extra* + аккузатив, так как в последнем случае обе субморфемы не являются смежными.

Предлоги индоевропейских языков также могли происходить от наречий, сопровождавших падежную форму

например **régi* (застывший локатив), которое определяло существительное в локативе и т. д.

Графическая самостоятельность предлогов (*ad giram* вместо **adgiram*, несмотря на безударность предлога *ad*, объясняемую его семантической несамостоятельностью) определяется наличием таких конструкций, как *ad Rhodani giram*. Элемент *ad*, несмотря на его проклитический характер, не пишется вместе, в одно слово с последующим *Rhodani*, так как *ad* непосредственно связан с *giram*, в то время как с *Rhodani* он соотносится лишь косвенно. Если бы предлоги никогда не отделялись от своих существительных другими словами, они составляли бы с этими существительными графическое единство, подобно послелогам, которые в ряде языков, если невозможны промежуточные элементы, пишутся слитно с предшествующим существительным. В качестве графической параллели приведем определенный артикль, с одной стороны, во французском, итальянском, испанском, английском, немецком, а с другой — в румынском или в скандинавских языках. Графическая самостоятельность первого и несамостоятельность второго отражают закономерности порядка слов (или морфем): во французском артикль может отделяться от существительного прилагательным-определением (*le bon curé* «добрый кюре»), в румынском же это невозможно (*omul mort* «мертвый человек»).

Кроме раздельного написания предлогов, есть другой, более серьезный аргумент: существование предлогов, управляющих несколькими различными падежными формами (*in urbe : in urbem*). В самом деле, если в подобных примерах падежная форма по крайней мере до некоторой степени независима от предлога, то не следует ли считать, что падежное окончание имеет наряду со значением предлога собственное значение? Чтобы ответить на этот вопрос, приведем сначала несколько хорошо известных примеров.

Древнеирландские предлоги *aig*, *fo*, *for*, *in(d)* употребляются то с дативом, то с аккузативом. В немецком предлоги *an*, *auf*, *hinter*, *in*, *neben*, *unter*, *über*, *vor*, *zwischen* требуют либо датива-локатива, либо аккузатива цели. В польском после предлогов *nad*, *pod*, *za* употребляется либо инструменталь, указывающий местонахождение, либо аккузатив, обозначающий цель движения; после предлогов

па, przu, w то же самое смысловое различие передается альтернативой л о к а т и в : а к к у з а т и в.

Значение предлога в этих примерах не изменяется, хотя глагол движения сообщает дополнительный оттенок цели, поэтому, например, в латинском *in urbem ire* оборот *in urbe*, где падежное окончание аблатива (= e) зависит от *in*, испытывает семантическое влияние со стороны глагола движения и поэтому изменяется: *ire in urbem* > *ire in urbem*. Однако сам оборот *in urbe* не зависит от окружения и остается при глаголах движения неизменным. В русском между *Он прыгает на столе* и *Он прыгает на стол* нет прямого противопоставления, которое позволило бы нам установить независимые значения для *на столе* и для *на стол*. В первом примере (*на столе*) предложная конструкция занимает более периферийную позицию, чем во втором (ср. *Он пишет на столе*), а во втором примере (*на стол*) ее позиция более центральная, чем в первом. В развернутом высказывании *В комнате он прыгнул на стол* аккузатив направления (*на стол*) занимает более центральную позицию, чем локатив (*в комнате*). Если сравнить с этим выражение *прыгает на столе*, то мы увидим, что *на столе* соответствует по своей периферийной позиции сочетанию *в комнате*, а не *на стол*.

Аналогичная альтернатива а к к у з а т и в : а б л а т и в (исходная точка) наблюдается в греческом после предлога $\pi\alpha\rho\acute{\alpha}$ в $\tilde{\eta}\kappa\omega$ $\pi\alpha\rho\acute{\alpha}$ $\sigma\acute{\epsilon}$ «прихожу к тебе», $\pi\alpha\rho\acute{\alpha}$ $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\acute{\epsilon}\omega\varsigma$ $\tilde{\eta}\kappa\omega$ «прихожу от царя». Но так как $\tilde{\eta}\kappa\omega$ означает «приходить», аккузатив цели в $\tilde{\eta}\kappa\omega$ $\pi\alpha\rho\acute{\alpha}$ $\sigma\acute{\epsilon}$ носит более центральный характер, чем генитив (аблатив) удаления в $\pi\alpha\rho\acute{\alpha}$ $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\acute{\epsilon}\omega\varsigma$ ¹.

Встречаются также предлоги, управляющие несколькими падежными формами, альтернатива которых объясняется совсем иначе, чем в вышеприведенных примерах. Так, в литовском предлог *už* с генитивом означает «за, позади», а *už* + аккузатив означает «для»; здесь перед нами два различных предлога, и их различное управление не является синхронической проблемой. Подчеркнем,

¹ $\pi\alpha\rho\acute{\alpha}$ (наряду с $\delta\pi\acute{o}$) — единственный греческий предлог, который может употребляться при глаголах движения либо с генитивом (аблативом) удаления, либо с аккузативом цели, причем основное значение предлога («у, к, при») не изменяется.

что в альтернативах типа *in urbe* : *in urbem* значение предлога не меняется, поэтому следует искать другое объяснение различия зависящих от предлога падежей. Значение же *из*, напротив, может быть определено только в м е с т е с управляемым падежом.

Мы приходим к выводу, что наличие предлогов, управляющих несколькими падежами, не является доказательством самостоятельности этих падежей. Правильный анализ позволяет нам говорить либо о двух формах, одна из которых семантически связана с глаголом, а другая свободна, либо о таких цельных комплексах *предлог + падеж*₁ и *предлог + падеж*₂, где невозможно выделить *падеж*₁ и *падеж*₂, поскольку здесь не имеет места смысловая идентичность предлогов первого и второго комплексов.

Таким образом, основной аргумент в пользу членения предложных оборотов типа *extra + urbem*, *in + urbem*, *in + urbe* отклоняется окончательно. Правильное членение таково: $\frac{\text{extra}}{\text{II}} \frac{\text{urb}}{\text{I}} \frac{\text{em.}}{\text{II}}$. Отсюда два следствия: 1) па-

дежная форма не может быть оторвана от предложного оборота; поэтому такую падежную форму нельзя рассматривать наравне со свободными падежными формами или с падежными формами, управляемыми глаголом непосредственно без предлога; 2) предлог не является управляющим падежной формы, а представляет собой субморфему, хотя и основную, сложной морфемы II (состоящей из предлога + падежное окончание). Предлог управляет или, точнее, имплицитно только *падежное окончание* как таковое, а не падеж (то есть не падежную форму).

В «аналитических» языках предложный оборот — это то же самое, что в «синтетических» языках наречие, производное от существительного. Функциональное различие между «аналитическим» падежом (например, фр. *de Pierre à Pierre*) и предложным оборотом, очевидно, то же, что и между «синтетическим» падежом и наречием (производным). Так же, как аналитические падежи пополняются за счет предложных оборотов, так и синтетические падежи имеют естественным источником отсубстантивное наречие. Древнеиндийская форма на *-tas* (типа *mukhatāḥ* «вперед»,

букв. «перед лицом»), являющаяся наречием в ведийском языке и в классическом санскрите, в среднеиндийском стала падежной формой (*mukhato* вместо древнего аблатива *mukhāt*). С другой стороны, многие наречия являются пережитками, представляющими окаменевшие падежи (например, гр. οἶκοι «дома», лат. *certē* «наверняка», русск. *кругом*), которые отошли от живых падежей в ходе формального обновления парадигмы.

Переход наречия (или предложный оборот) > падежная форма и, наоборот, падежная форма > наречие соответствует расширению или сужению употребления рассматриваемой морфемы (суффикса, предлога, окончания). Наречное образование, даже продуктивное, обычно обладает относительно ограниченной сферой употребления. Так, хотя образование *mukhatāḥ* является живым¹, оно распространяется в древнеиндийском только на небольшое число существительных. Это объясняется конкретным семантическим содержанием самого наречного суффикса, природа которого исключает неограниченное употребление, охватывающее все именные основы. Употребление этого суффикса ограничено определенным числом корней, смысл которых согласуется со значением суффикса. Как только наречие начинает выступать в функции, присущей падежной форме, а именно начинает управляться глаголом, конкретное семантическое значение уступает место синтаксическому, а словообразовательный суффикс становится флексивным окончанием. Теперь уже область употребления этой морфемы становится неограниченной: поскольку морфема превратилась в синтаксический показатель (там, где падежная форма управляется другим словом), она может соединяться с любой именной основой (или корнем). Наречие как форма словообразования и падеж как форма словоизменения различаются главным образом объемом сфер употребления соответствующих морфем.

¹ Живым в том смысле, что связь этого образования со словом-основой ощущается говорящими и позволяет строить аналогичные образования.

§ 2

Ни одну морфологическую или фонологическую проблему, представляющую известную степень сложности, невозможно успешно исследовать, не определив сначала понятие значения или в более общей форме понятие функции. В области морфологии, которой мы сейчас занимаемся, Р. Якобсон (стр. 244, 252—253) различает общее значение («Gesamtbedeutung») и специфические значения («spezifische Bedeutungen»), среди которых имеется основное значение («Hauptbedeutung»). Это различие, применимое в области семантики, представляется нам неудобным при исследовании переплетения семантических и синтаксических фактов. Как нам кажется, анализ де Гроота (стр. 124—127) представляет собой шаг вперед по сравнению с исследованием Р. Якобсона, хотя мы и не могли бы принять все положения выдающегося голландского лингвиста.

В статье «Деривация лексическая и деривация синтаксическая»¹ мы пользовались выражениями *первичная функция* и *вторичные функции*. Еще раньше мы применяли эти термины в работе «*Études indo-européennes*» (см., например, стр. 197). В области фонологии это различие помогло нам установить классы согласных и осветить вопрос об индоевропейских полугласных (см. «*Contribution à la théorie de la syllabe*»). Первичная и вторичная функции определяются соответственно языковой системой и условиями (контекстом). Функция, проявляющаяся в таких специальных условиях, которые можно определить положительным образом, считается вторичной². В зависимости от того, идет ли речь о семантической или синтаксической функции,

¹ См. настоящий сборник, стр. 57.

² Из того, что условия являются специальными, не следует, что вторичная функция (например, вторичное значение) является более специальной, чем первичная. Из работ Вундта («*associative Verdichtung*») известно, что специальные условия могут отнимать у рассматриваемой формы часть семантического содержания, общего с этими условиями. В настоящее время можно было бы говорить о диссимилиации — применительно как к семантическим, так и к морфологическим явлениям. Так, после палатальных согласных палатальные гласные могут утрачивать палатализацию (**kričēti* >

эти условия бывают семантического или синтаксического характера. Некоторая определяемая системой функция, называемая первичной, может быть модифицирована различными способами и давать различные вторичные функции. Наши термины можно было бы сравнивать с терминами Р. Якобсона, если бы термин *функция* точно соответствовал термину *Bedeutung*, что места не имеет. В таком выражении, как *manu dextra* «правой рукой», еще можно говорить о значении окончания -и в *manu*, но окончание генитива множественного числа -um в *potiri regum* «захватить власть» — это всего лишь показатель синтаксической зависимости («Feldzeichen»).

Как применить понятия первичной и вторичной функции к анализу падежей? Возьмем, например, аккузатив (в индоевропейских языках). При переходных глаголах, где этот падеж обозначает внутренний или внешний объект действия (*affectum* или *effectum*), окончание аккузатива не имеет никакой семантической значимости, а является чисто синтаксическим показателем подчиненности имени глаголу. Но, кроме этого, имеются, как случаи особого употребления, аккузатив цели, аккузатив пространственной или временной протяженности, аккузатив цены и т. д. Каждое из этих значений аккузатива присуще сочетаниям с глаголами определенной семантической группы. Так, аккузатив цели возможен только при глаголах, обозначающих движение. Аккузатив длительности (временной протяженности) бывает лишь при глагольных формах, содержащих идею длительности. В славянских языках такой аккузатив употребляется с глаголами несовершенного вида. Польски, например, можно сказать *pisał dwa tygodnie* «писал две недели», но нельзя *napisał dwa tygodnie* «написал две недели» (*napisał* совершенный вид от *pisał*). Что же касается переходных глаголов, при которых употребляется аккузатив (прямого дополнения), то их определить с точки зрения семантики не удастся. Характерный для них признак — переходность — это признак синтакси-

kričati); однако, с другой стороны, здесь возможна и ассимиляция велярных гласных (например, норвежское *hjarta* > шведское *hjärta*).

ческого порядка: существительное просто подчиняется глаголу, и окончания аккузатива не содержат какого-либо особого оттенка значения, соответствующего семантическому содержанию глагола.

Поэтому можно говорить о первичной функции аккузатива — в роли прямого дополнения — и о ряде вторичных функций: аккузатив цели (др.-инд. *paḡaram gaśchati* «идет в город», лат. *Romam ire* «идти в Рим»), протяженности, цены и т. д. Условия употребления аккузатива во вторичной функции всегда могут быть определены. Условия эти — контекст, но не в каком-то неопределенном смысле: это прежде всего и главным образом семантическое содержание глагола, от которого зависит падежная форма¹. Окончание аккузатива как бы приспосабливается к глаголу, проникаясь его специальным значением. Первичную функцию, напротив, так определить не удастся. Пользуясь терминологией Бюлера², она «обусловлена в системе» (*systembedingt*) в то время, как вторичные функции «обусловлены в поле» (*feldbedingt*).

Анализируя семантическое содержание аккузативного окончания в его различных функциях, мы увидим, что в первичной функции, где аккузатив представляет собой чисто синтаксический показатель, оно равно нулю, но во вторичной функции обладает различными смысловыми оттенками. Следовательно, падежная форма аккузатива функционирует как грамматический падеж в лат. *occidere hostem* «убить врага» и как конкретный падеж в лат. *Romam ire* «идти в Рим», *triginta annos vivere* «жить тридцать лет», польск. *kosztuje jedną setkę* «стоит одну сотню» и т. д. Конкретный падеж, так же как и грамматический падеж, подчинен глаголу, но его окончание сохраняет собственное семантическое содержание, что придает конкретному падежу наречный характер. Ср., например, вед.

¹ Мы не принимаем здесь во внимание тот факт, что различные специальные употребления аккузатива определяются также значением соответствующих существительных: аккузатив цели — названиями места, аккузатив временной протяженности — существительными, обозначающими отрезки времени, и т. д.

² См. К. Bühler, *Sprachtheorie. Darstellungsfelder der Sprache*, Jena, 1934.

divi «на небе» и iĥa «здесь»: и локатив и наречие представляются одинаково независимыми от глагола (в семантическом отношении). Ср. также аблатив mukhât «рот, лицо» и наречие mukhatâh «впереди, перед лицом». Ясно, что конкретные падежи ближе к наречию, чем грамматические. Каковы же различия между конкретными падежами и наречиями?

Конкретные падежи также имеют первичные и вторичные функции. Первичная их функция — наречное употребление; однако от наречий их отличает наличие вторичной функции, которая состоит в том, что падежное окончание, лишенное семантического значения, становится простым синтаксическим показателем. Это происходит в тех случаях, когда конкретный падеж у п р а в л я е т с я глаголом со специальным значением. Достаточно обратиться к синтаксису любого индоевропейского языка, чтобы убедиться в том, что все конкретные падежи — и инструменталь, и аблатив, и локатив — могут после определенных глаголов становиться грамматическими. Если славянские глаголы со значением «потрясать», «размахивать» требуют инструменталья, а не аккузатива, то это факт у п р а в л е н и я, которое лишает соответствующие окончания инструменталья их семантического содержания и отождествляет их с точки зрения значения с аккузативным окончанием прямого дополнения. Другими словами, эти окончания становятся, так сказать, к о м б и н а т о р н ы м и в а р и а н т а м и аккузативного окончания прямого дополнения, — вариантами, которые обусловлены семантикой глаголов, управляющих рассматриваемым падежом. Так¹, аблатив управляется глаголами, выражающими понятия: 1) «уступать», «удалять», «гнать»; 2) «быть лишенным», «нуждаться», «лишать»; 3) «происходить», «возникать», «рождаться»; 4) «делать», «верить»; 5) «освободить», «спасать», «защищать»; 6) «брать», «получать»; 7) «оставаться позади», «быть удаленным». Значение глагола, сочетаясь со значением существительного, достаточно ясно определяет связь между глаголом и существительным, так что падежное

¹ См. К. В r u g m a n n, *Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen*, Berlin — Leipzig, 1933, стр. 422 и сл.

окончание лишается своего семантического содержания (диссимиляция). Однако первичная функция аблатива не вызывает сомнений: она обозначает исходную точку действия. О первичности этой функции говорит: 1) тот факт, что она не зависит от окружения, тогда как «управляемый» аблатив связан с определенными семантическими группами глаголов; 2) тот факт, что примеры управления, где аблатив становится комбинаторным вариантом аккузатива прямого дополнения, являются вторичными по отношению к примерам, в которых существование аблатива в парадигме оправдывается его самостоятельным значением.

Итак, мы подходим к предварительной дихотомической классификации приглагольных падежей:

1) Грамматический падеж¹ (аккузатив прямого дополнения):

- а) первичная синтаксическая функция;
- б) вторичная наречная функция;

2) конкретные падежи¹ (все прочие косвенные прилагательные падежи):

- а) первичная наречная функция;
- б) вторичная синтаксическая функция.

Подчеркиваем еще раз, что переход от первичной функции к вторичной всегда сопровождается ограничением условий, в которых выступает падежная форма. Во вторичной функции она употребляется только после глаголов, образующих вполне определенные синтаксические группы. Направления перехода первичная функция > вторичная функция у грамматического падежа и у конкретных падежей диаметрально противоположны. Грамматический падеж подвергается адвербиализации, а конкретные падежи — грамматикализации. Степень того и другого непосредственно сказывается на сфере употребления падежного окончания. Чем больше «наречность» употребления

¹ Более удачными представляются термины «синтаксический» вместо «грамматический» и «семантический» вместо «конкретный». Но теория падежей уже и так перегружена терминами («падежи внутренней и внешней детерминации» (innere, äußere Determination), «местные падежи» и т. д., поэтому мы сохраняем привычную терминологию.

падежа, тем меньше число именных основ, с которыми может сочетаться соответствующее падежное окончание. Аккузатив цели возможен только от существительных (собственных и нарицательных), обозначающих место; аккузатив временной протяженности образуется лишь от существительных со значением «отрезок времени» и т. д. Наоборот, когда конкретный падеж вступает в отношение управления и его окончание утрачивает свое семантическое содержание, сфера употребления этого падежа расширяется, то есть число основ, от которых он образуется, увеличивается. Ясно, например, что у абстрактных существительных окончание локатива не может иметь конкретного (местного) значения: это окончание будет прежде всего и главным образом выступать в роли синтаксического показателя.

Основное различие между грамматическим падежом и конкретными падежами состоит не только в различном смысловом содержании соответствующих окончаний, но и в различии синтаксической позиции по отношению к глаголу. Рассмотрим, например, фр. *Je reverrai mes collègues à l'école* «Я вновь увижу своих коллег в школе». Позиция прямого дополнения является по отношению к глаголу более центральной, а позиция локатива — более периферийной. Иначе говоря, локатив *à l'école* определяет группу *je reverrai mes collègues*, рассматриваемую как относительное единство. Именно потому, что форма аккузатива — это синтаксический показатель связи между прямым дополнением и глаголом, эта связь теснее, чем связь между глаголом и локативом, форма которого имеет самостоятельное конкретное значение без прямой синтаксической функции. Этот локатив подчинен глаголу только благодаря своему наречному значению (напротив, во фр. *croire au Saint Esprit* «верить в святого духа» локатив имеет синтаксическое значение). Формальная связь между *(je)reverrai* и *mes collègues* (более отчетливо выраженная во флективных языках) и отсутствие такой связи между *(je)reverrai* и *à l'école* — вот причина того, что *(je)reverrai* и *mes collègues* связаны между собой более тесно, чем вся группа *(je)reverrai mes collègues* с локативом *à l'école*. Графически это можно выразить так: *(je reverrai mes collègues) à l'école*.

Из этого примера видно, какое значение имеет для теории падежей различие между центральными и периферийными позициями, проиллюстрированное выше в связи с противопоставлением *in urbe : in urbem*. Если грамматический падеж более централен, чем конкретный, то и конкретный падеж, употребленный во вторичной (синтаксической) функции, более централен, чем конкретный падеж в первичной (наречной) функции. Например, в *potiri civitate armis* «захватить город силой» (букв. «оружием») первый (управляемый) аблатив *civitate* более централен, чем второй (свободный) аблатив *armis*, имеющий инструментальное значение; отсюда (*potiri civitate*) *armis*. И, наконец, грамматический падеж, употребленный во вторичной (наречной) функции, периферийнее, чем тот же самый падеж в первичной функции, например *Dies circiter XV (iter fecerunt)* «Они проделали путь приблизительно за пятнадцать дней». Грамматикализация падежной формы сообщает ей центральное положение среди определяющих глагола; а д е р б и а л и з а ц и я падежа, напротив, отбрасывает его на периферию глагольной группы.

Ясно, что термины **ц е н т р а л ь н ы й** и **п е р и ф е р и й н ы й** никак не относятся к порядку слов, который далеко не всегда отражает внутренний порядок слов.

§ 3

До сих пор мы говорили о падежах так, будто существуют только приглагольные (= определяющие глагол) падежи. Однако имеются и другие падежные формы, соответствующие другим синтаксическим функциям.

Существительное может быть в предложении:

- 1) подлежащим;
- 2) приложением (определением) к другому существительному, или предикативом;
- 3) сказуемым;
- 4) косвенным определением глагола или имени.

В индоевропейских языках случаи 1 и 3 соответствуют номинативу, первичной функцией которого является случай 1, а вторичной — случай 3. В славянских языках в функции сказуемого частично выступает инструменталь,

в связи с чем возникает семантическая проблема разграничения номинатива и инструменталю. Существительное в роли приложения ведет себя, по сути дела, как прилагательное: оно согласуется с определяемым существительным в падеже (однако не всегда в роде и числе). Падежные окончания существительного-приложения — это чисто синтаксические показатели его подчинения, которое выражается, однако, не просто самим падежным окончанием, а скорее согласованием этого окончания с падежным окончанием определяемого существительного. Можно было бы говорить о специальном «приложительном» падеже (*cas spécial de l'apposition*), окончание которого выступает в форме нескольких комбинаторных вариантов, зависящих от падежного окончания определяемого существительного.

Обзор всех возможных синтаксических функций существительного позволяет увидеть, что случай 4 представляет собой специфическую область употребления падежных форм («*Punkt der maximalen Kasusunterscheidung*», как говорит Р. Якобсон, указ. соч. стр. 259). В качестве определений к глаголу могут употребляться несколько разных косвенных падежей, один рядом с другим: *Exercitum mari supero misit* «Он послал войска Адриатическим морем»; *Dies circiter XV iter fecerunt* «Они проделали путь приблизительно за пятнадцать дней» и т. д. Поэтому было бы неправильно пытаться определить отношения между падежами, используя повсеместно признанную и применяемую коммутацию, когда речь идет, например, о семантических отношениях между производящими и производными словами или вообще между формами, принадлежащими к одному и тому же синтаксическому классу. Синтаксическое отношение между *château* «зámок» и *châtelet* «маленький зámок» (или между *château* ед. ч. и *châteaux* мн. ч.) позволяет осуществлять анализ посредством подстановки одной формы вместо другой в любую синтаксическую конфигурацию, например *Le château brûle* «Зámок горит»: *Le châtelet brûle* «Маленький зámок горит»; *le toit du château* «крыша зámка»: *le toit du châtelet* «крыша маленького зámка» и т. д. Однако две или несколько падежных форм, определяющих глагол, принадлежат в зависимости от их более центральной или более периферийной позиции к различным синтаксическим

классам. Выше мы видели, что *Он прыгает на стол* не может быть получено из *Он прыгает на столе* (или наоборот) простой коммутацией *на столе* > *на стол* (или наоборот), потому что *на стол* и *на столе* занимают разные места внутри глагольной группы. Первое выражение можно представить в виде (*прыгает на стол*), а второе — в виде (*прыгает —*) *на столе*, где незанятым остается место центрального определяющего, тогда как в (*прыгает на стол*) не хватает периферийного определяющего. Различие между функциями (значением) производных и семантических категорий вообще, а также между значением падежей и синтаксических категорий вообще — это различие между вертикальными и горизонтальными отношениями, которое можно графически проиллюстрировать следующим образом:

le château brûle, le toit du château	(отношение между <i>château</i> и <i>châtelet</i> в одинаковых синтаксических условиях)
le châtelet brûle, le toit du châtelet	(отношение между <i>на стол</i> и <i>в комнате</i> , причем <i>в ком- нате</i> эквивалентно, с син- таксической точки зрения, выражению <i>на столе</i>).
(<i>Он прыгает на стол</i>) в <i>ком- нате</i>	

Именно поэтому не следует, определяя синтаксические значения, прибегать к семантическому противопоставлению с нейтральным, позитивным и негативным членами. Хотя попытки дать научно адекватную классификацию падежей весьма ценны, мы не можем принять решения, предложенные Л. Ельмслевом¹ и Р. Якобсоном. Встречаются, правда, и вертикальные противопоставления падежей, например аккузатива и генитива-партива в польском (и в русском): *Дай нам хлеб*

¹ Мы убеждены, что Ельмслев вернулся к своим старым позициям: еще в 1938 году, в ходе одной из фонологических дискуссий, он высказал мнение, что «различие классов первично по отношению к диакритической значимости» фонемы. Следовательно, в плане содержания синтаксические различия первичны по отношению к различиям семантическим и что семантические различия должны устанавливаться только в пределах одного и того же синтаксического класса, то есть между формами, изофункциональными с синтаксической точки зрения.

(*donne-nous le pain* или *un pain*) и *Дай нам хлеба* (*donne-nous du pain*), но уже из французского перевода видно, что это примеры весьма специального семантического противопоставления, которое основано на более существенном синтаксическом различии (между приглагольным аккузативом и приименным генитивом).

Уничтожение синтаксического различия между этими двумя падежами, употребление генитива на месте аккузатива, порождает особое семантическое значение, которое является вторичным по отношению к основному различию синтаксических классов (приглагольный падеж : приименной падеж). В нашем примере речь идет об оттенках, связанных с употреблением (во французском) артикля, то есть об оттенках, не имеющих синтаксической функции, а затрагивающих скорее семантическое содержание существительного. Аналогичный пример чередование *н о м и н а т и в а : и н с т р у м е н т а л я* в роли именного сказуемого в разговорном польском языке. Именно так мы понимаем различие между *To jest król* «Это — король», *On jest król* «Именно он — король», *On jest królem* «Он король». Нам кажется, что правильный метод — определять семантические различия, если они есть, исходя из синтаксических различий, но не наоборот. Тогда семантическое значение формы определяется на основе ее первичной синтаксической функции. Поэтому прежде всего надо определить значение или синтаксический класс, характерный для рассматриваемой падежной формы; уничтожение различия синтаксических классов, приводящее к семантическим различиям, — явление низшего порядка.

§ 4

Приглагольные падежи — это именные формы с двумя функциями: 1) конкретной, или наречной, и 2) грамматической. Можно представить себе падеж, имеющий только грамматическую функцию, то есть такую падежную форму, которая выступала бы только в роли прямого дополнения. Однако форма, имеющая лишь наречное значение (все равно синтетическая или аналитическая, то есть

предложный оборот), относится к наречиям, а не к падежам. Во всяком случае, мы будем различать два класса приглагольных падежей в зависимости от их первичной функции (эта классификация имеет место применительно к древним индоевропейским языкам):

- 1) грамматический, или синтаксический падеж — аккузатив прямого дополнения;
- 2) конкретные падежи, первичная функция которого является наречной или семантической (инструменталь, датив, аблатив, локатив).

Можно было бы полагать, что проблема системы падежей сводится, таким образом, к возможности сгруппировать в соответствии с критерием семантического противопоставления конкретные падежи, относящиеся к одному и тому же синтаксическому классу. Однако если они и образуют систему, то только систему наречных значений, поскольку во вторичной функции они становятся комбинаторными вариантами грамматического падежа. С другой стороны, было бы чистой случайностью, если бы эти падежи образовывали систему, а не ф р а г м е н т ы системы. Объясняется это двумя причинами.

Прежде всего мы видим (§ 1), что чем бы наречное значение не выражалось — предложным оборотом или «синтетическим» падежом, — это роли не играет, так как предлог не управляет падежной формой, а является всего лишь синсемантической морфемой, подчиненной существительному. Р. Якобсон сам рассматривает предложный падеж (*на столе, в столе* и т. д.) вместе с «синтетическими» падежами. Решающую роль играет функция, а не происхождение. Никто не будет отрицать падежный характер древнеиндийского датива только потому, что эта форма содержит постпозитивный элемент -а, который отличает ее от датива местоимений и от датива других индоевропейских языков. Все отыменные наречия и все предложные обороты, которые могут у п р а в л я т ь с я глаголами определенных семантических групп, должны относиться к падежам.

С другой стороны, имеются наречия или предложные конструкции, которые никогда не управляются глаголом. Это и есть истинные наречия. Среди определений к глаголу они занимают периферийное место; с глаголом эти наречия

связаны слабо — только по смыслу¹. Например, {[глагол + грамматический падеж] + конкретный падеж} -{+ наречие}. Мы видим, что конкретный падеж занимает здесь промежуточное место: он колеблется между наречием и чисто синтаксической формой. Если мы ограничимся его вторичной — грамматической — функцией, то получим форму, представляющую комбинаторный вариант аккумулятива прямого дополнения (этот аккумулятив является основным вариантом). Во вторичной функции все конкретные падежи изофункциональны и, следовательно, не образуют семантической системы. Если группировать конкретные падежи по их наречным функциям, мы не можем отвлечься от функций всех прочих наречий: ведь конкретные падежи составляют, так сказать, подгруппу наречий, причем эта подгруппа отличается от остальных наречий наличием вторичной функции. Другими словами, как синтаксический класс конкретные падежи, занимающие промежуточное положение между грамматическим падежом и наречиями, составляют особую группу; но если мы приступаем к их систематизации, что возможно лишь в том случае, если мы прибегнем к их наречному значению, мы не сможем рассматривать их иначе, чем подгруппу категории наречий.

Поэтому попытки систематизировать конкретные падежи какого-либо языка приводят, как мы полагаем, к систематизации продуктивных наречных образований этого языка. Рассматриваемые образования могут быть синтетические или аналитические, но и в том и в другом случае речь идет о наречиях, образованных от существительных («синтетический» тип *mukha-tāḥ* आङ्गवाङ् и т. д.; «аналитический» тип: предложные обороты), а не от прилагательных (тип *fortement* «сильно»). Внутри системы этих образований конкретные падежи с их первичными функциями образуют особый сектор, который характеризуется наличием вторичной синтаксической функции.

Ни один из конкретных падежей не является сам по себе более центральным или более периферийным, чем

¹ Если в языке есть абсолютный падеж (*ablativus absolutus* в латинском, абсолютный генитив в санскрите и т. д.), то именно он является самым периферийным определением личного глагола.

другой. В предложении *Il a travaillé dans ce bureau quatre semaines* «Он проработал в этом бюро четыре недели» более центральной может быть как группа *quatre semaines*, так и группа *dans ce bureau* в зависимости от того, что именно желательно подчеркнуть. Более или менее центральная позиция этих определительных групп перестает быть фактом грамматики и становится фактом экспрессии или стиля. В некоторых языках для передачи подобных стилистических оттенков используется порядок слов. Но порядок слов бессилён там, где суть дела в различии грамматических значений, из которых одно синтаксическое, а другое — семантическое. В лат. *Gladio hostem occidit* «Мечом врага убивает» или *Hostem gladio occidit* «Врага мечом убивает» аккузатив всегда является более центральным, чем инструменталь, потому что подчинение аккузатива *hostem* глаголу *occidit* формально выражено окончанием аккузатива (синтаксическим показателем), тогда как зависимость инструмента *gladio* от глагола вытекает только из семантического (наречного) значения окончания инструмента.

Предложенную здесь систематизацию конкретных падежей вряд ли можно считать удачной заменой существующих систем. Ведь среди производных наречных образований конкретные падежи образуют квазислучайную группу, обусловленную вторичными (грамматическими) функциями, которые существуют у конкретных падежей, но отсутствуют у настоящих наречий. Имеется ли для падежей такая схема классификации, которая отражала бы их сущность и иерархию и одновременно их первичные и вторичные функции? Нам кажется, что мы можем ответить на этот вопрос утвердительно.

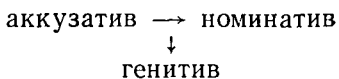
Конкретные падежи занимают в системе падежей подчиненное положение. Скелет системы образуют грамматические падежи, представляющие синтаксические функции. Аккузатив, падеж прямого дополнения, противопоставлен двум другим грамматическим падежам, номинативу и приименному генитиву, следующим образом.

Так как пассивная конструкция основана в индоевропейских языках на активной, то есть так как лат. *hostis profligatur* «враг уничтожается» основано на *hostem profligare* «уничтожить врага», место номинатива (падеж

подлежащего) в системе определяется его противопоставлением аккузативу (падеж прямого дополнения). Функция номинатива первична в *hostis profligatur*, вторична в таких словосочетаниях с непереходным глаголом, как *Hostis incedit* «Враг наступает» или в таких именных словосочетаниях, как *Hostis atrox erat* «Враг был жесток», и третична в словосочетаниях с переходным глаголом, как *Hostis obsides necavit* «Враг убил заложников».

Из сказанного не следует, будто инструменталь в свою очередь основан на номинативе, как это может показаться, например, при рассмотрении такого противопоставления: др.-инд. *Siṃhaḥ śrgālam vyāpādayati* «Лев шакала убивает»: *Siṃhena śrgālo vyāpādyate* «Львом шакал убивается». Трехчленная пассивная конструкция, включающая наряду с объектом действия (*patiens*) еще и действующее лицо (*agens*), отличается от соответствующей активной конструкции только в стилистическом отношении. Лишь двучленная пассивная конструкция имеет грамматическое значение¹. Отношение инструменталь к номинативу ничем не отличается от отношения любого другого конкретного падежа к номинативу. В языках с эргативной конструкцией основное соотношение таково: эргатив (активный падеж) абсолютный падеж, что соответствует противопоставлению субъектно-объектная конструкция: субъектная конструкция, которое в свою очередь соответствует индоевропейской категории залога.

Поскольку, с другой стороны, субъектный генитив и объектный генитив основаны на номинативе и аккузативе, то есть группы *secessio plebis* «уход плебса» и *occisio hostis* «убийство врага» происходят соответственно от *plebs secedit* «плебс уходит» и *hostem occidere* «убить врага», то можно считать: 1) что эта синтаксическая функция первична для генитива и 2) что генитив основан на номинативе и аккузативе, взятых вместе. Графически это выглядит так:



¹ Ср. Е. Курлович, Эргативность и стадийность в языке, см. настоящий сборник, стр. 122.

Стрелки указывают направление от основных форм к производным.

Заметим, что субъектный и объектный генитивы служат основой для всех других приименных употреблений генитива, а именно, для партитивного и посессивного генитива (вторичные функции), которые являются конкретными употреблениями, образующими сравнительно поздний с исторической точки зрения слой (известно, например, что в индоевропейских языках притяжательность выражалась главным образом прилагательным). При этом очень важно, что во всех языках посессивный генитив продолжает основываться на субъектном и объектном генитиве вследствие мотивированного характера этого последнего, поскольку группа *имя действия + объектный или субъектный генитив* всегда происходит от группы *личный глагол + подлежащее или прямое дополнение*.

Заметим также, что различные приименные употребления генитива (партитивный, посессивный и т. д. генитивы), то есть употребления, вторичные по отношению к субъектно-объектному генитиву, служат способом косвенного определения существительного другим существительным. Прямое определение состоит в том, что определяющее существительное становится путем согласования приложения к определяемому. Это доказывается различием по смыслу между *deus homo* «бог-человек» и *deus hominis* «бог человека», различием между тождеством и отношением.

Тройка грамматических падежей и есть подлинная система индоевропейских падежей. Это основной скелет системы, к которому довольно слабо прикрепляются конкретные падежи; они входят в систему только благодаря вторичной функции в качестве комбинаторных вариантов аккузатива прямого дополнения. По своим же первичным функциям конкретные падежи принадлежат к семантической системе наречных производных (образованных от существительных). Речь идет о четырех падежных формах: инструменталь, датив, аблатив, локатив.

С точки зрения языковой системы конкретные падежи занимают особое положение по отношению к наречиям и к грамматическим падежам. Возникает вопрос, можно

ли выделять класс форм, промежуточных между частью речи и флективными формами другой части речи. В качестве довода в пользу этого выделения можно привести следующую параллель: так называемые служебные слова тоже занимают промежуточное положение между двумя классами морфем — автосемантических и синсемантических. В каждом конкретном употреблении выступает та или иная функция, никаких промежуточных положений никогда не бывает, например, *Il a un fils* «У него есть сын», *Il a cédé* «Он уступил». Однако вся совокупность форм глагола *avoir* не может быть определена без учета обоих значений — автосемантического и синсемантического. Это заставляет нас отвести для глагола *avoir* (вместе с глаголом *être* и др.) особое место в категории глаголов. Единственно важная вещь — иерархия обеих функций. В связи с этим закономерен вопрос, почему такая падежная форма, как инструменталь или локатив, является существительным, а не наречием, хотя ее первичная функция — наречная. Ответ следующий: все решается в зависимости от сферы употребления данной морфемы; если наречный суффикс обретает способность присоединяться ко всем существительным (с формальными вариантами или без них), он становится падежным окончанием; если суффикс со значением собирательности обретает способность присоединяться к любой именной основе, он становится окончанием множественного числа.

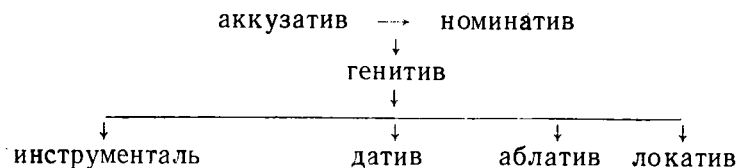
Что касается датива, то грамматическая традиция объединяет его с падежами, имеющими синтаксическую функцию (номинатив, аккузатив, генитив), поскольку он является падежом косвенного дополнения. Термин «косвенное дополнение» оправдан там, где группа г л а г о л + п р я м о е д о п о л н е н и е управляет косвенным падежом. Обычно это бывает датив, обозначающий лицо, которому адресуется действие (*donner à* «давать кому-либо», *dire à* «говорить кому-либо» и т. д.). Хотя в этих конструкциях датив управляется глаголом, он менее централен, то есть имеет более наречный характер, чем аккузатив, поскольку его употребление ограничено существительными, обозначающими лицо. Помимо употреблений в качестве косвенного дополнения или в качестве падежа, управляемого непереходными глаголами, напри-

мер лат. *auxilio* «помогаю», *servio* «служу» (эти употребления являются вторичными функциями датива), датив выступает как конкретный падеж, основное значение которого соответствует значению предложной конструкции «для кого-либо, для чего-либо». Именно этим значением объясняется употребление застывшего датива имен действия в роли инфинитива.

В стороне остается вокатив. Он имеет апеллятивную функцию, отличную от чисто репрезентативной (символической) функции других падежей. Рассматривать вокатив в той же плоскости, что и другие падежные формы, — значит допускать методологический промах, аналогичный смещению экспрессивного употребления междометий с символической функцией других частей речи. Поэтому первая дихотомия, с которой мы начнем классификацию падежей, отделит вокатив от прочих падежей.

В индоевропейских языках, где, с одной стороны, грамматические падежи (номинатив, аккузатив, генитив) и конкретные падежи (инструменталь, датив, аблатив, локатив) образуются одинаково, то есть с помощью окончаний, и где, с другой стороны, конкретные падежи и предложные конструкции выполняют одни и те же наречные функции, различие между обеими группами падежей выражено не столь ярко, примером может служить классический арабский, где грамматические падежи являются «синтетическими» (номинатив -и, аккузатив -а, генитив -и), а конкретные — «аналитическими». Некоторые глаголы управляют предложными оборотами, в силу чего предложные обороты становятся настоящими конкретными падежами с первичной наречной и со вторичной синтаксической функцией (например, *bada'a bi* «начинать», *'āmana bi* «верить в», *dafa'a'an* «защищать» и т. д.).

Поскольку грамматические падежи образуют чисто синтаксическую совокупность, каждый конкретный падеж противопоставляется в силу своего наречного значения всей этой совокупности — точно так же, как производное слово противопоставлено совокупности всей парадигмы (= основе) производящего слова:



Все замечания сведены в таблице, помещенной в § 5.

§ 5

Теперь нам остается разобраться в различиях между концепциями вышеупомянутых исследователей и нашими положениями.

И Якобсон и де Гроот, первый на материале русского языка, второй — латинского, стараются подтвердить предлагаемый метод на соответствующих примерах. То же стремимся подтвердить и мы своей схемой индоевропейских падежей.

Якобсон (указ. соч., стр. 245) соглашается с Брендалем, который оспаривал синтаксическую природу падежных форм¹. Мы же, напротив, полагаем, что шагом вперед в этом плане является метод де Гроота. Он пишет (указ. соч., стр. 122): «Мне кажется, что ситуация в действительности несколько более сложна [чем это полагают Ельмслев и Якобсон]. Падежи могут иметь как синтаксические, так и семантические функции... Поэтому всегда приходится иметь дело с двумя системами функций, более или менее самостоятельными».

Система индоевропейских падежей²

I. План обращения („Appellfunktion“ по К. Бюлеру)
 II. План представления („Darstellungsfunktion“ по К. Бюлеру)
 Вокатив

¹ См. «Actes du III Congrès International des Linguistes», стр. 146.

² Синтаксические функции приложения, предикатива и именной части сказуемого выражаются не падежными окончаниями, а согласованием окончаний. Поэтому названные функции не представлены в таблице.

А) 1. Падеж подлежащего: номинатив

2. Приглагольные падежи¹:

а) грамматический падеж: **аккузатив**
(первичная функция: прямое дополнение; вторичная функция: наречная)

б) ² конкретные падежи:

инструменталь ³	} (первичная функция: наречная; вторичная функция: синтаксическая)
датель	
аблатив	}
локатив	

Б) Приименные падежи:

а) грамматический падеж: **генитив**
(первичная функция: субъектный или объектный генитив; вторичная функция: партитивный, посессивный и др. генитивы⁴)

б) конкретные падежи

¹ У приглагольных падежей синтаксическая зависимость выражается либо непосредственно — формой окончания, которое является тогда простым синтаксическим показателем (грамматический падеж), либо косвенно — наречным значением, которое падежная форма приобретает благодаря окончанию (конкретные падежи).

² Употребление конкретных приглагольных падежей в качестве приименных определений, более или менее распространенное в различных языках, основывается на следующем развитии: личный глагол + конкретный падеж → имя действия или отглагольное прилагательное + конкретный падеж → существительное или прилагательное + конкретный падеж.

³ Вторичная функция инструментала — соперничество с номинативом за роль именного сказуемого (в славянских языках), благодаря чему инструменталь проникает в позицию предикатива (Якобсон, указ. соч., стр. 268).

⁴ Вторичная функция генитива — это наречное употребление в качестве прямого дополнения, причем генитив семантически противопоставлен аккузативу (примеры в русском — см. Якобсон, указ. соч., стр. 256 и сл.).

Другое важное положение де Гроота, тесно связанное с предыдущим, — это различие центральных и периферийных позиций различных приглагольных падежей: «В предложении, содержащем существительные в различных падежах, управляемый аккузатив является первым по отношению к глаголу, управляемый датив — вторым, управляемый аблатив — третьим... (*Ille mihi manu propria librum dedit* «Он дал мне книгу собственной рукой») (указ. соч., стр. 123 и сл.). Далее (указ. соч., стр. 127) де Гроот признал преимущественно грамматический (синтаксический) характер генитива: «множество «значений» генитива объясняется отсутствием значения».

Наконец, де Гроот правильно подметил общую тенденцию развития (указ. соч., стр. 126): «Вообще говоря, эволюция элементов, подобных падежу, такова: сначала они имеют только семантическую функцию, потом — семантическую и синтаксическую функцию, наконец — исключительно синтаксическую функцию». В наших терминах это выглядит так: наречие (производное от существительного) или предложный оборот > конкретный падеж > грамматический падеж.

У Р. Якобсона (указ. соч., стр. 248) различие между сильноуправляемым и слабоуправляемым аккузативом (*starkregierter und schwachregierter Akkusativus*) не определено формальным образом. А ведь это различие между синтаксическим и в то же время центральным, с одной стороны, и семантическим и в то же время периферийным — с другой. Мы не можем также согласиться с Якобсоном, когда на стр. 249 он говорит об аккузативе и номинативе как о маркированном и немаркированном членах семантического противопоставления, в то время как там имеет место противопоставление синтаксического характера.

На стр. 252 Якобсон пишет: «Вопрос об основных значениях падежей принадлежит учению о слове, а вопрос о частных значениях падежей — учению о словосочетании; основное значение падежа независимо от его окружения, в то время как его отдельное (-ые) значение (-я) являе(ю)тся, так сказать, комбинаторными вариантами основного значения» «*Die Frage der kasuellen Grundbedeutungen gehört der Wortlehre und die ihrer Sonderbedeutungen*

gen der Wortverbindungslehre an, da die Grundbedeutung des Kasus von seiner Umgebung unabhängig ist, während seine einzelne(n) Bedeutunge(n)... sozusagen die kombinatorischen Varianten der Grundbedeutung (sind)».

Однако есть семантический контекст и синтаксический контекст, между которыми существует значительное различие. Когда конкретный падеж, выступая в роли прилагательного определения, становится наречием, здесь сказывается воздействие синтаксического контекста. Напротив, в таком выражении, как *tête de fer* «упрямец» (букв. «железная голова»), действует семантический контекст, поскольку перемена значения у (de) *fer* «железный» обусловлена не тем, что это сочетание употреблено в роли определяющего, а только специфическим значением слова *tête* «голова».

Ряд различий, установленных Р. Якобсоном (указ. соч., стр. 258, 264), относятся к области стиля и поэтому являются вторичными, подчиненными грамматическим фактам.

Самые слабые места различных трудов — неудачный анализ предложных оборотов, отсутствие отчетливого различения первичной и вторичной функции (в смысле, определенном в § 2), наконец, отсутствие формального обоснования предлагаемых схем.

Что же касается двух последних авторов (Р. Якобсон, указ. соч., стр. 283: де Гроот, указ. соч., стр. 127), то из предшествующего положения ясно, что точка зрения де Гроота гораздо ближе к нашей, чем Р. Якобсона. Де Гроот различает внутри группы «падежи с синтаксической функцией» две подгруппы: «падежи без семантической функции» (грамматические падежи) и «падежи с семантической функцией» (конкретные падежи). Синтаксическая функция конкретных падежей вытекает из их семантического (наречного) содержания, в то время как грамматические падежи с самого начала имеют первичную синтаксическую функцию. Функции обоих видов, семантические и синтаксические, присущи плану представления (символизации), который противопоставлен плану обращения (вокатив).

Кроме того, как кажется, формула «номинатив — не определяющее, аккузатив и генитив — определяющие»

не отражает подлинных взаимоотношений между грамматическими падежами. Критерии противопоставления не следует выбирать произвольно: они должны быть формальны, то есть диктоваться самим языком. Язык же представляет, с одной стороны, альтернацию аккузатива (прямого дополнения) и номинатива в зависимости от залога (*hostem profligare* «уничтожать врага», *hostis profligatur* «враг уничтожается»), с другой стороны — альтернацию номинатива и аккузатива (прямого дополнения) с субъектным и объектным генитивом, в зависимости от отглагольного словообразования (*plebs secedit* «плебс уходит»: *secessio plebis* «уход плебса», *hostem occidere* «убить врага»: *occisio hostis* «убийство врага»). Относительные операции указывают нам направление зависимостей и одновременно — соответствующие дихотомии. Аккузатив и номинатив вместе служат основанием для генитива, причем сам номинатив основан на аккузативе.

Наконец, подразделение отношение без л о к а л и з а ц и и : отношение места, которое де Гроот ввел для конкретных падежей, является нерелевантным, поскольку эти падежи, как мы видели, связаны с системой только своей вторичной (синтаксической) функцией. По своей первичной функции они принадлежат к семантической системе наречий.

К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО РОДА¹

(1934)

По мнению замечательного теоретика языкознания проф. Карла Бюлера, языковые формы актуализируются на основе двух «планов языковой репрезентации»²: 1) внешней ситуации; 2) контекста. Разница между ними проявляется особенно ярко в многочисленных синтаксико-семантических явлениях. Так, например, глагольные формы приобретают различное временное значение в зависимости от того, к какому плану мы их относим. В предложениях: *Он болеет* и *Говорили, что он болеет* одна и та же глагольная форма отнесена первый раз к моменту речи и передает настоящее время, второй раз — к моменту, выраженному в контексте (*говорили* = прошедшее время) и обозначает одновременность действия. Благодаря Бругману были выявлены две основные функции указательных местоимений: 1) дейктическая функция; 2) анафорическая функция. Дейктическая функция указательных местоимений заключается в указании на предметы (внешние), анафорическая функция — в указании на слова (контекста).

То же мы наблюдаем в области грамматического рода (нас особенно интересует генезис противопоставления мужской род: женский род). Грамматический род существительного указывает в первую очередь на определенную черту (или черты) предметов в соответствии с их принадлежностью к тому или иному классу. В то же время род прилагательного и вообще атрибутивных элементов указывает только на род существительного,

¹ J. Kuryłowicz, W sprawie genezy rodzaju gramatycznego, SprPAUm, 1934, fasc. 10, стр. 5—8.

² К. Bühler, Sprachtheorie. Darstellungsfelder der Sprache. Jena, 1934.

к которому относится это прилагательное, то есть в первую очередь на с е м а н т и ч е с к и й класс данного существительного. Таким образом, можно различать дейктический и анафорический род. Можно говорить о том, что язык обладает категорией грамматического рода только в том случае, если в языке существует анафорический род¹. Если в языке развита именная деривация, возможно образование от существительных со значением одушевленных существ мужского пола (главным образом людей и представителей некоторых наиболее распространенных видов животных) производных существительных со значением соответствующих существ женского пола. Однако если прилагательное и другие атрибутивные части речи несклоняемы или даже склоняются, но не обладают подвижностью (тосја), говорить о существовании в этом языке категории грамматического рода нельзя.

У указательных местоимений новые анафорические элементы развиваются из дейктических элементов; анафорический род, то есть род прилагательных, тоже предполагает предварительное существование дейктического рода, то есть рода существительных. Этапы развития можно было бы представить следующим образом. Исходной точкой является сильно развитая именная деривация. Семантические категории, как обычно в таких случаях, группируются вокруг определенных суффиксов, причем один и тот же суффикс служит для обозначения целого ряда семантических категорий и в то же время одна и та же семантическая категория выражается несколькими суффиксами. Даже в языках со слаборазвитой суффиксацией, например в семитских, нет однозначного соответствия между суффиксом и семантической категорией. Важную роль в деривации играет образование существительных от прилагательных — семантическая, словообразовательная субстантивация, ср., например, функцию суффикса -ек в śmīālek «смельчак» и т. п. С помощью ряда суффиксов образуются либо абстрактные, либо конкретные существительные разных семантических подгрупп.

Решающий момент в процессе формирования грамматического рода — анафорическое использование на месте

¹ Ср. характеристику грамматического рода в индоевропейском языке у Мейе — Михальского, стр. 200.

старых прилагательных именно таких субстантивированных прилагательных. Ср. герм. (гот.) *manpa blinds* «слепой человек», но анафорическое *(sa)blinda* «(этот) слепой» (сущ.), где *blinda* — исконное существительное (с основой на -п-). Такие анафорические формы, как сл. *slēpъ-jъ* «слепой», или ст.-фр. *cil bon* «хороший» (сущ.), хотя и являются «аналитическими», тоже представляют собой сочетания, эквивалентные существительным, так как генетически и *jъ*, и *cil* — это местоименные существительные, определяемые прилагательным. Поэтому существительные типа *blinda*, употребленные анафорически на месте старых прилагательных, воспринимаются как прилагательные (синтаксическая субстантивация в противоположность семантической). В германском (готском) существительные типа *blinda* низводятся до роли атрибутивных анафорических форм, употребляемых либо самостоятельно, либо в качестве определений.

Анафорическое прилагательное, будучи ни чем иным, как исконным существительным, подчинено тем же самым законам словообразования, что и существительное. Однако семантическое значение этих словообразовательных средств подвержено изменениям, соответствующим эволюции сущест-вительное > анафорическое прилагательное. В частности, формальные элементы существительных, указывающие на свойства предметов, у анафорических прилагательных будут указывать на семантическую категорию соответствующих (анафоризированных) существительных. Если, например, элемент -ā- или -ī- у существительного указывает на женский пол (sexus) индивида, обозначенного этим существительным, то у прилагательного этот элемент указывает только на грамматический женский род (genus) существительного, к которому относится прилагательное.

Следующим этапом возникновения грамматического рода служит экспансия отношения между существительным и анафорическим прилагательным, то есть отношения, свойственного первоначально только некоторой, точно определенной семантической группе. Возьмем в качестве примера индоевропейские суффиксы -ā-, -ī-. До тех пор пока существительное на -ā- или -ī-, образованное от прилагательного, выполняло только функцию

существительного, нельзя было говорить о грамматическом женском роде, так как он возникает только в тот момент, когда существительное на *-ā-*, *-ī-* анафоризирует группу, состоящую из прилагательного + существительное, обозначающее существо женского пола, или становится синтаксическим эквивалентом группы, где суффиксы *-ā-*, *-ī-* перестают обозначать женский пол, а лишь анафоризируют его, относясь исключительно к группам, состоящим из прилагательного + существительное любого образования, обозначающее существо женского пола. С другой стороны, как уже подчеркивалось, отдельные суффиксы существительных характеризуют одновременно несколько разных семантических групп, то есть наряду с существительными, обозначающими существа женского пола, характеризуют также существительные абстрактные и собирательные. По аналогии с общей формой происходит экспансия анафорических атрибутивных форм. Так, например, по образцу *-ti-* (дейктический *sexus femerinum*): *-ā-*, *-ī-* (анафорический *sexus femerinum*) получаем *-ti-* (дейктический): *-ā-*, *-ī-* (анафорический) независимо от значения анафоризированного существительного, если только оно не исключает женского рода, то есть если оно не обозначает существо мужского пола. При этом естественный род доминирует над формальным отношением: во всех индоевропейских языках существительные, обозначающие людей и некоторых животных (прежде всего домашних) имеют грамматический род (*genus*), соответствующий природному полу (*sexus*). Закрепление определенного грамматического рода за каким-нибудь суффиксом свидетельствует только о том, что в момент возникновения рода соответствующий суффикс был также продуктивен в сфере образования существительных, обозначающих существа мужского или женского пола.

Третью группу составляют существительные, грамматический род которых не мотивирован ни их значением, ни их формой: они не обозначают живых существ и не имеют суффиксов, связанных с определенным грамматическим родом. Для этих существительных можно установить следующее правило: в момент формирования рода

они принимают род других существительных, с которыми функционально чередуются, в результате чего главный или немаркированный член семантического противопоставления навязывает свой род подчиненному или маркированному члену («merkmalloses», «merkmalhaftes Glied» по терминологии Трубецкого и Р. Якобсона). Это правило подтверждается примерами, почерпнутыми из истории отдельных языков. В немецком или французском языках род определяется естественным принципом, если речь идет о живых существах, пол которых известен, формальный же принцип, то есть корреляция родов по определенным суффиксам, развит довольно слабо. Распространение семантических функций какого-либо слова *B* за счет другого слова *A* способствует тому, что *B* приобретает грамматический род *A*, а это в случае первоначального отличия рода *B* от рода *A* приводит к изменению первого. Например, в среднефранцузском языке слово *orage* «буря, гроза» (из лат. *auraticum* «буря») частично вытесняет слово *tempête* «буря, шторм» (из лат. *tempesta* «буря»). Это вызывает изменение мужского рода слова *orage* на женский по пропорции *tempête* : *orage* = *une violente tempête* : *x* (= *une violente orage* «сильная буря»). Соответственно немецкое *Petschaft* «печать» приобретает средний род своего семантического предшественника *Siegel* (из лат. *sigillum* «печать»). Если семантический объем слова *A* включает значительную часть маркированных (подчиненных) слов *B*, то начинает действовать правило, по которому слова, принадлежащие к одной семантической группе, приобретают один и тот же грамматический род. Так, например, во французском языке все названия деревьев приобретают мужской род, поскольку слово *arbre* «дерево» в романских языках мужского рода, в то же время большая часть суффиксов слов, обозначающих деревья, не была связана с определенным грамматическим родом. В латыни эти названия, наоборот, женского рода, поскольку слово *arbor* «дерево» женского рода, в то же время окончание *-us* (например, в *fagus* «бук», *carpinus* «граб» и т. д.) не было ранее связано с определенным грамматическим родом. Не следует искать спасительное объяснение этому в мифологическом мышлении и олицетворении. Следует лишь подчеркнуть еще раз, что такие явления возможны

лишь постольку, поскольку род не связан с суффиксом. В польском языке подобные явления редки, так как они возможны только среди существительных с основой на мягкий согласный (по крайней мере, в именительном падеже). В таких случаях, как *piec* «печь», *cień* «тень» (изменение старого женского рода на мужской), нужно искать функционального предшественника этих слов, частично или полностью вытесненного ими из употребления. Принятие грамматического рода слова *A* его функциональным преемником *B* объясняет нам также, почему в конкретных индоевропейских языках существительные на *-os* почти исключительно мужского рода, существительные же на *-ā*, *-ī* почти все женского рода. Поскольку семантическим преемником существительного часто является определяющее его прилагательное, то прилагательные на *-os* или на *-ā*, *-ī*, заменяя вытесненные им существительные мужского или женского рода, сами стали существительными мужского или женского рода.

Резюмируя, мы можем констатировать, что грамматическое противопоставление мужской род: женский род складывается на основе трех факторов: 1) естественного рода как *gr̥iūs*; 2) явления анафоризации и соотношения, основывающегося на некоторых постоянных соотношениях между суффиксами прилагательных и существительных; 3) явления семантического господства и подчинения.

АККУЗАТИВ-ГЕНИТИВ И НОМИНАТИВ-АККУЗАТИВ МУЖСКОГО РОДА В ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ¹

(1947)

Почти пятнадцать лет тому назад я заинтересовался вопросом образования в польском языке акк.-ген. мн. ч. лично-мужской формы (тип *chłorów*: *osiedlać chłorów* «крестьян»: «расселять крестьян»). Однако данное мной тогда объяснение, опубликованное в Бюллетене Польского лингвистического общества², перестало с некоторого времени меня удовлетворять. Я высказал тогда мысль, что форма на *-ów* была создана для семантического различия, так как форма акк. мн. ч. *chłory* «крестьян», *grzeszniki* «грешников» могла употребляться для обозначения либо смешанного коллектива (*chłopi i chłorki* «крестьяне и крестьянки», *grzesznicy i grzesznice* «грешники и грешницы») либо мужского (*chłopi* «крестьяне» в противоположность *chłorki* «крестьянки»). Форма акк.-ген. м. р. существовала ранее для обозначения единственного числа (тип *chłora* «крестьянина», *wilka* «волка»); как форма множественного числа она употреблялась более ограничено, а именно только для лично-мужских форм в тех случаях, когда необходимо было отличить чисто мужской коллектив от смешанного.

Это объяснение не удовлетворяет нас по двум причинам: а) в русском языке (в дальнейшем опускаем другие севернославянские языки) акк.-ген. распространился не только на все одушевленные имена мужского рода (*убивать котов*), но охватил также женский род (*кот ловит мышей*) и даже средний (*я видел детей*); б) если появление акк.-ген. мн. ч. мы будем объяснять лишь некоторыми общелингвистическими тенденциями различия, мы упус-

¹ J. Kuryłowicz, *Męski acc.-gen. i nom.-acc. języku polskim*, SprPAUm, t. 48, 1947, стр. 12—16.

² BPTJ, III, стр. 107—110.

тим из виду тот факт, что он появился в определенный исторический момент: иначе говоря, отношение $chłor : chłora = chłorі : x$ ($= chłorów$) могло прекрасно действовать как в доисторический период, так и в XVI и XVII или в XX вв. Почему же оно появилось именно в XVI или в VII вв.?

Для решения проблемы личной формы акк.-ген. мн. ч. может оказаться поучительным сравнение польского языка с русским. Как будто трудно сомневаться в том, что отправным пунктом здесь является все-таки акк.-ген. ед. ч., засвидетельствованный еще в старославянском. Первоначально он употребляется только для личных имен мужского рода, а не вообще для одушевленных, так как в ст.-сл. акк.-ген. ед. ч. характеризует только личные, а не все одушевленные имена. В языках с более поздними памятниками, в польском и русском, мы наблюдаем распространение форм акк.-ген. ед. ч. на другие одушевленные имена мужского рода, причем этот процесс идет еще и в настоящее время¹. Распространение этой формы на множественное число ограничилось в польском языке только личными именами, в русском же охватило, как уже было указано, не только одушевленные имена мужского рода, но и одушевленные имена женского рода. Задержка развития в польском связана, несомненно, со структурой множественного числа мужского рода, отличной от русской. Польскому различию *koty* «коты»: *chłorі* соответствует однородная русская форма *коты* : *холопы* (*холопи* — только формальный вариант, ср. *соседи*, *черти*). Возможно, что в момент совпадения форм номинатива и аккузатива ед. ч. в русском языке, которое привело в польском к различению личных и неличных имен, польский и русский языки находились еще на уровне старославянского, то есть акк.-ген. ед. ч. был характерен только для лично-мужских форм. После появления нового ном. мн. ч. (тип *коты*, *холопы*) русский язык, где употребление акк.-ген. распространилось на все одушевленные, объединил множественное число личных и других одушевленных в одну группу, поскольку формы номинатива во множественном числе совпадали (*кот*, *холоп* : *кота*, *хо-*

¹ Ср. J. Ł o ś, *Gramatyka języka polskiego*, PAU, стр. 254.

лопа; коты, холопы : котов, холопов). Польский язык, рассматривая одинаково *chłor* : *chłora* и *chłori* : *chłorów*, не может в то же время образовать *koty* : *kotów*, несмотря на существование *kot* : *kota*, так как существует формальное различие между *chłori* и *koty*. По этой причине форма акк.-ген. распространилась только на имена одушевленных единственного числа.

Такое распространение формы акк.-ген. ед. ч. м. р. объясняется нормальной и известной из ряда примеров трактовкой одушевленных имен как личных (а неодушевленных как одушевленных). Уже издавна акк.-ген. ед. ч. распространяется на многие имена неодушевленных¹. Это происходит (что до сих пор не подчеркивалось) только в тех случаях, когда парадигмы неодушевленного и одушевленного существительных в единственном числе не различаются. Так, неодушевленные существительные, имеющие в генитиве ед. ч. -и, не могут оканчиваться в аккумулятиве на -а, так как одушевленные существительные не имеют в генитиве -и, например: *pić szampa* «пить шампанское», но не *koniaku* «коньяк».

Расширение сферы распространения акк.-ген. ед. ч. (*pić szampa*, *znaleźć grzyba* «найти гриб») и мн. ч. (русс. *котов*) возможно постольку, поскольку оно не тормозится формальными причинами, как, например, -и в единственном числе (характерное только для неодушевленных) или -у во множественном числе (характерное только для неличных существительных). В то же время русск. ген. мн. ч. *жен* (без окончания -ов) не мешает распространению формы акк.-ген. мн. ч. склонения на -а, так как отсутствие окончания -ов характеризует не одушевленные или неодушевленные существительные, а женский грамматический род, в пределах которого имеет место точно такое же распределение, как и в мужском склонении, а именно:

номинатив	<i>столы</i>	<i>коты</i>	номинатив	<i>руки</i>	<i>жены</i>
генитив	<i>столов</i>	} <i>котов</i>	= генитив	<i>рук</i>	} <i>жен</i>
аккумулятив	<i>столы</i>		аккумулятив	<i>руки</i>	

¹ Ср. J. Łoś, *Gramatyka języka polskiego*, PAU, стр. 254.

В то время как форма акк.-ген. ед. ч., несомненно, уходит своими корнями в праславянский язык, форма ном.-акк. м. р. имеет, конечно, более позднее происхождение и появляется лишь в севернославянских языках (польск. *stoły* «столы», *koty*, русск. *коты*). Несомненно, она является морфологическим последствием какого-нибудь фонологического передвижения. Причину его мы видим в утрате слабых редуцированных и появлении оппозиции твердые согласные : мягкие согласные, характерной для севернославянских языков. Механика же этого передвижения заключается в переходе $t\bar{y} : t\bar{y} > t : t'$, а затем в замене t на t' перед гласными переднего ряда ($e, \bar{e}, i, \bar{e}$). В это время i и y становятся комбинаторными вариантами одной фонемы, причем основной формой является i , а y выступает после твердых (непалатальных) согласных в качестве ее варианта. Доказательством того, что i — основная форма, служит тот факт, что в начале слова (то есть когда впереди нет ни твердой, ни мягкой согласной) может быть только i , в то время как y в этой позиции не выступает.

На первый взгляд кажется неясным, каким образом фонологическое совпадение i и y могло способствовать формальной идентификации аккузатива и номинатива мн. ч. Ведь прапольские формы *sporì* и *спору* «снопы» перешли после фонологической идентификации i и y в *спор'-i* : *спор-i* (в фонологической транскрипции), то есть представляют собой различные формы. Причина в структуре этих флективных форм (то есть аккузатива и номинатива мн. ч.). До совпадения i и y окончания были разные, после же совпадения окончания стали одинаковыми, различаются только концы основы. Иначе, структура номинатива есть основа + i (палатальность конца основы вытекает из наличия i), а структура аккузатива — (основа + i) + твердость предшествующей согласной. Следовательно, в акк. мн. ч. образуется следующая морфологическая структура: окончание $-i$ влечет за собой твердость (имплицитирует твердость) предшествующего конца основы, или твердость основы подчинена окончанию $-i$ в аккузативе. Эта импликация, характерная вначале лишь для аккузатива, переходит затем в тот момент, когда окончание ном. мн. ч. совпадает с окончанием акк. мн. ч., и на

номинатив. Поэтому и $spor'i > spor'i$ (то есть спору). Факты других языков доказывают, что при идентификации окончаний двух падежных форм (ном. и акк. мн. ч.) передаются и импликации. С точно таким же фактом идентификации ном. и акк. мн. ч. встречаемся в древнегреческом. Ср. совпадающие основы типа $\epsilon\upsilon\gamma\epsilon\nu\epsilon\iota\varsigma$ «благородные» (из ном. $\epsilon\upsilon\gamma\epsilon\nu\epsilon\varsigma$, акк. $*\epsilon\upsilon\gamma\epsilon\nu\epsilon\nu\varsigma$). В момент, когда акк. $*\epsilon\upsilon\gamma\epsilon\nu\epsilon\tau\varsigma$ перешел в $\epsilon\upsilon\gamma\epsilon\nu\epsilon\tau\varsigma$, то есть окончание аккузатива совпало с окончанием номинатива, он получил также интонацию (интонация = циркумфлексная интонация), которая имплицирована окончанием номинатива (так как чисто фонетически $-\acute{\epsilon}\nu\varsigma$ дало $-\epsilon\iota\varsigma$, ср. $*\tau\iota\theta\acute{\epsilon}\nu\varsigma > \tau\iota\theta\epsilon\iota\varsigma$ «ты ставил»).

Итак, совпадение ном. и акк. мн. ч. в севернославянском было не фонологическим, а морфологическим последствием фонологической идентификации i и y .

В свете этого объяснения становится понятным последовательность употребления формы ном.-акк. мн. ч. в русском языке. Польское же сохранение старого номинатива на $-i$ и $-owie$ требует специальной оговорки. Противопоставление личных окончаний $-i$, $-owie$ (в XVI в. окончанию имен одушевленных) неличному (в XVI в. окончанию имен неодушевленных) $-u$ восходит к тем случаям, когда одна и та же основа могла выступать в лично-мужском значении или без него, то есть, как правило, во всех прилагательных. Ведь каждое прилагательное имеет, кроме первичной семантической функции, вторичную функцию существительного. Так, например, если $\acute{s}lepy$ «слепой» не используется в качестве определения ($\acute{s}lepy\ kot$ «слепой кот») именной части сказуемого или анафорически (то есть по отношению к существительному, употребленному в контексте или вытекающему из конституации), оно может обозначать только какое-то лицо, например: $Spotka\acute{l}\ \acute{s}lepy\ kulawego$ «Встретил слепой хромого».

Эта вторичная функция прилагательных в языках, располагающих грамматическим родом, выступает следующим образом: мужской и женский род имеют вторичную функцию личного существительного, а средний — вторичную функцию абстрактных существительных (например, $dobry$ «добрый человек», $dobro$ «добро»). Переход $-i$ в $-u$ в ном. мн. ч., имевший морфологический характер, не

затрагивает таких существительных (типа *dobri* «добрые») благодаря сохранению различия *dobry* (*bonae*) : *dobri* (*boni*) в функции существительного.

Форма *dobri* послужила причиной сохранения *-i* прежде всего у лично-мужских существительных, а вследствие этого и у относящихся к ним определений. Неличные одушевленные существительные занимали промежуточное положение. По своему естественному роду они приближались к личным существительным; их форма ном. мн. ч. была поколеблена лишь тогда, когда был закончен процесс выравнивания существительных неодушевленных (в XVI в.). Следовательно, одушевленно-мужской род мн. ч. в XVI в. был представлен праславянским состоянием, а далее сократился до сферы лично-мужского рода, сформировавшегося в XVII в. Вторжение *-u* ном. мн. ч. в сферу лично-мужских существительных (XVIII в.) нашло отражение в общелитературном языке благодаря стилистическим различиям между *-i*, *-owie* и *-u*.

Влияние субстантивированных прилагательных типа *dobri* на сохранение окончания *-i* в лично-мужских или одушевленно-мужских формах должно быть очень древним, так как в историческое время краткие формы уже не являются основной формой прилагательных. Однако единственным хронологическим ограничением здесь может быть лишь исчезновение слабых редуцированных в качестве *terminus post quem*.

Появившийся таким образом в польском языке лично-мужской род уходит корнями в личный род, представленный во всех индоевропейских языках субстантивированными прилагательными (*bonus*, *-a*).

Выяснив таким образом причину совпадения форм номинатива и аккузатива мн. ч. и возвратившись к аккузативу-генитиву мн. ч., мы видим, что распространение аккузатива-генитива на множественное число стало возможным лишь тогда, когда произошло совпадение форм ном. и акк. мн. ч. у неличных существительных и переход акк.-ген. ед. ч. с личных на одушевленные. Языковая система выглядела в то время следующим образом:

ед. ч. ном.-акк., ген. неодушевленных	}	мн. ч. ном. <i>-i</i>
акк.-ген., ном. одушевленных		акк. <i>-u</i>
		ген. <i>-ów</i>

Совпадение форм ном. и акк. мн. ч. вызвало совпадение форм ед. и мн. ч. у неодушевленных существительных (ном.-акк., ген. как в ед., так и во мн. ч.). А это в свою очередь повлекло за собой соответствующую идентификацию личных существительных, а именно форм акк.-ген., ном. мн. ч. На рубеже XVI и XVII вв., когда возникает акк.-ген. мн. ч., существительные мужского рода, обозначающие животных, в ном.-акк. мн. ч. оканчиваются уже на -у, отличаясь тем самым от личных существительных, и потому не образуют форм акк.-ген. на -ów.

Так как категория личных существительных была подчинена категории одушевленных как более объемной, это совпадение могло произойти только тогда, когда в единственном числе возникла оппозиция *о д у ш е в л е н н ы е : н е о д у ш е в л е н н ы е* (до этого была *л и ч н ы е : н е л и ч н ы е*), а во множественном числе — *н е л и ч н ы е : л и ч н ы е* (до этого в XVI в. — *н е о д у ш е в л е н н ы е : о д у ш е в л е н н ы е*).

О последующем распространении форм акк.-ген. ед. ч. на другие одушевленные, то есть о дальнейшем развитии того состояния, которое было характерно для старославянского языка, мы уже говорили; также было уже сказано, что личное окончание ном. мн. ч. -i не позволило распространиться в польском языке (в противоположность русскому языку) форме акк.-ген. на множественное число.

Приведенное здесь объяснение польского различия *спору, koty : chłopi* основывается на принятии двух противоположных положений: а) уничтожении формального различия между ном. и акк. мн. ч.; б) различении личных и неличных существительных на основе субстантивированных прилагательных. Это объясняет нам хаос, царящий в старопольском языке особенно в XVI в.; такая неупорядоченность, унаследованная, несомненно, еще из долитературной эпохи, начинается в XVI в. — в век создания литературного языка — использоваться в стилистических целях. Во всяком случае, современный язык, не унаследовавший противопоставления *wilki : wilcy*, создал в XVIII в. противопоставление *chłopi : chłoru*. Может показаться, что эту неупорядоченность усугубляет соперничество окончаний -i и -owie. Первоначально окончание -owie, будучи ограничено несколькими изолированными

существительными и являясь как бы частным случаем окончания -i, никакой роли не играло. Сейчас оно распространяется в польском языке, охватывая значительную часть лично-мужских существительных (особенно собственные имена). Здесь важно разграничение в пределах лично-мужских существительных (appellativa : propria, например, malcy «малыши» : Malcowie «Мальцы» (фамилия), а в дальнейшем — в пределах самих собственных имен (Jędrzejewiczowie «Енджеевичи» (фамилия) : Jędrzejewicze «Енджеевичи» (название деревни). Однако это разграничение не имеет непосредственного отношения к рассматриваемым здесь вопросам, поскольку наши рассуждения касались преимущественно двух проблем: 1) что сделало возможным возникновение соотношения chłor : chłora = chłor i : chłorów, 2) откуда появилось окончание мужского рода -у в форме номинатива мн. ч.

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО МУЖСКОГО РОДА

ДР.-ИНД. *devāsah* — АВЕСТ. *daēvā^oh*¹

(1951)

Как известно, употребление этой формы ограничивается самыми архаичными индийскими и иранскими текстами². Чисто стилистическое использование номинатива-вокатива мн. ч. на *-āsas* даже и в этих текстах показывает, что мы имеем здесь дело с реликтами, давно уже чуждыми разговорной речи. В древнеперсидском мы находим это окончание только в сакральной формуле *apiyāha bagāha* «другие боги», что напоминает сохранение славянского вокатива в русском *Боже*.

Структуру и происхождение форм на *-āsas* стремились понять компаративисты от Боппа и Потта до Бартоломе и Мейе³. Мы берем две из них: во-первых, гипотезу Бартоломе относительно п р и ч и н инновации, состоявшей в замене *-ās* на *-āsas*, во-вторых, гипотезу Потта и Гроссмана относительно ф о р м ы окончания с его характерными двумя *s*.

С нашей точки зрения, решение проблемы должно содержать элементы обеих этих гипотез, то есть и семантический, и формальный элементы. Ни то ни другое объяснение, взятое в отдельности, не может быть удовлетворительным, но, взятые вместе, они дополняют друг друга и удовлетворяют требованиям, предъявляемым к лингвистическому объяснению.

¹ J. K u r y ł o w i c z, Le pluriel masculin ind. *devāsah* = avest. *daēvā^oh*, Comptes Rendus de la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław III (année 1948), 1951, communication n° 1 («Indoiranica»).

² Подробно см. J. W a c k e r n a g e l, A. D e b r u n n e r, Altindische Grammatik, III, стр. 100—101.

³ Резюме различных гипотез см. J. W a c k e r n a g e l, A. D e b r u n n e r, Altindische Grammatik, III, стр. 101—102.

Бартоломе¹ считал, что причиной замены -ās на -āsas является совпадение в индоиранском индоевропейских окончаний -ōs (ном.-вок. мн. ч. основ. м. р. на -o-) и -ās (ном.-вок. мн. ч. основ. ж. р. на -ā-). В какой мере это совпадение могло оказаться неудобным для языка? Если бы Бартоломе прямо поставил этот вопрос, он мог бы прийти к формальному решению проблемы. Однако он его не поставил и даже не попытался объяснить структуру рассматриваемого окончания.

Ответ на наш вопрос напрашивается сам собой: совпадение -ōs и -ās стирает семантические различия там, где они выражены при одинаковом корне только основообразующими гласными -o- : -ā-, то есть у прилагательных. Действительно, как установлено исследованиями Ломмеля об образовании женского рода в общиндоевропейском, производные женского рода от существительных на -o- образовывались с помощью суффикса -ī- (тип *vṛkīḥ*), например **u̯l̥kī́s* «волчица» от **u̯l̥kī́os* «волк».

Правда, совпадение окончаний мужского и женского рода у прилагательных (**senōs* = **senās* «старые») не может разстроить языковую систему в тех случаях, когда речь идет о нормальном употреблении прилагательного то есть об употреблении его в качестве определения. Окончания играют при этом лишь синтаксическую роль, указывая на подчинение прилагательного определяемому существительному, и не выполняют никакой семантической функции, то есть не связываются со смысловым содержанием.

Однако прилагательное может также быть употреблено в качестве самостоятельной единицы, способной получать определения, то есть быть с у б с т а н т и в и р о в а н о. В этом случае тип *boni* означает «хорошие люди (мужчины)», тип *bonae* — «хорошие женщины», а падежные окончания (*bonorum*, *bonarum*), не указывающие более на зависимость данного прилагательного от некоторого существительного, становятся по своим семантическим и синтаксическим функциям (роду, числу, падежу) равносильными окончаниям существительного.

¹ Bartholomae, в «Grundriss der iranischen Philologie», Strassburg, 1895—1901, I, стр. 130.

Множественное число субстантивированного прилагательного типа *boṇi* обозначает смешанную группу людей, состоящую из мужчин и женщин; во всех индоевропейских языках о б щ и й род представлен мужским. Таким образом, *boṇi* значит: 1) «хорошие люди», 2) «хорсшие мужчины» в противоположность *boṇae* «хорошие женщины». Именно в субстантивированных прилагательных следует искать отправной пункт индоиранской инновации. Совпадение **senōs* и **senās* может оказаться неудобным, только если речь идет о субстантивированных прилагательных (*les vieux* «старики» = *les vieux hommes* «старые мужчины», *les vieilles* «старухи» = *les vieilles femmes* «старые женщины»). В этом случае возникает необходимость восстановить различие между мужским (также общим) и женским родами.

Что касается самых древних индийских и иранских текстов, то известно¹, что в Ригведе множественное число на *-āsas* > *-āsaḥ* составляет приблизительно треть всех форм именительного-звательного падежа множественного числа основ на *-a-*. В Атхарваведе это отношение уменьшается до 1 : 25. Часто обе формы (*-āḥ* и *-āsaḥ*) выступают рядом, причем выбор определяется требованиями размера. Ср. приводимое Макдонеллом противопоставление между *bṛhād vadema vidāthe suvīraḥ* «громко повеления [Аgni] мы, мужественные, да возгласим»² и *suvīrāso vidātham ā vadema* «мы, мужественные, повеление [твое, о Индра] да возгласим»³. В этих условиях попытка определить исходное значение рассматриваемого окончания представляется на первый взгляд малообещающей. Цитируемые примеры ясно показывают, что окончанию *-āsaḥ* принадлежит чисто стилистическая и просто метрическая роль. Тем не менее примечательно, что значительную часть примеров множественного числа на *-āsaḥ* составляют субстантивированные прилагательные. Так, среди наиболее часто встречающихся форм с двояким окончанием — *-āḥ* и *-āsaḥ*, — мы находим *jānāsaḥ* (41 раз): *jānāḥ* (24)

¹ Ср. A. A. Macdonell, *Vedic Grammar*, Strassburg, 1910, стр. 260.

² РВ, II, 1, 16.

³ РВ, II, 12, 15.

«люди»; devāsaḥ (86); devāḥ и devāḥ (311) «боги»; sómāsaḥ (41): sómāḥ (42) «олицетворения сомы», но также amṛtāsaḥ (11): amṛtāḥ (22) «бессмертные (боги)»; ādityāsaḥ (24): ādityāḥ (39) «группа богов Адитья» (собственно прилагательное от Aditi- «богиня Адити»); уajñīyāsaḥ (21): уajñīyāḥ (10) «доли жертвоприношения» (собственно «жертвенные»); sutāsaḥ (29): sutāḥ (27) «сыновья (= рожденные)» (цифры по Макдонеллу).

Точно так же в Гатах Авесты, где насчитывается в общей сложности около пятнадцати примеров множественного числа на -āṅhō, половину случаев составляют субстантивированные прилагательные: эгəšvāṅhō (Ясна 29, 3) «праведные», рəгəpāṅhō (44, 13) «полные», уəzəmpāṅhō (51, 20) «почитающие», vispāṅhō (32, 3; 51, 20; 53, 8) «все», zəvištyāṅhō (28, 9) «быстреейшие», haṇaošāṅhō (51, 20) «единомышленники». Другие примеры: ahurāṅhō (30, 9; 31, 4) «божества», dūtāṅhō (32, 1) «посланцы», fraestāṅhō (48, 8) «посланцы», mašyāṅhō (30, 11) «люди (= смертные)», sənghāṅhō (48, 3) «учения», spitamāṅhō (46, 5) «потомки Спигамы»; по крайней мере для fraēšta- и mašya- древнее адъективное значение можно считать несомненным.

Итак, по-видимому, окончание -āsas, появившись первоначально при субстантивированных прилагательных в связи с необходимостью противопоставить мужской-общий род женскому, впоследствии проникло в существительные мужского рода, означающие людей, где противопоставление по роду носило лишь потенциальный характер, поскольку соответствующее слово женского рода, если оно вообще существовало, образовывалось от другой основы (на -ī-).

Подобное влияние субстантивированного прилагательного на существительное не является чем-то беспримерным. Именно таким образом объясняется личный мужской род в польском языке (ном. мн. ч. -i, -owie наряду с -у, -е неличного мужского рода). В период общей замены древнего окончания номинатива мн. ч. -i окончанием аккузатива -у субстантивированное прилагательное сохранило -i, которое было здесь противопоставлено окончанию ном. мн. ч. ж. р. -у, например dobri «boni»: dobry, «вопае». В свою очередь это способствовало сохранению -i

в ном. мн. ч. личных (в польском) или одушевленных (в чешском) имен мужского рода¹.

Так же как и в славянском, в индоиранском мы находим категорию личного мужского рода, которая характеризуется особым окончанием номинатива множественного числа, перешедшим от субстантивированного прилагательного. Разница заключается только в том, что *-i* в типе *dobri* есть результат сохранения древнего состояния, тогда как *-āsas* в **daivāsas* «боги» представляет собой инновацию. Тенденция в обоих случаях одинакова.

В ходе истории арийские языки утратили категорию личного мужского рода. Она явилась, однако, удобным средством персонификации неодушевленных предметов, и, по-видимому, именно на эту функцию в основном опирается ее использование в поэтических и сакральных текстах. Так, все примеры из Гат относятся к лицам, за единственным исключением *sənghāñhō* «учения» в Ясна, 48,3: *spəntō vidvā yaēciṭ gūzrā sənghāñhō* «святой, знающий т а й н ы е у ч е н и я» (по Бартоломе), где это слово получает благодаря *-āsas* персонифицированное значение. Еще легче понять ведийское множественное число *sómāsaḥ*, поскольку обожествление с о м ы предполагает олицетворение.

Другую параллель, хотя и менее показательную и лишь иллюстрирующую влияние субстантивированного прилагательного на флексию личного или одушевленного мужского рода, мы находим в немецком языке. Древние основы на *-n-* подверглись здесь преобразованию, состоящему в обобщении *-n-* (= включению его в корень) и присоединении окончаний сильного типа. Ср., например, др.-в.-н. формы *balcho*, *balchin*, *balchin*, *balchun* (ед. ч.), *balchun*, *balchōno*, *balchōm*, *balchun* (мн. ч.) и современные немецкие *Balken*, *Balkens* «бревно» и т. д. Этому преобразованию избежали только одушевленные имена мужского рода: *der Schütze*, *des Schützen* «стрелок», *der Löwe*, *des Löwen* «лев» и т. д. Сохранение древней флексии у одушевленных существительных мужского рода объясняется прямым влиянием субстантивированных прилага-

¹ Ср. Е. Курилович, Аккузатив-генитив и номинатив-аккузатив мужского рода в польском языке, см. настоящий сборник стр. 210.

тельных типа der Alte, des Alten «старик», der Kleine, des Kleinen «малыш» и т. д., основное значение которых есть «лицо, или одушевленное существо, имеющее данное качество». Бегахель в своей «Истории немецкого языка»¹ не нашел этого очевидного решения.

Как только становятся ясными причины образования форм на -āsas, оказывается нетрудным обнаружить формальный механизм этого процесса. Поскольку речь шла о том, чтобы разделить две функции, принадлежащие окончанию -ās, необходимо было, так сказать, раздвоить эту форму, исходя из -ās и в то же время опираясь на отношение женский род : мужской род в том виде, в каком оно выступало в других падежных формах парадигмы прилагательного. Наиболее близкой была пара ном. ед. ч. м. р. -as : ном. ед. ч. ж. р. -ā, которая дала возможность установить следующую пропорцию: -ā (ном. ед. ч. ж. р.) : -ās (ном. мн. ч. ж. р.) = as (ном. ед. ч. м. р.) : x. Окончание ном.-вок. мн. ч. ж. р. -ās позволяет выделить ā ном. ед. ч. (ā > ā̃ по правилу «гласный перед гласным сокращается») плюс окончание множественного числа -as, выступающее у всех других основ мужского и женского рода. Таким образом, окончание ном. ед. ч. ж. р. -ā содержится в окончании ном. мн. ч. -ās. Строгое выполнение пропорции дает: ном. ед. ч. м. р. -as + окончание мн. ч. -as = *-asas. Следует, однако, заметить, что присоединение окончания множественного числа -as может сопровождаться удлинением гласной ā̃ в предшествующем открытом слоге (например, pād-aḥ «ноги», dātār-aḥ «податели», tákṣaṇ-aḥ «плотники» и т. д.). Форма ном. мн. ч. ж. р. не дает возможности установить, чему равно -ās — ā̃ + as или -ā + as. Известно, однако², что сложная морфема получает преобладание над простой; исходя из этого, окончание -as, сопровождаемое удлинением, получит преобладание над окончанием -as без удлинения.

Это формальное решение проблемы известно уже давно. Оно было предложено Поттом (EF, 2, стр. 630) и Грассманом (KZ, 12, стр. 249). Младограмматикам, которые не

¹ O. Behaghel, Geschichte der deutschen Sprache, 5 изд., Berlin — Leipzig, 1928, стр. 512.

² См. J. Kuryłowicz, AL, V.

находили до сих пор различия между этимологическим и функциональным анализом или, вернее, признавали только первый, объяснение путем сложения окончаний может показаться неумелым и наивным. В действительности дело лишь в том, что оно не было подкреплено функциональными аргументами, которые выдвинул только Бартоломе.

ЗАМЕТКИ О СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ

(в германском, славянском, древнеиндийском, греческом)¹

(1954)

Проблема нулевого знака, имеющая длинную историю и обсуждаемая до сих пор², знакома каждому лингвисту. Если в системе данного языка формы f_1 и f_2 связаны между собою релевантным противопоставлением, например если f_1 — исходное слово, а f_2 — производное, отсутствие словообразовательной или словоизменительной морфемы (о б о з н а ч а ю щ е г о) в f_1 может быть истолковано как выражение значения, противоположного значению f_2 . Это видно, например, из так называемого обратного словопроизводства, при котором конечная часть первичного слова, будучи понята как словообразовательный суффикс, отделяется от этого слова, чтобы образовать производное с обратным значением. Примерами могут служить польские слова *łudka* «икра ноги», *łyżka* «ложка»; элемент -к- был понят здесь как уменьшительный суффикс и отделен для образования у в е л и ч и т е л ь н ы х слов *łyda* и *łyga*.

Обратное явление имеет место в тех случаях, когда морфемы полностью утрачивают свое содержание и превращаются в элементы, имеющие отношение только к фонетической структуре. На их прежнюю самостоятельность указывает сохраняющийся иногда между этими элементами и соседними с ними морфемами своего рода морфологический шов, который придает им характер связующих гласных или согласных. Ниже речь идет именно о таких связующих гласных, выступающих

¹ J. K u r y ł o w i c z, *Remarques sur le comparatif (germanique, slave, v. indien, grecq)*, Festschrift A. Debrunner, 1954, стр. 251—257.

² Ср. R. J a k o b s o n, *Signe zéro*, MB, 1939; C. B a z e l l, *Structural Notes*, отдельный оттиск IEFIZD, II, 1951, стр. 9—14.

в ряде индоевропейских языков перед суффиксами сравнительной (а также превосходной) степени.

Оба германских суффикса сравнительной степени *-īzan-* и *-ōzan-* явно родственны устойчивому индоевропейскому суффиксу *-(i)ios-*. Однако если *-īzan-* представляет собой нулевую ступень от *-ios-*, являющуюся результатом присоединения вторичного суффикса *-on-*¹ (со спирантом *z* по закону Вернера), то вокализм *ō* в *-ōzan-* остается неясным. Кроме того, далеко не очевидно и распределение *-īzan-* и *-ōzan-*; известно лишь, что *-ōzan-* не встречается за пределами основ на *-ǣ-*².

Следует также учитывать, что положение индоевропейского *-(i)ios-* внутри системы языка с превращением его в германское *-īzan-* изменилось. Индоевропейские суффиксы сравнительной степени *-tero-* и *-(i)ios-*, первоначально различавшиеся по значению³, но в историческую эпоху уже выполнявшие единую функцию, сохранили в то же время четкое различие с точки зрения словообразования: суффикс *-tero-* был вторичным, то есть присоединялся к основе положительной степени независимо от того, была ли она первичной или уже содержала суффикс, например др.-инд. *prīyá-* «милый, приятный»: *prīyá-tara-*; суффикс же *-(i)ios-* был первичным и присоединялся непосредственно к корню, причем всякий словоизменительный или словообразовательный суффикс отбрасывался, например др.-инд. *śukrá-* «блестящий»: *śócīyas-*, *páva-* «новый»: *páv(i)yas-*. Такое положение заставляет предполагать, что форма на *-(i)ios-* первоначально была отглагольным производным (*śócīyas-* < *śócate* «сияет») и приобрела значение сравнительной степени лишь в силу вторичного противопоставления отглагольным прилагательным с суффиксом *-ga-* (*śukrá-*) и другими суффиксами (см. ниже).

¹ Такая же редукция в суффиксе превосходной степени *-ist(h)o-*.

² W. Streitberg, *Gotisches Elementarbuch*, 5 изд., Heidelberg, 1920, стр. 130 и сл.

³ *-tero-*: «имеющий качество, которого другой предмет не имеет (сладкий : несладкий)»; *-(i)ios-*: «имеющий то же качество, что и другой предмет (столь же сладкий, как)». Ср. E. Benveniste, *Noms d'agent et noms d'action en indo-européen*, Paris, 1948, стр. 143.

В германском в качестве морфем сравнительной степени прилагательного сохранились только *-īzan-*, *-ōzan-*. Вытеснив *-tero-*, они сами стали вторичными суффиксами. Отсутствие гласного *ssnse* в гот. *alþ-īza*, *hard-īza* от *alþs* «старый», *hardus* «твердый» не должно вводить нас здесь в заблуждение: словособразовательный суффикс в сравнительной степени сохраняется, например в гот. *faurft-īza* < *faurfts* «нужный» (ст. *farf*, *faurban*).

Известно, кроме того, что даже в самом архаичном из германских языков — готском — теряется сущность индоевропейской *ssnse* (= корень + постоянный флективный элемент). Это особенно очевидно в словосложении. По-видимому, последний, следовательно продуктивный, тип сложных слов представлен здесь формами, где гласный отсутствует¹, например *gud-hus* «храм». Если понимать под «основой» стезок, общий для всех форм парадигмы, то основой *laggs* «длинный», *laggis*, *laggaþma*, *lagga*, *laggōs*, *laggai* и т. д. является *lagg-*, а отсюда не *lagga-*, основой *hardus*, *hardjaþma*, *hardja* — *hard-*, а отсюда не *hardu-* и т. д. Сохранение гласного перестроения сложного слова в *weina-basi* «виноград» или *laus-waurds* «пустосел» (наряду с продуктивным типом *wein-druckja* «пьяница», *laus-handus* «с пустыми руками») защищает устаревшую морфологическую структуру. Даже в эпоху, когда она была продуктивной, *weina-* и *laus-* не являлись, собственно говоря, *ssnse*ами, выделенными из соответствующих парадигм. Они представляли собой скорее *wein-a-* (*druckja*), *laus-a-* (*waurds*), то есть *ssnse*ы, требующие в соответствии с типом склонения того или иного «соединительного» гласного при словосложении.

Если с морфологической точки зрения *laggiza* «длиннее» (= *lagg-īza*), *managiza* «больше» (= *manag-īza*), *faurftiza* «нужнее» (= *faurft-īza*), *hardiza* «твёрже» (= *hard-īza*) состоят из *ssnse*ы + суффикс сравнительной степени *-īzan-*, то в *swinþōza* «крепче» или *frōdōza* «умнее» (от *swinþs* и *frōþs*) между двумя морфемами проявляется элемент *-ō-*: *swinþ-ō-(i)zan-*, *frōd-ō-(i)zan-*. Тяжелее *-ō(j)i-* в *-ō-* относится к общегерманской эпохе; ср. готский тип

¹ W. Streitberg, *Gotisches Elementarbuch*, стр. 162.

salbōþ «мажет» < *salbōjiþ (и.-е.-ājeti)¹; -ō- мы отождествляем с наречным суффиксом -ō, представленным во всех германских языках (гот. galeikō «похоже» < galeiks «похожий» и т. д.), на основании следующего.

Использование прилагательного среднего рода в качестве абстрактного имени представляет собой весьма частое в индоевропейских языках явление². Можно сказать, что здесь идет речь о вторичной функции прилагательного среднего или женского рода. Кроме того, окаменение падежной формы абстрактного имени часто приводит к изменению «падежное окончание > наречный суффикс». Возьмем германское прилагательное *langaz «длинный», -ō, -а; можно предположить, что langa выступало в качестве абстрактного имени, а его падежная форма langō со временем превратилась в наречие. Решающим явилось здесь исчезновение живой падежной формы на -ō (вероятно, это был древний отложительный, а может быть, согласно Кюге³, это было соответствие латинскому -am в регрессиве «ошибочно» и др.). Начиная с этого момента langō, являвшееся до сих пор словоизменительной формой абстрактного имени, соотносится непосредственно с langaz, превратившись в наречие, производное от прилагательного.

Семангическая связь между существительным и прилагательным-определением выражается благодаря наличию согласования окончаниями прилагательного. Между глаголом (или прилагательным) и определяющим его наречием имеется лишь внутренняя семангическая связь. Никакая морфема наречия на нее не указывает. В словосочетании fortiter agere «храбро действовать» морфема -ter служит для образования наречия, а не для указания на подчинение слова fortis слову agere; fortiter определяет глагол в качестве наречия как такового.

Итак, произвести наречие от склоняемого прилагательного способом, присущим индоевропейским языкам, — зна-

¹ F. Kluge, *Urgermanisch*, Strassburg, 1913, стр. 180.

² Ср., например, K. Brugmann, *Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen*, Strassburg, 1902—1904, стр. 343.

³ F. Kluge, *Urgermanisch*, Strassburg, 1913, стр. 246.

чит лишить прилагательное средств выражения согласования. Наречие, связанное с глаголом точно такой же семантической связью, какой прилагательное связано с определяемым существительным, — это прилагательное с нулевым согласованием. Потенциальная форма наречия, образуемого от соответствующего прилагательного, равна чистой основе прилагательного. Отсюда следует, что всякая морфема, служащая для образования наречий от прилагательных, является морфемой с нулевым значением. Обычно такая морфема первоначально бывает связана с падежным значением, как это было, например, с морфемой *-ō* в гот. *galeikō*.

Иначе говоря, наречная морфема *-ō* служит лишь для указания на отсутствие всякой морфемы согласования¹.

Однако, если готский тип *galeikō* является не чем иным, как реализацией потенциальной основы **galeik*, должна наблюдаться тенденция к замене этой основы в производных формах, а именно в сравнительной и превосходной степенях, более полной ее формой *galeikō* (которая содержит или подразумевает более краткую форму **galeik*). Это значит, что исчезновение падежной формы на *-ō* должно создать тенденцию к формированию сравнительных степеней на *-ō-(j)izan-* > *-ōzan-* вместо *-izan-*.

Хотя наречия на *-ō* были в большинстве случаев заменены в готском языке более поздним образованием на *-(a)ba*, на косвенную связь между *-ō* и *-ōza* указывает, по-видимому, то обстоятельство, что оба суффикса ограничены основами на *-ā*².

Каково бы ни было точное распределение *-izan-* и *-ōzan-* в готском и в других германских языках и какими бы причинами — ритмическими или иными³ — оно ни объяснялось, оно, несомненно, является результатом позднейшей реорганизации. Представляется вероятным следующее:

¹ *Mutatis mutandis* то же самое явление повторяется в романском *purus* «чистый»: *puramente* с той лишь разницей, что здесь перед нами «аналитический» тип.

² Наречия, образованные от других основ, имеют форму на *-jō* или *-wō*.

³ W. Streitberg, *Gotisches Elementarbuch*, стр. 131.

а) -ѡзап- есть относительно поздняя замена -izaп-;
 б) -ѡзап- есть более полная форма -izaп-, содержащая наречную морфему с нулевым значением -ѡ- и стремящаяся в силу этого вытеснить -izaп-;

в) -ѡзап- распространяется среди основ на -ѧ- независимо от наличия или отсутствия наречной формы на -ѡ-.

В славянском мы также обнаруживаем две морфемы сравнительной степени — одну простую и одну сложную.

1) -ii (-ijь), -ъši, -e из и.-е. -īōs, *-isī, -iod. В соприкосновении с i конечная согласная основы палатализуется, например ср.-сл. худь «плохой, худой»: хuѡde, dragъ «дорогой»: draѡe (ср. род). Относительная древность данного типа доказывается такими примерами, как sladъкъ «сладкий»: slaѡde, tьъкъ «мягкий»: tьѡe, где при образовании сравнительной степени отбрасываются распространители -ъкъ, -ькъ, -окъ.

2) -ѡi (-ѡjь), -ѡiši (-ѡjьši), -ѡje, например starъ «старый»: starѡje, novъ «новый»: novѡje. Ясно, что это тот же самый суффикс -īos с предшествующим элементом -ѡ-. В этом случае распространения на -k- сохраняются, например mьъкъ «мягкий»: mьъѡaje, что служит дополнительным аргументом в пользу позднего характера -ѡ-.

Мы склоняемся также и в этом случае к интерпретации, принятой для германского, а именно:

а) -ѡje есть относительно поздняя замена -je;

б) -ѡje есть более полная форма -je, содержащая морфему наречного происхождения с нулевым значением и стремящаяся в силу этого вытеснить -je;

в) -ѡje распространяется независимо от наличия или отсутствия в каждом отдельном случае наречной формы на -ѡ-.

Известно, что -ѡ служит в славянских языках для образования наречий от соответствующих прилагательных, употребляясь наряду с -о, например goryько и goryьсѡ «горько». Форма на -ѡ восходит к локативу единственного числа прилагательного среднего рода, выполняя функцию абстрактного имени¹ (таким образом, исходное значение goryьсѡ — «в горечи»). Для того чтобы тип goryьсѡ мог превратиться в наречие, местный падеж на -ѡ должен был

¹ Ср. существительные типа dobro.

выйти из употребления еще до начала литературной эпохи. Действительно, дело обстояло именно так. Начиная с самых древних текстов во всех типах склонения древний локатив заменяется «предложным»¹. Мы резюмируем Мейе. Локатив без предлога сохранился лишь в нескольких застывших случаях, например *vgъху* «вверх» (а не «на вершине»), *dolu* «внизу» (а не в «долине»), *gorè* «вверх» (а не «на горе»). Локативное значение может определяться местным или временным значением корня (*město*, *časъ*, *дьнь*, *utro*, *zima*; ср. отсутствие предлога во фр. *le jour de l'armistice* «в день перемирия», *le lendemain de la fête* «на следующий день после праздника»). Существуют, наконец, примеры «чистого глагольного управления» или, скорее, застывшего наречного употребления, как в случае *visèti vuji* «висеть на шее».

После того как форма на -è теряет возможность употребляться свободно и самостоятельно, в качестве морфемы локатива выступает уже не -è, а *въ*, *па*, *ргі* и т. д. плюс -è. По отношению к *горькъ*, *горька*, *горько* конечная часть *горьсè* приобретает чисто отрицательное значение: формальное согласование между *горькъ* и определяемым словом (глаголом) отсутствует. Таким образом, *горьсè* становится эквивалентом чистой основы (**горьк-*), способным заменять ее, например, в формах степеней сравнения.

Изложенная гипотеза неприемлема, однако, по той простой причине, что *è* локатива представляет собой древний дифтонг (-oi), тогда как *ë* формы сравнительной степени восходит, как это ясно видно по рефлексам заднеязычных, к *ë*, ср., например, наречия *горьсè* «горько», *dalecè* «далеко» и формы сравнительной степени *тѣкъсаје* «мягче», *тѣпожаје* «больше».

Морфема *ë* в славянской сравнительной степени, параллельная морфеме *ō* в германской сравнительной степени² сближается скорее с более древним слоем наречий на -è из застывших форм аблатива (лат. *valdè(d)* «очень», *consultè(d)* «обдуманно», *certè(d)* «конечно», др.-инд. *paścāt* «после»), хотя, впрочем, теоретически не исключена воз-

¹ Ср. A. Meillet, *Le slave commun* (Seconde édition revue et augmentée avec le concours de A. Vaillant), Paris, 1934, стр. 467—468.

можность ее связи с древним творительным на -ē (др.-инд. *paśā* «после», *issa* «вверх», гр. *πί-ποκα* «как-нибудь», гот. *hē* «чем»).

Третий пример пустого распространителя, предшествующего суффиксу сравнительной степени, мы находим в древнеиндийском -ī-yas-: РВ *tāv-īyas-* и *tāv-yas-* «сильнее», *pāv-īyas-* и *pāv-yas-* «новее», *rāp-īyas-* и *rāp-yas-* «чудеснее», *sāh-īyas-* и *sāh-yas-* «мощнее», *bhāv-īyas-* (также *bhūv-īyas-*) и *bhū-yas-* «более»; в большинстве случаев, однако, обобщен о д и н из двух вариантов, как правило, вариант с долгим гласным.

ī перед -yas- может представлять как древний долгий, так и древний краткий гласный, ср. удлинение перед суффиксальным -у- в пассиве и др.¹ Ничто не мешает нам исходить из конечного -ī, если оно легче поддается морфологической интерпретации, чем ī. В действительности возможны два объяснения: одно, исходя из -ī, другое, более предпочтительное, — из -i.

а) -ī может восходить к наречному суффиксу -ī, древнему падежному окончанию, которое сравнивают (правильно или неправильно) с кельто-италийским -ī в ген. ед. ч. основ на -о- (тв. п. ед. ч. основ на -i-?). В классическом санскрите эти наречия выступают главным образом с глаголами, например *phalī karoti* «очищает (зерно)», *phalīkṛta-* «очищенный». Имеется, однако, ряд возражений против сближения этого явления в индийском с фактами германских и славянских языков: 1) формы на -ī не являются древними (в Ригведе есть лишь один сомнительный пример, в Атхарваведе — три примера); они характерны скорее для более поздних этапов развития языка²; 2) формы на -ī употребляются только при глаголах *kṛ-* «делать» и *bhū-* «быть»; 3) формы на -ī не имеют полной самостоятельности, свойственной наречию, а сближаются скорее с превербами; 4) формы на -ī образуются от имен вообще, а не специально от прилагательных.

б) Объяснение, исходя из -i, более предпочтительно. Прилагательные со сравнительной степенью на -(ī)yas- —

¹ J. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, Göttingen, I, стр. 45.

² Whitney — Zimmer, стр. 380—381.

глагольного происхождения, таким образом, они являются первичными производными от глаголов. Существуют сравнительные степени на *-īyas-* и превосходные степени на *-iṣṭha-*, соотносящиеся прямо с глагольным корнем, без посредства положительной степени, например ригведические *tváks-īyas-* «энергичнее» < *tvaks* «создавать», *rāp(i)yas-* «чудеснее» < *rāp* «восхищаться», *skābh-īyas-* «прочнее» < *skabh* «укреплять». С другой стороны, форма на *-(ī)yas-* функционирует как нормальная сравнительная степень не только от положительных степеней, образованных от глагольных корней (тип *bhūri-* «большой, многочисленный»: *bhāviyas-*, *tigmá-* «острый»: *téjīyas-*), но и от явно первичных прилагательных (тип *sāna-* «старый»: *sān(i)yas-*, *pāva-* «новый»: *pāv(i)yas-*). Именно сдвиг от *tij* (*téjate*) «быть острым» → *téjīyas-* «острее» к *tigmá-* «острый» → *téjīyas-* «острее» сделал возможным непосредственное словопроизводство *sāna-* «старый» → *sāniyas-* «старее». Этим изменением исходного слова (глагол > глагольное прилагательное) объясняется первичный характер образования на *-(i)yas-*, суффикс которого противопоставляется разнообразным «первичным суффиксам положительной степени» — *-ga-*, например *ugrá-* «могучий», *turá-* «сильный», *dūrā-* «далекий», *śrīga-* «прекрасный», сравнительная степень *ójīyas-*, *táviyas-*, *dāviyas-*, *śréyas-*; — *-ma-*, например *tigmá-* «острый», *yudhmá-* «воинственный», сравнительная степень, *téjīyas-*, *yódhīyas-*; — *-u-*, например: *ṛjū-* «прямой», *urú-* «широкий», *svādú-* «сладкий», сравнительная степень *ṛjīyas-* (ср. *rājiṣṭha-* «прямейший»), *vāṅīyas-*, *svādiyas* и т. д.

Отсюда можно сделать вывод, что сначала это были первичные суффиксы от глагольных прилагательных, отбрасывавшиеся перед морфемой сравнительной степени *-yas-*. Таким образом, перед суффиксом *-yas-* эти разные основы подвергались синкретизму. Но те же самые основы (или по крайней мере наиболее многочисленная группа основ на *-ga-*), выступая в качестве первого компонента сложного слова, также подвергались синкретизму в пользу формы корень (в нулевой степени) + *i-*. Каландом установлено, что в первой части сложного слова суффикс *-ga-* заменяется суффиксом *-i-*. К многочисленным бесспорным примерам этого чередова-

ния в индоиранском и греческом следует добавить¹: авест. *bəgəzi-* : *bəgəzant-* «высокий», *darši-* : др.-инд. *dhṛṣṇú-* «смелый», возможно, *piši-* : *pišman-* «пёстрый» и некоторые другие примеры².

С нашей точки зрения, Вакернагель был прав, когда предполагал тождество *i* в этих формах и *ī* в сравнительной степени. Каким бы ни было происхождение *i* в словосложении³, этот распространитель, функция которого состояла в указании на отсутствие специфического первичного суффикса, должен был проникнуть в сравнительную степень, образуемую именно от корня, лишённого суффиксов. Гипотеза Вакернагеля подтверждается также соображениями структурного плана.

Индоевропейская корреляция между *i* в первой части сложного слова и *ī* в *-ījos-* подтверждается сохранением в греческом одновременно типа *κῆδος-ἀνείρεα* «прославляющая мужей» и суффиксов сравнительной степени *-ῖος* и *-ῖον*- (наряду с *-ιος*- и *-ιον*-).

Со своей стороны греческий язык имеет другую особенность в образовании сравнительной степени на *-τερος* (превосходная степень на *-τατος*). Присоединение этих вторичных суффиксов к основе на *-ο-* вызывает удлинение этого гласного в том случае, если предшествующий слог является кратким. Ясно, что стремление избежать последовательности из трех кратких гласных (например, **σοφότερος* «более мудрый») не могло быть фонетической причиной этого удлинения. Язык воспользовался в ритмических целях наличием двух морфологических возможностей. Аналогичное явление представляет собой форма определения в древнеармянском языке, которая зависит от числа слогов⁴. Возражение против чисто фонетического

¹ Ср. J. Wackernagel, *Altindische Grammatik*, II, 1, стр. 59—60.

² Duchesne-Guillemin, *Les composés de l'Avesta*, 1936, стр. 20.

³ Возможно, мы здесь имеем дело с основами на *-i-*, которые, будучи заменены в простом слове другими отглагольными производными (на *-га-*, *-та-*, *-и-* и т. д.), сохранились в первом компоненте сложного слова.

⁴ A. Meillet, *Altarmenisches Elementarbuch*, Heidelberg, 1913, стр. 85.

объяснения формы σοφότερος состоит в том, что удлинение затрагивает только о, а тип βαρύτερος «более тяжелый», несмотря на наличие последовательности из трех кратких гласных, остается без изменения.

Требования ритма, определявшие выбор между -ο- и -ω-, в эпоху диалектного разделения более не действовали, что видно из аттического στενότερος «более узкий» (< στενυότερος).

Огождествить ω в σοφότερος с удлинением конечной гласной первого члена сложного слова¹ — значит обойти проблему, не коснувшись ее существа. Хирт² высказал мысль, что σοφω- восходит к той же падежной форме, что и наречие σοφῶς. Это уже начало объяснения. Затем следовало бы решить вопрос о том, восходят ли конечные элементы греческих наречий -ω и -ως к одной и той же индоевропейской падежной форме, а именно к аблативу на -ōt³, или к двум разным: к творительному на -ō и аблативу на -ōt⁴. Как бы то ни было, в общегреческом языке до известного времени существовала падежная форма на -ω, представленная в исторический период наречными формами οὔ-τω «никак», οὕ-τω «так», ὀπί-σω «назад», ἐκἀτῆρω «по обе стороны» и др. Прежде чем эта форма была распространена элементом -ς или прежде чем -ως было обобщено за счет -ω (в зависимости от того, чью точку зрения мы примем — Хирта или Бругмана), она перестала употребляться как падежная форма и превратилась в наречие. Затем имел место процесс, уже описанный нами выше для германского и славянского. В наречиях на конечный -ω, образованных от прилагательных, конечное -ω было понято как отрицательный знак (= отсутствие выражения согласования). Форма σοφω- стала конкурировать с формой σοφο- и отчасти вытеснила ее; по отношению ко второй форме первая выглядела как распространение (σοφω = σοφο + ο), то есть точно так же, как германское -ō, славянское -ě и индоиранское -i по отношению к нулю.

¹ (Ср. К. Б р у г м а н н, Griechische Grammatik, 4 изд. под ред. A. Thumb, München, 1913, стр. 228.

² Н. Н и р т, Handbuch der griechischen Laut- und Formenlehre, Heidelberg, 1912, стр. 416.

³ Там же, стр. 255—257.

⁴ К. Б р у г м а н н, Griechische Grammatik, стр. 295—296.

Строгое распределение -о- и -ω- в зависимости от ритма представляет собой вторичное явление, которое полностью заслонило первоначальные причины появления -ω-. Однако даже факты исторического периода дают основания полагать, что рассматриваемое удлинение связано с развитием флексии основ на -о-.

ЗАМЕТКИ О ЗНАЧЕНИИ СЛОВА¹

(1955)

§ 1. Предпринимавшиеся доныне попытки определения семантических систем², по крайней мере относительно некоторых семантических категорий, следует рассматривать как исходную точку для дальнейших исследований, которые решат и вопрос о правильности этих определений. Общим для всех этих попыток является, по-видимому, понятие противоположности (opposition). Вопрос состоит в том, можно ли считать противопоставляемые друг другу значения элементарными единицами, иначе говоря, вправе ли мы, и на каком основании, принимать для слова или для грамматической категории (например, множественного числа) одно общее значение, включающее несколько частных, т. е. значение, осуществляемое в нескольких употреблениях. Многие современные языковеды (главным образом представители так называемых структуралистических направлений) дают на этот вопрос положительный ответ. Если они правы, возникает проблема метода, позволяющего определить общее значение на основе непосредственных данных, т. е. памятников языка, диалектологических записей, наблюдений над фактами разговорного языка и т. д.

Р. Якобсон пользовался терминами «основное значение» (Grundbedeutung) и «частные значения» (spezifische Bedeutungen), среди которых он выделял еще «главное

¹ Е. Р. Курлович, Заметки о значении слова, ВЯ АН СССР, 3, 1955, стр. 73—81; статья публикуется без редакционных изменений. — *Прим. ред.*

² Семантически е в противоположность синтаксическим. Термин же лексический относится к изолированным фактам в отличие от фактов, подчиняющихся законам грамматических явлений языка. Ср. лексикализация и грамматикализация. Эти две противоположности скрещиваются.

значение» (Hauptbedeutung)¹. Нетрудно понять, что «основное значение» соответствует здесь термину «сбщее значение». Начиная с 1935 г. автор настоящей статьи употребляет термины «первичная» и «вторичная» (семантическая) функция². «Первичная функция» совпадает с «главным значением» у Якобсона, «вторичные функции» тождественны с прочими «частными значениями»³. Употребляемые в разговорном языке выражения «собственное (буквальное) и переносное значение» (*sens propre, sens figuré*) предполагают существование какой-то иерархии между разными употреблениями слова. Понятно, что непосредственно данными являются значения «частные», выступающие в конкретных условиях (в контексте).

§ 2. Важность контекста издавна признавалась не только лингвистами, но и авторами практических словарей. В известных словарях издательства Туссэна-Лангеншейдта применялся целый ряд условных знаков, определяющих обстановку, ситуацию, контекст, в которых данное слово встречается в специфическом употреблении. Например, изображения цветка, якоря, зубчатого колеса, скрещенных молотов, ноты и т. п. обозначали соответственно область ботаники, судоходства, техники, горного дела, музыки и т. п. (по Словарю Ушакова: бот., мор., тех., горн., муз.). Тот факт, что значение слова составлено из элементов самостоятельных плюс элементов, придаваемых ему контекстом («полем употребления»), К. Бюлер иллюстрирует («Sprachtheorie», 1934, стр. 180—181) следующей аналогией: долгота музыкального тона дана с самого начала формой ноты, но высота его обусловлена позицией ноты в отношении к окружающим нотам.

Под контекстом в широком смысле мы разумеем здесь не только словесную обстановку, но и те элементы

¹ См. R. Jakobson, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre. TCLP, 6, 1936, стр. 244, 252—253.

² См. «Études indo-européennes», I, Kraków, 1935, стр. 197; «Le problème du classement des cas», BPTJ, zesz. IX, Kraków, 1949, стр. 26, где различаются семантические и синтаксические функции, из которых только первые подвергаются здесь наблюдению; «L'accentuation des langues indo-européennes», Kraków, 1952, стр. 46—49, 499—500.

³ Общее значение (Grundbedeutung) осталось при этом в стороне.

внешней ситуации, которые определяют значение. Контекст в этом значении играет иногда решающую роль, например, при местоимениях и местоименных наречиях. Такие слова, как *я*, *ты* и т. п., получают свое полное содержание только в отношении к внешней ситуации; с другой стороны, *этот*, *тот* и подобные могут или обозначать какой-либо предмет, или относиться к слову (существительному) контекста. Те элементы ситуации или контекста, которые позволяют нам определить содержание местоимений, мы называем указательным контекстом (Zeigfeld Бюлера).

В данном случае мы имеем в виду не указательные функции местоимений, но семантические функции других частей речи, имеющих самостоятельное коммуникативное (символическое) содержание. Следует строго различать семантические и синтаксические контексты. Синтаксическое употребление слов влечет за собой рамочное изменение значения, как бы переход в другую часть речи. В предложении *Слепые увидят, глухие услышат* прилагательные употреблены самостоятельно, без поддержки определяемого или существительного, и хотя по форме остаются прилагательными, все-таки их синтаксическая самостоятельность подвергает их влиянию семантических факторов, придающих им значение, свойственное существительным (слепые, глухие люди). Существительные, употребляемые исключительно в синтаксической функции определения глагола, переходят в наречия; ср. старые формы творительного падежа *верхѡм*, *кругѡм*.

Что же касается семантического контекста, то самое главное здесь то, что некоторые — именно вторичные — употребления слова определяются посредством семантической обстановки — в противоположность первичной функции, которую нельзя определить контекстом.

В некоторых случаях определение элементов, составляющих контекст, не представляет никаких затруднений, особенно когда дело идет не об обособленных словах, а о целых грамматических категориях. Так, когда язык имеет только одну форму для перфекта, или неопределенного прошедшего (*passé indéfini*), и для аориста, или определенного прошедшего (*passé défini*), первичной является

функция неопределенного прошедшего. Определенное прошедшее обусловлено контекстом, а именно либо наречием, либо другими глагольными формами, к которым относится определенное прошедшее (главным образом в тексте рассказа). Легко устанавливаются контексты в большинстве случаев и для косвенных падежей. Употребление данного косвенного падежа обусловлено или глаголом (*поднять руку, махнуть рукой*), или семантикой глагола в тесной связи с зависимым от него существительным (например, *он ехал всю ночь*: глагол движения и существительное, означающее промежуток времени).

§ 3. Определение же семантического контекста лексических единиц — дело гораздо более сложное. Систематическое исследование этой проблемы — одна из важнейших будущих задач языковедения, особенно семантики¹. Мы здесь оставляем ее в стороне, чтобы перейти к другому вопросу: все ли называемые семантическим контекстом оттенки значения интересуют языковеда или только некоторые из них?

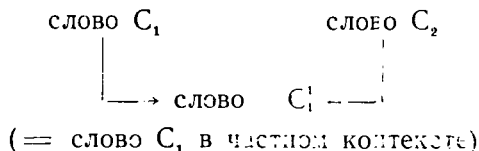
Одним из важнейших принципов языковедения является следующий: из того факта, что данное слово отражает две или несколько разных физических или психических действительностей, не всегда следует делать заключение о его многозначности (полисемии). Никто не сомневается в том, что с лингвистической точки зрения значение слова *есть* в сочетаниях *есть яичницу* и *есть яблоки* тождественно, хотя физиологическая разница между этими двумя действиями довольно значительна². Разницы между *мыть* и *стирать* не существует в немецком и английском языках, в которых соответственный термин (нем. waschen, англ.

¹ Так, например, в выражении *каменное сердце* прилагательное может быть употреблено или в собственном, или в переносном значении. В первом случае речь идет о каменном изображении сердца. Во втором случае переносное употребление прилагательного зависит от такого же употребления существительного (в значении «чувствительность, характер» и т. п.). Переносное значение слова *сердце* само обусловлено дальнейшим семантическим контекстом (в котором, например, говорится о психических чертах какого-нибудь лица).

² Ср. L. Z a w a d o w s k i, Rzeczywisty i pozorny wpływ kontekstu na znaczenie, «Sprawozdania Wrocławskiego towarzystwa naukowego», R. 4, 1949 — Dodatek 2, Wrocław, 1952.

to wash) о д н о з н а ч е н ¹. Руководствуясь контекстом, говорящий механически добавляет или отнимает от общего значения слова семантические элементы, являющиеся составной частью не данного значения, а контекста. Здесь мы имеем дело лишь с м н и м ы м влиянием контекста на значение.

В каком же случае можно говорить о д е й с т в и т е л ь н о м влиянии контекста на значение? Изменение смысла слова внутри контекста заметно тогда, когда оно совпадает со значением другого, существующего в языке слова (или оборота) или когда образуется семантическое отношение между данным словом и другим словом, повторяемое в системе данного языка. Схема этого отношения примерно такая:



Слово C'_1 — это, с одной стороны, C_1 с вторичной семантической функцией, с другой стороны, синоним слова C_2 или слово, играющее по отношению к C_2 роль производного (конечно, только по смыслу, а не по звуковой форме). Ф о р м а л ь н о C'_1 совпадает с C_1 , с е м а н т и ч е с к и же — с C_2 .

Пример: слово *морда*. В первичном значении оно употребляется по отношению к животным, во вторичном, более или менее обусловленном контекстом и внешней ситуацией, — по отношению к человеку. Это вторичное значение является стилистически сильно подчеркнутым вариантом (синонимом) слова *лицо*².

Вторичное значение слова *вошь* встречаем, например, в термине *растительная вошь*, который в свою очередь

¹ Несмотря на то, что *он моет руки* и *он стирает белье* передается одним глаголом (например, англ. *he washes his hands*, *he washes his linen*).

² Ср. определения значения слова *морда* у Ушакова: «1) Передняя часть головы животного, соответствующая лицу у человека; 2) Лицо (вульг.)... Некрасивое, безобразное лицо; человек с таким лицом (вульг. пренебр.)».

является синонимом слова *тля*. Между термином *растительная вошь* и словом *тля* существует только разница стилистического их употребления (один чаще в научной, другой — в разговорной речи), при тождественности коммуникативного (символического) содержания. Этот пример отличается от предыдущего тем, что здесь целая группа¹ (*растительная вошь*) входит в синонимическое отношение с другим словом (*тля*), но в переносном смысле употреблено только *вошь*, в то время как термин *растительная*, включенный, впрочем, с самого начала в понятие «тля», сохраняет свое значение.

Синонимы интересуют нас здесь постольку, поскольку они связаны с многозначностью (полисемией). Экспрессивные формы и стилистические варианты (оба эти рода вариантов можно бы объединить общим термином с т и л и с т и ч е с к и х в широком смысле слова) могут, конечно, являться независимыми от контекста, самостоятельными словами; ср. разницу экспрессивности между *отец* и *батюшка*, *живот* и *брюхо* и т. п.; с другой стороны, стилистическую разницу: *супруга* и *жена*, *священник* и *поп* и т. д. Во многих случаях разницы эти передаются в русском языке уменьшительным суффиксом (*водка* — *водочка*, *чаю* — *чайку бы попить* и т. п.) или противопоставлением родного и иностранного слова (*самолет* — *аэроплан*). В таких случаях экспрессивный или стилистический оттенок является первичной семантической функцией синонима.

Но большее значение для семантической теории представляют такие синонимические слова, экспрессивность или стилистическая функция которых не дана (как в случае *батюшка*) с самого начала, но объясняется их вторичной семантической функцией (как в примере *морда*).

Действительное влияние контекста на значение происходит также в тех случаях, когда языковой контекст образует с данным словом слитную семантическую единицу, значение которой не отвечает сумме их значений, как, например, *собаку съесть*, где целое выражение обусловлено семантическим контекстом («В науках, что называется, собаку съел». Салтыков-Щедрин). Существенным

¹ В значении не «синтаксическая группа», а «идиоматическое словосочетание» или «оборот».

признаком фразеологического оборота является как раз его г л о б а л ь н о е значение, не делимое на семантические элементы, отвечающие его членам.

В случае метафоры, такой, как *владыка моря* (кит), к контексту, определяющему значение слова *владыка*, относится, кроме дальнейших элементов, и *море*, употребляемое здесь в собственном значении. Но в обороте *собаку съест* ни один из двух членов не образует семантического контекста другого; контекст влияет на фразеологический оборот как на семантическую единицу.

§ 4. Все это напоминает аналогичные явления в фонетике. Один и тот же языковой звук может, с одной стороны, иметь две разные фонологические функции, с другой же — представлять собой комбинаторный вариант другого звука. В определенном положении (в конце слова) русские звонкие *б, д, г* совпадают с *п, т, к*, которые, таким образом, приобретают две функции: первичную функцию *п, т, к* и вторичную *б, д, г* (например, в *боб, год, враг*). С другой стороны, *п, т, к* являются комбинаторными вариантами звонких (в конце слова). П о н я т и е к о м б и н а т о р н ы х в а р и а н т о в совпадает здесь, с чередованием самостоятельных фонем (*б : п, д : т, г : к*). Но термин «комбинаторные варианты» употребляется и в более широком значении, например в случае разных произношений немецкого *k* в *Kind, Kahn, Kuh* или русского *а* в *брат* и *брать*. Такие варианты большей частью не сознаются говорящими. Палатальное (передненёбное) *k* в *Kind* равняется фонеме *k* плюс мягкость, которая, не встречаясь в других фонетических условиях, ощущается говорящими как относящаяся только к обстановке (т. е. к следующей гласной).

Такие варианты, не имеющие значения для фонологической системы языка (хотя и могут стать исходной точкой фонологических изменений), напоминают мнимое влияние контекста (вроде *есть яичницу : есть яблоки*), которое в определенный момент истории языка может перейти в действительное влияние контекста и повлечь за собой дифференциацию единого термина.

Для независимых от контекста экспрессивных или стилистических вариантов (вроде *батюшка*) тоже имеется

фонетическая аналогия, именно в виде так называемых факультативных вариантов. Так, например, *ч* в *конечно* и подобных словах произносят или *ч* или *ш*. В некоторых говорах вместо взрывного *г* произносят соответствующий щелевой. У многих говорящих по-русски взрывной и щелевой — факультативные варианты, зависящие от внешних условий (стиля) разговора. Аналогичные явления наблюдаются и в области аканья.

Наконец, и фразеологический оборот с его глобальным значением находит свое соответствие в фонетике. Он напоминает стягивание двух фонем в одну новую по сравнению с ее составными частями. Например, в санскрите *a + i* переходит в новую фонему *e*, занимающую определенную позицию в фонологической системе этого языка.

§ 5. Что касается мотивированных (производных) слов, то здесь вопрос вторичных семантических функций более сложен, так как, с одной стороны, семантический контекст влияет на смысл слова как целого, с другой же стороны, основа производного слова часто модифицирует значение аффикса. Основа является тогда семантическим контекстом аффикса.

Пример на первый случай: *вьюн* (< *виться*) 1) длинная, юркая рыба; 2) переносное значение, синоним к «юркий, вертлявый человек». Этот случай не отличается от вышеприведенных примеров (*морда*, *тля*).

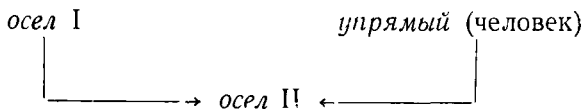
Рассматривая, с другой стороны, например, производные на *-щик* (*-чик*), мы убеждаемся, что главной (первичной) функцией этого суффикса является образование отыменных названий лиц. На каких же объективных лингвистических фактах основано это наше убеждение или языковое чутье? Закон словопроизводства допускает образование посредством суффикса *-щик* (*-чик*) названий лиц и от имен, и от глаголов: *суконщик*, *угольщик*; *покупщик*, *переписчик*. Это, конечно, влечет за собой и разницу в семантическом оттенке производного слова. В первом случае подчеркнуто отношение к обозначаемому основным словом предмету (*сукно*, *уголь*), во втором — деятельность (*покупать*, *переписать*). Возникает вопрос, важны ли эти оттенки с лингвистической точки зрения или нет. Сопоставление синонимов (*покупщик* — *покупатель*, *переписчик* — *писатель*, при-

чем *-тель* обозначает исключительно деятельность) показывает, что 1) оттенок деятельности, вызванный глагольной основой, следует считать самостоятельным, находящимся и в других суффиксах, и что, следовательно, 2) оттенок этот является в т о р и ч н о й семантической функцией суффикса *-щик*, стилистически подчеркнутого (разговорного), и сопоставления с *-тель*.

Серии производных слов, объединенных общим суффиксом (вообще аффиксом), разбиваются, таким образом, на несколько групп, причем внутри каждой из них суффикс сохраняет единство своей функции. Но между этими функциями существует иерархия, хотя в конкретных случаях ее иногда трудно определить.

§ 6. До сих пор мы пользовались терминами «первичная» и «вторичная» функция, соответствующими г л а в н о м у и (остальным) ч а с т н ы м значениям, не обращая пока внимания на о б щ е е значение в понимании Якобсона. Оно является своего рода абстракцией, с трудом поддающейся формулировке.

Например: рассматривая слово *осел* (I — животное, II — глупый или упрямый человек), мы не сомневаемся в том, что II — значение переносное и вторичное. Этимология дает нам, конечно, только хронологическую последовательность I и II, не решая проблемы синхронической иерархии. Значения I и II имеют общий семантический элемент, черту глупости или упрямства. Значение II является метафорой с аффективным оттенком, спирающейся на существование в языке термина нейтрального (с аффективной точки зрения), имеющего чисто коммуникативное содержание (т. е. только коммуникативную функцию, без аффективной примеси). Итак:



Это значит, что употребление *осел* II вторично по отношению к *осел* I, так как *осел* II является аффективной формой, замещающей термин *упрямец*. С другой стороны, *осел* I — форма, не опирающаяся на какое-либо другое название этого животного, — не имеет никакого аффектив-

ного оттенка, являясь символом с чисто коммуникативным содержанием.

В о б щ е м определении значения слова *осел* должны, таким образом, отпасть как частные понятия «животное» и «человек», вместо которых мы подставляем понятие «живое существо, глупое и упрямое». Но слово *осел* вряд ли употребляется в применении к другим животным.

Что касается суффиксов, обозначающих деятеля, снабженные ими слова часто обозначают в разных языках не только лица, но и животных и предметы (орудия). Таким образом, о б щ е е значение этих производных было бы: «тот или то, что делает что-либо».

О б щ е е значение — это абстракция, полезность и применимость которой к конкретным лингвистическим проблемам решит будущее. Наше личное возражение против введения этого понятия основано на невозможности интеграции к а ч е с т в е н н о различных элементов, а именно — коммуникативного содержания и аффективных (стилистических) оттенков. По нашему мнению, самое важное — г л а в н о е значение, то, которое не определяется контекстом, в то время как о с т а л ь н ы е (ч а с т н ы е) значения к семантическим элементам главного значения прибавляют еще и элементы контекста. Обогащая этот контекст, мы получаем дальнейшие частные оттенки частных значений и т. д. Известно, что это семантическое разветвление иногда довольно усложнено.

§ 7. В тесной связи с первичной и вторичными семантическими функциями находится и теория кальки. Объяснение к а л ь к и, как вообще объяснение любого языкового нововведения, будет удовлетворительно тогда, когда примет форму пропорции, иллюстрирующей подражание образцу. Так как кальки образуются двуязычными субъектами, термины пропорции принадлежат в этом случае двум разным языкам. Так, например, в случае французского *gratte-ciel* «небоскреб», являющегося калькой английского *sky-scraper*, действует пропорция: англ. *sky-scraper* I: англ. *sky-scraper* II = франц. *gratte-ciel* I:?

Слово *sky-scraper* имеет первичное значение деятеля (попел *agentis* с морфемой *-er*): «тот (или то), что чешет, скребет». Значение «многоэтажное здание» является вторичным (в английском слово употребляется и в смысле

«человек длинный и худощавый»). Французский язык образует сложные *nomina agentis*, прибегая к типу с глаголом в первом члене (*gratte-ciel*).

Само по себе *gratte-ciel* могло бы употребляться и в смысле «высокое дерево», «громоотвод», «самолет» и т. п. Для всех этих значений «небоскреб» был бы подходящей метафорой, но специфическое значение «многоэтажный дом» заимствовано из английского.

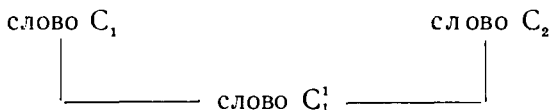
Калькируя иностранный термин, мы придаем родному слову, уже существующему или нарочно для этой цели образованному, значение которого совпадает с первичным значением иностранного, вторичное (переносное, производное) значение последнего. Именно это подразумевает под «передачей внутренней формы» иностранного слова Л. А. Булаховский («Введение в языкознание» II, 1953, стр. 125)¹.

Есть два главных источника обновления родной лексики: с одной стороны, изменение значений, т. е. употребление существующих уже слов в новом смысле, а с другой стороны, образование новых слов по законам словопроизводства. Те же две возможности существуют по отношению к кальке. Нуждаясь в родном слове, в которое можно бы вложить специфическое иностранное содержание, мы или ищем и находим подходящую форму в актуальной лексике, или ее образуем. Единственная разница между внутренней эволюцией и заимствованием значения та, что в последнем случае мы подбираем форму (старую или новую), первичное значение которой совпадает с первичным значением иностранного образца, и придаем ей вторичное значение последнего.

§ 8. Различие между первичной и вторичными семантическими функциями слова и их определение, без сомнения, важно для практической работы лексиколога. Но еще важнее внутренняя связь, существующая между многозначностью (полисемией) слова и его синонимами. Две области проблем, какими являются для лексиколога полисемия и

¹ Таким образом, «внутренняя форма» совпадает с «главным значением» или «первичной семантической функцией» слова.

синонимика, образуют одно целое. Рассматривая схему, мы замечаем, что переход от C_1 до C'_1



совершается для одного и того же слова; это переход от первичного к вторичному значению. С другой стороны, C_2 и C'_1 — две разные лексические единицы, но с общим коммуникативным содержанием и стилистическим оттенком в C'_1 . Если C'_1 представляет собой вторичную функцию C_1 , то в случае отношения $C_2 : C'_1$ можно говорить о первичной и вторичной форме (с тождественным содержанием) или о стилистическом чередовании форм.

И в грамматике наряду с первичными и вторичными функциями мы различаем первичные и вторичные формы. Значение сравнительной степени связано в английском языке или с морфемой *more* (+ положительная степень), например *more convenient* «удобнее», или с суффиксом *-er*, например *cleaver* «чище». Но эти два приема не равноправны: суффикс *-er* прибавляется только к прилагательным односложным или несущим ударение на последнем слоге. Прилагательные же с другим местом ударения, не поддающимся положительному определению¹, образуют сравнительную степень посредством прибавления *-er*. Итак, первичной формой является описательное (перифрастическое) образование компаратива².

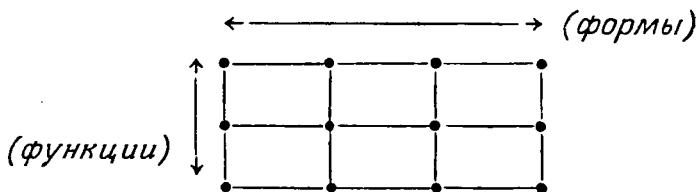
§ 9. Определение контекста иногда затруднительно, но в таких случаях имеется еще один критерий, тесно связанный с предыдущим. Это критерий максимального различия, состоящий в том, что значения

¹ Нельзя определить их иначе как термином: с неконечным ударением.

² Было бы, конечно, неправильно считать разными формами те, различие которых объясняется чисто фонологически. Морфологическая структура немецких форм множественного числа *Geister* (окончание *-er*) и *Wälder* (*-er* с так называемым *Umlaut*'ом) тождественна, так как отсутствие изменения корневой гласной в *Geister* вытекает исключительно из фонетической системы языка.

или формы имеют первичную функцию в тех условиях, в которых максимально различаются, вторичную же там, где разница между ними частично исчезает. Разница между C_1 и C_2 (например, *осел: упрямец*) касается коммуникативного содержания, но в случае C_1^1 (вместо C_2) дело уже только в экспрессивном оттенке¹. То же самое происходит и в области формы. Разница между *convenient* и *more convenient* — разница слова и группы слов, но *clear* : *clearer* является только противоположением двух простых слов. Вопрос, какое предложение — с глагольным или именным сказуемым — является первичной формой в индоевропейских (и других) языках, нетрудно решить, пользуясь критерием максимального различия. От синтаксической группы предложение с глагольным сказуемым отличается формально (морфологически) наличием личного глагола (*manus manum lavat*), но предложение с именным сказуемым (*omnia praeclara rara*) — только специфической для предложения интонацией². Таким образом, первичная и характерная форма предложения — предложение с глагольным сказуемым.

§ 10. Иногда семантическую систему языка приравнивают к сети, образующейся вследствие разложения действительности (как физической, так и психической) на элементы. Таким образом, ячеек сети различны в разных языках по форме и величине. Эта метафора допускает более целесообразную интерпретацию. Сеть состоит из нитей и узлов:



¹ Из этого следует, что, хотя теория семантического контекста сама по себе еще не разработана, с л е д с т в и я влияния контекста ясны: они лучше всего определяются термином «синкретизм» в смысле частичного совпадения или приближения значения двух слов.

² Предложение типа *тиха украинская ночь* нельзя, конечно, признать номинальным в принятом выше смысле, так как в сопос-

Узлы представляют собой пункты встречи первичных семантических функций с первичными формами. Вертикальные же нити — вторичные функции, не имеющие специальной формы (= не пересеченные горизонталями). И наоборот, отрезки горизонтальных нитей, не пересеченные вертикальными, соответствуют вторичным формам.

Понятно, что узлы образуют, так сказать, остов или скелет целой системы. Вторичные функции опираются на первичные, вторичные формы основаны на первичных. Соотношению между основным и производным словом соответствует переход от узла к узлу (изменение формы и функции).

§ 11. Поверхностному наблюдателю может показаться, что лексикологическое исследование пользуется менее точным методом, чем грамматический анализ. В действительности общая схема исследования в обоих случаях одна и та же: определение для данной формы первичной (т. е. главной) и вторичных функций, для данной же функции — первичной (главной) и вторичных форм. Полисемия и синонимика, влияние контекста на значение и чередование форм, неразрывно между собой связанные, создают единство как грамматического, так и лексического исследования, придавая и этому последнему строго научный характер.

тавлении с группой (*тихая украинская ночь*) оно характеризуется морфологически («краткой» формой прилагательного).

ПОЛОЖЕНИЕ ИМЕНИ СОБСТВЕННОГО В ЯЗЫКЕ ¹

(1956)

Исследователи всегда отмечали, что и в лексикологии, и в грамматике имена собственные играют скорее периферийную роль. В настоящей работе мы попытаемся проанализировать место имен собственных в системе языка, используя преимущественно формальные критерии. Эти критерии, наряду со специфической семантикой имен собственных, обуславливают их особое положение среди прочих именных категорий.

Всякое существительное нарицательное имеет семантическое содержание и сферу употребления, которые связаны между собой обратной зависимостью: чем богаче семантическое содержание данного слова, тем уже сфера его употребления. Так, термин *lévrier* «борзая» имеет более специальное и конкретизированное содержание, чем термин *chien* «собака», однако сфера употребления *chien* превосходит сферу употребления *lévrier*. Существенная связь между содержанием и объемом понятия интересует прежде всего логика. Но и лингвист, рассматривая семантические функции слова, прибегает, по сути дела, к тем же понятиям. В силу наличия у имени собственного семантического содержания имя собственное обладает значением; те объекты, которые оно способно обозначать, составляют сферу его употребления.

Если среди существительных конкретные имена нарицательные являются центральной семантической категорией, то это именно потому, что они обладают двумя способностями: *з н а ч и т ь* (*signifier*) и *о б о з н а ч а т ь* (*désigner*). У них есть определимое семантическое содержание, и в то же время они приложимы к реальным

¹ J. K u r y ł o w i c z, La position linguistique du nom propre, *Onomastica*, II, 1956, стр. 1—14.

объектам. Имена нарицательные имеют полную семантическую структуру.

Но в языке наряду с полными структурами существуют другие, недостаточные структуры. Так, существуют имена, лишенные либо семантического содержания, либо сферы употребления. Первые — это местоимения, например указательное местоимение фр. *celui-ci* «этот», применимое к любому объекту (единственное ограничение — обязательное соответствие в грамматическом роде). В то же время применимость имен собственных сведена к минимуму. В самом деле, такие имена собственные, как *Сервантес*, *Наполеон*, *Мон-Блан*, в противоположность таким существительным, как *волк*, *дерево* или *город*, представляют собой «классы, состоящие из одного объекта». Сопоставление местоимений и имен собственных подтверждает правило логического отношения между содержанием и сферой употребления. Семантическое содержание местоимения *celui-ci* «этот» является общим для всех существительных (мужского рода) и крайне бедно: оно не содержит указаний на какие-либо свойства, кроме одного-единственного — быть предметом. Собственное имя, например *Сервантес*, имеет крайне богатое семантическое содержание, и поэтому собственное имя, связанное с одним конкретным индивидуумом, принципиально не приложимо к другим индивидуумам. Вместо того чтобы просто обозначать, как все имена нарицательные, имя собственное называет.

Для логиков представляется заманчивым рассматривать абстрактные существительные как имена с нулевой сферой применимости. Безусловно, эти имена имеют семантическое содержание, то есть смысл. Однако их нельзя сопоставлять непосредственно с конкретными именами (нарицательными и собственными). Абстрактные существительные, точно так же как прилагательные или глаголы, не принадлежат к первичному лексическому слою. Это слова более высокого языкового порядка. Чтобы правильно оценить роль прилагательного или глагола, следует исходить из их персичной синтаксической функции, то есть из функции определения (для прилагательного) и сказуемого (для глагола). Прилагательное, например *rouge* «красный», взятое отдельно, выделено из

таких комплексов, как *rose rouge* «красная роза», *couleur rouge* «красный цвет» и т. д. Непосредственно соотносится с действительностью лишь целая группа *rose rouge*, а прилагательное *rouge* связано с действительностью лишь через синтаксический комплекс. *Mutatis mutandis* то же самое верно по отношению к личному глаголу. Что же касается абстрактных существительных, то здесь В. Порциг¹ еще в 1930 году показал, что их первичная функция состоит в том, чтобы сводить предложения к словосочетаниям, например *le roi est mort* «король умер» > *la mort du roi* «смерть короля». Сказуемое становится определяемым членом именной группы. Поскольку необходимо различать отглагольные абстрактные существительные и отыменные абстрактные существительные, мы можем уточнить положение этих обеих разновидностей в языке с помощью следующей схемы:

исходное предложение (или словосочетание)	<i>les vieilles coutumes dépérissent</i> „старые обычаи отмирают“; <i>ses cheveux blancs</i> „его седые волосы“
производное словосочетание	<i>le dépérissement des vieilles coutumes</i> „отмирание старых обычаев“; <i>la blancheur de ses cheveux</i> „седина его волос“
абстрактное существительное	(le)dépérissement ² «отмирание»; (выделенное из словосочетания) (la)blancheur «седина».

¹ W. Porzig, *Die Leistung der Abstracte in der Sprache*, BdPh, IV, 1930, стр. 66—67.

² Мы совсем не рассматриваем здесь вторичных функций абстрактных существительных. Так, вторичная функция существительного *blancheur* состоит в том, чтобы служить абстрактным именем для сочетания *être blanc* (*ses cheveux sont blancs*). И, наоборот, существительное, *dépérissement*, взятое в его вторичной функции, может соотноситься с *dépérissant* (*les coutumes dépérissantes*). Данное рассуждение вначале кажется применимым только к мотивированным абстрактным существительным, но его можно

В отличие от самостоятельных не абстрактных существительных абстрактные имена представляют собой третий этаж языковой структуры, если иметь в виду слово. Противопоставление абстрактных и конкретных имен было бы методической ошибкой, аналогичной смешению просодемы с дифференциальным признаком фонемы¹.

Итак, мы приходим к выводу, что конкретные нарицательные существительные и имена собственные составляют ядро категории существительных, в то время как абстрактные существительные первоначально относятся к синтаксическим комплексам и связаны с настоящими существительными лишь косвенно. Это утверждение верно как с синхронической, так и с диахронической точки зрения. Основной слой имен состоит из конкретных имен нарицательных и собственных², поэтому внимание лингвиста привлекает именно отношение между этими двумя группами. Существует ли здесь лингвистическая аналогия того различия, которое логики проводят между родовыми и индивидуальными именами? На этот вопрос можно будет дать положительный ответ, если нам удастся определить формальный показатель, различающий обе категории, или, точнее (поскольку речь идет не о конкретном языке, а об общих соображениях), если мы сумеем описать отношение между именами нарицательными и именами собственными таким образом, чтобы в любом языке средства их формальной дифференциации вытекали из этого описания автоматически.

Чтобы упростить изложение, мы ограничимся в дальнейшем именами собственными человеческих индивидуумов. Именно здесь наиболее ясно выступают ономастические проблемы.

распространить и на немотивированные абстрактные существительные (например, *chance* «случай, удача», *malheur* «несчастье») благодаря семантической эквивалентности обеих групп.

¹ Так, например, в греческом (ионическо-аттическом) η контрастирует с ϵ , как ϵ (открытое) с ϵ (закрытым). Однако контраст между безударным η и ударным η основан на сопоставлении по крайней мере двусложных комплексов.

² Тот факт, что местоимение воспринимается как категория, отличная от существительного, доказывает, что конституирующая семантическая функция существительного — это значение, а не способность обозначать (общая с местоимением). У имен собственных способность обозначать ограничена до предела.

Отношение между именами нарицательными и именами собственными становится интересным для лингвиста лишь с того момента, когда между обеими группами существительных возникают формальные различия — например различия в акцентуации, в употреблении артикля, в склонении и т. д. Все эти морфемы являются *активными*, когда они одни создают формальное различие между именами нарицательными и именами собственными, образованными от одной и той же основы. Например, нем. *der (ein) Wolf* «волк»: *Wolf* (имя собственное). Те же самые морфемы являются *пассивными*, так сказать, плеонастическими, когда мы имеем дело с собственными именами не мотивированными, не ясными с этимологической точки зрения, например *Schubert, Schubart, Schubardt* (без артикля) < др.-в.-нем. *scuoh-wurhto* «сапожник».

Разнообразие употребления, свойственное нарицательным существительным, способным обозначать различные объекты, у имен собственных отсутствует; имена собственные могут относиться лишь к одному определенному индивидуальному объекту. Такое различие создает между именем нарицательным и именем собственным отношение обоснования: нарицательное является исходной (обосновывающей) формой, собственное — обоснованной формой¹.

1. Когда имя нарицательное употребляется также и как имя собственное (например, прозвища), его формальное (морфологическое) развитие может привести к расхождению между новой формой, употребляющейся только в качестве имени нарицательного, и старой формой, выступающей в роли имени собственного².

2. Противопоставление *новая форма: старая форма*, выражающее семантическое различие *имя нарицательное: имя собственное*, может либо остаться непродуктивным (в этом случае можно говорить лишь о пережитках старой формы), либо стремиться к обобщению, в результате чего возникает новый способ образования собственных имен.

¹ Ср. AL, V, стр. 16—37.

² Там же, стр. 30.

3. В последнем случае все происходит так, как если бы имя нарицательное было исходным словом, а имя собственное — производным. Принцип пропорциональности ($a_1 : a'_1 = a_2 : a'_2 = a_3 : a'_3 \dots$) играет здесь столь же важную роль, что и принцип формальной поляризации, то есть выбора максимального формального различия, которое возможно в системе данного языка¹.

4. Когда морфологические особенности, характерные для имен собственных (особенно для имен лиц), окончательно сформировываются, они могут переноситься в стилистических целях (для выразительности) на имена нарицательные. Вот несколько исторических примеров, иллюстрирующих эти общие тенденции.

В древнеиндийском сложные слова типа бахуврихи несут ударение на первом компоненте. Когда сложное слово имеет значение прилагательного, часто применяется ударный суффикс *-á-* (который выражается неявно в тех случаях, когда второй компонент оканчивается на тематический гласный). Так, мы находим *vadhri-ásvá* «тот, чьи кони — мерины», *vṛṣan-ásvá* «тот, чьи кони — жеребцы» наряду с нормальными бахуврихи *hári-ásva-* «тот, чьи кони буланы» и *ású-ásva-* «тот, чьи кони быстры»². Сложное слово *śruta-sena-* «тот, чья армия знаменита» выступает в древнеиндийском с ударением на последнем слоге: *śruta-sená-*. Но древняя форма с ударением на первом компоненте сохранилась в собственном имени демона (*śrutá-sena-*). Точно так же имеем *bṛhad-rathá-* «тот, чья колесница велика» наряду с собственным именем *bṛhád-ratha-*. Морфологические изменения слов типа бахуврихи распространились не на все их употребления. Выступая в качестве собственных имен, они кое-где сохранили свою старую форму, являя здесь собой с формальной точки зрения пережитки более древнего морфологического состояния.

Подобные пережитки могут лечь в основу развития целого продуктивного ряда собственных имен, но лишь в том случае, если противопоставление новой формы (нари-

¹ См. там же, стр. 20.

² J. Kurylowicz, L'accentuation des langues indo-européennes, 1952, стр. 87.

цательного существительного) старой форме (сохранившейся в качестве пережитка в нескольких собственных именах) становится морфологическим способом образования от данного нарицательного существительного соответствующего имени собственного. В долитературном греческом языке свободное (подвижное) ударение, унаследованное от индоевропейского, было ограничено *к о н е ч н ы м к о м п л е к с о м*, состоящим из двух последних мор плюс предшествующий слог (XX_, X-). В то же время греческий язык устранил (за исключением нескольких примеров) рецессивную акцентуацию вокатива, заменив ее колонной акцентуацией, присущей всем прочим падежам парадигмы, например *ὦ ποιμήν* «пастух», βασιλεὺς «царь», ἐλπὶς «надежда», αἰδοῖ «почтенный», πειθοῖ «убеждение» в соответствии с *ποιμένος, ποιμένι, ποιμένα; βασιλέως, βασιλεῖ, βασιλῆα* и т. д. Исключение составляют главным образом названия лиц: *ὦ πάτερ* «отец», *μήτηρ* «мать», *θυγάτηρ* «дочь», *ἄνερ* «муж». Вокатив некоторых нарицательных существительных, употреблявшихся во вторичной функции в качестве имен собственных (или, скорее, прозвищ), избежал указанного изменения акцентуации, например *Ἑλλι* наряду с *ἐλπὶς*. Возникшее противопоставление распространилось затем на всю парадигму: *Ἑλλιδος: ἐλλίδος, Ἑλλίδα: ἐλλίδα*... Впоследствии в противоположность древнеиндийскому акцентуационный контраст типа *ἐλλίς: Ἑλλίς* стал продуктивным способом образования имен собственных в греческом языке. Так, например, *καρπός* «плод»: *Κάρπος* (имя собственное); *ἄστηρ* «звезда»: *Ἄστηρ*, *φροντίς* «забота»: *Φρόντις*, *Γραικός* и *Τευκρός* (этнические названия): *Γραικος*, *Τευκρος* (имена собственные). Благодаря посредничеству субстантивированных прилагательных имена собственные стали образовываться и от прилагательных, например *γλαυκός* «блестящий, голубоватый»: *Γλαυκος*, *ξανθός* «рыжий»: *Ξάνθος*, *γελῶν* «смеющийся»: *Γέλων*, *ἀργεστής* «блестящий»: *Ἀργεστής*, *ἀγακλής* «знаменитый»: *Ἀγακλής*. Рецессивное ударение греческих собственных имен косвенно продолжает рецессивное ударение индоевропейского вокатива, утраченное в греческом языке.

Возникновение и распространение определенного артикля во французском (как, впрочем, и во всех романских

языках) является в значительной степени фактом долитературным. Когда артикль стал обязательным при нарицательных существительных, возникло расхождение между первичной функцией существительного (в роли нарицательного), показателем которой является артикль, и вторичной функцией — функцией имени собственного, которая характеризуется отсутствием артикля. Благодаря этому мы можем различать два хронологически различных слоя имен собственных, происходящих от нарицательных:

1) без артикля: Barbier «цирюльник», Charpentier «плотник», Chapelain «капеллан», Meunier «мельник» и т. д.

2) с артиклем: Lefèvre «кузнец», Lemoine «монах», Lenormand «нормандец», Leverrier «стекольщик» и т. д.

Обе группы контрастируют с соответствующими нарицательными следующим образом:

Mercier	le mercier	Lemercier	(„галантерейщик“)
de Mercier	du mercier	de Lemercier	
à Mercier	au mercier	à Lemercier	

(таким образом, в случае Lemercier отсутствует стяжение $de + le > du$ и $à + le > au$)

Аналогичная эволюция произошла и в арабском. В этом языке старый определенный артикль представлен нунацией¹, а новый определенный артикль — префиксом al-. В связи с этим можно различать древний слой имен собственных, не имеющих нунации, в противоположность нарицательным существительным, которые характеризуются нунацией, например 'akrabu (имя собственное); но 'aḡrabun «скорпион»; zuḡaḡu (имя собственное), но zuḡaḡun «могущественное лицо»; zainabu (женское имя), но zainabun «вид дерева»; miṣṡu «Египет» или «Каир», но miṣṡun «страна, территория, (большой) город». С другой стороны, имеется группа имен собственных более позднего происхождения и тем не менее с нунацией, например ḡasanun «Хасан» («красивый»), sa'īdun «Саид» («счастливый»), muḡammadun «Мухаммед» («знаменитый»), murādun

¹ Нунация — это старая морфема определенности, а не неопределенности (см. «La pünation et l'article en arabe», АО, XVIII, 1—2, 1950, стр. 323—328).

«Мурад» («желанный»). Однако роль нунации в ḥasanun «красивый» и в ḥasanun «Хасан» различна; в первом она служит признаком неопределенности, во втором — сохраняется старое значение определенного артикля, присущее имени собственному¹.

Наиболее новый слой имен собственных составляют существительные или прилагательные с артиклем al-: al-ḥarīṭu «пахарь», al-ja'du «курчавый».

Арабский язык использовал также и тот факт, что старые регулярные формы множественного числа на -īpa (м. р.) и -ātun (ж. р.) были замещены с целью еще большего разграничения имен нарицательных и имен собственных формами со значением собирательности. Имена собственные сохранили «целое» (правильное) множественное число и в мужском и в женском роде²: ḥasanun «Хасан» : мн. ч. ḥasanūpa, но ḥasanun «красивый» : мн. ч. ḥisānun; faṭimatun «Фатима» : мн. ч. faṭīmātun, но faṭimatun «отнятая от груди» (о ребенке) : мн. ч. fuṭumun. В большинстве случаев старые имена собственные и омонимичные им нарицательные существительные различаются основой множественного числа.

Но это еще не все. Собственные имена без нунации (типа 'aḡrabu, см. выше) отличаются и в единственном числе от соответствующих нарицательных существительных своим двухпадежным склонением: у имен собственных совпали формы генитива и аккузатива.

al-'aḡrabu „скорпион“ (ном.) : 'aḡrabu (Акраб — собственное имя (ном.)

al-'aḡrabi „скорпиона“ (ген.) : 'aḡraba (ген. и акк.)

al-'aḡraba „скорпиона“ (акк.)

Двухпадежность имен собственных без нунации объясняется, возможно, влиянием форм «правильного» множественного числа, которое было двухпадежным по происхождению³.

¹ Для арабских грамматистов имя собственное является «определенным само по себе» (mu'arrafun binafsihi).

² О функции множественного числа у имен собственных см. ниже.

³ Le diptotisme et la construction de noms de nombre en arabe, Word, VII, 1951, стр. 222—226.

Во всех приведенных примерах морфологическое изменение нарицательного существительного приводит к формальному расхождению между нарицательным существительным как таковым и употребленным во вторичной функции. С точки зрения языкового механизма эти примеры сопоставимы с такими случаями, как замена слова *sartre* «портной» (> *Sartre*) словом *tailleur* или слова *le fèvre* «кузнец» (> *Lefèvre*) словом *le forgeron*. Однако эти случаи относятся к явлениям чисто лексического порядка, тогда как выше мы рассматривали грамматические аспекты эволюции.

Морфологической особенностью собственных имен являются способы выражения ласкательности, генетически связанные со способами выражения уменьшительности у нарицательных существительных. Один и тот же суффикс, будучи употреблен после нарицательного существительного или после имени собственного, выражает различные оттенки смысла, например *maison* «дом»: *maisonnette* «домик» и *Anne* «Анна»: *Annette* «Аннушка». Таким образом, развитие способов образования уменьшительных имен может привести к дифференциации между новым и старым уменьшительными суффиксами, так как старый суффикс начинает употребляться в значении не уменьшительного, а только ласкательного. Иначе говоря, специальные ласкательные суффиксы являются, по сути дела, вышедшими из употребления уменьшительными суффиксами.

Известно, что в основе образования ласкательных форм часто лежит не обычная, нормальная форма имени собственного, а его сокращенная или измененная форма, взятая и принятая взрослыми из языка детей. Когда эта форма начинает подчиняться строгому морфологическому правилу, она утрачивает свой произвольный характер.

В английском языке формы *Bess* (< *Elisabeth*), *Bill* (< *William*), *Dick* (< *Richard*), *Ned* или *Ted* (< *Edward*), *Nell* (< *Eleanor*) являются обычными ласкательными формами, принятыми в языке взрослых. Наряду с этим существует регулярно применяемый способ условного сокращения, состоящий в отделении начального слога имени, который образует как бы «ласкательный корень». Этот корень, снабженный суффиксом *-ie(-y)* или нулевым

суффиксом, выступает в функции ласкательной формы:

полная форма	«ласкательный корень»	употребительная ласкательная форма
Edward	Ed	Eddie
William	Will	Willie
Joseph	Joe	Joey
Louis	Lou	Louie ¹

В древневерхненемецком языке, где полные имена германского происхождения являются сложными словами, «ласкательный корень» обычно представлен первым компонентом (Werinher > Werin, Arnold > Arn) и лишь изредка — вторым. Этот «ласкательный корень» может быть расширен ласкательными суффиксами -о (который иногда вызывает удвоение конечного взрывного в корне) или -zzo:

полная форма	«ласкательный корень»	употребительная ласкательная форма
Eberhart	Eb(er)	Ebero, Eppo
Heimrîch	Heim	Heimo, Heinzo (Heinz)
Uodalrîch	Uod(al)	Uozzo

Ср. также Fritz, Kunz, Diez (< Frizzo, Kuonzo, Diezzo) и т. д. Выпадение г, которое иногда имеет место, объясняется, очевидно, особенностями языка детей: Benno < Bernhard, Geppa < Gêrbirga.

В польском языке регулярный способ образования ласкательных форм от собственных имен состоял некогда в следующем: к начальной части имени (= начальная группа согласных + следующий гласный) присоединялись элементы с ласкательным значением: -ch, -sz, -ś, которые иногда дополнялись еще другими суффиксами.

полная форма	«ласкательный корень»	употребительная ласкательная форма
Jan	Ja-	Jaś, Jasiiek
Paweł	Pa-	Paszek, Paś
Stanisław	Sta-	Stach, Staszek, Staś
Barbara	Ba-	Basia
Katarzyna	Ka-	Kasia, Kachna

¹ Ср. деление на слоги Ed-ward, Wil-liam, Jo-seph, Lou-is; впрочем, мы находим также и Davy < David (Da-vid).

В отличие от немецкого и английского в польском языке «ласкательный корень» сам по себе не употребляется.

Редукция полной формы объясняется внешними факторами (язык детей) и становится морфологическим явлением лишь при условии, если эта редукция становится нормой. Ласкательные суффиксы, прибавляемые к сокращенной форме имени (др.-в.-нем. -zzo¹, или польск. -ch), выдвигают ряд исторических проблем. В соответствии с вышесказанным их следует рассматривать как уменьшительные суффиксы, возникшие на базе употребления.

Иногда уменьшительные формы от названий лиц (как от нарицательных существительных, так и от имен собственных) не имеют ласкательного значения, а выполняют совсем другую функцию. Они служат для обозначения потомков лиц, обозначенных исходным именем.

Фамилии (польские)	Первичный смысл
Kowalczyk	„маленький кузнец“ = „сын кузнеца“ (kowal)
Ślusarczyk	„маленький слесарь“ = „сын слесаря“ (ślusarz)
Stolarczyk	„маленький столяр“ = „сын столяра“ (stolarz)
Szklarczyk	„маленький стекольщик“ = „сын стекольщика“ (szklarz) ка
Tokarczyk	„маленький токарь“ = „сын токаря“ (tokarz)
Mikołajczyk	„маленький Николай“ = „сын Николая“ (Mikołaj)
Stańczyk	„маленький Станислав“ = „сын Станислава“ (Stan)

То же верно и в отношении целого ряда уменьшительных суффиксов (-czak, -czuk, -uk, -uk, -ek и др.).

В других языках тот же самый способ может быть оформлен «аналитически»: фр. Petitjean (букв. «маленький Жан»), нем. Kleinhans (букв. «маленький Ганс») и т. д.

¹ Этот суффикс рассматривается то как продолжение германского t (= индоевропейское d), то как s, которое сочетается с конечным зубным корнем.

Присоединение ласкательных или патронимических суффиксов к именам нарицательным имело вначале экспрессивную окраску. Далее, уже из имен собственных эти суффиксы проникли в нарицательные, присоединяясь к названиям лиц, животных и к названиям неодушевленных предметов. Например, лит. *brólis* < **bróté*, польск. *brach* < *brat(r)* «брат», нем. *Spatz* < др.-в.-нем. *sparo* «воробей», *Petz (Bätz)* < *Bär* «медведь», польск. *brzuś* (< *brzuch* «живот») «животик», *pysio* «ротик» (< *pysk* «пасть»), *kuś* (< *kutas* «мужской член») и т. д.

С первого взгляда может показаться, что имена собственные и имена нарицательные настолько переплетены и испытывают такие взаимовлияния, что говорить о подчинении одних другим невозможно. Однако это впечатление обманчиво. В ходе процессов изменения и дифференциации ласкательные и патронимические образования развиваются за счет обычных уменьшительных суффиксов. Обратный процесс места не имеет. Употребление экспрессивных суффиксов вне собственных имен всегда ограничено и не ведет к появлению неэкспрессивной суффиксальной категории. Лишенные экспрессивности, эти суффиксы становятся пустыми морфемами.

Иерархия, определяющая отношения между обеими основными категориями конкретных имен, позволяет нам определить происхождение некоторых важных групп суффиксов. Источник различных ласкательных или патронимических образований следует искать среди сохранившихся в языке родственных уменьшительных образований или гипотетических (доисторических). С другой стороны, таким формам, как *soliculus* (фр. *soleil* «солнце») или *avicellus* (фр. *oiseau* «птица») можно не колеблясь приписывать происхождение от экспрессивных ласкательных образований. Конечно, здесь, как и повсюду, имеются трудные промежуточные случаи; пример такого случая мы сейчас приведем. В славянских языках с помощью суффикса *-iŭio-* (ст.-сл. *iŭŭ*, сербо-хорв. *-iŭ*, русск. *-иц*, польск. *-ic*) образуются названия молодых животных, а также патронимические имена. Например, слов. *ogŭr* «угорь»: *ogŭriŭ* «маленький угорь, молодой угорь», *gŭs* «гусь»: *gosiŭ* «гусенок»; сербо-хорв. *vŭan* «ворон»: *vŭaniŭ* «вороненок», *vŭk* «волк»: *vŭŭiŭ* «волчонок»; сербо-хорв.

kràljević = русск. *королевич* = польск. królewic «сын короля», сербо-хорв. PётrowiĆ = русск. *Петрóвич* = польск. Pётrowic «сын Петра» и т. д.

Возникает вопрос, является ли -iĭio- самостоятельным патронимическим суффиксом (происходящим от доисторического уменьшительного суффикса, преобразованного или нет, но ставшего наконец самостоятельным в историческую эпоху), употребление которого для образования названий молодых животных является вторичным и экспрессивным, или это живой уменьшительный суффикс, патронимическое значение которого является лишь семантическим вариантом, обусловленным корнем (названием лица)¹.

Аналогично ласкательным и экспрессивным суффиксам собственное имя в целом также имеет экспрессивное употребление: Lazarus > ladre «жулик, проходимец», Metze (ласкательная форма от Mechtilde) «девка».

Однако подобные случаи представляют собой явления спорадические, в то время как возможность употребления нарицательных существительных в качестве имен собственных почти не знает пределов. Эта асимметрия объясняется различием в семантическом содержании нарицательного существительного и имени собственного. Наричательное существительное, употребляемое в качестве имени собственного, сравнительно бедно содержанием — оно далеко не исчерпывает того бесконечного разнообразия, которое характеризует конкретный предмет. С другой стороны, семантическая нагрузка имени собственного превосходит семантическое содержание нарицательного существительного, заменяемого этим именем собственным; отсюда экспрессивность нарицательного употребления имен собственных.

Это семантическое отношение между обеими категориями сопровождается определенным и постоянным формальным различием. Имя собственное, обозначающее

¹ Обе эти гипотезы сталкиваются с трудностями. Поскольку названия молодых животных с суффиксом -iĭio- встречаются в литовском (ungurýtis, žasýtis, varnýtis, vilkýtis), трудно допустить экспрессивное употребление суффикса -iĭio- в славянском. С другой стороны, если исходить из чисто уменьшительного значения этого суффикса, невозможно объяснить отсутствие неодушевленных существительных на -iĭio-.

только один индивидуум, не имеет множественного числа в обычном смысле этого термина (= совокупность индивидуумов, имеющих одни и те же свойства). Когда я говорю «Все Петры празднуют сегодня день своего святого», я имею в виду совокупность лиц мужского пола, не имеющих между собой ничего общего, кроме имени. Так называемое эллиптическое множественное число, известное у имен собственных, например польск. Janowie «Ян и его жена», встречается и у нарицательных существительных (типа исп. *padres* букв. «отцы» в смысле «родители» = «отец и мать»). Но такое употребление множественного числа имен собственных является обусловленным и исключительным. Наконец, в таком примере, как «У нас не будет больше Катонов», имя собственное приближается по значению к нарицательному: «Люди, имеющие свойства Катона».

Таким образом, при образовании множественного числа от имени собственного приходится иметь дело либо с метонимическим употреблением, либо с метафорическим употреблением (основанным на характерных качествах данного индивидуума), в результате чего имя собственное теряет свой специфический характер².

¹ Мы говорим здесь только об именах индивидуумов. Названия групп (например, этнических) выступают главным образом во множественном числе.

² Несколько разумных замечаний по поводу множественного числа имен собственных высказал Э. Косериу, (*RBF*, I, 1, 1955, стр. 1—16). Согласно его мнению, следует различать:

1) слова типа *les Andes* «Анды», которые не имеют единственного числа;

2) слова типа *Mîdoi* «мидийцы», которые как этническое название не имеют единственного числа, но в форме множественного числа от *Mîdos* «мидиец» (+ *Mîdos* + *Mîdos* + ...) имеют значение множественного числа нарицательного существительного (с содержанием «имеющий этнические черты мидийца»). В первом значении допустимо также и единственное число: ит. *il Turco* «турок», польск. *hiszpan na zamku zatknał sztandary* «испанец на замке поднял знамена».

Что касается форм типа *Claudii* «Клавдии», *los Sánchez* «Санчесы» и т. д., то их автор правильно рассматривает как названия семей или родов, а не как множественное число от индивидуальных имен (*Claudius* «Клавдий», *Sánchez* «Санчес»): *los Sánchez, Claudii*, a pesar de ser plurales, no son los plurales de *Claudius* y *Sánchez*. («Хотя «Санчесы» и «Клавдии» — это формы множественного числа, они не являются формами множественного числа от «Санчес» и «Клавдий».)

Цель приведенных выше замечаний — поставить грамматическую проблему имени собственного, выделив ее среди необозримого множества точек зрения и мнений внелингвистического характера, выдвигающихся на первый план в ономастических исследованиях. Внешние (по отношению к языку) факты истории вообще и факты истории культуры в частности нередко оказываются решающими для выяснения этимологии собственных имен. Однако их специфическое значение для лингвистики заключается в тех особенностях, которыми они отличаются от других групп существительных. Остальное в значительной степени относится к смежным наукам: к этнологии, социологии, политической истории, истории культуры и т. д.

Наконец, такое множественное число, как *los Sánchez* «Санчесы», является, по сути дела, именем нарицательным, когда оно обозначает:

- 1) ряд индивидуумов, носящих фамилию Санчес;
- 2) произведения Санчеса;
- 3) людей, подобных Санчесу;
- 4) способ поведения Санчеса («Сегодняшний Санчес — это не вчерашний Санчес»).

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ СЛОГА¹

(1948)

В настоящее время проблема деления слова на слоги заняла среди всех других вопросов фонологии, касающихся слога, настолько преобладающее положение, что может быть с полным основанием, хотя и в ущерб некоторым родственным проблемам, таким, как проблема структуры слога или его свойств (количества, интонации), названа основной проблемой слога. Такая оценка оправдана и с объективной точки зрения. Выделение слога внутри слова — это в сущности предварительная и необходимая операция, предшествующая любому описанию структуры или свойств слога.

Количество слогов в слове удается определить без особого труда². Для этого достаточно сосчитать вершины слогов (центральные элементы), то есть практически — гласные, не принимая во внимание интервокальные группы согласных³. Впрочем, решающую роль в делении слова на слоги играют именно эти промежуточные группы согласных. Граница слога проходит всегда перед такой группой или внутри нее, но не после нее, то есть непосредственно перед силлабическим центром. Таким образом, выделение слогов состоит в основном в разделении групп согласных на имплозивную часть (= принадлежащую предшествующему слогу) и эксплозивную часть (= принадлежащую последующему слогу)⁴. Так, в лат. *pĭ-trĭ* «к отцу» *tr-* эксплозивное, в др.-инд. *pit-re* «к отцу» *t* импло-

¹ J. Kuryłowicz, Contribution à la théorie de la syllabe, BPTJ, t. 8, 1948, стр. 54—69.

² Ср. O. Jespersen, Lehrbuch der Phonetik, Leipzig, изд. 3, стр. 190.

³ Группу согласных мы будем называть в дальнейшем просто «группа».

⁴ Термины *эксплозивный* и *имплозивный* будут употребляться в дальнейшем лишь в данном структуральном смысле.

живное + г-эксплозивное, но никогда -tr имплозивное + гласный, принадлежащий следующему слогу.

Деление на слоги сразу же ставит перед нами вопрос, как определять имплозивную и эксплозивную части групп. При первой попытке появляется искушение применить здесь критерий начала и конца слова. Действительно, начальная группа слова, являясь одновременно началом слога, всегда эксплозивна, точно так же конечная группа, являясь концом последнего слога слова, всегда имплозивна. Таким образом, начало и конец слова могли бы дать нам надежные критерии, позволяющие разграничить внутри группы имплозивную и эксплозивную части, например др.-инд. *mantra* «гимн» = *man-tra*-, так как в языке, с одной стороны, существуют слова, оканчивающиеся на -п, например *bharan* «несущий», с другой, *tr*- возможно в начале слова (*trayaḥ* «третий»). Расчленение **ma-ntṛa* или **mant-ṛa* было бы невозможным, так как слов с начальным *ntṛ*- или с конечным *-nt* не существует. Исходя из этого, деление на слоги *man-tra* является единственно возможным решением.

Итак, деление на слоги могло бы опираться на объективные факты данной языковой системы (здесь древнеиндийской)¹.

Как следует оценивать этот метод? Эффективность его оказывается лишь частичной. Возьмем классический пример геминат, принадлежащих по определению к двум слогам и состоящих, следовательно, из имплозивного и эксплозивного согласного. В греческом языке для такого слова, как ἵπλος «лошадь», иное деление на слоги, кроме ἵπ-πος, невозможно; это следует одновременно из определения двойных согласных и из размера (метра). Однако слов с конечным -п, так же как и с другими двойными глухими согласными, и, кроме того, с μ и λ (ῥμ-μα «глаз», αλ-λος «другой, иной»), не существует. Достаточно этого

¹ На стр. 79 своей работы *Silbenbildung im Griechischen und in den andern indogermanischen Sprachen* Э. Герман признает, что предпринимаются попытки определить границы слога внутри групп из трех и четырех элементов, исходя из конечного консонантизма слова; это было сделано М. Жюре для латинского языка и Л. Вольфом — для германских языков, однако сам автор не считает этот метод правильным.

примера, чтобы убедиться в том, что конец слога может содержать элементы (или группы), недопустимые в конце слова. С другой стороны, греческий язык дает нам пример несоответствия между началом слова и слога. Группы $\sigma + \text{смычный}$, столь частые в начале слова, в интервокальной позиции, по-видимому, распадаются: слого-раздел отделяет σ от следующего смычного, например $\kappa\alpha\sigma\text{-}\tau\omega\rho$ «бобр», $\epsilon\sigma\text{-}\chi\omega\nu$ «я принес» (несмотря на $\sigma\chi\epsilon\iota\nu$ «принести») и т. д.

Существует ли связь между начальными и конечными группами согласных, с одной стороны, и группами внутри слова — с другой? Мы думаем, что на это можно ответить утвердительно. Однако речь идет не о простом взаимоотношении, описанном выше и принятом лишь как временная гипотеза. Иначе говоря, группа внутри слова не является всегда простой суммой имплозивной части, засвидетельствованной в конце слова, и эксплозивной части, встречающейся в начале слова.

Две составные части группы, имплозивная и эксплозивная, далеко не симметричны. Эксплозивная часть может существовать в изолированном состоянии, то есть без соответствующей имплозии, например в случае, когда группа сокращается до одного интервокального согласного. Действительно, интервокальный согласный принадлежит всегда последующему слогу: с фонологической точки зрения он равноценен начальному согласному, а не конечному, поэтому t в фр. *arrêter* «останавливать» относится к *-ter*, а не к *(arr)êter*. Так же и во всех других языках¹.

¹ Явное исключение составляют новогерманские языки (английский, немецкий и т. д.), где в словах типа *Matte* «горный луг, выгон», хотя и нет удвоенных согласных, слогоделение проходит между согласными. Заметим, что фонетисты обычно различают здесь «речевые слоги» (*Sprechsilben*) — *Ma-te* — и «языковые слоги» (*Sprachsilben*); эти последние отражаются в написании: *Mat-te*. Именно *Sprachsilben* имеют фонологическое значение, об этом будет сказано ниже. Вообще, следующие замечания будут относиться к таким языкам, как древнеиндийский или греческий, в которых тон не оказывал никакого влияния на структуру слога, вернее, на его вокализм. Ниже будет рассмотрен вопрос о таких языках, как английский, немецкий или французский, где различие между ударными и неударными слогами заставит нас решать вопрос о слогоделении совершенно иначе.

То обстоятельство, что интервокальная группа (имплозивная часть + эксплозивная часть) может сокращаться только до эксплозивной части, но не до имплозивной, заставляет нас предположить, что конституирующей или центральной частью группы является именно эксплозивная часть. Как в области фонологии, так и в области морфологии можно легко найти подобные случаи сокращения групп (состоящих из центрального члена плюс дополнительные члены до одного центрального члена). Так, слог состоит из центрального члена (гласного) и дополнительных членов (эксплозивного и имплозивного согласных). Сам гласный может составлять слог, согласный же — никогда. Предложение, состоящее из сказуемого плюс подлежащее, может быть сокращено до одного сказуемого (глагол в личной форме), при этом оно не перестанет быть предложением с формальной точки зрения; именно сказуемое является в нем центральным членом¹.

Известно также, что в интервокальной группе, состоящей из двух или более согласных, последний согласный всегда эксплозивный, то есть является частью следующего слога; однако это не предрешает вопроса о принадлежности других согласных к тому или иному слогу. Таким образом, эксплозивный согласный всегда присутствует в группе, чем и определяется его конституирующая роль. Иногда сочетание может равняться нулю (в случае зияния), но оно никогда не сведется к одному имплозивному. Поэтому мы выдвигаем следующий принцип:

(I) **Согласный, простой или являющийся частью группы, стоящий перед гласным, относится к последующему слогу.**

Имплозивная часть определяется в сопоставлении с эксплозивной. Разумеется, речь не идет о противопоставлении фонемных корреляций, или корневого и производного слова. Речь идет скорее о противопоставлении двух членов одной и той же структуры («Gestalt»), которое может быть сопоставлено с противопоставлением подлежащего сказуемому или согласного окружения — гласному,

¹ Е. Курилович, Основные структуры языка: словосочетание и предложение, см. настоящий сборник, стр. 48.

принадлежащему к тому же слогу. Однако между двумя типами противопоставлений имеется определенный параллелизм. Первый тип — противопоставление $A \rightarrow B$, где A играет роль негативного члена по отношению к B и, кроме того, роль нейтрального члена в тех случаях, когда противопоставление $A \rightarrow B$ перестает существовать. Второй тип — противопоставление $A \dashv B$, где A играет роль конституирующего члена в группе $A \dashv B$ и, кроме того, продолжает функционировать как самостоятельная группа, когда группа сокращается до единственного члена A . Соответствующие примеры легко найти в области словообразования или синтаксиса. Для первого типа приведем *loup* «волк» $\rightarrow$ *louve* «волчица», где слово *loup* в противоположность *louve* обозначает самца, хотя вне противопоставления нейтрально в отношении пола. Второй тип противопоставления может быть продемонстрирован на примере *Filius amat partem* «Сын любит отца», где *amat* является сказуемым предложения, но вне противопоставления, например в *amat*, несет синтаксическую нагрузку, равнозначную развернутому предложению, состоящему из подлежащего + сказуемое (см. также *pluit* «идет дождь», *pinguit* «идет снег» и т. д.).

«Синтаксические» противопоставления в широком смысле слова¹ представляют также заметный параллелизм с корреляциями, то есть с отношениями, существующими между корневым словом и производным. Этот параллелизм выступает прежде всего в асимметрии отношения между A и B . Сточки зрения иерархии B подчинено A , если речь идет о корреляции (об отношении производности) или о структуре (фонологической, морфологической, синтаксической). В первом случае A нейтрально, во втором A занимает конституирующее или центральное положение.

¹ В том значении, в каком его понимали греческие грамматисты, применяя его также к структуре слога. Феодосий говорил: καὶ σύνταξις μὲν ἐστίν, ὅταν ζητῶμεν ποῖα συλλαβῇ συντάξομεν τὰ στοιχεῖα, οἷον ἐν τῷ ἰσθενής, τὸ σ, πότερον ληκτικόν ἐστὶ τῆς πρὸς τὴν συλλαβῆς ἡ λεκτικὴ τῆς δυνάμεως «Синтаксис включает в себя рассмотрение вопроса о том, к какому слогу нужно относить буквы; например, является ли σ в слове ἰσθενής последней буквой первого слога или первой второго» (E. Herman n., *Silbenbildung im Griechischen und in der anderen indogermanischen Sprachen*, стр. 130).

Существование *B* в обоих случаях зависит от *A*, причем *A* является основой для определения *B*, но само не определяется через *B*. (Так, слово *loup* само по себе нейтрально в отношении пола и получает значение «самец волка» лишь в противопоставлении с *louve* (*un loup, pas une louve* «волк, а не волчица».) Напротив, значение слова *louve* основывается на значении слова *loup*.

Так как артикуляция группы развивается в направлении от имплозивной части к эксплозивной, ясно, что слоговоеделение, то есть переход от имплозии к эксплозии, может произойти только в момент, когда имплозия превосходит артикуляционные возможности языка, объективно установленные концом слова. В таком языке, как латинский, где группа *ps* существует в конце слова (например, *hanc* «эту»), слогоразделение слова *sanc-tus* «святой» будет следующим: *sanc-tus*.

Наоборот, эксплозивная часть начинается с консонантного элемента группы, возможной в начале слова, например *ex-emptum* «образец». Отсюда второй принцип слоговогоделения.

(II) К имплозии относится максимальная часть группы, допустимая одновременно в конце слова¹. К эксплозии относится максимальная часть группы, допустимая одновременно в начале слова.

Отсюда ясно, что консонантный элемент может принадлежать одновременно к имплозии и к эксплозии. Примером может служить *t* в лат. *antrum* «пещера»; возможность *-nt* гарантирована случаями *dant* «они дают», *flent* «они плачут», возможность *tr-* — *tres* «три, трое», *trudo* «я толкаю» и т. д. Поэтому и в *ant-trum* сочетание *t + t* не привело к *tt*: в латинском языке отсутствуют удвоенные согласные между согласными или после согласного. Так же *festus* «праздничный», *monstrum* «знамение; чудовище».

В *antrum* или *festus* граница слогов находится не между двумя фонемами, а скорее в одной фонеме.

¹ Под термином «допустимые» понимаются реальные сочетания *+* сочетания не используемые, но фонологически возможные в данном языке («пустые клетки»). Известно, что практически часто бывает трудно установить различие между тем, чего не существует, и тем, что не может существовать.

Различие между *sanct-us* и *an-trum* заключается именно в том, что в *antrum* два соседних слога имеют общий консонантный элемент *t*; поэтому они связаны теснее, чем слоги в *sanctus*. Здесь можно применить термины немецкой фонетики *fester* и *loser Anschluss*. Разница между нем. *sat-ten* «сытый» (где простой согласный принадлежит двум слогам) и *Saa-ten* «семена, посевы» кажется такой же, как между *an-trum* и *sanct-us*. Однако в немецком *sat ten t* — необходимая принадлежность обоих слогов, чего нельзя сказать об *antrum*.

Возникает одно замечание методического характера: необходимо сравнить внутреннюю имплозию с конечными группами слова в позиции перед согласными следующего слова в случаях, когда в конце слова происходят изменения при соединении с последующим словом, например персидское *bāz*, *bārī* перед начальным гласным, но *bāze*, *bārfe* перед начальным согласным следующего слова.

Принцип (I) является исключением из принципа (II): согласный перед гласным никогда не будет частью имплозии. Поэтому *mentum* «подбородок» не может быть разделено *ment-um*, несмотря на наличие конечного *-nt*.

Более сложен вопрос о слоговой принадлежности согласных, которые, хотя и не входят в имплозивную часть, не могут в то же время быть началом эксплозии, так как, если бы это было возможно, возникла бы группа, не допустимая в начале слова. Древнеиндийская форма *yunkte* «он запрягает для себя» делится на слоги *yunk-te*, хотя *p* + согласный не засвидетельствованы в конце слова. Закономерно было бы разделить ее *yun-k-te*, где *yun-* и *-te* выделены по правилам начала и конца слова (например, *bhāraṇ*), а *-k-* — «соединительный» элемент между эксплозией и имплозией. Полезно также привести в качестве морфологической параллели соединительные элементы, вставленные между корнем и суффиксом. Само собой разумеется, что функция *k* в *yun-k-te* не имеет ничего общего с его морфологической ролью; но здесь важно то, что соединительные морфологические элементы, как правило, подчинены суффиксам, то есть вспомогательным (дополнительным) членам структуры *корень + суффикс*. Так, будущее время древнеиндийского *gamiṣya* «пойдет» состоит из корня *gam* + суффикс *ṣya* +

соединительный гласный *i*, являющийся частью полной морфемы *iŕya*. Опираясь на эту параллель, мы доказываем единство имплозии и последующего «соединительного» элемента, причем имплозия является дополнительным маргинальным членом структуры и м п л о з и я + э к с п л о з и я. Таким образом, *yunkte* = *yunkte*, где *pk* (имплозия) определяется в противопоставлении с *t* (эксплозией) и само состоит из *p* (допустимого в конце слова) + *k* — соединительного элемента, подчиненного *p*. Надо было бы выделить это отношение специальной транскрипцией, например *p_k — t* в противоположность *nt-t* в *antrum* или *pc-t* в *sanctus*.

(III) Элементы внутри слова, не допустимые в начале следующего слога, принадлежат предшествующему слогу.

Принцип (III) можно наложить на принцип (II), сведя их в одну формулу: к предшествующему слогу относится все, что допустимо в конце слова, плюс то, что не допустимо в начале слова.

С другой стороны, нужно заметить, что в словах, имеющих геминаты (противопоставленные простым согласным в идентичном окружении), имплозивная часть может быть обусловлена ими. Гемината определяется слогом так же, как долгий гласный определяется исходя из понятия количества слога. Геминатой является согласный (или, если угодно, два одинаковых согласных), принадлежащий двум соседним слогам¹. С фонологической точки зрения гемината определяется противопоставлением простой согласный : г е м и н а т а, например лат. *mata* «пьяный» ж. р. : *matta* «циновка», ит. *fato* «срок» : *fatto* «факт». Речь здесь идет не о противопоставлении элементов (фонем), а о противопоставлении структур (слов). Действительно, разъединить две части геминаты (имплозивную и эксплозивную) слогоразделом (-), чтобы противопоставить их соответствующему простому согласному, невозможно. Строго говоря, противопоставлением является

¹ Там он функционирует в качестве бинарного сочетания согласных, распределенного между двумя слогами. Но в то время как бинарная группа может выступать в качестве эксплозивной (напр., группы *смычный + плавный* в латинском), гемината всегда *имплозия + эксплозия*.

t : t-t, а не t : tt. Этот факт ставит нас перед проблемой нейтрализации. Гемината не может по определению выступать ни в начале, ни в конце слова. В этих позициях она будет обязательно заменена соответствующим простым согласным. Ср., например, др.-в.-нем. *wan*, мн. ч. *winnun* претерит от *winnan* «стараться, бороться». В позиции перед согласным или после согласного геминация тоже часто исчезает. Простой согласный появляется во всех позициях, где допустима гемината, обратная же ситуация невозможна. Гемината является, таким образом, позитивным (маркированным) членом, а простой согласный — негативно-нейтральным (немаркированным) членом противопоставления. Простой согласный является нейтральным в начале и конце слова (иногда также в позиции перед или после согласного) и негативным — во всех позициях, в которых он противопоставлен соответствующей геминате.

(IV). Первый элемент двучленной группы принадлежит не только последующему, но также и предшествующему слогу, если в языке существует соответствующая гемината.

Например, гр. *ἔλ-λος*, откуда *ἔλ-λλος* «видимый», хотя *-л* в конце слова невозможно.

Попробуем проверить наши правила, применяя их к различным языкам, слоговое деление которых уже известно благодаря метрическим фактам или свидетельствам грамматистов. В результате мы сможем сформулировать некоторые специальные правила, более узкие, чем предыдущие.

Согласно Вакернагелю¹, индийские грамматисты установили следующие правила слогового деления:

а) Простой согласный относится к последующему гласному (то есть к последующему слогу) *ta-ras-* «жар. зной».

б) Последний согласный группы (*ta-r-ta-* «жгучий») также относится к последующему слогу.

в) Два последних согласных группы, состоящей по крайней мере из трех согласных, принадлежат последую-

¹ J. Wackernagel *Altindische Grammatik*, Göttingen, 1896, т. I стр. 278.

щему слогу, если последним согласным группы является свистящий или шипящий (ś, ṣ, s) либо полугласный (y, r, l, v), например *astam-psīt* «подпирать, поддерживать» (в брахм.), *ap-tya-* «последний».

г) Если группа содержит геминату, она распределяется между двумя слогами, например *ak-kṣi-* «глаза», *ag-gra-* «начало», *ark-ka-* «луч, солнце».

Легко заметить, что правила а) и б) попадают под принцип (I), а правило г) вытекает из самой природы геминат, какова бы ни была фзнетическая и фонологическая природа написаний *ak-kṣi-* и *ark-ka-*, неизвестных правильному классическому языку. Правило в) доказывает, что принцип (II) действителен и для санскрита. Но в г) согласный элемент, общий для двух соседних слогов, пишется лишь один раз, например *ak-si*, *ag-ra* (вместо *ak-kṣi*, *ag-gra-*), если только г) не представляет фонологически обязательного слогоделения (*ak-kṣī-*, *ag-gra-*). Согласно Якоби, написание геминат (*kk*, *gg* и т. д.) опережает среднеиндийскую ассимиляцию.

Известно, что в санскрите все простые согласные допустимы в конце слова (огвлекаясь при этом от комбинаторных изменений типа *t : d : dh*, *ṛ : ṛḥ* и т. д.). Напротив, конечные группы ограничены типом *г + смычный*. Трехчленная группа автоматически разлагается на простой согласный + двучленная группа. Итак, если двучленная группа возможна в начале слова, то есть если она состоит из *смычного + свистящий* (*kṣar-* «течь, струиться», *tsar-* «ползти», *psā-* «есть») или из *смычного + полугласный* (ср. *jūā* «сила», *tyāj* «покидать, оставлять», *ruā* «набухать», *myakṣ* «находиться», *vuas* «простор, широта», *jvar* «жар», *tvac* «кожа, шкура», *krī* «покупать», *jrayas-* «плоскость», *tri-* «три», *rgī* «радовать» и т. д.), то они относятся к последующему слогу, подтверждая принцип (II). Если это не так, то ее первый элемент станет промежуточным и будет относиться к предшествующему слогу: *uṇk-te* (*kt* невозможно в начале слова).

Но есть два вопроса, которые эти слишком общие правила не позволяют нам решить; один из них, более важный, касается типа *kartra-* «делающий» (*г + смычный + полугласный*). По правилу в) следовало бы делить

kar-tra-, в то время как по принципу (II) можно было бы ожидать kart-tra-, так как группа -rt возможна в конце слова. Заметим, однако, что конечные группы г + с м ы ч н ы й, появляющиеся в некоторых нетематических формах глаголов, неизвестны классическому санскриту (ведический аорист vārk «выбрать», āvart «вертеться», dart «ломать, разрушать», suhārt «брать»). С другой стороны, такая форма, как vartman «дорога, согласно в), должна сохранить слоговое деление vart-man, равнозначное фонологическому слоговое делению vart-tman (существование начальной группы tm- гарантируется словом tman- «сам»), общий элемент t должен быть отнесен только к предшествующему слогу, как в случаях ak-ṣi- или ag-ta-.

Второй вопрос касается сочетаний kṣṇ, kṣm (akṣṇaḥ «поперек», lakṣmī- «счастье»), которые должны быть по правилу в) разделены akṣ-ṇaḥ, lakṣ-mī-, а по принципу (II) aks-kṣṇaḥ lak-kṣmī-, так как группы kṣṇ-, kṣm- существуют в начале слова.

Что касается геминат, то их первая часть является импловивной по определению. Таким образом, существует vṛ-ka-: vṛk-ka «волк», ma-ta-: mat-ta-, a-na-: an-na- и т. д.

Поскольку простые согласные могут появляться на конце слова, нет ничего удивительного в том, что бинарное сочетание распределяется в древнеиндийском между двумя слогами, образуя позицию. Это доказывает ведическая и даже санскритская метрика¹. Что касается классических языков, то они обладают одной примечательной особенностью, которая выдвигает новую проблему.

Для древнегреческого стиха метрика является единственным надежным критерием слогового деления. Правила грамматистов, рассмотренные Э. Германом², основаны, по всей видимости, на смешении произношения и написания, или, что более вероятно, опираются именно на написание. О справедливости этих правил можно судить только после установления системы греческого слогового деления на фонологических основах. Свидетельство же метрики представляет собой большую ценность. Она дает непосредст-

¹ Группы с м ы ч н ы й + п л а в н ы й составляют исключение только для более поздней эпохи (J a s o b i, Das Rāmāyaṇa, 37).

² Е. Н е р м а н н, ук. соч., стр. 123—132.

венное восприятие долгих и кратких слогов и свободна от влияния графического образа.

Древнейшая греческая метрика предполагает составной характер всех бинарных сочетаний, а тем более всех более сложных ингервокальных групп. Греческий язык находится в состоянии разложения всех бинарных сочетаний на импловзивную часть + экспловзивная благодаря категории геминат, действующей в данном языке (ср. принцип IV).

Иногда первой частью геминаты являются согласные, допустимые в конце слова: ρ, ν или ζ. В других случаях принадлежность первой части к предшествующему слогу вытекает из самого характера геминаты. Имплотивная часть геминаты, принадлежащая предшествующему слогу, делает его закрытым и, следовательно, долгим. Точно так же первый согласный бинарных групп относится к предшествующему слогу независимо от того, допустим он в конце слова или нет.

Категория геминат, на которой основывается такое слоговое деление, не охватывает на первый взгляд всех согласных фонем (ρρ, λλ, μμ, νν; σσ, κκ, ττ, ππ), но нет ни малейшего сомнения, что потенциально удвоение возможно для всех смычных согласных, даже придыхательных¹. Ср. Βίηχο; «Вакх», κίτθανε «он умер», κίπ φιλάρη (Π103) «в доспехах», κίγ γένυ (Γ453) «в колено», καθδδσσι «погруженные в воду», κίββαλε «он уронил».

Так как, согласно принципу (I), последний элемент группы относится во всех случаях к последующему слогу, а, согласно принципу (II) или (IV), его первый согласный составляет часть предшествующего слога, все группы из грех и более согласных распределяются неизбежно между двумя слогами. Однако греческая метрика не дает нам указаний, где точно проходит граница слогов. Поэтому здесь нужно со всей последовательностью применить принципы (II) и (III). Метрика позволяет сделать разрез двояко: σπλίγ-χνα «внутренности» и σπλίγγ-να. Первый слогораздел правилен: χν- допустимо в начале (ср. χναίω

¹ Удвоение придыхательных реализуется в форме г л у х о й + а р д ы х а т е л ь н ы й.

«грызть, глотать», однако -γχ (-vχ) невозможно в конце слова. Точно так же ἄρ-κτος «медведь», ἔκλαγ-ξαν «постучал» и т. д.

Одновременно ὀκ-κτώ «восемь», ἐπ-πτά «семь», ἄσ-σμός «шкура, мех», ὄπ-φομαι «ты будешь видеть», ἀκ-ζιος «стоящий, достойный» и т. д., поскольку, с одной стороны, не важно, какой простой согласный может выступать в конце слога, а с другой — не важно, что внутренние группы вышеперечисленных слов допустимы в начале слова.

Известно, что на протяжении всей истории греческой метрики бинарные группы, состоящие из с м ы ч н о г о + п л а в н ы й, перестают закрывать предшествующий гласный. Примеры есть уже у Гомера¹. Э. Герман сделал совершенно справедливое, как мы считаем, заключение, что перемещение слогораздела τ- ρ > -τρ произошло в разговорном языке еще до Гомера. Но какова была причина такого перемещения?

Ответ на этот вопрос пришел в ходе исследования одного ритмического явления в Ригведе². Данное перемещение слогораздела является лишь следствием прекращения в греческом языке действия закона Зиверса.

По Зиверсу³, перед сонантами (в данном случае l, r) наблюдается чередование нулевой ступени и ступени редукции; нулевая ступень выступает, как правило, после легкого слога (= краткий гласный + простой согласный), а ступень редукции следует всегда за тяжелым слогом (= краткий гласный + группа согласных или: долгий гласный + любая группа или любой простой согласный). Таким образом, суффикс -τρων в зависимости от окружения появляется то в форме -τρων, то в форме -τ_αρων, причем слабые следы последней формы еще засвидетельствованы в метрике Ригведы.

В доисторический период и в неизвестных условиях чередование ρ : _αρ, λ : _αλ исчезло; в результате группы τρ, τλ (а параллельно и все другие группы, состоящие из смычного + плавный) стали произноситься после кратких

¹ E. Hermann, ук. соч., соч., стр. 94—96.

² Ср. Les racines seř et la loi rythmique ř/i, RO, XV.

³ H. Hirt, Indogermanische Grammatik, Heidelberg, 1921, II, стр. 197—199.

гласных + группа согласных (ср. ὄργαν «орган», πληρῆμι «наполнять» и т. д.). Так как трехчленные группы **любой согласный + смычный + плавный** и даже четырехчленные, такие, как -λκτρ- (например, θέλκτρον «облегчение, успокоение»), были разделены на: согласный или группу = **имплозии** и смычный + плавный = **эксплозии**; отсюда вытекает, что после любого согласного группа **смычный + плавный** стала относиться к последующему слогу.

Можно заметить, что смычный, выступавший в **эксплозии**, может быть заменен в позиции после согласного на **смычный + плавный**. Так, σ-τ и σ-τρ; λ-τ : λ-τρ; ν-τ : ν-τρ; κ-τ : κ-τρ; π-τ : π-τρ. Например: ἄσ-τυ «город»: ἄσ-τρον «звезда», πέλ-τη «древко»: ψάλ-τρια «музыкантша, играющая на струнном инструменте», πέν-τε «пять»: κέν-τρον «игла, острие», ἄκ-τωρ «вождь»: λέκ-τρον «постель, кровать», κίπ-τω «ударять, бить»: νίπ-τρον «чаша для омовения», ἀλ-κτῆρ «защитник»: θέλκ-τριος «волшебный».

Отсюда следующий принцип:

(V). Если конечный (а следовательно, **эксплозивный**) согласный группы всегда¹ может быть заменен **эксплозивной** (существующей в начале слова) группой $x + y$, эта группа также **эксплозивна** в интервокальном положении.

Два момента требуют объяснения: 1) различие в границах греческого языка между группами **смычный + плавный** и **плавный + носовой**; 2) различие между греческим и индийским языками в трактовке групп **смычный + плавный**.

Известно, что группы **смычный + носовой** (включая $\mu\nu$) позднее разделили судьбу групп **смычный + плавный**. Однако ниже мы увидим, что в греческой системе согласных эти группы были более редкими и образовывали значительно больше «пустых клеток», чем группы с плавными. Следовательно, нет ничего удивительного в том, что между соответствующими метри-

¹ То есть после любого согласного.

ческими свидетельствами существуют некоторые хронологические расхождения (ср. статистические данные Э. Германа¹).

Что касается индийского языка, то здесь надо принять во внимание его архаичность; кроме того, он является чисто литературным и искусственным языком.

Составной характер (и м п л о з и я + э к с п л о з и я) двучленных групп, состоящих из смычного + п л а в н ы й (г), является, несомненно, архаической чертой, восходящей к очень древней эпохе (это подтверждается гомеровской метрикой). Вследствие только что изложенных условий (падения слабых гласных между тяжелыми слогом и плавными) позднейшая эволюция греческого языка привела к перемещению границы слога (t-r > -tr); в Ригведе имеются еще ощутимые следы вышеупомянутых редуцированных гласных в менее развитом состоянии, чем у Гомера. Поэтому нет ничего удивительного в том, что группы типа с м ы ч н ы й + r еще образуют там позицию. Однако, с другой стороны, разговорный язык, который продвинулся в своем развитии дальше и мог оказывать влияние на поэтический язык (как это было и в греческом языке), был уже не ведическо-санскритского типа, а типа пракритов. Группы с м ы ч н ы й + п л а в н ы й перешли там в удвоенный с м ы ч н ы й, распадающийся по определению между двумя слогами. Если же разговорный язык и влиял на литературный, то древние особенности слогоделения сохранялись. Несколько выше было отмечено, что интервокальные группы с м ы ч н ы й + п л а в н ы й перестали образовывать позицию в древнеиндийской метрике только в поздней эпохе. Ведический язык является продолжением того состояния, когда группа tr не всегда являлась эксплозивной (ср. также hot_a -gā «жрец»), то есть не выступала в качестве эксплозивной после любой согласной или, скорее, после любого слога.

Возникает вопрос, каково же отношение принципа (V) к принципам (II) и (IV). По принципу (V) в греческом языке будет, например, μέ-τρον «мера», а по (IV) — μέ-τρον. Взаимоотношение принципа (V) с принципами

¹ Е. Н е р м а н н, ук. соч., стр. 103—110.

(II) или (IV) становится ясным, если заметить, что они устанавливают соответствия между начальными и конечными группами, а принцип (V) касается соотношений только между внутренними группами. Строение более сложных интервокальных групп служит основанием для строения бинарных групп: τρ эксплозивно в μέ-τρον, поскольку является эксплозивным в κέν-τρον и т. д. Таким образом, применяя принципы (II)—(IV), необходимо в первую очередь учитывать группы, состоящие из максимального числа членов. В свете вышеизложенного можно сформулировать исходную мысль замечаний Геродиана о греческом слогаделении¹.

Согласные, находящиеся в начале слова (= образующие начальную группу), принадлежат одному слогу, например κτῆλος «гром», κτήμα «имущество», πτῶσις «падение», σθένος «сила, мощь», θρόνος «кресло».

Группа согласных, не встречающаяся в начале, распределяется в интервокальном положении между двумя слогами, например ἄνθος «росток, цветок», ἔρ-χον «дело, труд».

Слов, начинающихся с νθ или с ργ, не существует. Группы θμ-, φν-, γδ-, χμ-, κμ-, σγ-, σδ- составляют исключение, так как они, хотя и не выступают в начале слова, в середине слова не разделяются, например ἵθμα «походка», ἰφνείος «богатый, обильный», ἑγδοος «восьмой», ἀίχιμή «копье», ἀκμή «кончик, острие», φίσσανον «меч», θεόδοτος «данный богами»; хотя в общем языке не было слов с начальным сочетанием σδ, они встречались в эолийском, например σδυός вместо συός «коромысло весов, весы».

К чему относятся эти правила Геродиана — к произношению или к написанию? Э. Герман (стр. 128), следуя за Шульце, настаивает на том, что древние грамматисты различали четко звук и букву.

Однако вышеперечисленные правила соотносились (по крайней мере опосредствованно) с фонологической системой греческого языка. На это указывает соотношение между началом слова и слога, установленное Геродианом. Но являясь в определенной степени автономной, хотя и вторичной, областью, орфографические правила способны

¹ E. Hermann, ук. соч., стр. 129.

изменить архитектонике некоторых противопоставлений и элиминировать некоторые различия, весьма существенные для фонологии.

Согласно Геродиану, слог может начинаться лишь с группы, которая существует или может существовать в начале слова. Геродиан применяет здесь как будто понятие «пустой клетки», столь популярное в наше время. Действительно, $\theta\mu$ -, $\phi\nu$ -, $\gamma\delta$ -, $\chi\mu$ -, $\kappa\mu$ -, $\sigma\gamma$ -, $\sigma\delta$ -, хотя и не встречаются, но возможны в начале слова. Ср. $\tau\mu$ -($\tau\mu\eta\sigma\varsigma$ «разрез») и $\delta\mu$ -($\delta\mu\eta\tau\acute{o}\varsigma$). Слово $\phi\nu\epsilon\acute{\iota}$ «звук-подражание хрюканью» приводится у Э. М. (796, 45) как ономагопическая форма, встречающаяся у Аристофана. Группа $\gamma\delta$ - опирается на имеющиеся $\kappa\tau$ -, $\chi\theta$ -. Группа $\chi\mu$ - становится возможной благодаря существованию $\kappa\mu$ -($\kappa\mu\acute{\epsilon}\lambda\epsilon\theta\rho\upsilon\nu$, $\kappa\mu\eta\tau\acute{o}\varsigma$), $\sigma\gamma$ - и $\sigma\delta$ - — благодаря $\sigma\beta$ -($\sigma\beta\acute{\epsilon}\nu\nu\upsilon\mu$ «тушить, гасить»), абстрагируясь от эолийской группы $\sigma\delta$ -, соотносящейся с ионийско-аттическим ζ .

Это правило лишь частично согласуется с нашим принципом (II), так как оно оставляет в стороне импловивную часть группы. Из метрики известно, что в классическом греческом языке все двучленные группы, за исключением смычный + плавный, создают позицию. Следовательно, одно из двух: либо правила Геродиана относятся к написанию и отражают принцип (II), упрощенный применительно к орфографии, поскольку написание отмечает только эксплозивную функцию общих элементов, либо же эти правила относятся не к традиционному поэтическому языку, а к разговорному языку.

Дело в том, что греческий консонантизм подвергся в койнэ изменению, которое привело к серьезным для слогораздела последствиям, а именно к упрощению удвоенных. Принцип (IV) утратил силу; все группы, допустимые в начале слова, стали эксплозивными в интервокальном положении, за исключением групп, начинающихся с ρ -, ν -, σ -, то есть с согласных, возможных в конце слова. Что касается ρ и ν , то правила Геродиана не противоречат тому, что эти согласные принадлежат всегда предшествующему слогу, так как в греческом языке нет слов с начальным ρ + согласный, ν + согласный. В то же время есть слова, начинающиеся с σ + согласный. Иначе говоря, правила Геродиана соответствовали бы тому

состоянию языка, когда он утратил геминаты. Единственное исключение составляют группы $\sigma + \text{с о г л а с н ы й}$ (на практике $\sigma + \text{с м ы ч н ы й}$ или $\sigma + \text{с м ы ч н ы й} + \text{п л а в н ы й}$). Согласно принципу (II), они распадаются на σ (допустимое в конце слова) и $\sigma + \text{с м ы ч н ы й} + \text{п л а в н ы й}$, в то время как, по Геродиану, они принадлежали бы исключительно второму слогу. Однако это затруднение частично устраняется благодаря несогласованности, которая царит в мнениях греческих грамматистов относительно этих групп, и благодаря самому Геродиану. У Феодосия (IV в. н. э.), упоминаемого Э. Германом¹, вопрос о слогоделении групп $\sigma + \text{с м ы ч н ы й}$ оставлен открытым: «Является ли σ в ἀσθενής «слабосильный» конечным предшествующего слога?» Уже у Секста Эмпирика (II в. н. э.) можно прочитать: « σ в Ἀριστίων «Аристион» можно отнести как к предшествующему слогу, так и к последующему». Согласно Зиверсу (там же, стр. 193), правилам Геродиана точно соответствовало бы слогоделение современного греческого языка (κα-στωρ, ко-σμος) «порядок, мироздание», κά-ψα «я проглочу», θά-πτω «воздавать погребальные почести» и т. д.). Однако мы не придаем слишком большого значения этим наблюдениям экспериментального порядка. В действительности σ принадлежит двум слогам (согласно принципу (II)). Формула, данная Геродианом², кажется нам точной, хотя она и относится скорее к орфографии: πᾶσα συλλαβὴ καταλήγουσα εἰς σ ἔχει καὶ τὴν ἐξῆς συλλαβὴν ἀρχομένην ὀπὸ τοῦ σ. («Каждый слог, написанный перед σ , предшествует слогу, начинающемуся с σ ».)

Фонологическое слогоделение $\delta\kappa\text{-}\kappa\tau\omega$ и т. д. не является чисто теоретическим построением. Написание геминат (нефонологических) многократно засвидетельствовано в греческих надписях. При этом такие написания появлялись исключительно в случае «fester Anschluss», то есть в случае принадлежности консонантного элемента двум соседним слогам. Действительно, количество примеров геминации смычных перед плавными является минимальным по сравнению с тем, насколько часты группы $\text{с м ы ч н ы й} +$

¹ Е. Негманн, ук. соч. стр. 110—119.

² Там же.

п л а в н ы й¹. Напротив, сочетание σσ + с м ы ч н ы й является обычным². Например: Σεβαστοῦ «священному», ἀριστον «завтрак». В то же время встречаются: группа σσ:κοσμου «мирозданию», δεσμών «связывающих», γρασμάτων, καταδουλυσμῶ, χωρισμός «отделение», Θεόκοσμος, ψήφισμα; μιν : μέδιμνον «хлебная мера», ἰαρομνύμονες, [κ]ἄμινά «он устает»; гемината с м ы ч н ы й + н о с о в о й: Λίκνως, θέθτι (ι) ον; с м ы ч н ы й + σ : Δέξτρον, Σέξτου, ἐξτώσι, ἀναγράφαι; с м ы ч н ы й + 'Εκκτωρ, 'Ακκτοῖσι, ἐκκτος, ἐκκ-ήσето, ἀρχιτέκκτονος, ὀκκτώ, τέθалπται.

Известно лишь несколько случаев геминации одного из элементов, составляющих группы п л а в н ы й или н о с о в о й + л ю б о й с о г л а с н ы й, однако, по мнению Э. Германа, мы имеем здесь дело просто с ошибками. Можно, таким образом, утверждать, что в случае «loser Anschluss» первый согласный никогда не бывает геминатой.

Идеальная орфография пользовалась бы (нефонологической) геминацией лишь для того, чтобы отметить границу слога, проходящую внутри согласного, так, σσtea «кости», но ὅσ-σtea. Естественно, что эти два орфографических варианта влияют друг на друга. В результате мы имеем не только введение геминат в слова, не разделенные на слоги (ὀκκτώ, ὅσtea), но также исчезновение в орфографии одной из двух частей нефонологической геминаты в формах, разделенных на слоги. Полным написаниям типа σ-στ, σ-σμ, μ-μν, κ-κν, π-πσ, κ-κτ соответствуют сокращенные написания либо типа -στ, -σμ, -μν, -κν, -πσ, -κτ (например, у Геродиана), либо σ-τ, σ-μ, μ-ν, κ-ν, π-σ, κ-τ, представленные в надписях наряду с предшествующим типом (ср. статистические данные, стр. 174—175).

Материалы латинского языка позволяют сделать два важных замечания. Эксплозивный характер группы с м ы ч н ы й + п л а в н ы й выступал здесь очень отчетливо, причем фонологическая основа этого явления была иная, чем в греческом языке. Латинскому были известны конечные группы -pt, -ps, -rt, что заставляет иначе подходить к сочетаниям -psr- (например capsg

¹ Е. Негманн, ук. соч., стр. 114.

² Там же, стр. 114—117.

«рака») или -ntr- (antrum) внутри слова. Нормальное слоговое деление: (ca)nc-cr(i), (a)nt-tr(i), то есть граница слога проходит через смычную. Иначе говоря, сложные группы (трех- и четырехчленные) не могут обосновать (как это было в греческом) эксплозивный характер cr, tr и т. д. Если в латинском языке cl, cr, gl, gr, tr, pl, pr, bl, fl, fr являются эксплозивными, то они противопоставляются ccl, ccr, ggl, ggr, ttr, prr, ppl, bbl, ffl, ffr (duplex «двойной»; simplex «смирненный» и т. д.).

(VI) Бинарная интервокальная группа является эксплозивной, если она способна к геминации (геминация группы эквивалентна геминации ее первого элемента).

Группа ccl, будучи импловивно-эксплозивной, имеет упрощенную форму cl, которая обязательно является эксплозивной, точно так же как интервокальное с по отношению к интервокальному cc.

Второе наблюдение касается отношения между группами и концом слова. Латинский язык не похож на индийский или греческий язык, поскольку они рассматривают безударные и ударные слоги одинаково. В латинском языке фонетическая трактовка конечного слога выявляет особенности, которые не позволяют непосредственно сравнивать его с начальным слогом. Ср., например, редукцию безударных гласных (ĕ > ĭ, ō > ŭ). Если, следовательно, сравнивать конец ударного (тонического) слога или начального слога с концом слова, нужно выбирать слова, в которых конечный слог является в то же время ударным или начальным, то есть односложные слова. Именно на материале односложных слов следует окончательно решать вопрос об импловивных группах в конце начального слога. Приметы таких слов мы только что рассмотрели (hanc, stant «они стоят», fert «он несет», est «есть» и т. д.).

Легко установить, таким образом, что латинский язык не знал односложных слов с *кратким* гласным. Не важно, имели ли односложные латинские слова исконную долгую гласную (как в tĕ «меня, мне») или продлили старую краткую гласную (pĕō «вперед, впереди, за, в защиту»)¹. В ла-

¹ Le Havet предполагает доисторическое удлинение всех односложных латинских слов с краткой гласной (Études romanes dédiées à G. Paris, 311).

тинском такие формы, как *pŕō или *dā, *stā, не встречаются (несмотря на dāre «давать», dātus «данный» и stāre «стоять», stātus «стоящий»)¹. Это положение вещей влечет за собой невозможность найти слогораздел, приемлемый для таких форм, как pāter «отец», dātus «данный», lūtum «грязь, глина» и т. д. Ударный конец слова (то есть односложного слова) типа *pā, *dā, *lū недопустим в латинском языке. С другой стороны, деление *pāt-er невозможно как по принципу (I), так и по требованиям метрики. В таком случае не остается ничего иного, как предположить, что слогораздел проходит в н у т р и согласного, что является для латинского языка характерным признаком геминации; если бы t-t и t различались, то слоговое деление *pāt-ter оказалось бы фонологической деформацией слова.

Невозможность выделить ударный слог в лат. pāter «отец», tēpidus «теплый» оставила ощутимый след в древнем латинском стихосложении. Краткий слог, несущий иктус, образует неделимое единство с последующим слогом, и это единство равняется долгому слогу. Иктус метра является здесь не чем иным, как разновидностью транспозиции² удара (тона) разговорного языка. Здесь важно подчеркнуть различие между эквивалентностью — = ∞, имеющей силу для долгих слогов, не несущих иктуса, и эквивалентностью — = ∪ x, которая, хотя и появляется также в слабых морах (— = ∪ x), приобретает благодаря иктусу особенность кратких ударных (тонических) слогов. Причина того, что она не играет никакой роли в классическом стихосложении, очень проста. Дело в том, что классическая метрика применяла лишь эквивалентность — = ∞ греческого метра и первый слог таких слов, как pāter, dātus, lūtum, составлял, следовательно, всегда слабую мору.

Эквивалентность — = ∪ x играет также решающую роль в древнегерманском стихосложении. Невозможность разделить на два слога такое слово, как wini, приводит

¹ Ср. также название букв. У Люцилия есть следующая строка в качестве клаузулы гексаметра: «nam p sequitur simul et t». Следовательно, буква называлась «pē», а не «pē».

² Подобная транспозиция не более удивительна, чем индийская эквивалентность pada («стопа») = phrase, проявляющаяся, например, в акцентуации глагола или в позиции провербов.

к тому, что древнеисландский, древнеанглийский, древнесаксонский языки удлинители все конечные ударные гласные, то есть все краткие гласные односложных слов. Например: древнеисландское *sá* (указательное местоимение) < *sǣ* (в готском). Причина неделимости *wini* и вытекающей отсюда метрической эквивалентности $\bar{\text{—}} = \acute{\text{—}}x$ точно та же, что и в латинском. Можно сказать, что слова типа *rǣter* или древнегерманские слова типа *wini* представляют собой силлабические соединения, расположенные с точки зрения структуры между односложными словами и двусложными с первым долгим слогом.

Добавим, что в древних германских языках, за исключением готского, различие между ударным и конечным слогом было еще более сильным, чем в латинском. Ясно, что модель импловивной части ударного слога объясняется аналогией с концом односложных ударных слов¹.

Параллелизм последующего развития, существующий между различными германскими языками, весьма значителен. Наиболее важная общая черта — удлинение ударных кратких гласных в открытом слоге. Необходимым последствием этого было исчезновение геминат. Действительно, фонологическое различие между *e-ne* и *ep-ne* не может удержаться после удлинения *ene* > *ēne*. Гемината в *epne* уже не противопоставляется простому согласному *p*, выступающему в том же фонологическом окружении, так как *e* в *bēpe* стало долгим. С этого момента данная гемината утрачивает сначала свою фонологическую значимость, а затем и фонетические признаки геминаты. Такая форма, как нем. *satter* «сытый», с *ǣ* (кратким) и простым *t*, разлагается на *sat-ter*, и это не только факт орфографии. Это *t* заключает в себе границу слогов, не будучи при этом *t*-геминатой. Сумма *sat+ter* не может быть не чем иным, как *sǣter*, поскольку такое противопоставление *t-t : t* неизвестно современному немецкому языку. Утрата геминаты и возможность разделения на слоги в *сех* слов, даже тех, что содержат краткий ударный слог, сделали возможным изосиллабическое

¹ Подробности, касающиеся латинского и древнегерманского языка, можно найти в статье Е. Куриловича, Принципы латинской и германской метрики, см. настоящий сборник, стр. 411.

стихосложение, неизвестное на более ранних этапах развития германских языков.

Таким образом, мы не согласны с де Гроотом, который говорит¹: «В голландском слове фонологические слоги как таковые имеют кульминационные пункты, но не имеют фиксированных границ между двумя фонемами; в латинском и в греческом языках они имеют как кульминационные пункты, так и точно обозначенные границы между двумя фонемами». Таким образом, де Гроот признает различие между языками с фонологическими слогами (неразграничиваемыми), каким является, например, голландский, и языками с силлабемами (разграничиваемыми), например греческий и латинский языки; однако мы этого различия не можем признать. Лат. *ant-trum* (см. выше) можно полностью сопоставить с нем. *sat-ter*. В обоих случаях слогораздел проходит внутри простого взрывного *t*, но этот факт отражается лишь в немецкой орфографии.

Немецкий, английский и даже французский язык отличают ударный слог от всех остальных слогов слова². Объективно это различие проявляется в вокализме, система которого является более развитой в ударном положении по сравнению с безударным. Германское слово включает в себя по крайней мере один слог, а иногда два или более слогов с полным вокализмом. В трехсложном английском слове *tomahawk* «томагавк» первый и третий слог имеют полный вокализм, свойственный ударным слогам, в то время как вокализм среднего слога является редуцированным. В системе безударных гласных английского языка различаются лишь два гласных: передний (ср. среднюю гласную в слове *enmity* «вражда») и задний (например, средняя гласная в слове *tomahawk*) гласные. Именно на основе различия между полной и сокращен-

¹ De Groot, *Voyelle, consonne et syllabe*, Extrait des Archives Néerlandaises Phonétique Expérimentale, XVII, 1941 стр. 30.

² В подчинении количества ударению заключается причина того, почему французский, английский или немецкий языки не допускают количественного стихосложения, несмотря на существование в этих языках различия между долгими и краткими гласными. О количестве можно говорить лишь по отношению к некоторым гласным, а именно по отношению к ударным гласным: иначе говоря, количество следует рассматривать через ударение.

ной системой гласных следует устанавливать различие между ударными и неударными слогами. Напротив, различия по тону имеют место лишь среди слогов с полным вокализмом (ср., греческий или древнеиндийский). Таким образом, можно сказать, что в слове *toṃahawk* ударными являются первый и третий слог, а средний слог безударен. В то же время первый слог является тоническим по отношению к третьему. Отношение *to(m)-* к *-hawk* является почти таким же, как между *λό-* и *-ρος-* в греческом.

Отсюда следует, что в языках, которые знают, кроме тона, еще и ударение, нужно сравнивать конец внутреннего ударного слога с концом слова, имеющего ударение на последнем слоге, что значит для германских — с концом односложного слова; точно так же эксплозивная часть (начало) ударного слога может сравниваться лишь с началом слова, с ударным начальным слогом.

Все перечисленные выше принципы имеют силу лишь для технических языков. В тех языках, в которых выступает ударение, нужно придерживаться следующего правила.

(VII) В языках с ударением (в том смысле, как это было определено выше), начало и конец ударного слога зависят соответственно от начальных групп в словах с ударением на первом слоге и от конечных групп в словах с ударением на последнем слоге.

Возьмем, например, французский язык. В современном французском языке есть ударение (на конечном слоге), так как количественные и даже некоторые качественные различия в вокализме (закрытый гласный : открытый гласный) теряют силу в неконечных слогах. Конец ударного слога совпадает с концом слова, поэтому никакой проблемы не возникает. Начало ударного слога определяется лишь началом односложного слова. С другой стороны, конец безударного слова не может быть определен, так как во французском языке нет слов, оканчивающихся на безударный слог. Начало безударного слога соотносится с началом многосложного слова, так как оно начинается с безударного слога. В результате французское слоговое деление состоит в подчинении последующему слогу

максимального количества согласных, возможных в начале слова.

Слогоделение в том виде, как мы его здесь изложили, не имеет ничего общего с морфологическим анализом слова. С другой стороны, слогоделение нужно отличать от понятий чисто фонетических — и артикуляционных, и акустических. С этой последней точки зрения слог можно определить как экспираторное (или баллистическое) единство или как отрезок слова, заключенный между двумя минимальными растворами (степенями звучности)¹ и т. д. Если только не придавать термину *раствор* функционального значения, чего нельзя сделать иным путем, кроме как на базе фонологического анализа, все попытки разрешить проблему слогоделения, исходя из физиологической точки зрения, заранее обречены на провал. Мы полностью присоединяемся к мнению Р. Г. Стетсона, сформулированному в его работе «*Bases of phonology*», опубликованной Оберлинским колледжем (Oberlin, Ohio, 1945), согласно которому гласный и согласные определяются слогом. С другой стороны, мы не согласны с ним в вопросе о методе. Никакой физиологический метод не позволяет нам определить фонологическую границу в нем. *Matte*, которая проходит как *Mat-te*, в то время как слогоделение, произведенное на основании физиологического наблюдения, было бы *Ma-te*. Если *n* в нем. *findet* «он находит» принадлежит к первому слогу, то это происходит не по причине физиологической реализации, которая в этом случае совпадает с фонологической схемой, а по причине особенностей, свойственных началу слова в немецком языке (в котором ни одно слово не начинается с *nd*). Старое различие между *Sprechsilbe* и *Sprachsilbe* сохраняет свое значение, и постулат, сформулированный Ельмслевым и Цвирнером для экспериментальной фонетики (или, скорее, для фонометрии), сохраняет здесь свою силу: экспериментальные исследования слога можно проводить лишь после того, как будет предварительно установлено, что такое слог. Таким образом, этот ответ предполагает функциональное исследование, которое выпадает на долю лингвиста.

¹ Breath-pulse syllable (*Drucksilbe*) и sonority syllable (*Schallsilbe*).

Более тонкой задачей является разграничение слогов и морфем. Здесь есть случаи совершенно ясные. В $\theta\acute{\epsilon}\lambda\gamma\omega$ «очаровывать, околдовывать» слогоделение $\theta\acute{\epsilon}\lambda\text{---}\gamma\omega$ существовало всегда, начиная с Гомера и кончая Геродианом. Морфологический анализ выделяет корень $\theta\acute{\epsilon}\lambda\gamma$ и окончание ω : $\theta\acute{\epsilon}\lambda\gamma\text{---}\omega$. Случай $\theta\epsilon\lambda\chi\tau\acute{\iota}\rho\iota\omicron\nu$ является уже более трудным. Представляется заманчивым с точки зрения как морфологии, так и слогоделения разделить эту форму $\theta\epsilon\lambda\chi + \tau\acute{\iota}\rho\iota\omicron\nu$. Но, следуя принципу (II), нужно делить $\theta\epsilon\lambda\text{---}\chi\tau\acute{\iota}\rho\iota\omicron\nu$. Еще больше затруднений вызывают случаи, когда речь идет о сложных словах: $\acute{\epsilon}\xi\text{---}\acute{\alpha}\gamma\omega$ «отправляться, идти» вместо* $\acute{\epsilon}\xi\text{---}\acute{\sigma}\acute{\alpha}\gamma\omega$ и т. д.

Чтобы добиться ясности в этих вопросах, нужно сначала принять во внимание тот факт, что мы исследуем слогоделение *с л о в а*. Между словами в речевой цепи имеются словесные и морфемные швы, которые в большинстве языков устраняются благодаря междусловному сандхи. Тем не менее конец слова является всегда концом перед паузой, а начало слова — началом после паузы. Словесные швы являются, таким образом, гораздо более отчетливыми, чем морфемные швы одного и того же слова. Впрочем, и морфемные швы могут быть более или менее отчетливыми в зависимости от более или менее тесной спайки между морфемами. Ясно, что спайка между корнем и первичным суффиксом является более тесной, чем между основой и вторичным суффиксом, а эта последняя в свою очередь будет более тесной, чем соединение между двумя частями сложного слова. Наконец, очень слабой является спайка частей сложного слова, первая часть которого является флективной формой (например, генитива); ср. так же сложные индийские слова с двумя ударениями. Здесь мы имеем дело с различными степенями «стыка» (juncture). Таким образом, изложенные выше принципы относятся к простому слову со всеми его особенностями, характерными для данного языка. Такие языки, как английский и немецкий, в частности, не представляют в этом отношении никаких затруднений. В нем. *abtreten* «изнашивать, уступать» невозможно иное деление, чем *ab-tre-ten*, несмотря на существование конечной группы *-bt* (например, *Abt* «аббат»), так как с точки зрения фонологической структуры *abtreten* (и вообще все сложные

немецкие слова) занимает благодаря сосуществованию тона и ударения¹ промежуточное положение между одним словом и двумя словами. Отвлекаясь от того факта, что аб-элемент отделимый (*Er tritt ab* «Он уступает»), мы отмечаем наличие в этом слове двух ударений или, скорее, двух слогов с ударным вокализмом. Если в случае *abtrennen* не находит применения принцип (II), то в случае *abändern* «изменять» в таком же положении оказывается принцип (I). Не «твердый приступ» (*coup de glotte*) мешает делению **a-bändern*, а, наоборот, деление *ab-ändern* определяет наличие «твердого приступа».

Принцип (I) создает наилучший критерий для решения вопроса о том, подчиняются ли слова, разложимые на морфемы, тем же правилам слогаделения, что и первичные (немотивированные) слова. Представляется, что это касается слов с первичными или вторичными суффиксами или слов с флективными окончаниями, как можно судить по нем. *mäch-tig* «могущественный» < *mächt-ig*, *Schreiber* «пишущий, писарь, переписчик» < *Schreib-er* и т. д. (так же во всех индоевропейских языках). Еще более убедительны примеры, относящиеся к принципу (II), например др.-инд. *savit-(t)re* < *savitre* (дат. ед. ч. от *savitṛ* с морфологической границей между *i* и *t*), ср. приведенное выше правило индийских грамматистов, гр. *φέρεσθε* «несите!» < *φέρε* + *σθε* и т. д. Если вернуться к примеру *θελκτήριον*, то естественно было бы считать, что эта форма подчиняется тем же законам слогаделения, что и немотивированные слова, то есть делится на *θελ* + *κτήριον* так же, как *θέλγ* + *ω* на *θέλ* + *γω*. Более того, по Геродиану, слогаделение сложных слов, включающих преверб, — таких, как *ἐξάγω* «уводить», *ἐκρόή* «устье», *ἐκλογή* «выборы», — будет: *ἐ-ξάγω*, *ἐ-κροή*, *ἐ-κλογή*, то есть оно следует правилам Геродиана для простых слов. Э. Герман² несправедливо, по нашему мнению, усомнился в той важности, которую придает этому свидетельству И. Шмидт (KZ,

¹ Простые немотивированные слова с двумя ударениями, имеющими в двух ударных слогах гласные полного образования, как англ. *tomahawk*, называются иногда формальными сложными словами (*formelle Komposita*). Этот термин был применен Акселем Коком. *Die Alt- und neuschwedische Akzentnierung*. Strassburg, 1901

² E. H e r m a n n, цит. соч., стр. 131.

XXVIII, 14). Нужно принять во внимание тот факт, что греческие сложные слова с превербами несравнимы с фонологической точки зрения со сложными немецкими глаголами. В греческом языке эти формы имеют лишь один ритмический центр, причем безударный вокализм не отличается здесь от вокализма ударного слога. И хотя использовать в качестве принципа написание можно лишь с осторожностью, знаменательно то, что слоговое деление подобного рода встречается в надписях. Действительно, если слоговое деление ἐκ-λοῦή, будучи этимологическим, не исключает фонологического варианта ἐ-κλοῦή, то, если оно не соотносится с фонологической реальностью, оно является лишь простой ошибкой.

Вообще орфографические предписания являются, как нам кажется, следствием морфологических и фонологических факторов. Ср. во французском языке *dé-sunir* «разъединять», но *dés-abuser* «рассеивать заблуждения», *dés-armé* «разоружать», *mé-salliance* «неравный брак», но *més-aventure* «злосудное», несмотря на полную идентичность слогового деления во всех этих примерах. О слоговом делении, которое бывает то фонологическим, то морфологическим, ср. также у Э. Германа¹ (συ-νεδριот «совет» и συν-εδριον, πρό-σδον «атаку» и προσ-ίδους и т. д.).

Мы придаем решающее значение четкому отграничению фонологической точки зрения от физиологического аспекта и морфологического анализа. Возможно, что выдвинутые выше принципы неполны и недостаточно четко сформулированы. Но это не изменяет того факта, что единственный метод, ведущий к цели, состоит в применении к слоговому делению языковых критериев, то есть прежде всего в выявлении эксплозивной и импловивной частей начальных и конечных групп слова. Не следует приступать к разделению интервокальных групп (импловия + экспловия), прежде чем будет выполнена эта предварительная операция. Ведь начало и конец слова являются непосредственными реальностями, в то время как внутренние границы слогов — это лишь научная абстракция.

¹ E. Hermann, ук. соч., стр. 202—203.

Разделив слова данного языка на слоги, можно поставить вопрос о структуре слога в этом языке.

Известно, что конституирующая (центральная) часть слога представлена гласным. В действительности гласной является та элементарная фонема, которая сама по себе может составлять слог (то есть односложное слово). Проблема слогового характера таких форм, как нем. *pst*, легко разрешима. С формальной точки зрения эта последняя форма не является слогом. Но ей можно придать функцию слога, используя ее как слово. Здесь полезно было бы привести морфологическую параллель. Предложение, сокращенное до одного сказуемого (глагол в личной форме), все еще остается предложением. Если же оно сокращено до имени, оно будет предложением только в том случае, если мы придадим ему эту функцию, например в контексте *L'agent ouvrit la porte. Personne. Silence complète*. «Служащий открыл дверь. Никого. Мертвая тишина». С функциональной точки зрения (но отнюдь не с формальной) *Personne* и *Silence complète* эквивалентны *L'agent ouvrit la porte* — распространенному предложению, содержащему, кроме конституирующего члена (сказуемого), второстепенные члены (дополнение, подлежащее). Когда такая форма, как *pst*, используется в стихе, построенном на силлабическом принципе, она считается слогом, так как функционирует в качестве слова среди других слов. В качестве слова (название звука или буквы) *t* функционирует как слог независимо от того, произносят ли это *t* с вспомогательной гласной или без нее.

Второстепенные или маргинальные части слога состоят из начальной, или эксплозивной, группы согласных и конечной, или имплозивной, группы. Таким образом, на первый взгляд представляется заманчивым различать три части слога: начальную группу, вокалический центр, конечную группу. Но в языке единственно правильными различиями являются дихотомические. Предложение *L'agent ouvrit la porte* разлагается не на *l'agent + ouvrit + la porte*, а на *l'agent + (ouvrit la porte)*, где дихотомия внутри группы сказуемого подчинена дихотомии между подлежащим (группой подлежащего) и группой сказуемого. То же самое мы утверждаем в отношении слога,

Вот принцип, который определяет дихотомический характер слога:

(VIII) Эксплозивная часть слога противопоставлена вокалическому центру + имплозивная часть, причем эти последние функционируют как относительное единство¹.

В некоторых словах связь между эксплозивной частью и центром слога более основательна и одновременно более слаба, чем связь между центром и имплозивной частью. Если это так, должны быть свойства, присущие лишь части слога, начинающейся с гласной, и свойства, общие для вокалического центра и имплозивной части, исключая начальную группу. Такие свойства существуют: ими являются просодические характеристики слога, а именно количество и интонация². Количество слога определяется вокалическим центром и имплозивной частью при эквивалентности долгий гласный без имплозивной части = краткому гласному + имплозивная часть. Интонация распространяется на интонируемый отрезок, включающий гласный и часть некоторой имплозии. Ср., например, в литовском языке *veřkti* = *veřk-ti* «плакать», имплозивная часть = *rk*, интонируемый отрезок = *e* + *г*. Структура начальной группы согласных не затрагивает ни количества слога, ни интонируемого отрезка. Таким образом, оказывается оправданным рассмотрение гласного + имплозивная часть как более тесного единства внутри слога.

Итак, имплозивная часть подчинена эксплозивной внутри группы, а с другой стороны (внутри слога) — подчинена вокалическому центру. Таким образом, имплозивная часть связывает

¹ Отныне мы будем использовать термины *эксплозия* и *имплозия* в смысле начальной и конечной группы согласных в слоге, а не в смысле частей одного и того же сочетания согласных.

² Тон и ударение являются просодическими характеристиками слова (расширенного за счет энклитик и проклитик), а не слога, хотя они и реализуются в слоге (точно так же количество, свойственное слогу, может быть реализовано гласным слога).

силлабический центр слога с второстепенным членом (эксплозивной частью) следующего слога.

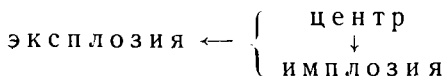
(IX) Имплозивная часть состоит из мотивированных групп, которые представляют собой инверсию эксплозивных групп, и из немотивированных (автономных) групп.

Смысл этого принципа состоит в том, что нужно определить структуру имплозивных групп по отношению (в противоположность) к эксплозивным группам. Так, например, в современных германских языках, где конечные группы весьма разнообразны, легко провести границу между мотивированными имплозивными группами, такими, как -gr, -rt, -rk и т. д., и немотивированными, такими, как -sp, -st, -sk и т. д. (поскольку ks-, ts-, ps- не существуют в начале слова). Мотивированные имплозивные группы являются результатом поларизации имплозии по отношению к эксплозии. Продолжая нашу морфологическую параллель, мы можем сравнить вокалический центр со сказуемым (с глаголом в личной форме), имплозивную часть — с его различными определителями (с косвенными падежами и наречиями), а эксплозивную — с подлежащим. Итак, отношение между подлежащим и определителями сказуемого зависит от того, имеются ли в виду косвенные падежи или наречия (немотивированные). В первом случае мы имеем дело с противопоставлением номинатив: косвенный падеж, причем последний обуславливается номинативом. В случае наречия (немотивированного) это отношение зависимости не существует; есть только синтаксическая эквивалентность наречия и косвенных падежей. И так же, как косвенный падеж и наречие могут одновременно определять сказуемое, будучи одно более близким (центральным) определением, другое — более далеким (маргинальным), так и имплозивная группа может состоять из мотивированной (под)группы и немотивированной (под)группы. Немотивированная (под)группа имплозивной части всегда следует за мотивированной (под)группой. Иначе говоря, мотивированная (под)группа является более центральной, чем немотивированная. Имплозивная группа в нем. *Herbst*

«осень» дает $-grps + t$ ($-grps = spr-$ в обратном порядке; t не мотивировано, как в Abt , так как начальное $tp-$ не существует в немецком языке); $wirft$ «он бросает»: $-rf + t$, и т. д.

Немотивированная имплозивная группа не является необходимостью. Есть языки, где имплозивная часть всегда мотивирована, например греческий или индийский. Так как греческое слово может оканчиваться на $-q$, $-v$, $-s$, $-ψ$, $-ξ$, $-vξ$, $-qξ$, каждый из этих элементов или групп согласных имеет свое соответствие в начале: $q-$, $v-$, $σ-$, $σπ-$, $σж-$, $σжv-$, $*σжq-$; правда, $σжq-$ является пустой клеткой. В индийском в конце слова возможен либо простой согласный, либо группа $г + с$ м ы ч н ы й, которая находится в соответствии с начальной группой с м ы ч н ы й + г.

Начальные и конечные группы в слове занимают разные иерархические ступени. Начальная группа является как бы добавлением к центральному элементу, в то время как имплозивная группа служит определением этого элемента. Хотя обе группы согласных являются второстепенными (маргинальными) по отношению к центру, эксплозивная часть противопоставлена центру и имплозивной части, которые образуют более тесное единство. Оба эти отношения можно представить графически следующим образом (стрелки обозначают отношение подчинения):



Эмпирическим доказательством этой иерархии является тот известный факт, что есть много языков, где конечного консонантизма не существует, либо он существует лишь в слабой степени (например, итальянский), но нет таких языков, где бы отсутствовал начальный консонантизм, то есть где бы все слова начинались с гласных¹.

¹ Ср. Р. Г. Стетсон: «Из всех возможных форм слога простейшим для международного вспомогательного языка является, безусловно, слог, который начинается с согласного и кончается гласным (то есть с начальной эксплозией, но без конечной имплозией)»; «Такой тип слогов характерен для некоторых полинезийских языков».

(Х) Правильная классификация согласных должна основываться на той роли, которую они играют в структуре эксплозивных групп.

Анализ начальных групп согласных приводит к различению классов согласных фонем. В морфологии деление слов на части речи основывается на их первичной синтаксической функции; то же и в фонологии — прежде чем установить классы, нужно внимательно изучить роль согласных внутри эксплозивных групп, поскольку имплозивные группы определяются лишь по отношению к эксплозивным группам. Возьмем, например, греческий язык. Начальные группы согласных являются там трехчленными (состоящими из трех согласных элементов) или двучленными (включающими два согласных элемента), а группы из четырех элементов совсем отсутствуют. Трехчленная группа всегда включает в себя $\sigma + \text{смычный}$ ($\pi, \beta, \varphi; \tau, \delta, \theta; \kappa, \gamma, \chi$) + сонант (плавные ρ, λ или носовые ν, μ). В действительности же греческий язык был далек от того, чтобы использовать все теоретические возможности (в количестве $9 \times 4 = 36$); ему были известны лишь следующие трехчленные группы: $\sigma\varphi\rho$ -, $\sigma\tau\rho$ -, $\sigma\pi\lambda$ -, $\sigma\tau\lambda$ -, $\varsigma\kappa\lambda$, $\sigma\chi\nu$ -, остальные группы были «пустыми клетками». Именно в трехчленных группах, поскольку они являются наиболее сложными, следует изучать взаимоотношения согласных. Эти группы включают прежде всего элемент, непосредственно соседствующий с вокалическим центром (ρ, λ, ν, μ); его синтаксическую функцию мы обозначим через f_1 . Второй элемент предшествует первому и следует за третьим ($\pi, \beta, \varphi; \tau, \delta, \theta; \kappa, \gamma, \chi$); функцию его мы обозначим через f_2 . Третий элемент предшествует второму (σ); функция f_3 .

Функция f_1 состоит в том, что согласный с ней может следовать за другим согласным, но за ним самим согласный следовать не может. Функция f_2 является функцией согласных, которым предшествует и за которыми следуют другие согласные. Функция f_3 является функцией согласных, за которыми следуют другие согласные, но предшествовать которым другие согласные не могут.

Двучленные группы бывают двух родов. Одни являются механическим сокращением трехчленных групп. Утрата σ дает группы $\text{смычный} + \text{сонант}$:

пρ-, βρ-, φρ- πλ-, βλ-, φλ- πν-, —, —, —, —, —
 τρ-, δρ-, θρ- τλ-, —, θλ- —, δν-, θν- τμ-, δμ-, —
 κρ-, γρ-, χρ- κλ-, γλ-, χλ- κν-, γν-, χν- χμ-, —, —

Здесь также встречаются «пустые клетки», то есть не реализованные группы, существующие потенциально, что доказывает, например, неологизм φνεί, встречающийся в языке комедии.

Исчезновение сонанта в трехчленных группах приводит к бинарным группам σ + с м ы ч н ы й: σπ-, σβ-, σφ-, στ-, —, σθ-; σκ-, —, σχ-.

Незанятая клетка σδ- встречается в словах, заимствованных из эолийского, как, например, σδυγός вместо ζυγός или σδεύλα = ζεύλα «ярмо».

Наконец, в результате падения смычной появлялись двучленные группы σ + с о н а н т. Хотя они исчезали уже в доисторическую эпоху, все же σμ- еще встречается в языке исторического периода, ср. σμερδαλέος «страшный, ужасный», σμήχω «смывать, чистить» наряду с древнейшим изменением σμ- > μ- в μειδῶ «улыбаться» (φιλομμειδής «всегда улыбающийся»).

Вторая разновидность двучленных групп не обуславливается трехчленными сочетаниями. Она включает в себя следующие случаи:

1. смычный + σ: ψ-, ζ-, ξ-,
2. смычный лабиальный или гуттуральный + смычный дентальный: πτ-, βδ-, φθ-; κτ-, χθ- (γδ- встречается лишь в середине сложного слова ἐρί-γδοῦπος «грохочущий»).

Эти группы имеют одну общую особенность: их первый элемент выступает в функции f_3 , а последний — в функции f_1 . Действительно, все двучленные группы не могут следовать за каким-либо согласным, и никакой согласный не может им предшествовать. Итак, $\psi = \pi_3 \sigma_1$, $\pi\tau = \pi_3 \tau_1$, $\mu\nu = \mu_3 \nu_1$. В ψ и $\pi\tau$ функция составляющих изменилась: $\pi_2 > \pi_3$, $\sigma_2 > \sigma_1$, $\tau_2 > \tau_1$. В $\mu\nu$ ν сохраняет свою функцию f_1 , но μ_1 перешло в μ_3 .

Когда в каком-либо языке устанавливают классы согласных, исходя из выполняемых ими функций внутри начальных групп, часто замечают, что согласные имеют больше одной функции. Так, в греческом языке элементы:

π , β , ϕ : функция f_2 в сочетаниях типа $\sigma\pi$ -, $\sigma\pi$ -, $\pi\phi$;-
 функция f_3 в группах типа ψ -, $\pi\pi$;- σ : функция f_3 в группах
 типа $\sigma\pi$ -, $\sigma\pi$ -, $\sigma\pi$;- функция f_1 в группе типа ψ ;

μ : функция f_1 в группе типа $\delta\mu$;- функция f_3 в $\mu\nu$ -.
 Итак, прежде чем отнести один из элементов в определен-

ный класс, нужно решить основной вопрос: какая из двух функций должна быть признана первичной, или основной. Известно, что использование существительного в качестве определения (приложения) или, наоборот, использование прилагательного в качестве самостоятельного имени (в качестве определяемого члена) вовсе не уничтожает существенного различия между этими двумя частями речи. Речь идет только о том, чтобы выдвинуть объективный критерий, позволяющий установить иерархию двух функций в одной и той же форме (функцию первичную, или основную, и функцию вторичную)¹. Критерии этого определения существуют. Это прежде всего критерий сфер употребления.

(XI) Широкая сфера употребления первична по отношению к узкой сфере употребления.

В группах $\sigma +$ смычный каждый смычный сохраняет свой индивидуальный характер. Напротив, в группах $\sigma + \sigma$ (ψ -, ξ -) это последнее появляется лишь после глухих ($\psi\pi\zeta$ -, $\xi\pi\sigma$ -). Функция f_1 является, следовательно, вторичной у σ ; основная же, или первичная его функция — это f_3 . Следовательно, для смычных первичной функцией будет f_2 , а вторичной — f_3 ².

¹ Де Гроот (цит. соч., стр. 27), говоря о вокалической функции некоторых согласных (таких, как g или l), использует выражение «связанный со структурой языка» и «связанный с лингвистическим сознанием» — термины, соответствующие «первичной функции» и «вторичной функции». В действительности же первичной функцией g является функция согласного, а l — лишь вторичная функция той же фонемы g ; считать же, что в чешском и словацком существуют две различные фонемы g и l было бы неправильным. Отношение первичная : вторичная определяется принципами (XI) и (XII).

² Вернемся к проблеме слоговых g и l , выдвинутой де Гроотом. Определение качества не только g , l (n , m), но и индоевропейских i , u должно исходить из факта, что i и i , u и u , g и g , p и p никогда не противопоставляются. Эти элементы реализуются как гласные в определенных позициях: между согласными, между нулем и соглас-

(XII) Употребление, в котором противопоставляются классы, является первичным по отношению к употреблению, в котором противопоставляются элементы, принадлежащие к одному и тому же классу.

В группах $\sigma\pi$ -, $\sigma\tau$ - и $\pi\rho$ -, $\tau\rho$ - элементы π и τ противопоставляются идентичным образом σ (имеющему функцию f_3) и ρ (имеющему функцию f_1). В $\pi\tau$ - они противопоставляются друг другу. Их первичной функцией будет, следовательно, функция, выполняемая ими в группах $\sigma\pi$ -, $\sigma\tau$ -, $\pi\rho$ -, $\tau\rho$ -, т. е. f_2 , в то время как функции f_3 у π и f_1 у τ (в группе $\pi\tau$ -) будут вторичными. Тот же самый критерий применим к μ : первичная функция $-f_1$ (в $\delta\mu$ -, ср. $\delta\nu$ -), вторичная функция $-f_3$ ($\mu\nu$ -).

Таким образом, система классов греческих согласных такова, как нам представляет ее анализ трехчленных групп: 1 класс — с о н а н т ы; 2 класс — с м ы ч н ы е; 3 класс — σ . Некоторые из этих элементов могут употребляться во вторичной функции, соответствующей другому классу — не тому, к которому принадлежит рассматриваемый элемент.

Подобная, хотя и не совсем тождественная ситуация имеет место в индийском языке. В нем были следующие трехчленные начальные группы (более сложных не было):

1) str -, sty -, spr -, $sphy$ -; 2) $k\eta n$ -, $k\eta m$ -, $k\eta v$ -. Трудно непосредственно сравнивать группы типа 2) с группами типа 1) из-за большого количества неиспользованных «пустых клеток»; нет примеров на $s +$ с м ы ч н ы й перед носовым или v , и, наоборот, $k\eta$ - не встречается перед $г$ или $у$. Однако двучленные сочетания, возникающие при утрате последнего согласного элемента, убеждают нас в том, что группы st -, sp -, sph - из 1) являются результатом сокращения полной системы sp -, sph -, st -, sth -, sk -, skh -, в то время как $k\eta$ из 2) является единственным использованным пред-
ным, между согласным и нулем. Как согласные они реализуются не только между гласными, между нулем и гласным, между гласным и нулем, но и сверх того, что очень важно, между согласным и гласным и между гласным и согласным. Из этого следует, что в качестве неслоговых они имеют более широкую сферу употребления, чем в качестве слоговых. Поэтому их консонантная функция является основной, или первичной.

ставителем системы ps-, ts-, ks-. Соотношение между этими двумя системами является таким же, как в греческом языке. Следовательно, снова функция f_1 будет свойственна сонантам (в том числе у и v), f_2 — смычным, f_3 — s. Шипящий $\acute{s}$ принадлежит, таким образом, к третьему классу (начальная группа $\acute{s}c$ -). Главные отличия от греческого языка заключаются в следующем: двучленные группы s (и $\acute{s}$) + сонант: sr-, sp-, sm-, sy-, sv- и $\acute{s}r$ -, $\acute{s}l$ -, $\acute{s}p$ -, $\acute{s}m$ -, $\acute{s}y$ -, $\acute{s}v$ - с функциями $f_2 f_1$ (перед s может стоять k); позиция h, принадлежащего к 3 классу (hr-, hl-, hn-, hy-, hv-), и, наконец, взаимоотношения между элементами 1 класса: вторичная функция f_3 у m и v в сочетаниях mr-, ml-, my-; vr-, vl-, vu-; вторичная функция f_3 у p в пу-.

Рассмотрим, наконец, начальные группы в латинском языке, менее сложные, чем в греческом или индийском. Трехчленные группы: spr-, spl-; str-, stl-; scr-, scl- позволяют установить три уже известных класса. Двучленные группы представлены, с одной стороны, сочетаниями sp-, st-, sc- (и squ-) с функциями $f_3 f_2$, а с другой — группами pr-, pl-, tr-, cr-, cl- с функциями $f_2 f_1$. Функциональная эквивалентность b, d, g, f и p, t, c, которая доказывается существованием двучленных групп br-, bl-; dr-(?); gr-, gl-, fr-, fl-, в то время как sr-, sl- отсутствуют, заставляет нас определить функцию b, d, g, f как f_2^1 . Наконец, начальная группа gn- определяет для n функцию f_1 . В латинском языке есть только два согласных элемента, которые не входят в начальные группы: m и h. Класс m может быть определен только последующим анализом имплозивных групп.

Обычно анализ эксплозивных групп дополняется последующим анализом имплозивных, который дает некоторые дополнительные уточнения в вопросе классификации согласных фонем и их родства. Так, например, в латинском позиция m не определяется только начальными группами, поскольку m никогда не является частью начальной группы. Но оно появляется в имплозивной груп-

¹ Варрон называет f полугласным (semivocalis); поскольку f является щелевым (длительным), он относит его вместе с s, x в один класс с r, l, m, n. Прициан, напротив, называет f смычным (muta), несомненно, потому, что с точки зрения функции, особенно перед плавными, f ведет себя точно так же, как p и b, t и d, c и g.

пе -tr (например, emptus «купленный»), проявляя себя, таким образом, как элемент класса 1, точно так же, как и в ant-trum, sanc-tus.

Анализ структуры слога логически приводит нас к классификации согласных фонем, хотя это и не является нашей задачей. Но классы элементов должны быть выведены из анализа структуры, и мы выдвигаем методическое требование: установление системы консонантизма какого-либо языка должно опираться на предварительное изучение слогоделения и начальных групп слога¹. В конце концов именно потому, что это требование сознательно не применялось, до сего времени терпели крах все попытки фонологической классификации согласных. Стетсон был совершенно прав, утверждая: «Согласные не существуют независимо, а лишь выполняют свою функцию в слоге» (цит. соч., стр. 6); «Согласные и гласные являются компонентами (factors), существующими лишь в составе слога, они отнюдь не буковки, нанизанные на шнурок» (стр. 90). Кажется, Форт² был единственным, кто пытался определить классы согласных в соответствии с их функцией внутри слога. Но мы думаем, что этого можно достигнуть, лишь исходя из анализа максимально сложных начальных групп. То, что Форт называет «сложными фонемами» (composite phonemes), а именно группы *sr-* и т. д., которые ведут себя как *r* и т. д. в эксплозивной позиции и как *s* — в импловзивной, — это группы с первичной эксплозивной и вторичной импловзивной функцией (ср. принцип IX).

Остается теперь обратиться к количеству слогов. Речь идет о характеристике, которой обладает слог далеко не в каждом языке. Долгие и краткие слоги различаются лишь в языках, характеризующихся противопоставлением гласных по количеству. Это различие

¹ Установление фонологической системы во всей ее полноте исходит прежде всего из различий между силлабическими центрами и группами согласных. Это различие служит основанием для первой дихотомии — гласные : согласные. Де Гроот (цит. соч., стр. 37) делает различие между структурной и функциональной классификацией фонем. Суть в том, что первая (= разделение на классы) должна основываться на второй (то есть на «синтаксической функции фонем в слог»).

² Norsk Tidskrift. XII, 1942.

опирается одновременно на противопоставление $e : \acute{e}$ (e выступает здесь как символ любого гласного) и на количественную эквивалентность $e = et$ (t = простой согласный или любая группа)¹. Оно обязательно для греческой, латинской, санскритской, персидской, арабской метрики. Именно благодаря эквивалентности $e = et$ каждый слог может быть отнесен либо к долгим, либо к кратким. Двойная обоснованность количества слога доказывает в то же время, что количество является характеристикой не фонемы, то есть гласного, а слога. Действительно, если et и $\acute{e}$ эквивалентны в отношении количества, количество слога не вытекает из количества гласного, а наоборот — долгота $\acute{e}$ является лишь частным случаем долгого слога, а именно случаем долгого открытого слога. Богатому разнообразию таких долгих закрытых слогов, как ek , eg , es , eg , ep и т. д., противостоит только один вид долгого открытого слога: e , равное продленному силлабическому центру и противостоящее непродленному (то есть краткому) $\acute{e}$.

Однако здесь могут возразить, что количество слога существует всюду, так как в каждом языке встречаются закрытые и открытые слоги. Если это так, то неверен наш тезис о существовании количества слога лишь в языках с противопоставлением гласных по количеству. Однако это не так: в польском или в итальянском языках количественное стихосложение невозможно. Противопоставление закрытый слог : открытый слог не эквивалентно (долгий слог : краткий слог). Необходимо противопоставление $e : \acute{e}$, и только посредством $\acute{e}$, которое с количественной точки зрения эквивалентно et , et может как долгий слог противопоставляться $\acute{e}$.

Почему же тогда количество, будучи специфической характеристикой слога, проявляется в гласном, в результате чего его рассматривали как характеристику гласного и говорили о системе гласных $\acute{e}$, $\acute{e}$, $\acute{o}$, $\acute{o}$ и т. д. в индоевропейском, греческом, латинском и т. д.? Дело в том, что мы встречаемся здесь с явлением довольно частым в языковых структурах. Характеристика целой структуры

¹ Мы не говорим здесь о начальной группе, которая не имеет значения для количества слога. Если начальный консонантизм и играет роль в стихосложении, то лишь в связи с предшествующим словом и благодаря тому, что стих (или по крайней мере полустихие) воспринимается как единое слово.

может либо сохранять некоторую независимость, либо быть включена в конституирующий (центральный) член структуры. Таким образом, модальность (например, сомнение, неуверенность) предложения выражается либо специальным словом (наречием), как *peut- être* «может быть», *probablement* «вероятно» и т. д., либо грамматической категорией наклонения, например сослагательным-будущим (*subjonctif-futur*) *Il sera malade* «Он, наверное, болен», которая присуща сказуемому (глаголу в личной форме), но не подлежащему (имени).

Можно сравнить долготу в слогах *ek, eg, es, er, en* и т. д., с одной стороны, и долготу слога *ē* — с другой, с двумя способами выражения модальности в предложении. Присоединение *-k, -g, -s, -r, -n* можно сравнить с выражением модальности при помощи относительно самостоятельных лексических элементов; удлинение же *ē > ē* будет, напротив, соответствовать изменению, происходящему внутри конституирующего (центрального) члена структуры. И точно так же, как в морфологии модальность, выраженная лишь наречиями, не является грамматической категорией, количество слога не может опираться лишь на противопоставление *e : et* — оно требует наличия *ē*, которое делает возможным отношение *e : ē = et* (ср. *Il est malade* «Он болен» : *Il sera malade* «Он, вероятно, болен» = *Il est probablement malade* «Он, вероятно, болен»).

Имеются также слоги с вдвойне мотивированной долготой: долготой гласного и последующей им *п л о з и в н о й* частью. Эти случаи также имеют соответствие в морфологии. В *Il sera probablement malade* «Он, вероятно, болен» имеется некоторого рода плеоназм, поскольку возможность или неуверенность выражена два раза — грамматически и лексически. В этом случае грамматическая характеристика является более центральной, чем лексическая, так как она состоит из синсемантической морфемы, включенной в конституирующий член предложения (окончание *subjonctif-futur*). Точно так же количество слога, выраженное фонологически, состоит из просодемы, присущей гласному как конституирующему члену слога. В этом случае *и м п л о з и в н а я* часть не прибавляет ничего нового к количеству слога.

ЗАМЕТКИ О ГРУППАХ СОГЛАСНЫХ В ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ¹

(1952)

В десятом томе Бюллетеня Польского лингвистического общества² в статье М. Баргелувны собраны и сопоставлены полные данные о начальных, срединных и конечных группах согласных в польском языке. Из-за отсутствия места приводятся лишь статистические данные, конкретные примеры (1—2) приведены только для редко встречающихся групп. Однако материалы Баргелувны дают достаточно оснований для интересных общетеоретических выводов.

В восьмом томе Бюллетеня³ были выдвинуты методические принципы классификации согласных на основании функциональных критериев. Артикуляционная или основывающаяся на ней фонологическая классификация должна опираться на разделение согласного в пределах слога в соответствии с его конкретной функцией. При анализе групп согласных были учтены следующие положения:

1. Первичной функцией согласных является эксплозивная функция, вторичной — имплозивная. Это следует из двух фактов: а) наличия языков без имплозивных согласных, то есть имеющих лишь открытые слоги и гласные исходы; при этом языки без эксплозивных согласных, в которых бы каждый слог и каждое слово начинались с гласных, отсутствуют (выражения *п е р в и ч н ы й* и *в т о р и ч н ы й* употреблены здесь не во временном значении: предшествующий и последующий, а в иерархическом: главный и второстепенный); б) существования между имплозивной группой (концом слога) и гласным

¹ J. K u r y ł o w i c z, Uwagi o polskich grupach spółgłosowych, BPTJ, XI, 1952, стр. 54—69.

² BPTJ, X, стр. 1—25.

³ BPTJ, VIII, стр. 80—114.

мать) по отношению к другим согласным. Отсчитывая 3, 2, 1 место «налево» от гласного, мы приходим к выводу, что в греческом языке согласные ρ , λ , ν принадлежат к первому классу, то есть могут занимать в начальной группе место непосредственно перед гласной¹.

Эти предпосылки должны обеспечить адекватное описание и функциональную классификацию польских согласных.

По сравнению с санскритом или классическими языками, в которых строение начальных групп довольно прозрачно (BPTJ, VIII, стр. 107—111), в польском языке сразу же бросаются в глаза две черты. Первая из них — возможность перестановки членов групп. Сосуществование групп типа a_1a_2 и a_2a_1 — довольно частое явление.

В греческом языке или в санскрите такая перестановка возможна лишь в группах с s , например др.-инд. sp , st , sk и ps , ts , ks ($kṣ$). Вторая черта — наличие геминат в начале слова. Они не являются геминатами в обычном значении этого слова, поскольку не определяются как согласные, через которые проходит граница слога. Языки, в которых имеются геминаты, например классические или древнегерманские языки, не имеют и не могут иметь геминат в начале или конце слова. Таким образом, польские геминаты начала слова в большинстве случаев составляют группы с идентичными членами.

Приведем примеры перестановки членов двухэлементных групп (в алфавитном порядке):

$b\acute{l} : \acute{l}b$ ($\acute{l}ba$ «лба»), bz (bzu «сирени») : zb' ($zbir$ «бандит»), $b\acute{z} : \acute{z}b'$ ($\acute{z}bik$ «дикая кошка»), $cf : fc$ ($wcale$ «совсем») : $\acute{c}f : f\acute{c}$ ($wczoraj$ «вчера»), $dr : rd$ ($rdest$ «гречишка»), $dv : vd$ ($wdowa$ «вдова»), $\acute{z}\acute{y} (\acute{d}zwi\acute{e}k$ «звук») : $v\acute{z}$ ($wdzi\acute{e}k$ «очарование»), $\acute{f}s$ ($wsie$ «деревни») : $\acute{s}f'$, $\acute{f}s : \acute{s}f$, $\acute{f}t$ ($wtorek$ «вторник») : $t\acute{f}$, $g\acute{l} : \acute{l}g$, $gm : m\acute{g}$ ($mgie\acute{l}ka$ «туман, дымка»), gz ($gzyms$ «карниз») : zg ($zgaga$ «изжога»), $g\acute{z} : \acute{z}g$ ($\acute{z}ga\acute{c}$ «шпарить»), $xm : mx$ ($mchu$ «мха»), $k\acute{l} : \acute{l}k$ ($\acute{l}ka\acute{c}$ «всхлипывать»), $ks : sk$, $k\acute{s} : \acute{s}k$, $kt : tk$, lv (lwa «льва») : vl ($wlec$ «влечь»), $\acute{l}z : \acute{z}\acute{l}$,

¹ Подробную функциональную (синтаксическую) классификацию греческих согласных можно найти в BPTJ, VIII, стр. 107—109, и в TCLC, V, 1949, стр. 56—57. Эта классификация основана на анализе наиболее распространенных, то есть трехэлементных групп.

żł : łż (łże «он лжет»), mś : śm, mż : żm (żmudny «тяжелый, утомительный»), ps : sp, pś : śp', rt : tr, rv : vr, rż : żr, śt : tś, vz : zv (zwać «звать»), vż : żv.

Геминаты, встречающиеся в начале слова: čč (czczy «тщетный»), žž (dżdżu «дождя»), ss (ssak «млекопитающее»), śś (ssie «он сосет»).

Основная трудность заключается в разделении трех-элементных групп на две части. В тех случаях, когда группа состоит из неслоговой приставки и начала корня (например, wst-awać «вставать»), это разделение не вызывает сомнений, так как определяется морфологической границей. В данном примере согласные s и t, относящиеся к корню, более тесно связаны между собой, чем с согласной приставки w (то есть f). Группа fst разделяется таким образом на согласный f и сочетание st (сочетаниями мы будем называть подгруппы с более тесной связью элементов в пределах групп согласных). В примере (f/st) раздел группы совпадает с морфологической границей, не всегда совпадающей с границей слогораздела и с морфологическим делением.

Анализ трехэлементных начальных групп с продуктивными приставками f(v) < vь и s(z) < сь, зь дает возможность выделить следующие сочетания, которые могут быть сгруппированы в следующую схему:

I	pr		tr		kr		xr	
	br		dr		gr			
	pś		tś		kś		xś	
	bż				gż			
	pł	pl	tł	tl	kł	kl	xł	xl
	bł	bl	dł		gł	ćf		
					gn	gñ		
			ćm				xm	
			dm			gm		
			tf	tf'	kf	kf'	xf	
II	dv		śv		gv	g'v		
	st		ść		sk		šč	
III	śr	sł	śl	sn	sm	sf'		

Как видим, в первый ряд этой схемы попали главным образом группы, состоящие из смычного или х и сонанта (r, ł, l, n, m, f = v) или ś/ż (< исторического < r), а во второй

и третий — группы из $s +$ смычный или сонант (а также $\check{s}$). Примеров сочетаний смычный + $n, m, f(v)$ здесь недостаточно. Несмотря на это, система кажется «синтаксически» довольно ясной. Смычные предшествуют $g(\check{s}, \check{z}), l(l), n, m, f(v)$, а сами (глухие) следуют за $s(\check{s})$. s предшествует сонантам $g, l(l), n, m, f$. Разделение на три класса — сонанты, смычные, s — в сущности совпадает с подобным делением в древних индоевропейских языках. Классификация согласных проведена здесь в зависимости от места, которое они занимают по отношению к гласным и друг к другу.

Трехэлементные немотивированные группы, то есть такие, через которые не проходит морфологическая граница, фонологически распадаются на две части в том случае, когда вторая и третья согласные образуют сочетания, встречающиеся в приведенной выше таблице, а именно: $\check{s}/pr, v/br, z/br, z/dr, z/gr, z/g\check{z}, c/kl, s/kl, t/kl, p/xl, p/xl, m/dl, m/dl; m/gl, m/gl, z/gl, c/kn, l/gn, l/gn, m/gn, t/kf', f/sp, f/st, f/sc, m/sc, f/sc, m/sc, l/sn$.

Это бинарные группы, но вторая часть их представлена не отдельным согласным, а сочетанием. Поскольку возможно их деление, допустима и перестановка. Следовательно, мы можем найти и такие трехэлементные группы, в которых сочетание образует два первых согласных. Ср: $tr/f, kr/f, kr/f', kr/n, kr/t, br/v, dr/g, dr/j, dr/v, dr/v, dr/\check{z}, gr/d, p\check{s}/t, k\check{s}/t, x\check{s}/t, x\check{s}/c, b\check{z}/d, b\check{z}/\check{z}, b\check{z}/m, g\check{z}/b, g\check{z}/n, g\check{z}/m, pl/c, pl/f, \check{s}c/g, sm/r$.

В следующих группах можно с равным основанием отделить как первый, так и последний согласный: $str, spr, skr, st\check{s}, sk\check{s}, p\check{s}c, x\check{s}c, sxl, skn, skf, skf'$.

Приведенная выше таблица сочетаний может быть заполнена посредством интерполяции. Так, например, сочетание xn возможно с фонологической точки зрения, но является «пустой клеткой» (*case vide*). Это следует из пропорции $gm : gn = xm : xn$. Ряд сочетаний, который можно восстановить при помощи интерполяции, образуют группы $z +$ смычный или сонант ($zb, zd, zg, zg, z\check{l}, zl, zn, zm, zv$). Это звонкие соответствия групп $sp, st, sk, sr, sl, sn, sm, sf$, допустимые в качестве сочетаний наравне с этими последними, поскольку озвончение, как и палатализация всей группы, ничего не изменяет во вза-

имоотношении элементов сочетания. Следовательно, $pr : br = sp : zb$ и т. д.

В свете последних замечаний остальные немотивированные трехэлементные группы можно рассматривать как комбинации отдельных согласных и сочетаний: $p/x\acute{n}$, b/zd , $b/\acute{z}\acute{z}$, v/zr , $v/z\acute{t}$.

Признание существования сочетания как составной части трехэлементной группы позволяет нам выделить некоторое количество мотивированных групп (= с продуктивным префиксом), в которых морфологическая дихотомия не совпадает с фонологическим делением. Так, морфологическому делению $s/ps-$, $s/tx-$ в $spsocić$ «напроказить», $stchórzyc$ «струсить» соответствует фонологическое $sp\ s-$, $st/x-$, так как сочетание образуют только два первых, но не два последних элемента. Если бы эти слова были славянским наследием ($sъrьs-$, $sъdъx-$), то в современном языке они звучали бы как $*zepsocić$ (ср. $zepsuć$ «испортить»), $*zetchórzyc$ (ср. $zerchać$ «спихивать»). Использование приставок $f(v)$, $s(z)$ перед начальной группой корня, не образующей сочетания, возможно лишь тогда, когда сам префикс входит в сочетание с первой согласной корня¹.

Так становятся ясными остальные случаи трехэлементных мотивированных групп:

морфологическое деление фонологическое деление

$s\ ps-$	$sp\ s-$
$s\ tx-$	$st\ x-$
$s\ fr-$	$sf\ r-$
$s\ fl-$	$sf\ l-$
$z\ br-$	$zb\ z-$
$z\ gb-$	$zg\ b-$

¹ Существование слов типа $zebrać$ «собрать», где встречается префикс $ze-$ перед сочетанием (br) , не противоречит этой формуле. Воздействию аналогии ($z-broić$ «вооружить» и т. д.), допустимому с фонологической точки зрения, препятствует морфологическое чередование $zbior-$, $zbierz-$, $zebra-$, то есть изменчивость корня. Ср. далее $wegnać$ «вогнуть» ($*w\acute{z}enie$); $weprze$ «он воткнет», $wesłać$ «прислать» ($ks\acute{z}y\acute{t}ati$ и $st\acute{y}l\acute{t}ati$), $wetrze$ «он вотрет», $wezwać$ «призвать» и т. д., «где we является омертвевшим остатком прошлого, но в $wejrzeć$ «взглянуть», $wepchać$ и т. д. оно поддерживается существованием групп согласных brn , $j\acute{z}$, jd , lgn , $łkn$, mkn , $px(n)$, rw , ss , txn , $tk(n)$.

z/gd-	zg/d-
z/mr-	zm/r-
z/ml-	zm/l-
z/mn-	zm/n-
z/vr-	zv/r-
z/vł-	zv/l-
z/vł-	zv/ł-

Ср. также zdjąć «снять» = zd/jąć. Единственным примером группы согласных, в которой нет сочетания ни в начале, ни в конце, является группа fśp- (wsznurować «зашнуровать»).

Кроме префиксов f(v) и s(z), существует третий: fs(vz). Так как согласные этого префикса не образуют сочетания, использование его в неслогообразующей форме (fs-, vz-) требует, чтобы следующий за ней корень начинался с согласного, с которым s(z) может образовать сочетание. Это условие легко выполнимо, ибо s(z) соединяется с каждым последующим фрикативным, х взрывным, носовым и f(v). Следовательно:

морфологическое деление фонетическое деление

fs/p (wspomnieć	„вспомнить“)	f/sp-
fs/p' (wspiąć się	„взобраться“)	f/sp'
fs/k (wskazać	„указать“)	f/sk-
fs/x (wschodzić	„восходить“)	f/sx-
vz/b (wzburzyć	„возмутить“)	v/zb-
vz/b' (wzbierać	„подниматься“	v/zb'
	[об уровне воды])	
vz/d (wzdać	„раздуть“)	v/zd-
vz/g (wzgardzić	„пренебречь“)	v/zg-
vz/l (wzlecieć	„взлететь“)	v/zl-
vz/n (wznosić	„возносить“)	v/zn-
vz/ń (wznieść	„поднять“)	v/zn-
vz/m (wzmóc	„усилиться“)	v/zm-
vz/ń (vzmianka	„замечание“)	v/zm-
vz/v (wzwyż	„высць“)	v/zv-

Из суффиксов при образовании трехэлементных начальных групп учитывается лишь суффикс -ną(-nąć). Если два

первых элемента не образуют сочетания, то его образуют второй элемент и суффиксальное п:

морфологическое деление	фонологическое деление
kl'/nɛ („я проклиная“)	kl'/n-
sx'/nɛ („я засыхаю“)	sx'/n- (может быть и s/xn-)
tk'/nɛ („я дотронусь“)	t' kn-
mk'/nɛ („я мчусь“)	m' kn
ʒg'/nɛ („я обожгу“)	ʒ' gn-
tx'/nɛ („я дохну“)	t' xp-

В изолированной форме schła «сохла» наряду с морфологическим делением sch-ła возможны фонологические sx/ła и s'xła.

В отличие от индоевропейских языков в польском языке существуют четырехэлементные начальные сочетания. Они не многочисленны, но благодаря им система сочетаний может быть пополнена.

Встречаются следующие немотивированные группы из четырех элементов: fstr, pstr, pstś, fskś, vzgl, źźbł¹.

Все эти группы, за исключением последней, мы можем разделить лишь следующим образом: f/str, p/str, p'stś, f'skś, v/zgl, так как два первых элемента не образуют сочетания. В то же время три последних составляют трехэлементное сочетание, в котором каждый член (s, z; смычный; плавный или ś) занимает место, соответствующее его классу. В случае źźbł возможно только деление źź (палатальный вариант zd) + bł.

В связи с этим для четырехэлементных мотивированных групп следует принять следующие дихотомии:

морфологическое деление	фонологическое деление
fs'tś-	f/stś-
vz'br-	v zbr-
vz'dr-	v/zdr-
vz'dł-	v/zdł-
s'trf-	str'f-

¹ wstręt «отвращение», pstry «пестрый», pstryć «пестрить», wskrzesić «воскресить», wzgląd «взгляд», źdźbło «стебель».

s'krf-
drg n-¹

skr'f-
dr'gn-¹

Таким образом, мы дополнили нашу систему трехэлементными сочетаниями, и теперь ее можно представить в следующем виде:

I. Полные формы: s, z + глухой (звонкий) смычный + г, ś(ż), ł, l, n, m, f (v).

II. Сокращенные двухэлементные формы:

а) глухой (звонкий) смычный + г, ś(ż), ł, l, n, m, f(v),

б) s(z) + глухой (звонкий) смычный,

в) s(z) + г, ł, l, n, m, f(v).

Наряду с твердыми формами могут, несомненно, выступать и соответствующие мягкие (палатальные) формы.

Польские начальные группы можно разбить путем дихотомического деления на элементы и сочетания. Обычно группы состоят:

1) из двух элементов;

2) из элемента + двух- или трехэлементное сочетание;

3) из двух- или трехэлементных сочетаний + элемент;

4) из двух двухэлементных сочетаний (źdźbło, drgnąć).

Общее определение польской начальной группы (двух-, трех- и четырехэлементной) звучит следующим образом: это двучленная структура, состоящая обычно из двух сочетаний, из которых одно, а иногда и оба могут быть сокращены до одного элемента или одно — до нуля.

Из этого определения вытекает возможность перестановок согласных, а также внешние геминаты в начале слова, представляющие собой как бы два сочетания, редуцированные в один, случайно совпавший элемент.

На основании полученных результатов связь между членами двухэлементной группы следует считать более тесной в тех случаях, когда они составляют сочетание, например tr, или более слабой, например rt(rtęć «ртуть»), kt, tk, то есть точно такой же, как связь между элементом и сочетанием, или как связь между сочетанием и сочетанием в четырехэлементной группе.

¹ wstrząsnąć «потрясти», wzbronić «запретить», wszdrygnąć się «содрогнуться», wydłużyć «удлинить», strwonić «промотать», skrwawić «окровавить», drgnąć «дрогнуть».

Трехэлементные группы также могут состоять из одного сочетания, ср. выше случаи, когда граница могла быть проведена и после первого, и после второго члена: spr, str, skr, stś, skś, sxl, skp, skf(sk'f').

Следовательно, при функциональной классификации польских согласных сочетания принимаются как комплексы, занимающие среднее положение между группой и элементом. Согласные группируются в сочетаниях по трем классам, как это уже было показано выше:

1. r, ł, l, n, m, f(v), ś(ż); 2. смычные, x, c(ɟ), č(č̣); 3. s(z). В пределах классов мы можем провести более мелкое фонологическое деление на основе корреляций (противопоставлений), например звонких и глухих, твердых и мягких, которые опираются на живые чередования, оглушение конца слова и т. п.

Польские начальные группы гораздо сложнее праславянских, что со всей очевидностью доказывается хотя бы существованием четырехэлементных групп. В то же время польские сочетания в точности соответствуют славянским группам.

Как известно, в праславянском языке все слоги были открытые, в результате чего все внутренние группы относятся всегда к последующему слогу (то есть являются эксплозивными). При анализе эксплозивных групп можно, следовательно, поставить рядом начальные и внутренние группы, что и сделал в своей грамматике старославянского языка Лескин (изд. 1909 г. стр. 53): «Im Wortanlaut stehen im Urslavischen folgende alte Konsonantengruppen, die demnach auch im Silbenanlaut vorkommen können». («В начале слова в праславянском встречаются следующие старые группы согласных, которые впоследствии могли оказаться в начале слога».) В результате исследований Лескин представил возможности праславянского языка следующим образом:

1. Полные формы

s (z) + смычный + r, l, m, n, v;	реализовано:
str (strojiti, bystrъ)	skr (skrebp, iskra)
zdr (только внутри слова: męzdra)	skl (только внутри слова: iśęsklъ)

stv (stvolъ, mǫżystvo)

skv (только в начале слова: skvozé)

II. Сокращенные двухэлементные формы

а) смычный + r, l, n, m, v;		реализовано:	
pr (prosi, veprъ)	tr (tręsti, ǫtrъ)	kr (krasti, mǫkrъ)	xr (xromъ, vixrъ)
br (bratъ, dobrъ)	dr (drugъ, mǫdrъ)	gr (grobъ, igra)	kl (klasti, tekłъ)
pl (pletъ, teplъ)		xl (xlěbъ, dręxlъ)	gl (ględati, męgla)
bl (blęsti, doblъ)		kn (только внутри слова: tǫknǫti)	gn (gněvъ, bęgnǫti)
	tv (tvoriti, klętva)	kv (только в начале слова: kvasъ)	xv (xvala, vlъxvъ)
	dv (dvignǫti)	gv (только в начале слова: gvozď)	
б) s(z) + смычный; реализовано:			
sp (spęti, luspa)	st (stati, męsto)	sk (skočiti, iskati)	
	zd (только внутри слова: męzda)	zg (только внутри слова: mozgъ)	
в) s(z) + r, l, n, m, v ¹ ;		реализовано:	
sl (slędъ, pasłъ)	sn (snęgъ, smęxъ, pismę)		
	pęsnъ	sv (světъ, vlъsvi < vlъxvъ)	
zl (только внутри слова: żezłъ)	zn (znati, čeznǫti)	zv (zvonъ, jazva)	

В результате исчезновения слабых редуцированных, стоящих в первом слоге слова, начальная группа слова совпадала с начальной группой следующего слога и образовывала более сложные группы, составными частями которой были старые праславянские группы, ставшие с точки зрения польского языка сочетаниями². Выделить

¹ sr- > str-, ср. struja, sestra.

² Сочетаниями являются несомненно и те вторичные группы, строение которых идентично строению сочетаний (например, «брать»: brać (< bǫrati), как brat (< bratъ).

их позволил анализ слов с неслогообразующими префиксами, такими, как *f(v)*, *s(z)*. Исходя из неслоговой формы префикса, мы должны предположить наличие старых групп, так как исчезновение редуцированного в префиксе гарантировало его наличие в следующем слоге¹. Прибегая к сочетаниям, мы смогли провести функциональную классификацию польских согласных, которая была бы невозможна, если бы мы исходили из равнозначности всех элементов трех- и четырехэлементных групп. Установление сочетаний позволяет нам разделить согласные на классы, так как праславянские группы согласных, продолжением которых являются польские сочетания, отражают индоевропейскую схему трехклассового деления согласных фонем, причем такие несущественные подробности, как возникновение *z*, упрощение некоторых внутренних групп, опускаются.

В свете истории языка дихотомия польских начальных групп легко объясняется явлением утраты слабых редуцированных. Но если говорить о выработке метода, позволяющего определять функции согласных в построении группы, то этого не может дать одно историческое объяснение, не говоря уже о том факте, что хронологическая перспектива в редких случаях бывает столь же ясной, как в рассмотренном случае.

Полные конечные группы также состоят главным образом из двух сочетаний с той только разницей, что первое из них имеет не п р е в о к а л ь н ы й, как это было до сих пор, а п о с т в о к а л ь н ы й характер².

В положении после гласного нормальным является сочетание, обратное превокальному. В частности, таким сочетаниям, как с м ы ч н ы й + с о н а н т и т. д., соответствуют в качестве поствокальной формы сочетания с о н а н т + с м ы ч н ы й и т. д.³

Следовательно, возможны следующие формы конечной группы:

¹ Если бы часть группы, стоящая после приставки, была вторичной, то есть образовалась после исчезновения *ь*, *ъ*, приставка должна была бы быть слогаобразующей (*we-*, *ze-*, *wez-*).

² В противоположность терминам «эксплозивный» и «имплозивный», которые относятся к позициям групп, термины «превокальный» и «поствокальный» относятся к их форме.

³ Ср. BPTJ, VIII, стр. 105 и TCLP, стр. 58.

1) элемент + элемент;

2) поствокальное сочетание (+ элемент);

3 (элемент +) поствокальное сочетание (двух- или трех- элементное);

4) поствокальное сочетание + превокальное сочетание.

Примеры на 1): pt, pć, pć, tć (poświadczyć «засвидетельствуй!»), kt, ćp (liczb «чисел»), ćt (uczyć «пиров»), xt, ps, ks; śp, śt, śx (zmierzch «сумерки»); mn (hymn «гимн»).

Примеры на 2): поствокальное сочетание:

-г + p, t, k, ć, c, ć, x (parch «парша»); f, s, ś, ś (piegś «грудь»), l, n, ń (cierń «терн»), m.

-ł + p (kiełb «пескарь»), t, k, ć (miaucz «мяукай!»), ć, f, (zółw «черепаха»), ś (małż «раковина»), ń (spełń «исполни!»), m (hełm «шлем; холм»).

-l + p (strzelb «винтовок»), t, k, c (walc «вальс»), x (olch «ольх»), f, s, ś (odwilż «оттепель»), m.

-п + t, k, ć, c, x (węch «нюх»), f (tyńf «старинная польская монета»), s, ś.

-ń + p (hańb «позоров»), ć, ć (chęć «желание»), ś (geś «гусь»).

-m + p (tęp «истребляй»), ć (znieucz «онеметь»), x (czeremch «черемух»), s, ś, (tłamsz «сплющ»), ś, (zamsz «замша»).

-f + t, ć (sprawdź «проверь!»).

-j + p, t, k (strajk «забастовка»), c (lejc «вожжей»), ć, p (pejs «пейс»), ś (czyjś «чей-нибудь»), ś (spójrz «посмотри!»).

Поствокальное сочетание + элемент: (sfi-)nks «сфинкс», (ku-)nzt «искусство», (ge-)ńćp «песнопений», (asu-)mpt «повод», (he-)rzt «атаман».

Примеры на 3): двухэлементные превокальные сочетания: pr, tr, xg (wichr «вихрь»), [fr (cyfr «цифр»)], dr (kadr «кадров»), pś (wieprz «вепрь»), xś (wichrz «мети, раздувай»), kl (cykl «цикл»), [fl (trefl «трефь»)], dl (módl się «молись»), namydl «намыль»), pń (pawarń «произвесткуй»), tm (rytm «ритм»), dm (wydm «дюн», odm «вдуваний»), źm (wiedźm «ведьм»), tf (modlitw «молитв»), sp, śp, st, śc, sk (ścisk «сжимание»), śc, śl, śń, sm, śm (taśm «лент»), sf (nazw «названий»), śf (orzeźw «отрезви»), zp (blizn «шрамов»).

Трехэлементные превокальные сочетания: str (sióstr «сестер»), stś (ostrz «точи»), stf.

Элемент + превокальное двухэлементное сочетание:

x/ʈr (blichtr «блестка»), l/ʈr (filtr «фильтр»), c/ʈf (wydawnictw «издательств»), k/ʈst (tekst «текст»), r/ʈst (wiorst «верст»), m/ʈst (pomst «местей»), r/śc (garść «горсть»), p/sk (babsk «баб»), j/sk (wojsk «армий»), r/sč, l/sč (spolszcz «сделай польским!»), j/sc (miejsce «мест»), j/śc (dojść «дойти»), l/śń (pilśń «фетр»). Большинство этих групп (в словах filtr, wiorst, garść и др.) может быть рассмотрено как поствокальное сочетание + элемент.

Элемент + поствокальное трехэлементное сочетание: p/ʈst̩ (zapstrz «сделай пестрым»), p/ʈstf (głupstw «глупостей»), f/ʈstf (ludoznawstw «этнографий»), marnotrawstw «рахищений»), r/ʈstf (warstw «слоев», bzdurstw «бессмыслиц», bajczarstw «сплетен, разговоров»), ń/ʈstf (państw «государств»), m/ʈstf (kłamstw «неправд»), j/ʈstf (zabójstw «убийств»). Здесь также некоторые группы (например, в warstw) допускают деление на поствокальное сочетание + превокальное сочетание.

Примеры на 4): поствокальное сочетание + превокальное сочетание: nc/ʈf (intrygantw «коварств»), mp/sk (strzępsk «обрывков», kępsk «пучков»), fc/ʈf (szewctw «сапожных ремесел»); mp/ʈstf (przestępstw «преступлений», skąpstw ген. мн. ч. от «скупость»).

С исторической точки зрения такое положение вещей объясняется относительно просто. В результате оглушения конечных редуцированных на конце слова оказались либо отдельные согласные, либо сочетания, которыми начинался когда-то последний слог. Кроме того, в общеславянскую, лехитскую или прапольскую эпоху существовали внутренние закрытые слоги на r, l; так, например, общеславянские слоги or, ol существовали наряду с открытыми слогами ɹ, ʌ; в то же время в польском существуют не только открытые слоги с ro, lo, но и закрытые с ar, 'er, (< ɹ), eɹ, il (< ʌ). Благодаря этому польский язык унаследовал конечные группы, которые были не только превокальными сочетаниями по крайней мере в случаях r, ʌ, l + согласный, или r, ʌ, l + превокальное сочетание. Фактором, создавшим новые поствокальные сочетания и группы, было также расщепление ɛ > ep (em), ɔ > op (om) по крайней мере в разговорном литературном произношении. Само появление поствокальных сочетаний в

таких словах, как *czart* «гончая», *ćwierć* «четверть», *kiełb*, *wilk*, «волк» и т. п., явилось исходным моментом для восстановления поствокальных сочетаний в конце слова. В дальнейшем упомянутая выше первичность эксплозии по отношению к имплозии сделала возможным образование сложных конечных групп по следующим моделям:

Превокальное сочетание: превокальное сочетание, следующее за превокальным внешним сочетанием (в начале слова).

Поствокальное сочетание: поствокальное сочетание, после которого следует внешнее превокальное сочетание (в конце слова)¹.

Явление инверсии существует, по-видимому, не только для начальных сочетаний типа *с м ы ч н ы й* + *с о н а н т* и т. д., которым в качестве сочетаний соответствуют в конечных группах соединения *с о н а н т* + *с м ы ч н ы й* и т. д., но и для двучленных начальных групп, как это следует из примеров типа *wieszczb* «пророчеств» (*z̥č* p — инверсия к *p* *z̥č*: *pszczoła* «пчела», *Pszczyna* «Пшчина», *astm* «астм» (*st* m — инверсия к *m* *st*, ср. *mścić* «мстить», *mzda* «мзда»), *wychrzt* «выкрест» (*x̥z̥* t — инверсия к *t* *x̥z̥*, ср. *p* *x̥l*-, *t* *kl*-). Иначе говоря, создание подобной односложной формы (*wieszczb* или *astm*) опирается на фонологическую пропорцию *tr* : *rt* = *p* *z̥č*, *m* *st* : *z̥č* *p*, *st* *m*. В случае перестановки в пределах группы ее сочетания сохраняются, то есть функционируют сами как элементы.

Инверсия действительна и для таких сокращенных форм, как, например, *э л е м е н т* + *э л е м е н т*, не создающих сочетания. Образование форм, подобных *liczb* (* < *licbьb*), *uczł* (< **uцьtь*) вместо **liczeb*, **uczet*, где нам приходится иметь дело с исчезновением двух следующих друг за другом редуцированных (если рассматривать это явление исторически), стало возможным благодаря существованию начальных двучленных групп *p-č*, *t-č* (например, в **pczoła*, *Tczew* и т. п.). Случаи *szept* «шепот», *nikt* «никто» подкрепляются начальными группами слов *dbać* «заботиться», *tkać* «ткать», причем в начале слова

¹ То же самое явление встречается в немецком языке: *Herbst* «осень» (*gerbst* «ты дубишь», *lobst* «ты хвалишь») делится на *gb* (ср. *br* в начале слова) + начальная группа *st* и т. д.

возможны «пустые клетки» (tp не засвидетельствовано, есть лишь звонкое db).

Переходя к внутренним группам, изложим сначала некоторые принципы, выдвинутые в работе, упомянутой выше.

1) Группа согласных внутри слова не существует в принципе как (относительное) единство. По к р а й н е й мере последний элемент всегда относится к следующему слогу. Если к следующему слогу относятся все элементы, то приходится иметь дело с начальной группой слога. Однако чаще внутренняя группа распределяется между двумя соседними слогами.

2) К следующему слогу относится не только последний элемент, но и те предшествующие элементы, которые могут образовать начальную группу с л о в а. К предшествующему слогу относятся те элементы, которые могут образовать конечную группу с л о в а.

Если учесть большие возможности польского языка в образовании групп, то слоговое деление внутренних групп согласных (членение на две части) не может быть определено однозначно. Правила, опирающиеся на систему языка, можно сформулировать следующим образом:

а) При делении слова на слоги преимущество отдается морфологической границе, за исключением ограничения 1): последний элемент интервокальной группы или единичный интервокальный согласный должен принадлежать последующему слогу, например *pie-sek* «собачка» (морфологически *pies-ek*). Важно, чтобы это правило действовало только между корнем и аффиксом (окончанием), а не между префиксом и корнем (*od-uczyć*). Точно так же дело обстоит в немецком языке: *Le-ser* «читатель» (морфологически *Les-er*), но *er-obern* «завоевывать».

б) Если морфологической границы нет, то в группах, состоящих из трех и более элементов, преимущество отдается делению, не разбивающему сочетаний. Это правило почти не имеет применения. Большинство слов, как это видно из сопоставлений Баргелувны, имеют морфологическую границу; в некоторой части остальных слов мы можем выбирать между поствокальным и превокальным сочетанием (например, *par-dwie* «куропатки» или *pard-wie*). Важнее всего то, что мнемотехническое отягощение

теорией сочетаний бессмысленно для такого незначительного явления, как орфографическое деление. Остается правило об общей допустимости определенных групп в начале или конце слова. Следовательно, возможно: *osetbrowanie* «обшивание досками, облицовка» и *osetb-rowanie*, *diop-tra* «диоптрия» и *diop-t-ra* и т. д.

в) Во внутренней двухэлементной группе (если перед ней или через нее не проходит морфологическая граница) возможность отнесения первого согласного к следующему слогу зависит исключительно от того, допустима ли соответствующая двухэлементная группа в начале слова. Следовательно, возможны *kob-za* «кобза» и *ko-bza*, но только *kon-dor* «кондор». Сочетания рассматриваются здесь наряду с другими двухэлементными группами, поскольку они не входят в состав больших групп.

Все эти замечания о группах согласных не претендуют на окончательное решение проблемы, важной не только для изучения структуры польского языка, но и для общего языкознания. Мы стремились продемонстрировать здесь новый метод исследования, ценность и полезность которого будет оценена лингвистической практикой.

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ¹

(1939)

В области акцентологии воззрения младограмматиков и предрассудки в силу инерции удерживались особенно долго, и можно сказать, что они живы по сей день. Объяснить это можно двумя причинами.

Прежде всего сложным характером акцентологических явлений (мы ограничимся здесь славянскими и балтийскими языками). Ударение как характеристика целого слова или, по крайней мере, морфемы («Gestaltqualität»), а не какой-либо отдельной гласной фонемы или слога играет как фонетическая категория более значительную роль в морфологии, чем какая-либо другая, фонетическая категория (количество, окраска гласных, палатальность согласных и т. д.). В связи с этим установить «абсолютные фонетические законы» в области акцентологии значительно труднее, чем где бы то ни было. Количество морфологических «аналогических» инноваций так велико, что последователь младограмматиков мог бы в результате каждой новой попытки объяснения отдельных конкретных вопросов потерять веру в свои силы и власть в скепсис. В этом нет ничего удивительного, так как школа младограмматиков не могла объяснить «аналогических» изменений как явлений функционального характера, то есть изменений, вызванных либо семантическими сдвигами, либо действием и отражением в области морфологии звуковых законов. Младограмматики не понимали связи между фонетической и морфологической системами, а также законов морфологической структуры, так как у них не было принято понятие системы языка.

¹ J. Kuryłowicz, Do metodyki badań akcentowych, *Polono-Slavica* ofiarowane prof. H. Ułaszynowi, 1939, стр. 111—112.

Вторая причина, тесно связанная с первой, заключается в возможности абстрагироваться от акцентуации при исследовании морфологических проблем. В структуре слова или морфемы ударение обосновывается (имплицитруется) определенным суффиксом, падежным окончанием и т. п. и представляет собой как бы надстройку над готовой формой слова, надстройку, которая может быть снята без ущерба для фундамента. Обратный процесс был бы невозможен: нельзя исследовать ударение без учета морфологического строения слова, но детальное описание грамматики, как это уже показала практика, вполне возможно без описания ударения (ср. старославянский и др.). Следует отказаться от точки зрения, согласно которой описание морфологии без учета акцентологических законов является неточным. Оно будет неполным, но в своих замкнутых границах вполне точным.

Итак, специфические трудности, связанные с акцентологическими проблемами, и возможность отвлечься от этих проблем без ущерба для точности морфологических исследований, явились причиной того, что работ, посвященных этим проблемам, сравнительно мало. Поскольку получить «чистые» фонетические результаты невозможно, мнения по этим вопросам были достаточно субъективны и подкреплялись в основном авторитетом предшествующих исследований. Нерушимыми и не подлежащими критике результатами исследований считаются прежде всего следующие утверждения, касающиеся акцентно-интонационных отношений в литовском языке: 1) так называемый закон Лескина о сокращении гласных под акутом в конечных слогах; 2) так называемый закон де Соссюра о передвижении ударения на последующий слог при определенном интонационном строении (краткий гласный или гласный под циркумфлексом + гласный под акутом); 3) идентификация с точки зрения интонации конечных литовских слогов с конечными греческими слогами (Беценбергер).

Ошибочность этих утверждений отмечалась нами неоднократно¹. Здесь же мы хотели бы обратить внимание

¹ J. Kuryłowicz, Le problème des intonations balto-slaves, RS, X, 1931, стр. 1—80, особенно 45—53; ег о же On the

на то, что они недопустимы с точки зрения современного языкознания, другими словами, что прежде, чем приступать к детальному изучению фактов исключительно на основе определения интонации и синхронического описания интонационных систем греческого и литовского языков, от воззрений, опирающихся на эти утверждения, нужно отказаться. Этот вывод, хотя и негативный, должен иметь значение для акцентно-интонационной славянской системы, которая столь близка литовской со структурной и исторической точек зрения.

Прежде всего легко заметить, что 1 и 2 утверждения, в особенности второе, справедливы лишь в том случае, если предположить, что когда-то, в доисторическую эпоху, литовский язык различал интонации также и в б е з у д а р н ы х с л о г а х (речь идет главным образом о безударных к о н е ч н ы х слогах). Однако с таким утверждением нельзя согласиться. Интонации представляют собой акцентные переходы (неважно динамического или тонического характера), поэтому фонологически они могут существовать лишь в ударных слогах. Правда, известно, что, например, в литовском языке все предударные слоги имеют восходящую интонацию, а все заударные — нисходящую, однако с фонологической точки зрения этот факт не имеет значения, так как ни в одном безударном слоге восходящая интонация не может быть противопоставлена нисходящей. Это противопоставление выступает только п о д у д а р е н и е м. Мы отстаивали такое понимание вещей уже в 1931 г., опираясь на показательные эмпирические данные Яунюса. В то же время Эндзелин (LSP, XV, 1938, стр. 349) заявил недавно о существовании интонационных различий в безударных слогах латышского языка. Приводимые им примеры неубедительны. Эндзелин принял за особую, третью интонацию, выступающую наравне с восходящей и нисходящей, гортанную смычку, которая часто сопутствует артикуляции долгих гласных

development of the Greek intonation, L, VIII, 1932, е г о ж е L'indépendance historique des intonations baltiques et grecques, BSL, XXXV, 1934, стр. 24—34; ср. также Atti del III Congresso Internazionale dei Linguisti, Roma, 1933, стр. 98—100. В печати: J. Kuryłowicz, Intonation et morphologie en lituanien, SB, VII.

и дифтонгов. Это методическая ошибка, состоящая в смешении синхронической и диахронической точек зрения. С диахронической, или исторической, точки зрения артикуляцию с гортанной смычкой следует считать продолжением восходящей интонации в определенных условиях, а с описательной, или синхронической, точки зрения среди долгих гласных и дифтонгов необходимо различать группу с гортанной смычкой и группу без нее; интонационные различия возможны лишь во второй группе, и то только под ударением. Так, противопоставление *ticiba* «вера»: *ti-cîgs* «верящий» (ударение в обоих случаях падает на первый слог) говорит не в пользу Эндзелина. В *ti-cîgs* имеется долгий безударный гласный со смычкой гортани, в *ti-cî-ba* — тот же гласный без смычки. Хотя знак $\sim$ служит обычно для обозначения восходящей интонации у долгих гласных (и дифтонгов) первого слога, то есть ударных, его можно использовать и для обозначения долгих безударных гласных, как знак $\wedge$ в сербохорватском языке. Знак $\sim$ в первом слоге слова выполняет одну функцию, а во всех остальных слогах — иную, так же, как знак $\wedge$ в сербохорватском.

Другие примеры Эндзелина — это сложенные слова, причем их сложный характер проявляется весьма отчетливо. Например *at-zît* «узнать», но *mîo-ziegtiês* «совершить преступление». Главное ударение в обоих случаях падает на первый слог, то есть на глагольную приставку, а корень имеет морфологически обусловленное побочное ударение, почему в корневом слоге и становится возможным появление наряду с ударением интонационных различий, сопровождающих ударение. Наоборот, сохранение побочного ударения в начальных слогах таких форм, как *tâ-pati* «та же самая»: *tâ-ra-za* «того же самого» (главное ударение падает на второй слог), влечет за собой сохранение интонационных различий: *tâ* «эта», *tâ* «этого».

Эндзелин считает, что пралатышский язык когда-то (до стабилизации ударения на первом слоге) различал интонации также и в предударных слогах, но эта гипотеза не находит подтверждения в функциональном анализе различных языков в исторический период, а скорее даже противоречит ему. Если согласиться с тем, что в

латыш. *rēḡkuns* = лит. *perkūnas* «гром» или латыш. *līdeka* = лит. *lydekà* (ген. *lydēkos* «щука») латышское начальное ударение младше литовского конечного или внутреннего ударения (что весьма правдоподобно), то тогда следует считать интонационное различие в ударном слоге латышского языка не отражением интонационного различия в предударном слоге, а дифференциацией, которая стала возможной благодаря ударению и обусловлена другими фонетическими факторами, прежде всего структурой слога (количество и т. д.) и влиянием родственных и других форм.

В той же работе Эндзелин отрицательно высказывается об одном аргументе, доказывающем отсутствие интонации в языке Ригведы. Интонация всех предударных слогов обозначается в этом тексте знаком — (под строчкой), а интонация всех заударных слогов — знаком' (над строчкой). Мы имеем здесь дело с точным наблюдением и обозначением чисто звуковых явлений, обусловленных механически и не имеющих значения для фонологической системы. Отсюда вывод, что, если бы в языке Ригведы существовала фонологическая категория интонации (в ударном слоге), она бы тем более была замечена и для нее было бы введено соответствующее графическое изображение. Эндзелин не учитывает этого, когда говорит: «Я полагаю, мы могли бы принять, что, например, латышские *vīle* «напильник» и *vīle* «опушка» произносятся интонационно с одним и тем же *i*, так как в обычной орфографии оба эти слова пишутся совершенно одинаково (теперь *vīle*, раньше *wihle*)».

В свете изложенных соображений вызывает сомнение обычная формулировка закона де Соссюра: на самом деле — могли ли интонационные различия выступать в пределах безударного (конечного) слога? Ответ может быть только отрицательным. Решающую роль здесь могли играть только конечная позиция, отсутствие ударения и структура слога (открытый или закрытый, с кратким или долгим гласными). Я сознательно не касаюсь здесь положительного решения, уже обсуждавшегося в другом месте, которое состоит в синтезе законов де Соссюра и Лескина, причем одновременно исключает понятие акута в безударном (конечном) слоге.

Генетическое отождествление литовских интонаций с греческими (в конечном слоге) содержит серьезную методическую ошибку, на которую смогла указать, правда, только современная фонология. Против таких сопоставлений, как *algà* «жалованье» = $\acute{\alpha}\lambda\phi\acute{\eta}$, *algōs* «жалованья» = $\acute{\alpha}\lambda\phi\acute{\eta}\varsigma$, нельзя возразить в общем плане, в духе Мейе, заметив, что отдельные соответствия, выхваченные из двух различных систем, еще не свидетельствуют об общем происхождении этих систем. Ведь фонетика индоевропейских языков на каждом шагу снабжает нас примерами разных, но исторически родственных систем. Такова система смычных согласных: четырехэлементная в древнеиндийском, тройная — в греческом языке, двойная — в славянском. Именно конкретные сопоставления показывают, каким глубоким преобразованиям подверглась определенная первоначальная система на почве отдельных языковых единиц. Отсюда вытекает, что если греческий язык в противоположность литовскому не знает интонационных различий в сочетаниях краткий гласный + тавтосиллабически *e r, l, m, n*, то это не может быть аргументом против интонационных равенств *algà* = $\acute{\alpha}\lambda\phi\acute{\eta}$, *algōs* = $\acute{\alpha}\lambda\phi\acute{\eta}\varsigma$.

Методическая ошибка данного сопоставления состоит в отсутствии предварительного функционального описания обеих систем, которое ясно показало бы, что мы имеем здесь дело с взаимно исключающими системами. В крайнем случае индоевропейским наследием можно было бы считать только одну из них.

В литовском языке акутовая интонация противопоставлена циркумфлексной только в конечных ударных слогах. В конечных ударных слогах возможна лишь циркумфлексная интонация. Впрочем, вероятно, в защиту законов де Соссюра и Лескина и для согласования их с современным состоянием литовского языка была выдвинута гипотеза о том, что акутовая интонация, существовавшая некогда, согласно этим законам, также и в конечных слогах перешла в определенный момент в циркумфлексную и таким образом в конечных слогах больше не существует (Шпехт).

Однако, поскольку ошибочность законов де Соссюра и Лескина уже доказана, не остается сомнений и в ошибочности гипотезы Шпехта. Распределение интонации в литовском языке исторической эпохи указывает на то, что акутовая интонация встречается только там, где фонетически допустима и циркумфлексная интонация, а циркумфлексная интонация — т а к ж е и т а м, где акутовая интонация фонетически невозможна, а именно в конечных слогах. Согласно фонологическим принципам, отсюда следует вывод, что в литовском противопоставлении ц и р к у м ф л е к с : а к у т первый является так называемым негативным, а второй позитивным членом противопоставления. Иначе говоря, с функциональной точки зрения циркумфлекс является не чем иным, как только акцентуацией долгого гласного или дифтонга, а акут добавляет к этому еще и момент интонации. Следовательно, здесь имеет место то же самое отношение, что и между польскими *р* и *б*; к признакам *р* нужно добавить положительный признак звонкости, чтобы получить *б*; глухость *р* — не положительный признак, а отсутствие положительного признака. Это соотношение является следствием того, что существует позиция (абсолютного конца), в которой *р* может существовать, не противопоставляясь *б*.

В греческом языке дело обстоит иначе. Там обе интонации противопоставляются в конечном слоге. В некоторых слогах, то есть практически во втором и третьем слоге от конца, интонационного противопоставления не существует. В основном там возможен лишь акут; циркумфлекс является комбинаторной заменой акута, в частности в предпоследнем слоге, если последний слог краткий. Из этого распределения следует, что в греческом языке акут является лишь акцентуацией долгих гласных и дифтонгов, а интонацию представляет как дополнительный признак ударения циркумфлекс. Циркумфлекс выступает главным образом только там, где он противопоставляется акуту (то есть в конечном слоге), а акут возможен и в других позициях. Характер фонетического (комбинаторного) варианта, приписываемого циркумфлексу предпоследнего слога, можно сравнить (если снова обратиться к примеру польского *р* : *б*) с факультативным.

тивным озвончением (конечного) -р перед гласным или звонким согласным следующего слова.

Короче говоря, положительный признак интонации появляется в литовском языке лишь в неконечных слогах (как акут), а в греческом языке — в конечных слогах (как циркумфлекс). Обычно же в каждом сопоставлении греческой и литовской форм только одна из них может иметь интонацию, другая же характеризуется ее отсутствием (нулем интонации). Так, например, в *algōs* = *ἄλγῆς* в греческом языке выступает интонация (фонетически допустимым было бы и *-ῆς*, ср. например, *εὐγενής*), а в литовском ее не только нет, но она и фонетически невозможна (**algōs* недопустимо с точки зрения системы литовского языка). В случае *riēva* = *ροῖ(ς)ῆ* имеет место обратное положение вещей. В литовском слове выступает интонация (**riēva* — фонетически возможная форма, ср., например, *liēka*), а в греческом ее нет и не может быть, так как система этого языка не допускает акцентуации типа **ροῖ(ς)ῆ*.

Положение таково, будто определенной фонеме одного языка в другом всегда соответствует нуль и одновременно той же фонеме второго языка всегда соответствует нуль в первом языке. Но можно ли в таком случае возводить данную фонему к праязыку и признавать обе фонемы исторических языков ее рефлексами? Нам представляется, что ответом на этот вопрос может быть лишь категорическое «нет». Признав какое-нибудь из распределений (между данной фонемой и нулем), засвидетельствованных историческими языками, первоначальным, мы должны были бы одновременно признать, что во втором языке данная фонема сначала исчезла, а затем появилась вновь. Следовательно, и греческие, и литовские интонации не могут одновременно восходить к индоевропейскому языку. Индоевропейской может быть, в крайнем случае, лишь одна из этих систем. Но тем самым вероятность индоевропейского происхождения становится минимальной. Действительно, в обоих случаях мы имеем дело с самостоятельным развитием.

Третье принципиальное возражение против предшествующих интонационно-акцентологических исследований вызывает методически ошибочная позиция многих иссле-

дователей в отношении так называемой метатонии. Для простоты изложения я понимаю под ней появление циркумфлексной интонации вместо ожидаемой по теории де Соссюра акутовой в долгих гласных и дифтонгах. Считается, что циркумфлексная метатония — проявление непоследовательности, отступление от нормы, а также, что это явление — более позднее по сравнению с образованием категории интонации. Такой подход ошибочен, так как отсутствие циркумфлекса на долгих гласных и дифтонгах сделал бы невозможным фонологизацию акутовой интонации. Интонацию (имеется в виду акутовая интонация в балтийском и славянском языках) можно определить лишь посредством противопоставления этой интонации отсутствию интонации (то есть циркумфлексной интонации в балтийском и славянском языках) в идентичных условиях. Если же акут выступал в долгих гласных и дифтонгах, то там же должен был появляться и циркумфлекс. Из этого следует, что метатонии надо считать явлением, современным появлению интонации.

Но дело не только в этом. Акутовая интонация на долгих гласных и дифтонгах считается нормальной на том основании, что она преобладает или кажется количественно преобладающей над циркумфлексной метатонией. Впрочем с точки зрения современной лингвистики это мнение необоснованно. Статистика неприменима к системе и иерархии ее частей. В морфологии имеет существенное значение не численность групп, а их продуктивность или непродуктивность.

В интересующем нас случае статистический подход неуместен и безрезультатен. В то же время рассуждение о фонологическом отношении обеих интонаций друг к другу требует совершенно иного, противоположного традиционному, подхода к этой проблеме. Когда мы решаем вопрос о происхождении интонации и циркумфлексной метатонии (оба эти вопроса неразрывно связаны между собой), мы должны придать ему следующую форму: каким образом появилась в языке интонация (акутовая интонация в балтийском и славянском языках)? Она образовалась в долгих ударных гласных и дифтонгах, но лишь при определенных условиях, которые необходимо обнаружить

и описать. Циркумфлексная же метатония — это негативное явление, которое невозможно определить с помощью положительных условий: мы находим ее остатки там, где не существовало положительных условий для образования акута.

Чтобы понять важность такого изменения в формулировке вопроса, достаточно вспомнить историю скандинавской акцентуации. Сформулированное замечательным скандинавистом А. Коком решение этой проблемы¹ было в корне ошибочно именно потому, что рассматривало обе акцентуации как равноценные и независимые, а не как иерархически соподчиненные (негативная : позитивная).

¹ А. К о с к, Die alt- und neuschwedische Akzentuierung, 1901; ср. также SprPAUm, 1936, стр. 301—306.

О ПОНЯТИИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ СОГЛАСНЫХ ¹

(1948)

Термин «передвижение согласных» стал техническим термином: он не обозначает какие угодно изменения любых согласных фонем, а относится только к взрывным (р, б; т, д; к, г; иногда также q^u, g^u). Изменение, обозначаемое этим термином, не является обусловленным, то есть имеет место не только в совершенно определенных позициях, как это было, например, с озвончением или спирализацией согласных в интервокальном положении в романских языках. Наоборот, это изменение является почти абсолютным, то есть оно осуществляется во всех положениях, кроме положения после s (другие исключения значения не имеют). Наконец, всякое передвижение согласных представляет собой сложное явление, делящееся на несколько этапов. Характерно, что в результате передвижения старое противопоставление р : б и т. д. может появиться вновь, не будучи при этом прямым продолжением исходной пары р : б, оба члена которой были затронуты передвижением. В самой общей формулировке передвижение согласных заключается в оглушении звонких взрывных и в аспирации или даже одновременной спирализации глухих взрывных.

Среди индоевропейских языков пример передвижения согласных дают германские языки и армянский. В германистике принято различать первое, или общегерманское, передвижение, происшедшее, очевидно, во второй половине первого тысячелетия до нашей эры, и второе, или древневерхненемецкое, передвижение, относящееся

¹ J. Kuryłowicz, Le sens des mutations consonantiques, L, I, 1, 1948, стр. 77—85. См. также ВРТЖ, XVII, 1958, стр. 203—206.

к VI веку нашей эры. В армянском также произошло два передвижения: одно доисторическое, общеармянское, а второе — историческое, ограниченное отдельными диалектами.

Примеры первого общегерманского передвижения:

1. лат. *pesci* «скот», *tacere* «молчать», *cario* «брат, хватать», гот. *faihu*, *ṛahan*, *hafja*;

2. лат. *duo* «два», *gustus* «вкус»: гот. *twai*, *kustus*;

3. др.-инд. *bhárati* «несет», *dádhati* «ставит, кладет», *hyáh* «вчера»: гот. *baíriþ*, *deþs*, *gistra*;

4. Изменение, называемое законом Вернера и состоящее в озвончении глухих спирантов *s*, *f*, *þ*, *h* при определенных условиях, связанных с ударением.

Эти четыре этапа не являются, по-видимому, синхронными. Этап 4 явно имел место позже этапа 1, так как спиранты *f*, *þ*, *h* возникли именно в результате осуществления этапа 1. С другой стороны, этап 3 иногда рассматривается как предшествующий этапу 1. Здесь мы ограничимся только этапами 1 и 2. Изменение 3, касающееся индоевропейских аспират, в ходе второго передвижения не повторяется, так как в общегерманском придыхательные взрывные уже перестали существовать; таким образом, это изменение не является общей особенностью обоих германских передвижений. Изменение 4 еще менее характерно для передвижения согласных. Зависимость глухих спирантов от места ударения не встречается ни в немецком передвижении, ни в древнеармянском, где ударение потеряло свою подвижность. Поэтому мы будем интересоваться только судьбой глухих и звонких взрывных.

Примеры передвижения согласных в древнеармянском:

1) лат. *pater* «отец», *septem* «семь», *argentum* «серебро», *linquo* «оставляю»: др.-арм. *hair*, *eut'n*, *arcat'*, *lk'anem*;

2) лат. *domus* «дом», др.-прусс. *geppo* «женщина»: др.-арм. *tun*, *kin*;

3) др.-инд. *bhrātā* «брат», *dádhati* «ставить», *ghnānti* «убивать»: др.-арм. *eḥbair*, *dnem*, *gan*.

Здесь также случаи 1) и 2) относятся к судьбе глухих и звонких взрывных в индоевропейском.

Наконец, древневерхненемецкое передвижение. В качестве иллюстрации приведем древневерхненемецкие формы в сравнении с древнесаксонским; будучи языком наиболее близким к древневерхненемецкому, он тем не менее сохранил древний германский консонантизм.

1. др.-сакс. *hlôpan* «бежать», *mëtan* «измерять», *makon* «делать»: др.-в.-нем. *hloufan*, *mëzzan*, *mahhôn*; др.-сакс. *wërpan* «бросать», *wurt* «корень», *wurkian* «работать»: др.-в.-нем. *wërpfan*, *wurz*, *wurchen*;

2. др.-сакс. *bëran* «нести», *dôn* «делать», *gast* «гость»: др.-в.-нем. *përan*, *tuon*, *kast*.

Древневерхненемецкие формы, приведенные в пункте 2), даны в древнебаварской орфографии. Результаты второго передвижения проявляются в пяти основных диалектах древневерхненемецкого неодинаково — между диалектами имеются важные различия в деталях. Для нашей цели достаточно принять, что звонкие взрывные становятся ненапряженными, «слабыми» (= *lenes*), теряя при этом свою звонкость, что отмечается в баварской и алеманской орфографии с помощью *p*, *t*, *k*. Глухие взрывные становятся в зависимости от позиции либо спирантами, либо аффрикатами.

По мнению некоторых известных лингвистов, современный датский язык переживает в настоящее время новое передвижение согласных, которое эти лингвисты называют третьим. В самом деле, в датском (в противоположность шведскому, норвежскому, голландскому, английскому, нижненемецкому) согласные *b*, *d*, *g* потеряли свою звонкость. С другой стороны, согласные *p*, *t*, *k*, хотя и не превратились в спиранты или аффрикаты, настолько сильно аспирируются, что в некоторых позициях создают акустическое впечатление аффрикат (например, начальное *t* перед *i*). Примеры: *Gade* «улица»: дат. *kalde* «звать», *Dag* «день»: *tage* «брать», *bede* «просить»: *Pige* «девушка».

Здесь важно то, что отношение между обоими членами пары *p* : *b* и *t*. д. в датском или в верхненемецком не таково, как в остальных германских, славянских или романских языках. В этих последних согласные *b*, *d*, *g* являются маркированными фонемами: они имеют признак (*marque*) звонкости, которого лишены согласные *p*, *t*, *k*.

Это субъективное ощущение основано на объективном факте: на соотношении сфер употребления глухих и звонких взрывных.

Так, в польском или русском оба ряда согласных (глухие и звонкие) равноправны повсюду, кроме конца слова, где употребляются только глухие. В области семантики (в логике) содержание находится в обратной зависимости от сферы употребления (чем шире сфера употребления, тем беднее содержание; чем уже сфера употребления, тем богаче содержание, ср., например, *chien* «собака»: *basset* «такса»); то же и в фонетике: тот член противопоставления, который имеет более ограниченную сферу употребления, воспринимается как имеющий добавочный признак (по сравнению с другим членом). Поэтому языковое чутье поляков или русских стремится обнаружить в *b*, *d*, *g* некий положительный признак (соответствующий ограниченному употреблению этих согласных) и находит этот признак в их звонкости. Ни более энергичная артикуляция согласных *p*, *t*, *k*, ни их придыхательность как положительный признак не воспринимаются.

Иначе обстоит дело в датском или верхненемецком, особенно во франкских диалектах. В этих языках функциональная сфера согласных *p*, *t*, *k* является более узкой, чем сфера употребления *b*, *d*, *g*, и поэтому *p*, *t*, *k* воспринимаются как маркированные по отношению к немаркированным *b*, *d*, *g*. Именно в *p*, *t*, *k* языковое чутье ищет положительный признак и находит его в силе артикуляции (напряжение мускулов) или в придыхательности. Немецкие лингвисты пользуются терминами *lenis* : *fortis* (или *tenuis lenis* : *tenuis fortis*)¹, подчеркивающими силу артикуляции, или *unbehaucht* : *behaucht*, отмечающими наличие или отсутствие придыхания. В обоих случаях согласные *b*, *d*, *g* рассматриваются как немаркированные.

В свете вышесказанного передвижение согласных — это в действительности не что иное, как обращение отношения между *p*, *t*, *k* и *b*, *d*, *g*. Являясь первоначально отношением между глухими и звонкими (как во французском, польском, русском и т. д.), оно становится в

¹ *tenuis* «глухой» (*media* «звонкий»).

результате обращения фонологической корреляции от отношением между напряженным (придыхательным) взрывным и ненапряженным, или «слабым» (непридыхательным) взрывным. Отсюда вытекает два следствия: поскольку фонемы *b*, *d*, *g* становятся немаркированными, их звонкость теряет свое значение в фонологической системе и исчезает; с другой стороны, придыхательность сильных согласных (*p*, *t*, *k*) приводит к дальнейшему преобразованию этих согласных в аффрикаты и спиранты.

Однако констатация того факта, что передвижение согласных состоит в обращении отношения *p* : *b*, *t* : *d*, *k* : *g*, не является сама по себе объяснением передвижения, так как не указывает его причину. Некоторые лингвисты искали эту причину в различии между артикуляционной базой, существовавшей в индоевропейских языках, и артикуляционной базой догерманского языкового субстрата. Но это объяснение не является лингвистическим, и лингвиста не интересует, насколько оно истинно. Подлинно лингвистическое объяснение передвижения должно состоять в сведении этого явления к более элементарным явлениям обычной фонологической системы, например к совпадению (идентификации) двух фонем, исчезновению фонем и т. д.

Именно обращение отношения между *p*, *t*, *k* и *b*, *d*, *g* представляет собой основную особенность передвижения согласных, позволяющую нам провести лингвистическое объяснение. Это обращение должно быть следствием либо сужения сферы употребления фонем *p*, *t*, *k*, либо расширения сферы употребления фонем *b*, *d*, *g*, либо, наконец, обоих факторов вместе. Рассмотрим с этой точки зрения передвижения согласных в древневерхненемецком и датском, имевшие место в исторический период.

Состояние древневерхненемецкого языка перед вторым передвижением было в принципе идентично состоянию в древнесаксонском или в англосаксонском. В этих языках противопоставление *p* : *b*, *t* : *d*, *k* : *g* существует во всех положениях¹, кроме положения после *s* (ср. такие примеры на отсутствие противопоставления *t* : *d* после *s*, *h*, *f*, как

¹ Звонкие спиранты *β*, *γ* были в эту эпоху лишь комбинаторными вариантами *b*, *g*.

maht «власть», haft «плен»). В этих языках встречаются группы *sp*, *st*, *sk* и не встречаются группы *sb*, *sd*, *sg* (которые реализовались бы как *zb*, *zd*, *zg*), поскольку в западногерманских языках *z* в этой позиции исчезало (например: нем. *Miete* «арендная плата», англ. *meed* «награда» при гот. *mizdo*, ст.-сл. *мызда*) или переходило в *g* (например: нем. *Mark* «костный мозг» = ст.-сл. *mozgъ*). Таким образом, в западногерманских языках ряд *p*, *t*, *k*, имеющий более широкую сферу употребления, чем ряд *b*, *d*, *g*, воспринимался как немаркированный по отношению к *b*, *d*, *g*. Этому последнему ряду приписывался положительный признак звонкости. Таково в общих чертах положение вещей в современном нижненемецком. Заметим, что в нижненемецком нейтрализация отношения *p* : *b* и *t* : *d* в пользу глухого происходит также в конце слова.

Второе передвижение согласных объясняется, по нашему мнению, совпадением фонем *p*, *t*, *k*, находящихся в позициях после *s*, с фонемами *b*, *d*, *g*, находящимися в других позициях. Благодаря этому совпадению вся фонологическая система повернулась на 180°. С одной стороны, сфера употребления фонем *p*, *t*, *k* сузилась, поскольку эти согласные перестали существовать после *s*. Тем самым сфера употребления фонем *b*, *d*, *g* расширилась. Вследствие этого обращения отношения звонкость фонем *b*, *d*, *g* потеряла характер положительного признака, и отныне положительным признаком стала сила артикуляции и придыхательность фонем *p*, *t*, *k*. Прочие явления передвижения согласных — лишь следствия этого фонологического обращения. Так, придыхательность *p*, *t*, *k* вызывала спирантизацию и частично (в зависимости от места артикуляции и от диалекта) приводила к аффрикатам. Старая звонкость *b*, *d*, *g*, утратив свою фонологическую функцию, продолжает существовать только в особых условиях. Ср., например, закон Ноткера (*tes kôldes — únde demo gólde; ter brûoder — únde des prûoder*), где мы встречаемся с той же трактовкой, что и внутри слова, в позиции после гласного или после согласного (например: *këban*, но *arbelgan*). Мы отвлекаемся здесь от орфографических явлений, выделив из них лишь одно. Совпадение *p*, *t*, *k* в позиции после *s* с начальными *b*, *d*, *g* ясно выступает в случае старых *t* и *d*, например: *trinkan*

«пить», *tuon* «делать», как *festi* «крепкий», др.-в.-нем. *leisten* «совершать, выполнять» (при англ. *drink*, *do*, наряду с *fast*, *last*). Однако в случае *p : b*, *k : g* орфографическая идентичность между (*s*)*p*, (*s*)*k* и *b*-, *g*- существует лишь в южнонемецком (баварском и алеманском), например: бав. *pëgan*, *kast*, как *spinnan*, *sköni*. Напротив, во франкском *p* и *k* не пишутся вместо *b* и *g*, что объясняется необходимостью сохранить различие между ненапряженными (*lenes*) *b*, *g* и напряженными (*fortes*) *p*, *k*. Для южнонемецкого это не нужно, поскольку здесь сильные перешли в начальном положении в аффрикаты, например: *pflëgan* при франкск. *plëgan*, *chan* при франкск. *kan*. В конце древневерхненемецкой эпохи южнонемецкий принял франкскую орфографию (*beran*, *gast*). Написание *sg* вместо *sk* также часто встречается¹; иногда встречаются также *sb* вместо *sp*; *sd* вместо *st*; *hd*, *fd* вместо *ht*, *ft*.

В датском имеет место аналогичное явление передвижения, которое привело в конце концов к обращению отношения *p, t, k : b, d, g*. Так, *p* в *spille* «играть» = *b* в *bede* «просить»; *t* в *stille* «тихий» = *d* в *danse* «танцевать»; *k* в *skrive* «писать» = *g* в *Graes* «травы». Датские примеры наиболее показательны, так как здесь различие между слабыми и сильными сохранило, особенно в начальной позиции, свой первоначальный характер: слабый глухой придыхательный, сильный = глухой придыхательный. Если обратиться к состоянию древнедатского, то здесь звонкие взрывные противопоставлялись в момент передвижения глухим только в начальной позиции и геминии. После *s*, после гласных и плавных встречались только глухие взрывные. Что касается положения после носовых, то начиная с XVI в. группы *mb*, *nd*, *ng* переходили в *mm*, *nn*, *nn̥*. Таким образом, и после носовых встречались только глухие взрывные. Учитывая такое положение вещей, можно было бы ожидать, что в позициях нейтрализации (то есть в позициях, где не было противопоставления) старые *p, t, k* будут представлены после передвижения, то есть в современном датском, ненапряженными. Однако ненапряженные проникли не только в

¹ W. Braune, *Althochdeutsche Grammatik*, § 146, прим. 3.

положение после *s* (*spille, stille, skrive*), после гласных (*købe* «покупать»; в *bede* «просить», *bage* «печь» (инф.) происходит развитие интервокальных ненапряженных в звонкие спиранты), после плавных и носовых (*Lampe* «лампа», *Hjerte* «сердце», *Tanke* «мысль»). Ненапряженные проникли также и в сферу геминации, где в древнескандинавском существовало противопоставление по крайней мере между *gg* и *kk*. Этот последний факт не меняет ничего в общей картине: сфера употребления ненапряженных, и так уже более широкая, чем сфера употребления напряженных, увеличивается, несколько не изменяя отношения между немаркированными (ненапряженными) и маркированными (напряженными).

В датской орфографии начиная с XIV в. в интервокальном положении вместо *p, t, k* пишутся *b, d, g*; это позволяет установить для данного передвижения дату *ante quem*. Датское передвижение — явление весьма старое, и следы аффрикации взрывных *p-, t-, k-* в современном языке представляют собой позднейший результат. Прибавим еще, что с фонологической точки зрения не следует говорить об озвончении взрывных *p, t, k* в интервокальном положении. Здесь существенно другое: проникновение *b, d, g* (представленных как *b-, d-, g-*, так и *(s)p, (s)t, (s)k*) в новую сферу, а именно в интервокальное положение. Результатом этого распространения является фонологическое оглушение *b-, d-, g-*, а не озвончение *p, t, k*, хотя с фонетической точки зрения звонкость может сохраниться в известных условиях как комбинаторный признак (*købe*).

Положение после *s* является позицией нейтрализации и играет важную роль в обоих передвижениях, о которых только что шла речь. Эта позиция является основным звеном нашего объяснения. Возникает вопрос, нельзя ли объяснить аналогичным образом доисторические передвижения согласных в германских языках и армянском. Трудность заключается в том, что в индоевропейском положении после *s* не было позицией нейтрализации обоих рядов взрывных: после *s* встречаются *d, g*, например: **nizdo-* «гнездо», **ozdo-* «ветка», *mezg-* «погружаться», с переходом *s* в *z*, которое, однако, функционирует не как самостоятельная фонема, а лишь как комбинаторный

вариант фонемы *s*. При этом возможно, что в начальном положении не существовало групп *s* + звонкий (непридыхательный). С другой стороны, мы не можем определить, был ли конец слова позицией нейтрализации в индоевропейском, так же как он был позицией нейтрализации в древнеиндийском (*d > t* и т. д.).

Однако оба доисторических передвижения являются таким изменением, в котором положение после *s* играет существенную роль. Мы имеем в виду совпадение обоих рядов после *s*. В западногерманских формах *nēst* «гнездо», *ast* «ветка» *t* одинаково с *t* в *ist* (и.-е. **esti*) или в *naht* (и.-е. **nokt*). Если результат этого совпадения воспринимается в свою очередь как идентичный не старым *p*, *t*, *k*, а старым *b*, *d*, *g*, то создается то же положение, что и в исторических передвижениях. Старые звонкие становятся ненапряженными, старые глухие — напряженными; происходит обращение старого фонологического отношения.

Существование звонких взрывных в таких языках, как английский или шведский, например англ. *bear* «нести», *do* «делать», *good* «хороший», объясняется восстановлением старой системы в результате перехода индоевропейских взрывных *gh*, *dh*, *bh* в звонкие непридыхательные взрывные (или в звонкие спиранты): глухое *t* в *two* «два» (и.-е. **duōu*) противопоставляется звонкому *d* в *do* (и.-е. **dhē(ō)*), глухое *k* в *corn* «зерно» — звонкому *g* в *good*. Новые звонкие взрывные в общегерманском являются маркированными (следовательно, звонкими, а не ненапряженными), потому что их сфера употребления ограничена по сравнению со сферой употребления *p*, *t*, *k* (< и.-е. *b*, *d*, *g*): они не встречаются после *s*. Это возрождение противопоставления г л у х и е : з в о н к и е является непрямым условием нового передвижения, происшедшего в древневерхненемецком и в датском.

В древнеармянском мы находим совершенно аналогичное развитие: совпадение рядов *p*, *t*, *k* и *b*, *d*, *g* после *s*: *pist* «сидение», *ost* «ветка», как *ast* «звезда»). Затем (*s*)*p*, (*s*)*t* и (*s*)*k* совпали с *b*, *d*, *g*, существовавшими в других позициях. Это повлекло за собой изменение отношения *p* : *b* (г л у х и е : з в о н к и е) в отношение н а п р я ж е н н ы е : н е н а п р я ж е н н ы е. Следствием ука-

занного изменения явилось оглушение древних *b, d, g* и сильная аспирация древних *p, t, k*, приводящая (частично) даже к спирантизации. Так *tun* «дом», *kīn* «женщина», *lk'anem* «я оставляю», *k'an* «когда», *argat* «серебро», *eut'n* «семь»; придыхательное *p* переходило в *h*, в полугласный или нуль: *hair* «отец», *eut'n* «семь». В армянском так же, как и в германских языках, старое противопоставление *г л у х и е : з в о н к и е* возродилось в результате перехода (в определенных позициях) индоевропейских *bh, dh, gh* в звонкие взрывные, что создало возможность нового передвижения.

Сформулируем несколько выводов общего характера, вытекающих из всего сказанного выше.

Языковые явления нужно объяснять другими языковыми же, а не какими-либо инородными явлениями; их следует сводить к элементарным или по крайней мере более простым языковым явлениям. Объяснение с привлечением инородных социальных явлений — методическая ошибка.

Аналогично объяснение передвижения произношением «с открытой голосовой щелью» — объяснение физиологическое; теория субстрата, связанная с этим объяснением, для лингвиста значения не имеет.

Другое общее замечание касается связи между фонетическими особенностями и сферой употребления звуков, между появлением или исчезновением определенных звуковых особенностей и сужением или расширением этой сферы. Выбор звуковых признаков зависит от маркированного (положительного) и немаркированного (отрицательного) характера фонем.

Подчеркнем, наконец, что решающим положением или по крайней мере одним из решающих положений для рассмотренных выше передвижений согласных является положение глухих взрывных после *s*, то есть положение, где, как обычно говорят, не было передвижения. Важность этой позиции вытекает из ее роли в качестве позиции нейтрализации противопоставления *p, t, k : b, d, g*.

Датское передвижение согласных, которое часто рассматривается как факт современного языка, было завершено к XIV веку. Основная особенность этого передвижения — не спирантизация *p, t, k*, а обращение отношения

между обоими рядами взрывных, которое сказалось на орфографии XIV в.¹

¹ Термин «передвижение», определенный выше, может применяться к другим значительным изменениям консонантизма или вокализма, причем как доисторическим, так и историческим. Переход индоевропейского противопоставления $k : \hat{k}$ (маркированный член = k) в $q^u : k$ (маркированный член = q^u) с позицией нейтрализации перед o , u и согласными может быть назван передвижением, так же как и переход романских противопоставлений $\acute{e} : \bar{e}$, $\acute{o} : \bar{o}$ (маркированные члены = $\bar{e}$, $\bar{o}$) в $e : \epsilon$, $o : \circ$ (маркированные члены = ϵ , $\circ$) с позицией нейтрализации в безударном слоге (в народной латыни). Единственное различие между передвижением согласных в германских языках и переходом $k : \hat{k} > q^u : k$ (или, как предпочитают некоторые ученые, $k : q^u > \hat{k} : k$) заключается в том, что в первом случае речь идет о противопоставлении по способу артикуляции, а во втором случае — по месту артикуляции.

ЗАМЕТКИ О МАЗУРЕНИИ¹

(1954)

Если не принимать во внимание функционального аспекта, который проявляется прежде всего в фонетических и морфологических чередованиях, а кроме того и в строении морфемы, построение системы фонем окажется лишь игрой ума, оторванной не только от живой звуковой материи языка, но, что важнее всего, и от роли, выполняемой фонемами в морфологии, для чего они, собственно говоря, и существуют. Понятие распределения, или границ употребления фонемы, являющееся основополагающим для понимания чередований и возможных классификаций, еще не осознано многими лингвистами. В связи с этим нужно отметить, что дискуссии часто не идут далее А. Мартине и К. Л. Пайка.

Непонимание функционального аспекта является причиной того, что некоторые исследователи, признавая в основном фонологию, считают, что объяснение исторических проблем может быть либо фонетическим (физиологическим, артикуляционным), либо фонологическим. Так, например, Милевский², Л. Заброцкий³ считают, что германское передвижение является в сущности фонетическим явлением (в вышеуказанном смысле), а не фонологическим. Действительно, у лингвиста здесь нет выбора. Мы либо прибегаем к внеязыковым факторам и оперируем только гипотезами (что доказывает разнообразие физиологических или артикуляционных объяснений), либо исходим из самого языка, и тогда факт идентификации (-sk-), -st-, (-sp-) с (-zg-), -zd-, (-zb-) становится прочным

¹ J. K u r y ł o w i c z, Uwagi o mazurzeniu, BPTJ, XIII, 1954, стр. 9—19.

² АО, XVII, 1949, 2, стр. 189 и сл.; LP, IV, стр. 312—313.

³ L. Z a b r o c k i, Usiłnienie i lenicja, стр. 118—130; LP, III, стр. 351—352.

исходным пунктом объяснений, которые сами по себе могут быть предметом обсуждения, но обсуждения с помощью внутриязыковых аргументов. Физиологическое объяснение может быть хорошим или плохим, но не оно является непосредственной целью лингвистики. Существенные изменения происходят не в реализации фонем, а в границах их употребления, а также в их отношении друг к другу. Повторяя приведенную уже параллель¹, замечу, что медицинским объяснением внезапной смерти будет «кровоизлияние» или «удушение», а не «ножевое ранение» или «повышение».

Характерным для внеязыковых объяснений является отнесение фонетических явлений или изменений к двум диаметрально противоположным группам, обозначаемым терминами из области психофизиологии, например: *dominance* и *résistance* у Жюре, *adattamento* и *distinzione* у Девото, *usilnienie* и *lenicja* у Забродского, ассимиляция и диссимиляция у Граммона и др. Последняя пара понятий является, может быть, самой удачной, но, как мы это увидим ниже, и к ним нельзя свести все типы фонетических изменений. Постоянное применение этой терминологии можно, как видно, объяснить отсутствием удовлетворительного лингвистического решения.

Если функциональный критерий отсутствует, а фонология становится самоцелью, «искусством для искусства», то не удивительно, что в фонологическом объяснении оперируют устаревшими еще в тридцатые годы (устаревшими как лингвистические объяснения) различными артикуляционными, а следовательно, физиологическими причинами фонетических изменений. Поддержку им находят во влияниях субстратов и суперстратов. Типичным примером является мазурение. Переход $\dot{s} > s$, $\dot{z} > z$ не столь обычен, как палатализация или интервокальное озвончение, для которых достаточным объяснением казалась ассимиляция (согласного под влиянием гласного окружения). Ни о какой ассимиляции или диссимиляции в случае мазурения, по крайней мере на первый взгляд, не может быть и речи. Именно поэтому никому не приходило в голову использовать при объясне-

¹ JP, XXVII, 1947, стр. 6.

нии таких явлений, как праславянская палатализация (перед j, ь, i, е, ё, е), влияние иностранных этнических элементов, то есть двуязычие, охватывающее целые общественные слои или территории. Истории исследований известно, что к ним обращались в тех случаях, когда ассимиляция или диссимиляция не были очевидными, например, при объяснении германского передвижения согласных, перехода лат. u во фр. ü, или при объяснении мазурения. Мысль о влиянии угрофинского, а затем прусского (балтийского) языкового элемента, высказываемая при объяснении мазурения, была неизбежным з л о м (malum), а не н е о б х о д и м о с т ь ю (necessarium). Заметим, что даже в хорошо исторически засвидетельствованных случаях субстрата (для французского — кельтского) или суперстрата (французский по отношению к английскому, арабский — к персидскому) мы часто не можем с полной уверенностью утверждать, что имеем дело с фонетическим воздействием на язык-победитель (например, в переходе u > ü). В таком случае можем ли мы предполагать в явлении мазурения воздействие на польский язык какой-то социально и даже территориально неопределенной двуязычной польско-прусской прослойки, которая навязала свою артикуляцию двум третям польских диалектных провинций (а именно: Мазовше, Малой Польше¹ и части Силезии² в противоположность Великой Польше с Поморьем и частью Силезии)? Если бы нам даже удалось установить существование такой группы, то и тогда трудно было бы предположить, что она оказала на польский язык влияние хотя бы столь же ничтожное, какое могла оказать Белорусская канцелярия Великого Княжества Литовского. Бездоказательное признание чуждого этнического влияния на польскую артикуляционную базу — методическая ошибка. Если же мы считаем движущей силой более сложных фонетических изменений, которые нельзя объяснить ассимиляцией и диссимиляцией, м е ж ь я з ы к о в ы е отношения, то мы должны признать ту же роль и з а м е ж д и а л е к т н ы м и отношениями. Иначе говоря, мы можем столкнуться не только

¹ С небольшими исключениями.

² Не говоря уже о Веленском районе над нижним Нотецем.

с межъязыковой, но и с междиалектной фонетической с у б с т и т у ц и е й, ясные и поучительные примеры которой можно найти в довоенных работах З. Штибера.

Между прочим, уже Шухардт в 1885 г.¹, а позднее (до 1926 г.) Жильерон считали субституцию основой фонетического развития. Схематично вопрос можно представить себе следующим образом: пусть *A* и *B* будут представителями двух языковых групп в широком значении этого слова (с территориальными, классовыми, профессиональными, возрастными и т. д. различиями), а границы реализации двух фонем f_1 и f_2 , или:

$$\begin{array}{c} A \quad \frac{f_1}{1 \quad 2} \quad \frac{f_2}{3 \quad 4} \\ B \quad \frac{f_1}{1 \quad 2} \quad \frac{f_2}{3 \quad 4} \end{array}$$

Почувствовав разницу на отрезке 2—3, *B* может подражать мнимому передвижению $f_1 > f_2$ у *A*², может впоследствии заменить f_2 на f_1 даже там (отрезок 1—2), где первоначально было f_1 (гиперкорректные формы), и, наконец, может вести себя пассивно. В этом последнем случае артикуляционное различие не повлияет на фонетическую эволюцию языка. Причиной фонетических изменений является не артикуляционное передвижение, а его сознательное восприятие. Не стоит добавлять, что и это социологическое объяснение не является конечной целью лингвистики, задача которой состоит в исследовании изменений, происходящих в распределении и во взаимоотношениях фонем (а следовательно, в системе). Однако оно ближе лингвистике в той мере, в какой социология как гуманитарная наука ближе к лингвистике, чем физиология.

В мае 1953 г. в разговоре с автором данной статьи Т. Браерский высказал предположение, что мазурение может быть следствием образования серии палатальных $\acute{s}$, $\acute{z}$, $\acute{c}$, $\acute{z}$, в результате которого была стерта разница между

¹ Н. Schuchardt, Über die Lautgesetze. Gegen die Junggrammatiker.

² При этом могут происходить своеобразные метатезы, ср. ниже случай мазурения.

s, z, c, ʒ и š, ž, č, ʒ. Эта гипотеза оказалась при первой же проверке не вполне удовлетворительной. Она не объясняет, почему мазурение не возникло на большей и важнейшей польской языковой территории, несмотря на то, что серия š, ž, č, ʒ появилась повсюду. С другой стороны, серия š, ž, č, ʒ образовалась, например, в белорусском языке, что, однако, не вызвало там мазурения. К тому же гипотеза не объясняет, какова причинная связь между возникновением серии š и исчезновением серии š̌. Достоинство гипотезы — вовлечение в круг проблем новых палатальных (ряда š) наряду со старыми палатальными (ряда s), что, как мы увидим ниже, является фактом весьма существенным.

Для славянской эпохи, предшествующей времени исчезновения слабых редуцированных, мы принимаем существование категории мягкости в следующей форме (ограничиваемся зубными и задненебными, ибо губные для дальнейшего изложения не важны):

непалатальные: k, g, x; палатальные: č, ž, š̌

непалатальные: t, d, s, z, n, l, r; палатальные: t', d', š̌, ž', n', l', r'.

Мы видим, что звуки š̌, ž' являются мягкими парами к s, z, например: *czesze* «я чешу» к *czesac* «чесать», *maže* «я мажу» к *mazac* «мазать». Первоначально s, ž играют роль палатальных по отношению к x, g, вторично — роль палатальных к s, z, а č является мягким вариантом k.

Другой важной чертой упомянутой системы является морфологический характер чередований палатальных с непалатальными. Вызывавший палатализацию j исчезал, поэтому следующий после смягченного согласного гласный был обусловлен этим согласным, а не сам обуславливал его. Однако у задненебных рядов с морфологическим чередованием (типа *plakati* «плакать»: *plačo* «плачу» как *česati* «чесать»: *čežo* «чешу») существует также палатализация, фонетически обусловленная следующим передним гласным, например: *peǩo* «пеку», *pešeť* «печет» наряду с *nešo* «несу», *neseť* «несет». Это фонетическое чередование (k, g, x перед задним гласным, č, ž, ʒ перед передним или задним гласным) находит соответствие во второй палатализации, имевшей место уже в конце праславянской эпохи. Старый дифтонг *oi* совпадает со стары-

ми долгими гласными ё (например, в лок. ед. ч. *vyłcě*) или і (например, в ном. мн. ч. *vyłci*). Таким образом *č*, *ž*, *š* или *c*, *z*, *š* появляются перед *ě* и *i* в зависимости от морфологической категории. Здесь следует привести примеры прогрессивной ассимиляции, дающей в конечном итоге *c*, *z*, *š* также перед *ь*, *е*, например: *крьсь*, *јаьсе*. Следовательно, перед гласными переднего ряда появляются *č*, *ž*, *š* или *c*, *z*, *š*, но не *k*, *g*, *x*.

Севернославянская группа унаследовала из праславянской эпохи следующую систему твердых и мягких согласных, опирающуюся на фонетические и морфологические чередования:

непалатальные: *k*, *g*, *x*; палатальные *č*, *ž*, *š* или *c*, *z*, *š* (у западных славян)

непалатальные: *t*, *d*, *s*, *z*, *n*, *l*, *r*; палатальные: *t'*, *d'*, *š*, *ž*, *ń*, *l'*, *ř*

Чередования зубных были обусловлены морфологически. Чередования задненебных были обусловлены морфологически только в тех категориях, в которых смягчились зубные. Кроме того, у задненебных мы встречаемся и с фонетической обусловленностью (за ними следуют *ь*, *i*, *ě*, *е*, *ę*) двоякого типа, определяемой опять-таки морфологической категорией. Общим условием является здесь передний характер последующего гласного; выбор шипящего или свистящего варианта регулируется морфологически. Между передним и непередним гласными выступают *c*, *z*, *š*.

В пределах этой системы фонетическая обусловленность чередований передних гласных (преимущественно последующих) существует только в задненебных, поэтому о чередовании твердых и мягких зубных согласных можно говорить лишь постольку, поскольку оно соотносится с чередованием задненебных. Следовательно, раз существует *rekъ* : *rešetъ* (твердый : мягкий), то и отношение *plakati* : *plašъ* является отношением твердого и мягкого, несмотря на то, что фонетическая обусловленность здесь уже не существует. Таким же будет отношение *orati* : *orъ*, опирающееся на *plakati* : *plašъ* и т. д.

С функциональной точки зрения основой чередования являются задненебные, у которых частично сохранились

фонетические условия появления твердого и мягкого; с точки же зрения артикуляции отношение $p : \acute{p}$; $l : l'$, $r : \acute{r}$, несомненно, яснее отражает противопоставление т в е р д ы й — м я г к и й, чем отношение $k : \acute{k}$, $g : \acute{g}$, $x : \acute{x}$.

В свою очередь исчезновение слабых, особенно конечных (редуцированных), привело к новой палатализации зубных согласных перед передними гласными. Образовалась следующая система мягких и твердых согласных:

$k : \acute{k} (c), \quad g : \acute{g} (\text{ж}), \quad x : \acute{x} (\text{ш}); \quad n : \acute{n}, \quad l : l', \quad r : \acute{r}$
 $\quad \quad \quad t \quad \quad \quad d \quad \quad \quad s \quad \quad \quad z$
 $t'_1 \quad t'_2 \quad d'_1 \quad d'_2 \quad \acute{s}_1 \quad \acute{s}_2 \quad \acute{z}_1 \quad \acute{z}_2$

Старое соотношение между k, g, x и $\acute{k}, \acute{g}, \acute{x}$ ($c, \text{ж}, \text{ш}$) изменениям не подверглось, ибо передние гласные уже в предшествующую эпоху, как правило, смягчали заднеязычные согласные. Что касается n, l, r , то мягкие варианты заменили твердые перед передними гласными, что привело к значительному распространению $\acute{n}, l', \acute{r}$ и одновременно образовало фонологическую основу соотношения $p : \acute{p}$ и т. д. как соотношения твердого — мягкого (перед передними гласными — только мягкий). Звуки t, d, s, z получили по два палатальных соответствия, новое ($t'_1, d'_1, \acute{s}_1, \acute{z}_1$) и старое ($t'_2, d'_2, \acute{s}_2, \acute{z}_2$). Например, для польского языка:

Новая палатализация	Старая палатализация
$t/\acute{t}$ kot «кот» : koci «кошачий»	t/c łopotać «хлопать» : łopocе «он хлопает»
$d/\acute{d}$ wielbłąd «верблюд» : wielbłądzi «верблюжий»	d/z głód «голод» : głodzę «я заставляю голодать»
$s/\acute{s}$ pies «собака» : psi «собачий»	$s/\acute{s}$ czesać «чесать», : czeszę «я причесываю»
$z/\acute{z}$ koza «коза» : kozi «козий»	$z/\acute{z}$ mazać «мазать» : mażę «я мажу»

но:

$k/\acute{k}$ wilk «волк» : wilczy «волчий»	$k/\acute{k}$ płakać «плакать» : płacze «я плачу»
$r/\acute{r}$ kur «петух» : kurzy «куриный»	$r/\acute{r}$ orać «пахать» : orzę «я пашу»

¹ Под $\acute{s}_2, \acute{z}_2$ мы понимаем $\acute{s} > s_1, \acute{z} > z_1$. Дело не в фонетической транскрипции, а в том факте, что в определенных морфологических категориях $\acute{s}, \acute{z}$ являются мягкими вариантами s, z .

Старая палатализация обусловлена не фонетическим окружением, а исключительно морфологическими факторами. Новая определяется последующим передним гласным (это относится, конечно, к рассматриваемой здесь севернославянской эпохе, а не к современному польскому языку).

Не нужно добавлять, что как старые, так и новые палатальные согласные являются самостоятельными фонемами, а не комбинаторными вариантами твердых; это следует из факта противопоставления, например, в конце слова.

Единство старой и новой палатализации у задненебных и сонантов p , l , r является как бы соединяющим звеном между парами t'_1 и t'_2 , d'_1 и d'_2 , $\acute{s}_1$ и $\acute{s}_2$, $\acute{z}_1$ и $\acute{z}_2$. Члены каждой из этих пар тесно связаны между собой на основе единства палатальной функции, выражающейся в одинаковой форме для p , l , r . Старая палатальность опирается на новую, как на фонетически обусловленную ($t : t'_1 = p : \acute{p}$), но фонетическое отношение $t : t'_2$ отличается от $p : \acute{p}$.

Вышеописанное состояние подвергается в польском языке дальнейшему изменению. Обусловленность палатальности согласного последующим вокальным элементом уже не имеет места. Переход $\acute{y} > e$, смещение o и e , депалатализация e , $\acute{e}$, стяжение (например $-bji > 'u$) — все это явилось причиной того, что перед любым гласным (а со времени падения редуцированных и в конце слова) могли появляться как мягкий, так и твердый согласные. Остается лишь следующая обусловленность: перед y только твердый, перед i — мягкий. Звуки y и i становятся вариантами одной фонемы вследствие отсутствия противопоставленности (y — только после твердых, i — в начале слова и после мягких), в то время как твердые и мягкие согласные противопоставлены всем гласным и согласным в конце слова.

Категория мягкости в польском языке является прежде всего важным фактором морфологических чередований. При этом нужно принимать во внимание как старые, так и новые палатальные согласные. Вот несколько важнейших категорий:

А. Чередование твердый — новый палатальный. I—II классы по Лескину, например: *wiodę* «я веду», *wiedzie* «он ведет», *piosę* «я несу», *piesie* «он несет», *wiozę* «я везу», *wiezie* «он везет». То же самое в именной флексии (дат. лок. ед. ч.; ном. мн. ч. лично-мужская форма), например: (w) *gocie* «в присяге», *kłodzie* «колоде», *kosie* «косе», *kozie* «козе», па *řłocie* «на заборе», *chłodzie* «холоде», *wrzosie* «вереске», *wozie* «возу»; *kat* «палач», *kaci* «палачи» и т. д. перед суффиксами, начинавшимися первоначально с -ь, -i, -ě и т. д.: ср. *koci*, *wielbłądzi*, *psi*, *kozi*, *krzesać* «высекать огонь» — *krzesiwo* «огниво» и т. п.

Б. Чередование твердый — старый палатальный. III а класс по Лескину, например: *łopotać* — *łopose* (совр. *łopocze*), *czesać* — *czesze*, *mazać* — *maże*. Абстрактные существительные на -ja, например: *żądać* «желать» > *żądza* «жажда», *gęsty* «густой» > *gąszcze* «гуща».

В. Чередование новый палатальный — старый палатальный. IV класс по Лескину, например: *wróci* «он вернется» — *wrócę* «я вернусь», *wodzi* «он водит» — *wodzę* «я вожу», *kośi* «он носит» — *koszę* «я ношу», *wozi* «он возит» — *wożę* «я вожу».

Как видно из вышеприведенных примеров и как уже упоминалось выше, новая и старая палатальность различались и различаются в рефлексах *t*, *d*, *s*, *z*, в то время как для *p*, *l*, *g*, и *k*, *g*, *x* имеется только один мягкий вариант (если отвлечься от ограниченных несколькими случаями результатов второй праславянской палатализации, сохранившихся в дативе, локативе ед. ч. и номинативе мн. ч. лично-мужской формы, например, *w* *gęse* «в руке», *w* *podze* «в ноге», *flisak* «сплавщик»: *flisacy* «сплавщики», *t*, *d*, *s*, *z* в этих категориях имеют новый палатальный, см. выше). Так как фонетической параллелью для *p* : *ń*, *l* : *l'*, *g* : *ǵ* была новая мягкость (*t* : *t'*, *d* : *d'*, *s* : *ś*, *z* : *ź*), а не старая, то старые палатальные к *t*, *d*, *s*, *z* отражались на фоне новой палатальности как фактор специфический и маркированный, появляющийся только в определенных морфологических условиях, требующих палатализации.

Поэтому переход от нового к старому мягкому является дополнительным процессом в категориях Б и В, где только

для *p*, *l*, *g*, *k*, *g*, *x* появляется палатальность *tout court* (в чередовании с твердой в Б или без него в В), а *t*, *d*, *s*, *z* заменяют форму *t'*₁, *d'*₁, *ś*₁, *ź*₁, появляющуюся в категории А, на *t'*₂, *d'*₂, *ś*₂, *ź*₂. Отсюда отношение:

немаркированная (новая) палатальность *t'*₁, *d'*₁, *ś*₁, *ź*₁
 маркированная (старая) палатальность *t'*₂, *d'*₂, *ś*₂, *ź*₂

Отношение *t'*₁ : *t'*₂, *d'*₁ : *d'*₂ дает для польского языка *śi* : *sy*, *źi* : *zy*, то есть совпадает с отношением *ńi* : *ny* (м я г к и ь : т в е р д ы ь). По этому образцу на территории мазурения *ś*₁ : *ś*₂, *ź*₁ : *ź*₂ также дают *śi* : *sy*, *źi* : *zy*, то есть вместо *śy*, *žy* получаем *sy*, *zy*, а отсюда и *су* вместо *śу*. Поэтому мазурение является не чем иным, как введением отношения м я г к и ь — т в е р д ы ь вместо н о в ы ь п а л а т а л ь н ы ь — с т а р ы ь п а л а т а л ь н ы ь. В литературном языке подобное изменение происходит только для *t'*₁ : *t'*₂, *d'*₁ : *d'*₂. Поэтому можно предположить, что мазурение является результатом междиалектных взаимоотношений, механизм которых можно представить себе следующим образом.

На диалектной территории 1 происходит отверждение *śi* в *су*, *źi* в *зу* (*śi* в *śу*, *źi* в *žу*, *ći* в *чу*, *żi* в *жу*); в то же время территория 2 не имеет спонтанного отверждения, а лишь подражает отверждению территории 1. Это отверждение создает на территории 1 отношение *śi* : *су*, *źi* : *зу* (= *ńi* : *пу* и т. д.) вместо старого отношения н о в ы ь п а л а т а л ь н ы ь : с т а р ы ь п а л а т а л ь н ы ь, а междиалектное распространение (с территории 1 на 2) этого измененного отношения дает на территории 2 в конечном итоге также *śi* : *sy*, *źi* : *zy*, а затем по типу *ś* : *s*, *ź* : *z* также *ć* > *c*, *ż* > *z*.

Территория 1 представляет исконное и спонтанное отверждение согласных *s*, *z*, *ś*, *ž*, *ć*, *ż*, а территория 2 — реакцию на это отверждение. Территория 2 символизирует диалекты с мазурением, территория 1 — без мазурения. Территория 1 является очагом нововведений, в частности отверждения, которое в результате междиалектной интерференции дает на территории 2 результат иной, чем на исконной территории.

Здесь необходимо заметить следующее. Предположим, что по типу *wróci* — *wrócę*, *wodzi* : *wodzę* территория 2

образует *k si : kośę* (вместо *koszę*), *wozi : woźę* (вместо *wożę*), а отсюда *płose, wróze* (вместо *płoszę, wróżę*) и т. д.; тогда понятной становится замена *s, z* вместо *ś, ż* в вышеупомянутых категориях, но не в таких изолированных словах, как *szary* «серый», *żona* «жена». Отвечая на это возражение, необходимо подчеркнуть, что здесь речь идет об определенном типе звукового замещения, а не о морфологической «аналогии». Это замещение началось несомненно в упомянутых выше морфологических категориях, так как именно в них твердость и мягкость ощущались благодаря своей морфологической роли наиболее сильно¹. Однако сущность этого замещения состояла не в замене одних звуков другими, например *ś—s*, а в замене одного отношения другим, а именно отношения *ś : ś, ż : ż* отношением палатальным : непалатальным (твердый). После того, как *ś, ż* были заменены *s, z* в формах, где их обусловило морфологическое чередование, такое же замещение произошло и в изолированных словах.

В системе:

твердые	}	<i>r l n t d s z x g k</i>
новые палатальные		<i>ć ź ś ż</i>
старые палатальные		<i>í l'ń ś ż ċ</i> <i>c 3 ś ż</i>

сначала *s, z* заменяют *ś, ż* в функции старых палатальных, то есть там, где *ś, ż* противопоставлены *ś, ż*. В этом противопоставлении *ś, ż* функционально наиболее активны. Замена влечет за собой постепенное вытеснение *ś, ż* звуками *s, z* в функции палатальных, то есть там, где они противопоставлены твердым (*x, g*). Одновременно с замещением *ś, ż* (< *x, g*) звуками *s, z* наступает соответствующее замещение *ć* (< *k*) звуком *c*. Утратив позицию, в которой различие ощущалось благодаря чередованию сильнее всего, звуки *ś, ż, ċ* теряют смысл существования в функционально пассивном употреблении (*szyja* «шея», *żona* «жена», *czas* «время»).

Таким образом, в диалектах с мазурением группа чередований В (см. выше) перестает существовать как само-

¹ Ср. *Doroszewski, Z zagadnień fonetyki ogólnej, SprWTN, 1934* (функционально активные звуки).

стоятельный класс и поглощается классом А : $kosę$ — $kosi$ становится чередованием того же типа, что и $piose$ — $piesie$. В пределах группы В исчезают чередования $s : \check{s}$, $z : \check{z}$.

Распространение мазурения было двояким: внутренним, то есть в пределах одной языковой системы, и внешним, то есть территориальным. Оба эти аспекта тесно связаны между собой¹. В пределах языковой системы исходным пунктом является замещение чередований $\acute{s} : \check{s}$, $\acute{z} : \check{z}$ на $\acute{s} : s$, $\acute{z} : z$. Отсюда, с одной стороны, происходит вытеснение необусловленных $\check{s}$, $\check{z}$ звуками s , z , с другой — замещение $\check{c}$, $\check{z}$ на c , z . Что касается территориального распространения, то, так как внутренняя польская колонизация состояла главным образом в экспансии мазуров (в северо-западном и в юго-западном направлениях), предпосылки расширения территории мазурения существовали как бы а priori.

Здесь следует подчеркнуть интересную особенность, касающуюся говоров с мазурением, где $\check{c}$ произносится как c , в то время как восстановлено произношение $\check{s}$, $\check{z}$ ². Возврат к старому состоянию произошел под влиянием говоров без мазурения после перехода $\acute{r}$ (rz) в $\check{r}$ и его комбинаторный вариант $\check{s}$. В этих говорах c (из старого $\check{c}$) и $z\check{z}$ ($< \check{z}\check{z}$) удержались как следы старого состояния. Прибавим к этому, что различие c и $\check{c}$ менее важно (то есть несет меньшую «функциональную нагрузку»), чем противопоставление $s : \check{s}$, $z : \check{z}$. Фонемы $c : \check{c}$ противостоят друг другу главным образом через посредство k ($k : c$, $k : \check{c}$), в то время как чередование $s/\check{s}$, $z/\check{z}$ поддерживается парами t'/c , d'/z , $n'/\acute{n}$, $l'/\acute{l}$, $r'/\acute{r}$. Хотя мазурение возникло сначала в звуках $\check{s}$ ($> s$), $\check{z}$ ($> z$), а потом в $\check{c}$ ($> c$), в случае регрессии мазурения c удерживается дольше.

Если выдвинутое здесь объяснение механизма мазурения верно, то возникает вопрос, можно ли на его основании сделать какие-либо исторические или хронологические предположения.

Соотношение $t'_1 : t'_2$, $d'_1 : d'_2$ проявляется в современном польском языке как $\acute{c}i : su$, $\acute{z}i : zu$. Важно получить ответ на вопрос, с какого времени это соотношение, явля-

¹ Ср. SprPAUm, 1946, стр. 266—273; AL, V, стр. 35—37.

² Nitsch и Stein, MPKJ, VII, 1920, стр. 183—234

ящееся исходным пунктом мазурения, существует в польском языке. По сравнению с севернославянской эпохой в этом соотношении произошли следующие изменения: $t'_2 > c$, $t'_1 > \acute{c}$, наконец, $ci > cy$ (то есть произошло отверждение), и соответственно изменился звонкий согласный: $d'_2 > \text{з}$, $d'_1 > \text{з}$, $zi > zu$. Наиболее древним западнославянским процессом следует считать $t'_2 > c$, позднейшим является $ci > cy$, так как спонтанное (не заимствованное из Великой Польши) отверждение появляется на Мазурах довольно поздно¹. В качестве *terminus post quem* мазурения мы принимаем переход t'_1 (или просто t') в $\acute{c}$, d' — в з и следующее затем (в великопольском диалекте) отверждение $ci > cy$, $zi > zu$. Только тогда соотношение $\acute{c}i : cy$, $\text{з}i : zu$ могло быть отождествлено с $\acute{n}i : ny$, $l'i : ly$, $\acute{f}i : gy$ и в качестве такового повлечь за собой $\acute{s}i : sy$ (на месте $\acute{s}y$), $\text{з}i : zu$ (на месте $\acute{z}y$) на малопольско-мазовецкой территории.

Переход $t' > \acute{c}$ ($d' > \text{з}$) следует считать важной вехой в развитии фонологической системы польских диалектов. Возникновение ассимиляции в t' , d' создало соотношение этих звуков с унаследованными c , z , которое в момент отверждения совпало с соотношением $\acute{n} : \text{п}$ и т. д. Дату перехода $t' > \acute{c}$, $d' > \text{з}$ установить нетрудно. Ассимиляция t' , d' не отмечена в Булле 1136 г., но появляется в 1153 г. в повторенном два раза Bartożęze-Bartodzieje². В Булле 1136 г. многочисленные c (например, в названиях местностей на $-ica$, $-icu$) передаются при помощи з , $c(i)$, в нескольких случаях — ch ; з (редко встречающееся) передается также с помощью з , например: Buza (= Budza), Razc (= Radzk), Reżk (= Rdzek), Reżc (= Redzk), Zeraż (= Sieradz). В то же время часто встречающееся $\acute{c}$ изображается постоянно как t (например Glouotins, Jarotici), а з — как d (напр. Brodic = Brodzik, Budizlau = Budziszlaw). Если бы соотношение $\acute{c} : c$, $\text{з} : \text{з}$ было таким же, как в современном языке, то есть если бы $\acute{c}$, з произносились с ассимиляцией, то, учитывая отсутствие особого знака для изображения палатальных в графике памятника

¹ Ср. Ta s z y c k i, Dawność tzw. mazurzenia w języku polskim, 1948, стр. 13—19.

² Ср. R o z w a d o w s k i, МРКJ, IV, стр. 478 и сл.

1136 г., мы могли бы ожидать, что $\acute{c}$ и c , а также $\acute{z}$ и z передавались бы одинаково. Очевидно, t' и d' были особыми фонемами, а не вариантами t , d так же, как $\acute{c}$ и $d\acute{z}$ являются сегодня самостоятельными фонемами, а не вариантами c , dz .

Ассибиляция t' , d' — первое предварительное условие мазурения — происходит, следовательно, во второй половине XII в. Что касается второго явления, то есть отвердения $ci > cy$, $zi > zy$, то здесь установление хронологии встречается с определенными трудностями¹.

Если, однако, приведенные выше доводы в пользу мягкости c , z , $\acute{s}$, $\acute{z}$, $\acute{c}$, $\acute{z}$ на Мазовше верны, то значит там еще в XV в. существовали районы без мазурения.

Можно предположить, что в Малой Польше еще в конце средневековья существовали территории, сохраняющие мягкость старых палатальных $\acute{c}$ и $\acute{z}$. Это могло бы служить доказательством того, что в соответствующих местностях мазурение еще не развилось.

Появление мазурения на польской территории объясняется одновременным переходом t_2 в c , t_1 в $\acute{c}$ (и отверждением ci в cy) с прибавлением междиалектной интерференции. Иначе обстоит дело в соседних с польским славянских языках. В чешском языке, как и вообще в западнославянских, произошел только первый переход ($t_2 > c$), но не второй (t_1 сохранилось или депалатализовалось в t). В белорусском t_1 перешло, правда, в $\acute{c}$, но t_2 дало $\acute{c}$ (как вообще в восточнославянских); в украинском языке $t_2 > \acute{c}$, t_1 или t . В этих языках не было предварительных условий для мазурения; оно отсутствует даже в кашубском языке.

Наоборот, в полабском языке, в лужицких, севернорусских, сербохорватских диалектах, где мы констатируем мазурение или факты, внешне близкие к нему ($\acute{c} > c$), мы должны, учитывая разницу в исходной системе (в полабском языке, например, отсутствует переход $t' > \acute{c}$ и т. п.), искать другое объяснение этих явлений.

Мазурение является по своему существу подражательной, а не спонтанной депалатализацией старых мягких

¹ Cp. R o z w a d o w s k i, Gramatika Polska, стр. 180.

š, ž (по образцу депалатализации с, з), которая могла в общем наступить в любом пункте польской языковой территории, в говоре которого отверждение произошло раньше, чем в соседних (ср. веленский клин). Реализация этой депалатализации зависела только от того, воспринималась ли она соседними говорами и в какой форме, приводила ли она к транспозиции *śi, źi* : *су, зу* = *śi, źi* : *су, зу* (на месте *šy, žy*) или нет.

В качестве максимальной протяженности *terminus post quem*—*terminus ad quem* следует, пока не будут найдены поздние записи, принять первую половину XII в. (Булла 1153 г.) — 1600 г. (*rz > ź*); однако более всего вероятно, что эта протяженность иная. За *terminus post quem* я принял бы 1200 г. Территориальное распространение могло продолжаться столько же, сколько продолжалась внутренняя колонизация. Датировать этот процесс можно только периодом, но не датой, так как сама форма мазурения (*s, z, ś; s, z, c; ś, ź, c* и т. д.) должна была развиваться в соответствии с его экспансией или отступлением.

П р и м е ч а н и е: Мысль некоторых исследователей¹ о том, что новое чередование *pieszy* : *piesi*, *grubszy* : *grubsi*, *duży* : *duzi* имело связь с мазурением, кажется нам неверной. В приведенных примерах чередования вплоть до отверждения *s, ž* не было, так же, как его не было и нет, например, в случае *tani* (ном. ед. ч.) : *tani* (ном. мн. ч.). После отверждения *ś > š, ź > ž* язык использовал эквивалентность *š/ś* и *š/ś*, например, в *koszę* «я кошу»/ *kosi* «он косит» для случая *grószę* «я порошу»/ *grószy* «он порошит», а также эквивалентность *ž/ź* и *ž/ź* например *wozę*/ *wozi* и *wrózę*/ *wróży*, чтобы ввести *i* с предшествующей палатальной согласной в ном. мн. ч. Замещение *szy* на *si* в вышеупомянутых случаях повлекло за собой чередование *głuszy* > *głusi*, *Czeszy* > *Czesi* и т. п., где ном. ед. ч. в ном. мн. ч. различались и раньше. Связь между рассмотренным здесь явлением и мазурением (первые следы которого, согласно Вайану, появляются в XV в.²) существует постольку, поскольку оба ведут свое начало от отверждения (*š, ž* или *c, z*).

¹ A. Vaillant, Grammaire comparée des langues slaves, I, стр. 294—295.

² Там же, стр. 40.

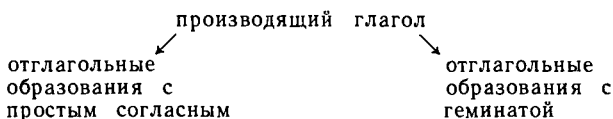
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕМИНАЦИЯ В КЕЛЬТСКИХ И ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ¹

(1957)

В соответствии с принятой точкой зрения в кельтских языках группа «взрывной + п» развивается в *kk*, *tt*, *pp* (из *k + n*, *t + n*, *p + n*) и в *gg*, *dd*, *bb* (из *g* или *gh + n*, *d* или *dh + n*, *b* или *bh + n*). Однако эта точка зрения постоянно вызывала сомнение у многих лингвистов. Ведь подобная прогрессивная ассимиляция, напоминающая аналогичные явления в пракритах², неизвестна в индоевропейских языках. Более того, очень хорошо засвидетельствована иная, явно фонетическая трактовка этих групп. Например:

¹ J. Kuryłowicz, *Morphological Geminatio in Keltic and Germanic*, «Studies Presented to Joshua Whatmough on his Sixtieth Birthday», 1957, стр. 131—144.

Придерживаясь прежнего мнения относительно происхождения геминации, мы склонны дать ей в настоящее время более лаконичную и более точную формулировку:



Отглагольные образования с геминатой выполняли в определенное время двойную функцию: а) были отглагольными по отношению к производящему глаголу, согласную которого они удваивали; б) соотносились с отглагольными образованиями с простой согласной, являясь их «экспрессивными» формами. «Экспрессивность» геминации оказывается, таким образом, замкнута внутри отыменного и отглагольного образования (например, **durpon* : **durppon*).

В а) морфема отглагольного образования представлена первичными суффиксами. В б) совпадение суффиксов подняло геминату до уровня самостоятельной морфемы, применимой к непроемным именам.

² Санскр. *agni*- «огонь», *vighna*- «препятствие, затруднение», *yatna*- «напряжение, усилие, забота» > пракр. *aggi*-, *viggha*-, *jat*- и т. д.

ср.-ирл. brén «вонючий», уэльск. braen, ср.-брет. breun, совр. брет. brein < *mrakno-; ср.-ирл. blén «свод», уэльск. blaen, корн. blyn «вершина», ср.-брет. blein «вершина» < *mlaknō-; др.-ирл. srón «нос», уэльск. ffroen, ср.-брет. froan, совр. брет. frop, также уэльск. trwyn, др.-корн. trein < *s(p)rokna-; ср.-ирл. tón «низ», уэльск. tin < *tuknā-; др.-ирл. mén «открытый рот», уэльск. min «губа», корн. тун, меун, брет. min «рыло» < *mēkno- или *mēknā.

Ср.-ирл. gráin «отвращение», уэльск. graen «жестокость, мучительный» < *gragni-; ирл. stán «олово», уэльск. ystaen, совр. корн. stean, брет. stean, галльск.-лат. stanpium < *stagno-; ирл. súanem «веревка», уэльск. hoenyn, hwynyn «волос; силок» < *sogno-; др.-ирл. fén «повозка», уэльск. gwain (мн. ч. gweiniau), галльск. covinnos (vocant quorum falcatis axibus utuntur) < *цegno-; ср.-ирл. cuilén «щенок, собачка», уэльск. colwyn, др.-корн. coloin, брет. kolen < *koligno-.

Др.-ирл. éп «птица», уэльск. edn, др.-корн. hethen, ср.-корн. ethen, совр. корн. eðanor «птицелов», др.-брет. etn-, ср.-брет. ezn, совр. брет. evn, ein < *petno-, в уэльск. llwdn «детеныш» (животного), ср.-брет. lo(e)zn, совр. брет. loen, каково бы ни было происхождение этих форм, корень ирландского loth «жеребенок» был расширен носовым суффиксом.

Ср.-ирл. móin «вересковая пустошь» < *moudni-; уэльск. blwyddyn (с другим вокализмом: др.-корн. bliþen, ср.-корн. blythen, blethen, брет. blizenn) имеет старое мн. ч. blynedd < *blidniās (после числительных).

Ср.-ирл. ten(e) «огонь», уэльск., корн., брет. tan < *ternet-; др.-ирл. súan «спать», уэльск., корн., брет. hun < *sorpo-; ср.-ирл. cúan «гавань» < *корпо-, ср. др.-исл. hofn.

Др.-ирл. domun «мир, свет», domain «глубокий», уэльск. dwfn (ж. р. dofn), корн. down, брет. douп «глубокий», галльск. Dubnoreix (собственное имя), брет. < *dubno-.

Эти и другие примеры (на -kn-, -gn-) см. у Педерсена¹.

Отсюда ясно, что приходится учитывать двойную трактовку групп «взрывной + п». По мнению Стокса и Цупи-

¹ Н. Pedersen, Vergleichende Grammatik der Keltischen Sprachen, т. I, 1909, стр. 125, 103, 135, 113, 93, 117.

цы, к которому присоединились Педерсен¹ и Вальде—Покорный², обе трактовки являются фонетическими, причем ассимиляции *-kn > -kk-*, *-gn- > -gg-* и т. д. происходят непосредственно перед (доисторически) ударным гласным. Но так как независимые свидетельства, касающиеся доисторической акцентуации, отсутствуют, это объяснение остается чистой гипотезой, хотя соответствующие индоевропейские образования (имена на *-po-*, *-pā-*, *-pi-*, *-pu*, глаголы на *-pe/o-*, *-pā-*, *-pu-*) имели, как правило, ударение на суффиксе. Не удивительно поэтому, что другие ученые относились к вышеупомянутой ассимиляции сдержанно или даже отрицательно, ср. Турнейзен³ или М. Л. Шестедт⁴.

Для решения этой фонетической дилеммы лингвистам приходилось прибегать к понятию так называемой экспрессивной геминации. Если оставить в стороне звукоподражания и звуковые метафоры, то основную массу экспрессивных форм представляют собой ласкательные варианты собственных имен и тех нарицательных имен, которые обозначают лиц (в особенности членов семьи), реже животных и лишь в исключительных случаях неодушевленные объекты. Прозвища тесно связаны с ласкательными именами. Из прилагательных такие варианты способны иметь главным образом те, что относятся к лицам (например, обозначающие физические или моральные недостатки).

Но как только мы откажемся от более или менее определенных критериев экспрессивного словообразования, объяснение с помощью экспрессивности фонетических форм, выпадающих из общего правила, становится иллюзорным. Никто не будет оспаривать различие между прагерманской геминацией, которая играет важную роль в германской морфологии, и греческой геминацией, почти покрывающей вышеупомянутую семантическую область⁵.

¹ Н. Pedersen, ук. соч., стр. 159.

² Vgl., Wtb.

³ R. Thurneysen, Handbuch des Alt-Irischen, Heidelberg. 1909, стр. 88.

⁴ М.-Л. Sjoestedt, L'aspect verbal et les formations à affixe nasal en celtique, 1926, стр. 19, 20.

⁵ E. Schwyzer, Griechische Grammatik..., I, стр. 315.

Кельтские языки, очевидно, совпадают в этом отношении с германскими: в них удвоение взрывных согласных играет грамматическую роль. Если это верно, то ни прежнее фонетическое объяснение, ни более позднее семантическое приняты быть не могут: здесь должна быть допущена морфологическая геминация. Индоевропейское происхождение геминации представляется маловероятным, поскольку следы морфологического чередования «простой взрывной : удвоенный взрывной» не сохранились ни в индоиранском, ни в греческом¹. Поэтому на первый план выдвигается вопрос о кельтском происхождении геминации.

Удвоение взрывных в унаследованных индоевропейских корнях — специфическая черта как кельтских, так и германских² языков. Однако последняя группа дает гораздо больше языковых данных, позволяющих различать разные хронологические пласты геминации и проследить развитие геминации от морфологически ограниченного явления до почти факультативного средства «экспрессивности». Так как вполне вероятно, что фрагментарный кельтский материал сохранил следы аналогичного развития, можно думать, что анализ германских данных поможет пролить свет на изучаемое явление в кельтских языках.

¹ В этом отношении индоевропейские языки резко отличны от семитских, где удвоение второго или третьего корневого согласного может представлять специальный морф: ар. *ḳatala* «убивать» : *ḳat-tala* «убивать много, устраивать резню».

² В германских языках, как и в кельтских, геминаты никогда не происходят из простых взрывных + п. Ср. примеры регулярного фонетического развития: др.-исл. *botn* «дно»; др.-исл. *ogn* и гот. *aúhns* «печь» (в др.-исл. *ogn* «печь» не представлено; данная форма является лишь восточно скандинавской: др.-шв. *ughn*, *oghn*, совр. шв. *ugn*, дат. арх. *ogn*, др.-исл. *ofn*, совр. исл. *ónn*; см. J. de Fries, *Altnordisches etymologisches Wörterbuch*, Leiden, 1961, стр. 417a. — *Ред.*); др.-англ. *swefn* «сон, сновидение», др.-исл. *svefn*; др.-исл. *þegn* «тан; мужчина», др.-сакс. *dheg(a)n*, др.-в.-нем. *dēgan*; гот. *uslukns* «открытый» и т. д. Как указывает Висман (Wissman, *Nomina postverbalia*, стр. 97), значительное число германских глаголов с суффиксом -по-, соответствующих глаголам с суффиксом -пā-, имеется в других индоевропейских языках, однако ни один германский глагол с конечным удвоенным взрывным не соответствует глаголу с суффиксом -пā- в каком-либо другом языке.

Германские языки с их сильными глаголами и рядом форм с аблаутом особенно удобны для изучения первичных способов деривации. Представляется, что к первичным образованиям в сфере сильных глаголов относится не только чередование гласных, но и удвоение конечного согласного корня.

III класс германских сильных глаголов включает ряд форм с удвоенными носовыми или плавными согласными, например, *brinnan* «гореть», *ginnan* «открывать; начинать», *hlinnan* «звучать», *krinnan* «сдавать», *linnan* «отправляться, превращаться», *rinnan* «бежать», *spinna* «прясть», *swinna* «плыть», *winna* «стараться, трудиться, бороться»; *bellan* «лаять», *gellan* «звучать», *hellan* «звать», *kerran* «кричать, плакать», *quellan* «набухать», *skellan* «звучать», *skerran* «скрести», *swellan* «набухать», *wellan* «кипеть», *wellan* «кружиться».

Гемината восходит к группе, которая первоначально состояла из конечного согласного корня и суффикса настоящего времени. В соответствии со словарями Вальде — Покорного, Фалка — Торпа, Фика — Торпа (*Wortschatz der germanischen Spracheinheit*, Göttingen, 1909), и т. д. гемината восходит к -*nn-* в *brinnan*, *linnan*, *rinnan*, *spinna*, *winna* и, возможно, -*ginna-*; к -*ln-* в *hellan*, *quellan*, *skellan*, *swellan*, в обоих *wellan* и, возможно, в *bellan* и *gellan*¹; к -*rz-* в *kerran*, *skerran*. Гемината *m* в *hlinnan*, *krinnan* и *swinna* пока не объяснена².

Гемината, первоначально встречавшаяся только в настоящем времени, распространилась на все спряжение уже в доисторический период, ср. претеритопрезентные глаголы в готском: *kann* «может», *kunnum* «можем» и т. д.

¹ Ср. гот. *kinnaus*, *kinnaus* «подбородок» < **kinus*, *kinnaus* < **kinus*, **kinnis* (< **kinuiz*). [Е. Курилович не совсем точно дает историю гот. *kinnaus* «подбородок» (и- основа ж. р.): засвидетельствована только форма акк. ед. ч. *kinnu*; *kinnaus* нужно дать под астериском справа. Реконструкция < **kinus*, **kinuouz* (а не **kinuiz*). — *Ред.*] Прогрессивная ассимиляция *ln* > *ll* хорошо засвидетельствована в германских языках: гот. *wulla* «шерсть» = санскр. *ūṛṇā-* (< **uṛṇā-*); гот. *fulls* «полный» = санскр. *pūrṇa-* (< **pṛṇo-*); др.-в.-нем. *wella* «волна» (< **uelpā-*), ср. ст.-сл. *вълна* (< **uṛṇā-*). В общегерманском группе *ln* не встречается.

² Прогрессивная ассимиляция **snem* + *n-* или **snem* + *u-* вряд ли возможна.

Прямое доказательство такого происхождения геминат можно найти в некоторых древних первичных производных, которые в соответствии с известным индоевропейским правилом словообразования образованы от корня глагола, а не от основы презенса. Например:

brinnap «гореть»: др.-исл. bruni «пожар», др.-англ. bryne (основа на -i-).

hlíman «звучать»: слабый глагол I др.-исл. hlýmja «трещать, шуметь»; слабый глагол II др.-в.-нем. hlamon «реветь, грохотать»;

kríman «сдавить, стиснуть»: слабый глагол др.-исл. kremia «давить; сжимать»; слабый глагол II др.-шв. krama «стиснуть»; др.-исл. krǫm «сжатие, хватка»;

rinna «бежать»: гот. rups (ж. р. — основа на -i-) «течение» = др.-англ. rype м. р.; др.-исл. run «проток между двумя озерами»; гот. garunþo «поток, наводнение»;

spinnan «прясть»: др.-исл. spun «пряжа»; др.-англ., ср.-в.-нем. spinel «прялка»;

swíman «плыть»: ср.-в.-нем. swamen «плыть»;

bellan «лаять»: др.-исл. belja «орать» (< *baljōn); др.-исл. bylja «угрожать»;

hellan «звучать, звать»: слабый глагол II *halōn «звать» (др.-англ., др.-фриз., др.-сакс., др.-в.-нем.); др.-исл. hjala «беседовать с кем-либо», hjal «беседа»;

kerra «плакать, кричать»: слабый глагол II др.-исл. kuga «ворчать»; др.-исл. kuga «жалоба»;

quellan «набухать»: дат. kval «пар»;

skellan «звучать»: др.-исл. skjal «беседа»; др.-исл. skal «шум»;

swellan «набухать»: др.-англ. swile «разбухание, опухоль»; др.-в.-нем. swilo и swil «благо, благосостояние»;

wellan «пузыриться, кипеть»: слабый глагол I др.-исл. ylja «греть», др.-исл. ylr «пар»; др.-в.-нем. walī «тепло»;

wellan «кружиться, поворачивать»: ср.-н.-нем. walēn; др.-исл. valr «круглый».

Отношение между производными формами и соответствующими сильными глаголами аналогично отношению между spurnan «пришпоривать, лягать» и производным с -п- *spuran- (др.-исл. spori, др.-англ. spora, др.-в.-нем.

спрого) «шпора», которое образовано от корня *spurg, а не от основы презенса spurgn-.

Однако продуктивность некоторых гласных суффиксов привела ко все более возрастающему проникновению геминат в отглагольные производные — как в имена, так и в глаголы. Основные категории этих производных таковы:

1) каузативно-итеративные глаголы на -(i)ja (слабые глаголы I) *brannjan, *kannjan, *rannjan (гот. и т. д.); др.-исл. skella (< *skellan); гот. ufswalleins < *swalljan (< swellan); др.-исл. vella (< wellan);

2) итеративные и интенсивные глаголы на -ō- (слабые глаголы II): др.-англ. crammian, др.-в.-нем. krammen (< krimman); др.-исл. bulla, др.-в.-нем. bullôn (< bellan); др.-исл. karra (< kerran); др.-исл. kurra (< kerran); норв. skarra и ср.-н.-нем., ново-в.-нем. scharren (< skerran); шв. skorra и ср.-н.-нем. schurten (< skerran); слабый глагол III гот. -kunpan образован от претеритопрезентного глагола kanp;

3) существительные на -(j)o- (нем.-а-) : др.-исл. gjallr и gallr (< gellan); др.-исл. skjallr = др.-англ. sciell (< skellan); др.-исл. sullr (< swellan);

4) существительные на -(j)ā- (нем. -ō-) : гот. winna (< winnan); др.-исл. skoll (< skellan); др.-англ. wiell (< wellan) «кипеть»;

5) существительные на -i- : др.-англ. hlemm (< hlimman); гот. winns (ж. р.) (< winnan); др.-исл. skellr = др.-в.-нем. scal(l) (< skellan);

6) слабые германские существительные на -(j)an-, -(j)ōn- : brinno (< brinnan); др.-англ. hlimme (< hlimman); др.-исл. krumma, krymma (< krimman); гот. rinno (< rinnan); гот. winno = др.-исл. vinna (< winnan); др.-исл. bjalla = др.-англ. belle (< bellan); др.-исл. vella и olla (< wellan) «кипеть».

Новый и унаследованный способы словообразования сосуществовали в течение некоторого времени, что привело к появлению контраста между простым согласным и геминатой. Гемината стала восприниматься как «экспрессивный» согласный не в силу ее фонологической маркированности, а благодаря тому, что была носителем первичной семантической функции (каузатива, итератива и т. д.),

в то время как вторичные функции выполнялись в течение некоторого времени все еще формами без геминат. Это длившееся некоторое время противопоставление, став продуктивным, повлекло за собой создание геминированных форм вне строго ограниченной области, где геминированные формы были оправданы с этимологической точки зрения. Например: *kurōn* : *kurgōn* (< *kerran*) = *tugon* : *tukkon* (< *tiuhan*).

За пределами указанной первоначальной области геминация проникала в производные слова с отчетливым семантическим значением словообразовательного суффикса. Там, где это значение ослаблялось или нейтрализовалось корнем, удвоение конечного согласного корня не имело места. Этим и объясняется неполное распространение геминации, основные морфологические этапы которого были таковы:

а) Живые производные (группы 1—6) указанных выше глаголов (*brinpan* и т. д.) заменяют, как правило, простой согласный соответствующей геминатой.

б) Производные 1—6 других сильных глаголов часто геминируют конечный согласный корня.

в) Другие производные с суффиксами 1—6, главным образом отыменные, также могут допускать геминацию.

г) Немотивированные (простые) слова со словоизменительными суффиксами, соответствующими словообразовательным суффиксам 1—6 (-/i) *ja*-, -*ō*-, -*ē*-; -(j)*a*-, -(j)*ō*-, -*i*-, -(j)*ap*-, -(j)*ōp*-) иногда геминируют конечный согласный корня.

Группа б) хорошо иллюстрируется слабыми глаголами на -*ōp*- и слабыми существительными. Ср. итеративные и интенсивные глаголы на -*ōp*:

**glisan* (предполагается на основе норвежского прилагательного *glisen*) : др.-исл. *glissa* «скалиться, усмехаться»;

hnīpan «сжать, толкнуть» : др.-исл. *hnīrra* «толкнуть»;

snīpan «резать» : ср.-в.-нем. *snetzen* «стругать, вырезать» (др.-в.-нем. *snetzeri* «скульптор»);

wīpan «кружиться» : др.-в.-нем. *wīrfōn* «заблудиться»;

writan «гравировать, чертить» : др.-в.-нем. *rizzōn* «скрести»;

driupan «капать» : др.-англ. *droppian*, др.-в.-нем. *tropfōn*;

liugan «лгать» : *lukkōn «заманивать, соблазнять» (др.-исл., др.-англ., др.-в.-нем.);

sliupan «скользить» : др.-в.-нем. slophōn (предполагаемое имя деятеля slophâri);

striukan «гладить» : др.-англ. stroccian;

tiuhan «тянуть, тащить» : др.-в.-нем. zocchōn «хватать» (без геминации zogōn);

sūpan «глотать, втягивать» : др.-англ. sorpiān «впитывать»;

brekan «ломать» : др.-в.-нем. brockōn;

teran «разрывать» : др.-в.-нем. *zerrōn (в gezerrōt) «отрезать»;

tredan «ступать, наступать» : др.-в.-нем. trettōn «топтать»;

hlahjan «смеяться» : др.-фризск. hlakka (интенсив), др.-исл. hlakka;

stapjan «шагать» : др.-в.-нем. stapfōn;

swarjan «клясться; ругаться» : др.-исл. svaḡa «ворчать, жужжать».

Сильный глагол от *likkōn «лизать» (др.-англ., др.-сакс., др.-в.-нем.) не засвидетельствован.

Одной из главных функций германского именного суффикса -п- было образование отглагольных имен. Геминация засвидетельствована в следующих случаях:

driupan «капать» : др.-англ. droppa «капля», др.-в.-нем. tropfo;

fliugan «летать» : др.-в.-нем. floccho «хлопья»;

slūkan «глотать» : др.-в.-нем. slucko «обжора»;

smiugan «прижиматься» : др.-в.-нем. smocko «рубашка»;

snūfen snūben (ср.-в.-нем.) «храпеть, фыркать» : др.-в.-нем. snupfe «насморк»;

sūpan «всасывать, глотать» : др.-англ. sorpe «кусочек, глоток»;

stēhhan (др.-в.-нем.) «колоть» : др.-англ. sticca «палочка, трость», др.-в.-нем. stēcko (без геминации stēhho);

brekan «ломать» : др.-в.-нем. brocko «кусочек; крошка»;

gedan «полоть» (сорняк) : др.-в.-нем. jētto «сорняк»;

kresan «ползти» : др.-в.-нем. kresso «пескарь»;

fregnan «спрашивать» : др.-англ. fricca «глашатай»;

hafjan «подымать» : др.-в.-нем. hepfō «дрожжи, закваска» (также и без геминации: heve);

stapjan «шагать» : др.-в.-нем. stapfo «шаг».

Это чередование простых и удвоенных согласных в мотивированных (отглагольных) основах на -п- с геминацией (функционирующих как «экспрессивные» формы) имеет тенденцию распространяться на другие мотивированные основы на -п-, а именно на отыменные основы (группа в). При образовании прозвищ и ласкательных имен от существительных и прилагательных эти последние часто переходят в слабое склонение и легко принимают геминацию как добавочный «экспрессивный» признак. Если исходное нарицательное существительное само является слабым, то геминация может функционировать одна в качестве конституирующего морфа.

Например: др.-исл. *farri* «бродяга» < **fari* — имя деятеля < *faḡa*; др.-исл. *goddi* — прозвище < *goḡi* «жрец»; др.-в.-нем. *zicki(n)* «козленок» < **zēcko* < *ziga*; др.-в.-нем. *Berri* — название созвездия < **berro* < *bēro* «медведь»; др.-в.-нем. *roggo*, *rocco* «рожь» < **rugi-*, др.-исл. *futta* «cunnus» < *fup*.

Возможно, что нем. Кнарре «оруженосец, подручный» и Рарре «вороной конь» были первоначально ласкательными формами (< Кнабе «мальчик» и < Рабе «ворон»).

Ласкательные собственные имена образуются путем прибавления словоизменительного суффикса -п- к ласкательному корню и удвоением конечного согласного корня. Так, в немецком:

полное имя	ласкательный корень	ласкательное имя
Friedrich	Frid-	Fritz (< Fritt(o))
Karl	Kal-	др.-в.-нем. Kallo
Ludwig	Lud-	Lutz (< Lutto)
Sig (-bert, -frid, -mâr)	Sig-	др.-в.-нем. Sikko (< Siggo)
шв. Lars	Las-	Lasse

Возможно, что др.-исл. *krabbi*, др.-англ. *stabba*, совр. н.-нем. *krabbe* < **krabban*-восходят к ласкательной геминированной форме от **krabita*, сохранившегося в немецком Krebs «рак».

Как слой третьего порядка можно рассматривать геминированные основы на -п-, у которых словоизмени-

тельный суффикс не мотивирован деривацией. В таком случае геминация могла быть вызвана семантическим контактом со словами, принадлежащими к более глубоким пластам. Для этой последней группы характерны колебания между простым и удвоенным согласным.

Относительно недавнее появление группы г), а частично и группы в) доказывается тем, что в этих группах геминированные и негеминированные формы часто существуют параллельно.

Различия между двумя диалектами: др.-исл. *boli*, др.-англ. *bula* «бык» — ср. н.-нем. и совр.-в.-нем. *Bulle*; др.-исл. *kraki* «изогнутая палочка» — др.-в.-нем. *kracco*; др.-фриз., др.-сакс. *skar*, др.-в.-нем. *skaf* «ведро, кадка» — др.-исл. *skeppa* «мерка» (для сыпучих тел); др.-в.-нем. *scrato* «чудовище, домовой» — др.-исл. *skratti* «колдун»; др.-исл. *spari* (и *sparri*) — др.-в.-нем. *sparro* «брус, балка»; др.-сакс., др.-в.-нем. *waga* «колыбель» — др.-исл. *vagga*.

Внутри одного и того же диалекта: др.-исл. *staka* и *stakka* «кожа, шкура»; др.-в.-нем. *bahho* и *basco* «щека»; ср.-в.-нем. *zëche* и *zëcke* «козочка, козленок»; др.-в.-нем. *zota* и *zotta* «хохолок, косичка». С одновременным сокращением долгого гласного: др.-англ. *scûce* «кувшин», но *scossa* «горшок, котелок»; др.-в.-нем. *hâko* «крюк» и *hasco* «излучина, изгиб» (др.-англ. *hasa*, др.-сакс. *haso* с простым согласным).

В отыменных и производных глаголах на -оп-геминация часто тоже факультативна: англ. *to gloat* «пожирать глазами, злорадствовать» < **glotian*, но др.-исл. *glotta* «скалиться», совр. в.-нем. *glotzen* «глазеть»; др.-в.-нем. *hlamôn* «реветь; нестись», но др.-исл. *hlamma*; др.-исл. *skora* и др.-шв. *skoppa* «дразнить, насмехаться»; ср.-в.-нем. *klaffen* и *klapfen* «издавать звук, хлопать»; фриз. *dufen*, *duven* и *dubben* «толкать» (др.-исл. *dubba*, др.-англ. *dubbian*).

Аналогично можно привести многочисленные примеры суффиксов групп 1), 3), 4) и 5)¹, иллюстрирующие этапы б), в) и г).

¹ Прямое происхождение той или иной формы часто остается неясным. Основы мужского рода на -а, основы женского рода на -о- и слабые основы обоих родов могут быть произведены от слабых

Подведем итоги. Экспрессивная функция геминации развивалась, вероятно, в следующих направлениях:

На этапе а) оба способа, то есть суффиксация *-ō-* (слабые глаголы II) и суффиксация плюс геминация, семантически противопоставлены. Распространение геминации на этапе б) не является следствием итеративного (интенсивного) значения глаголов б); геминация воспринимается как уже существующая альтернатива, дающая возможность дифференциации по отношению к формативу, употреблявшемуся до сих пор. При этом, если инновация в формообразовании приводит к дифференциации, то новая форма становится носителем первичной семантической функции, а вторичные функции, по крайней мере временно, выполняются старой формой. Это объясняет временное сосуществование геминированных и негеминированных форм, иногда даже одного и того же корня.

Звуковой символизм, ассоциирование значения интенсивности (или повторяемости) с повторением конечного согласного,— явление вторичное. Гемината в **druppōn* явно отличается по своей природе от геминат в *atta* или *tatma*, которые объясняются как *Urschöpfung*.

Экспрессивность в этом смысле может связываться не только с геминацией, но и с назализацией, удлинением гласных, суффиксацией, срастанием суффиксов и т. д. Особенно часто встречается последнее явление: др.-в.-нем. *fugililî* = *fugil-il-î* «маленькая птица, птичка» более экспрессивно (в указанном выше смысле), чем *fugil-î*; ср.-в.-нем. *zickel-în* «козленок» = *zick-el-în* более экспрессивно, чем др.-в.-нем. *zickîn* и т. д. Новый формообразовательный способ «экспрессивнее», чем старый.

Если геминация на этапе б) является формальным усилением главного морфа *-ō-*, то понятно и ее появление

глаголов, например: др.-в.-нем. *kouf* «покупка» от *koufōn* (гот. *kaupōn**). Поэтому гемината таких основ может восходить непосредственно к геминированным глаголам на *-ō-*: др.-в.-нем. *brocko*, *trofō*, *stapfo*, др.-англ. *sorpe*, ср. *brockōn*, *trōfōn*, *stapfōn*, *sorpiān*. С другой стороны, здесь можно предположить глаголы на *-ōp*, произведенные от геминированных основ на *-a-*, *-o-*. Во всех подобных случаях сделать выбор между возможными альтернативами довольно трудно.

на этапе в). Распространение геминации происходит по формальным линиям: принимать геминацию в качестве вспомогательной характеристики могут не только морф итератива *-ō-*, но и другие словообразовательные морфы глагола (например, *-ō-* в отыменных глаголах). Вплоть до этого момента геминация ограничена определенными семантическими категориями, которые представлены словообразовательным суффиксом *-ō-*. Но этап в) отличается от б) именно тем, что совокупности геминированных форм, состоящей из двух или большего числа различных подгрупп, нельзя приписать специального семантического значения. Экспрессивность геминации становится более расплывчатой, чем на этапе б), однако семантическая роль геминации на этапах б) и в) видна благодаря тому, что даже будучи ограничена в своем распространении областью глаголов со словообразовательным суффиксом *-ō-*, она проникает не во все эти глаголы. Поэтому мы должны заключить, что семантическое значение к о р н я или, точнее, отношение между суффиксом и корнем является важным фактором, объясняющим наличие или отсутствие геминации в производных глаголах на *-ōp-*.

Во всяком случае на этапе г) роль корня становится неограниченной; суффикс как чистый показатель типа словоизменения теряет на этом этапе свое семантическое значение. Здесь, наконец, мы встречаемся с явлением, которое напоминает нам экспрессивность в т р а д и ц и о н н о м смысле этого термина: спонтанное явление, обусловленное эмоциональными факторами и не зависимое от какой-либо особой грамматической структуры, хотя и должно быть облечено в какую-нибудь грамматическую форму, то есть входить в тот или иной тип словоизменения. Однако в отличие от случаев «*Urschöpfung*» на этапе г) формы образуются посредством проникновения геминации в уже существующие слова, а не посредством создания новых слов геминацией.

Сторонники экспрессивности в традиционном смысле слова исследовали как раз последний этап (то есть этап г)), где экспрессивность основывается на лексическом значении, а не на одном (этап б)) или нескольких (этап в)) грамматических значениях. Поэтому число различных возможных ассоциаций резко возрастает и геминация

теряет способность «выражать» о п р е д е л е н н ы й семантический оттенок. Отныне она способна выражать любой оттенок и в силу этого становится в известной степени ф а к у л ь т а т и в н ы м добавочным морфом.

В истории языков известны случаи подобного развития. Такова, например, судьба индоиранского именного суффикса *-(a)ka-*. В пехлеви суффикс *-ak* может быть присоединен к любому имени без всякого изменения в значении: *kām-ak* «желание» = *kām*¹. Тот же самый суффикс играет роль пустого морфа и в санскрите, например, *уака-* «(тот) кто» = *уа-*².

Интересная точка зрения была выдвинута почти столет назад Герландом³: геминированные формы интенсификации не образовывались от корней, оканчивающихся на плавные, носовые или *s*. Хотя, конечно, для геминации здесь нет фонетического препятствия, можно понять, какая здесь возникала морфологическая трудность. Начиная с известного момента, в общегерманском существовали сильные глаголы с корнями на *гг*, *ll*, *пп*, *тт* (ср. выше), но не на удвоенный взрывной. Геминация *г*, *l*, *p*, *t* могла бы во многих случаях привести к деформации глагольного корня и к смешению производных от сильных глаголов III и IV классов. По крайней мере геминации, очевидно, избегали следующие корни: *beran* «рождать; нести», но др.-в.-нем. *barrēn* (*parrēn*) «застыть, оцепенеть»; *helan* «скрывать»: *hellan* «звучать»; *quelan* «болеть, страдать, умирать»: *quellan* «бить ключом»; *skeran* «резать, стричь»: *skerran* «скрести, скоблить»; *stelan* «воровать»: **stalljan* «ставить; поднимать» и **stilljan* «успокаивать»; *ƿweran* «крутить, вращать»: *ƿwerran* (др.-исл. *ƿverra*) «уменьшаться, истощаться».

Что касается глагольных корней на *-s*, то мы должны учитывать возможность перехода *s > z* (закон Вернера) *> г* (в западногерманском (и скандинавском. — *Ред.*)); это также создает то же морфологическое препятствие для геминации, что и в случае с исконным *г*. Глаголы на *-ōp-* и слабые имена деятеля характеризуются

¹ «Grundriss der iranischen Philologie», I, 2, стр. 173.

² Bloch, L'Indo-Aryen, стр. III.

³ A. Martinet, La gémination consonantique, стр. 146.

нулевой ступенью и сопровождающим «грамматическим чередованием» (закон Вернера).

Следует, однако, подчеркнуть, что правило Герланда не абсолютно. Встречаются примеры геминаты *z* или плавного: др.-в.-нем. *kressso*, др.-исл. *svaatta*, вероятно, есть и некоторые другие примеры.

Контраст между геминацией *gg*, *ll*, *pp*, *mm*, встречающейся в старом фонде сильных глаголов, и геминацией взрывных в живых и продуктивных словообразовательных категориях весьма поучителен и говорит в пользу нашего объяснения германских взрывных геминат. Когда геминация плавных и носовых уже становится морфологически релевантной (как особенность глагольного корня), она часто все-таки не может применяться для образования производных от сильных глаголов, оканчивающихся на простые *g*, *l*, *p*, *m*. С другой стороны, геминация взрывных, присущая только производным словам, но не сильным глаголам, представляет собой явление явно более позднее, чем возникновение геминат *gg*, *ll*, *pp*, *mm* в сильных глаголах. Один только факт отсутствия первичных глаголов на *TT* (удвоенные взрывные) ставит под сомнение как теорию фонетического удвоения ($TT < Tn$), так и теорию экспрессивного удвоения в традиционном смысле. Если бы последняя теория была справедлива, полное отсутствие сильных глаголов типа **gebban*, **lesan*, **waddan* и т. д. было бы необъяснимо¹.

Отсутствие морфологической геминации в готском языке является загадкой; торжественный характер известных текстов — это мало удовлетворительное объяснение. Хотя экспрессивные формы (в старом смысле) могут и не встречаться в переводе Нового Завета, следовало бы, безусловно, ожидать отдельных итеративных глаголов на *-ōp* или слабых существительных, обозначающих неодушевленный объект, то есть слов с морфологической геминацией². Единственное приемлемое объяснение суще-

¹ Поэтому др.-в.-нем. *bascan* «печь» следует рассматривать как производное от *baican*, засвидетельствованного в др.-в.-нем., ср.-в.-нем. (*bachen*) и др.-исл. (*basan*). Оно может представлять собой контаминацию от *baican* + **bakkon*.

² Кроме уже упомянутых выше форм, относящихся к этапу а), как, например, *brannjan* и т. д., специальному исследованию долж-

ствующей ситуации состоит в том, что морфологическая геминация — черта, присущая только северным и западным германским языкам и развившаяся в период языковой общности этих двух групп диалектов, приблизительно между 200 и 500 гг. н. э. (после отхода готов в сторону Черного моря).

Фонетический аспект германской геминации имеет лишь вторичное значение. Тот факт, что геминаты *kk*, *tt*, *pp* соответствуют, очевидно, всем трем типам артикуляции (и.-е. *k*, *g*, *gh* = герм. *h*, *k*, *g*), может быть объяснен следующими допущениями: а) древнейший слой соответствующих форм восходит к периоду, когда закон Вернера представлял собой живое чередование глухих и звонких щелевых; б) геминация щелевых сопровождалась их «усилением», то есть одновременной смычкой (ср. аналогичные факты в древнеирландском : Турнейзен, цит. соч. 82, в древнеанглийском).

Пока пары *g* : *h*, *ḡ* : *þ*, *b* : *f* подчинялись правилам привативного противопоставления (глухие щелевые никогда не встречаются перед ударением, кроме начального положения), то есть до исчезновения унаследованной индоевропейской акцентуации, треугольная система германских согласных выглядела следующим образом:

$$\begin{array}{ccc} g \rightarrow h & \bar{g} \rightarrow \bar{þ} & b \rightarrow f \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ k & t & p \end{array}$$

Поскольку закон Вернера установил тесную связь между *ḡ* и *þ* и т. д., мы должны принять: 1) что *ḡ* и т. д. (а не *d*) являлись основными аллофонами, так как взрывные встречались только в абсолютном начале и после носовых, 2) что *h*, *þ*, *f* имели ограниченное употребление

ны быть подвергнуты следующие формы: *and-staúrran*, *faírra*, *quaírrus*, *qrammíþa*, *skatts*, *smakka*, *stamms*, *wamme*. Удвоенное *г* в первых трех словах объясняется, согласно Бругману, за которым следует Вальде-Покорный (I, 685; II, 31 и 628), гаплогогическим выпадением промежуточного гласного. Этимология слов *skatts* и *smakka* неизвестна, этимология слова *wamme* ненадежна. Однако *qrammíþa* (вместо *krammíþa*) и *stamms* являются, возможно, случаями неэтимологической геминации. Нам неизвестны примеры геминации взрывных в формах 1—6, образованных от сильных глаголов.

и поэтому были маркированными членами противопоставления $\text{đ} : \text{þ}$ и т. д. и 3) что единственными представителями германских взрывных были k, t, p .

Если геминация влекла за собой взрывность, то понятно, почему удвоение đ и þ давало tt .

Никаких объективных фонологических критериев, требующих предпочесть систему $t \xrightarrow{\text{þ}} d$ с d в качестве

основного варианта фонемы $d/\text{đ}$, нет, — по крайней мере для периода предшествующего фиксации германского ударения.

Так как единственными представителями геминат первоначально были kk, tt, pp , то германские геминаты gg, dd, bb должны принадлежать к более позднему слою. Их появление обусловлено тем, что на более ранних стадиях фонетической эволюции взрывные g, d, b достигли статуса основных вариантов (или даже независимых фонем).

Удвоение $h, \text{þ}$ и f , которое имело место только в западногерманских¹ диалектах, появилось еще позднее.

Подытожим результаты анализа материала германских языков в виде следующей, более общей формулы (t — символ — носового или плавного):

глагольный корень	$-t_1t_1$	$-t_2t_2$	$-t_3t_3$	$\dots$
первичные производные	$-t_1-$	$-t_2-$	$-t_3-$	$\vdash$ гласный суффикс
новые образования	$-t_1t_1-$	$-t_2t_2-$	$-t_3t_3-$	$\vdash$ гласный суффикс

Отсюда противопоставление $-t_1t_1- : -t_1-$, $-t_2t_2- : -t_2-$, $-t_3t_3- : -t_3-$... распространилось за пределы его первоначально ограниченной сферы.

Основным условием для такого развития было, конечно, появление нового типа глагольных корней, неизвестного в индоевропейском праязыке, а именно корней с геминированным конечным согласным, возникшим в результате прогрессивной ассимиляции.

¹ Это не совсем точно. Геминация þ имела место в готском языке, см. W. В г а и п е, *Gotische Grammatik*, 1952, Halle, стр. 48; геминация f встречается в древнеисландском в заимствованных словах, см. А. Н о р е е н, *Altnordische Grammatik*, 1923, Halle, стр. 240. — *Ред.*

Регрессивная ассимиляция не имела бы морфологических последствий, так как противопоставление типа $-t_1t_1-$ (из $t_2 + t_1$) : $-t_2-$ является изолированным, а следовательно — не продуктивным.

Возвращаясь к нашей исходной точке, то есть к кельтским геминатам взрывных, мы прежде всего спросим, существовали ли в кельтском глагольные корни с геминатами, получившимися в результате прогрессивной ассимиляции. На этот вопрос следует ответить утвердительно.

Прогрессивная ассимиляция в кельтском засвидетельствована рядом надежных этимологий. Основные случаи таковы же, что и в германском: $-ln- > -ll-$, $-rs- > -rr-$ и, может быть, $-ls- > -ll-$, причем наиболее важным является первый случай (примеры см. у Педерсена, цит. соч., I, стр. 156, 82, 85). Мы можем оставить в стороне $-gr- > -gg-$, поскольку *r* практически не имеет значения в качестве морфологического элемента.

Глаголы на $-ll-$: др.-ирл. *at-baill* «умирать» ($< *bal-n-$); *cell-* «поворачивать» ($< *q\ddot{e}l-n-$); *ad-ellaim* «посещать» ($< *el-n-$) «поворачивать, сгибать» ($< *u\ddot{e}l-n-$); уэльск. *gallaf* «быть способным» ($< *gal-n-$). Глаголы на $-rr-$: ср.-ирл. *cirrim* «отрезать, увечить», *corrán* «серп». Согласно распространенному мнению, эта форма восходит к $*kerp$; однако фонетически допустимо и смешение с $*kers$. Есть, кроме того, примеры на $-pp-$ $< -p + p-$: др.-ирл. *sepp* «играть (на музыкальном инструменте)» $< *s\ddot{e}p + p-$; уэльск. *tuppi* (корн. 1 л. ед. ч. *menpaf*) «хотеть» $< *mep + p-$, ср. ст.-сл. *romęnpti* $< *men + p-$.

За пределами системы презенса старый глагольный корень лучше сохранился в древнеирландском, чем в германском, где пары типа $*fregnan$: $*frah$ встречаются лишь как исключение.

Например:

др.-ирл. *benaíd* «ударять» : сослагательное наклонение $-bia-$, прошедшее время $-bí$, пассив $-bíth$, отглагольное имя *béim* (m);

др.-ирл. *bongíd* «ломать» : сослагательное наклонение $-bóss-$, прошедшее время $-beb(a)ig$, пассив $-bocht$, отглагольное имя *búain*;

др.-ирл. *guidid* «просить, молить»: сослагательное наклонение *-gess-*, прошедшее время *-gáid*, пассив *-gess*, отглагольное имя *guide*.

Прогрессивная ассимиляция $-l + n > -ll-$, происшедшая в формах презенса, привела к появлению корней нового типа, а старый корень, который выступал в формах других времен, стал восприниматься как модификация основной формы с геминатой, например, *ball-*: конъюнктив — *bel-(a-)*. Распространению нового корня (старой основы презенса) и его проникновению в первичные производные способствовало раннее разрушение чередования ступеней огласовки (аблаута). Временный контраст между простым согласным и геминатой в первичных производных стал исходной точкой морфологической геминации.

Отсюда мы можем заключить, что происхождение и судьба геминации в кельтском были во многом таковы же, что и в германских языках. Однако скудость кельтских материалов не позволяет нам установить тесную связь между первичными глаголами и геминированными формами. Тем не менее можно попытаться сгруппировать сохранившиеся примеры по тем же нескольким категориям, которые были предложены выше для германских языков.

Слабые глаголы на *-āje/o-*:

ср.-ирл. *gataim* «красть» < **gaddā-*, ср. сильный глагол герм. *getan* «доставать, получать» (соотношение корневых гласных то же, что и в др.-ирл. *gabim*: герм. *geban* «давать»);

ср.-ирл. *slacaim* «бить» (в *slactha* «избитый»), *slacc* «меч», совр. ирл. *slacaire* «драчун», ср. сильный глагол герм. *slahan* «ударять»;

ср.-ирл. *bocaim* «трясти», совр. ирл. *bogadh*, ср. др.-англ. *swacian* и *swessan* (каузатив) «трястись», возможно от сильного глагола V или VI;

ср.-ирл. *glacaim* «хватать», *glacc* (совр. ирл. *glas*) «рука», ср. др.-англ. *cluscian* «стиснуть», предполагающее и.-е. **glek-*.

- Отглагольные существительные на -o-, -ā-, -i-:
 др.-ирл. *assaí* (дат. ед. ч.) «сковывание» < **rakki-*, ср.
 лат. *rango* «прибивать, прикреплять», *рах* «мир»;
 ср.-ирл. *bross*, совр. гэльск. *bróg* «печаль, грусть», ср.
 ст.-сл. *gryzъ, grysti*, лит. *gráũžiũ, gráũžti* «грызть»,
 гр. *βρῦχω* «кусать»; русск. *грусть*;
 ср.-ирл. *ette*, совр. ирл. *eite* «крыло», сильный глагол
 санскр. *patati*, гр. *πέτομαι* «летать»;
 совр.-ирл. *grág* «карканье», ср. др.-англ. **crácian* (> совр.
 англ. *to croak* «каркать»), др.-исл. *kráka* «ворона»,
krákr «ворон»;
 совр.-ирл. *grug* «морщина», ср.-ирл. *grucánach*, ср. герм.
kriukan «извиваться, ползти», в норв. (диалект)
krjuka, др.-в.-нем. *kriochan*; ср.-н.-нем. *kroke* «мор-
 щина»;
 др.-ирл. *lass* (звонкий взрывной) «слабый», первичный
 глагол гр. *λήγω* «прекращать, кончать»;
 ср.-ирл. *lúta*, совр. ирл. *lúda* «мизинец», ср. герм. **lūtila-*
 «маленький» < *lūtan* «нагибаться, склоняться, опу-
 скаться, падать»;
 др.-ирл. *geiss* (инфинитив из дат. ед. ч.) «продавать»,
 ср. лит. *perkù, piŕkti* «покупать»;
 ср.-ирл. *gobb* «бодливый» (о животных), ср. герм. *gaupjan*
 «ощупывать, обдирать, раскалывать» и др.-исл.
 интенсив *gippra*;
 совр.-ирл., гэльск. *smug* «насморк», ср. лат. *emungo*
 «сморгаться».

Приведенный список содержит лишь такие этимологии, которые признаются в словаре Вальде-Покорного.

Находящиеся в нашем распоряжении кельтские данные неполны и не позволяют провести различие между группой производных слов (группа в)) и группой непроизводных слов (группа г)). Мы можем, однако, с уверенностью допустить ласкательную геминацию для существительных первичного характера, обозначающих лиц или животных.

- ирл. *fгасс* «женщина», совр. гэльск. *fгag* «добрая женщина», уэльск. *gwrach* «старуха», ср.-брет. *groach*, совр. брет. *grac'h* (< **gragg-*);

др.-ирл. тасс «сын», др.-брит. Massus (собственное имя); уэльск. merch «девушка», корн. myrgh, брет. merc'h (< *merggā, если возможна связь с лит. mergà «девушка»);

ср.-ирл. lelar «ребенок» (совр. ирл. leanabán) предполагает *lelabb-;

совр. ирл. bocán, ср.-ирл. boscánach «домовой» (< *bukk-);

ср.-ирл. catt «кошка», уэльск. cath, корн. cath, брет. kaz (< *katto-), если это слово исконно кельтское; уэльск. hwch ж. р. «свинья», корн. hoch, брет. hous'h «свинья» и (родственное) др.-ирл. soccsail «кара-катица» (< *sukkā-);

др.-ирл. тусс «свинья», гэльск. mosch, галльск. Моссо (собственное имя).

Отметим также галльские Erpius, Ерро — ласкательные собственные имена из сложений с Еро- и ирландское имя Tuatán (t < tt) < túath.

Параллельное существование простых и геминированных корневых согласных хорошо засвидетельствовано в кельтском, хотя, конечно, примеры не столь многочисленны, как в германских языках:

ср.-ирл. бросс, совр. гэльск. bróg «печаль» (< *broggo-) и ср.-ирл. brón «печаль», уэльск. brwyn «острая боль» (< *brogno-);

ср.-ирл. сросепн «кожа», совр. ирл. croiceann, корн. cro(g) hen, брет. kroc'hen (< *krokko-) и уэльск. croen, мн. ч. crwyn, др.-корн. croin (< *krokno-);

ср.-ирл. ette, совр. ирл. eite «крыло» (< *pettiā-), но др.-ирл. ép «птица», уэльск. edn, др.-корн. hethen, ср.-брет. ezn (< *petno-).

Приведенные примеры одновременно показывают различие между удвоенным взрывным и группой «взрывной + п».

Ср. далее др.-ирл. тасс «сын», но уэльск. tab; ср.-ирл. lelar и lenab «ребенок» (совр. ирл. leanabán и leanbh); совр. ирл. bocán, но уэльск. bwg(an).

Что касается фонетического аспекта геминации, то британская и галльская ветви представляют ту же проблему, что и германские языки. Геминация интервокальных b, d, g дает pp, tt, kk (отсюда f, þ, x), в то время как гой-

дельская группа различает глухие и звонкие геминаты (kk : gg ...). Ср. галльские глухие геминаты наряду со звонкими простыми взрывными в ласкательных формах, как Vigellius : Viccius, Gaberius : Gappius и т. д.¹ По нашему мнению, это фонетическое следствие раннего ослабления (спирантизации) интервокальных b, d, g. Их усиление (геминация) должно было породить глухие (геминированные) просто потому, что соответствующие звонкие взрывные перестали существовать.

В гойдельском спирантизация затрагивает глухие и звонкие взрывные одновременно, и соответствующие геминаты становятся простыми взрывными.

Учитывая вышеизложенные факты и замечания, мы можем подытожить проблему кельтских и германских удвоенных взрывных с помощью нескольких формул:

1. Фонетическое изменение группы «взрывной + п» в удвоенный взрывной не имело места ни в кельтских, ни в германском. Однако теория ассимиляции содержит зерно истины, так как прогрессивная ассимиляция $l + p > ll$ (наряду с $r + s > rr$, $l + s > ll$) была основным источником нового класса первичных глаголов, то есть глаголов с удвоенным конечным корневым элементом (ll, pp, rr, может быть mm).

2. Геминаты, получившиеся в результате прогрессивной ассимиляции корневого элемента и суффикса (главным образом п), сначала не встречаются ни за пределами спряжения презенса, ни в словообразовании. Однако новое понимание глагольного корня (корни с геминированным конечным элементом) способствует распространению геминат в спряжении и в производных от соответствующих глаголов.

Это первый шаг в общем процессе замещения глагольного корня основой презенса.

3. Контраст -ll- : -l-, -pp- : -p- между старыми и новыми производными, сопровождаемый семантическими различиями, начинает играть роль вне его исходной строго ограниченной сферы в соответствии со следующей пропорцией: $l : ll = p : pp = T : TT$ (T=взрывной)².

¹ C. Watkins, L, 31, 1955, стр. 16.

² Со структурной точки зрения двучленная пропорция уже достаточна, чтобы установить морфологическое правило. Отношение

4. Гемината (взрывного) может быть названа экспрессивной постольку, поскольку она подчеркивает первичную функцию словообразовательного суффикса. Экспрессивность не произвольна, она морфологически обусловлена и встречается сначала только в первичных производных.

5. Дальнейшая эволюция роли геминации в языке была проиллюстрирована выше категориями в) и г); последняя фаза эволюции—это утрата геминатами морфологического характера в пользу лексически обусловленного признака.

6. Изучение этой последней стадии как экспрессивности *par excellence* способствовало в значительной степени некоторому пренебрежению к стадиям б) и в), которые представляются более древними и более важными, чем г).

7. Тем не менее экспрессивность этапа г) следует строго отличать от экспрессивности при «*Urschöpfung*», хотя в периферийных случаях, например, в ласкательных формах, подверженных несистематическим искажениям, оба типа экспрессивности могут совпадать и становятся неразличимыми.

8. Правильное лингвистическое решение проблемы геминации в кельтских и германских языках лежит где-то посередине между двумя объяснениями, предлагавшимися до сих пор. Именно морфологические последствия ассимиляции $l + p > ll$ и т. д. объясняют особый статус геминации в некоторых категориях, то есть экспрессивность геминации в новом смысле¹.

sit : *sat* (причастие прошедшего времени *sat*) = *spit* : *spat* (причастие прошедшего времени *spat*) отличается от *heed* : *heeded* = *mend* : *mended* = *beg* : *begged* = *pack* : *packed* и т. д. только ограниченной сферой употребления и непродуктивностью соответствующего морфа. С другой стороны, нельзя провести различие между изолированными случаями аблаута, как *choose* : *chose* или *fly* : *flew* и «супплетивным» отношением типа *go* : *went*.

¹ Мартине не сделал всех выводов из указанного им самим факта (цит. произв., стр. 131) «...часто в словах одной и той же семантической категории одновременно встречаются геминация и определенный суффикс, характерный для этого класса, причем это повторяется во многих различных семантических классах; этот факт интересен для нас, поскольку он доказывает, что геминация — явление не произвольное, а характеризующее особые семантические группы».

К ВОПРОСУ О ДРЕВНЕПЕРСИДСКОЙ КЛИНОПИСИ

(1960)

В то время как попытки связать древнеперсидскую клинопись с другими клинописными системами Ближнего Востока следует считать безуспешными, функциональный анализ этого письма, исходящий из фонологических принципов, проливает свет на создание данной системы и на ее внутренние алогизмы. Поскольку в этих алогизмах находят отражение определенные фонетические изменения, мы получаем возможность сделать некоторые заключения о развитии данного письма.

В отличие от аккадской и эламской систем, которые содержат слоговые знаки двух типов, а именно TE (=согласная + гласная) и ET (=гласная + согласная), древнеперсидское слоговое письмо знает лишь первый тип знаков. Имплзивная часть слога типа T_1ET_2 передается знаком T_2^a . Таким образом, $T_1ET_2 = T_1^e + T_2^a$. Для письменного изображения звуко сочетаний типа T_1aT_2 , T_1iT_2 , T_1uT_2 в аккадской системе используется в принципе шесть различных знаков (T_1a , T_1i , T_1u , aT_2 , iT_2 , uT_2), в древнеперсидской же — только четыре (T_1^a , T_1^i , T_1^u , T_2^a). Это упрощение достигается, однако, ценой двусмысленности знаков с внутренним а: знак T^a фонетически равен либо $T + a$, либо просто T без гласной.

Если применить здесь использующиеся в фонологии и морфологии понятия первичной и вторичной функций, то следует рассматривать Ta как первичную, а T — как вторичную функцию семитского консонантического знака. Таким образом, сочетание Ta находится в прямом противопоставлении с сочетаниями Ti Tu , записываемыми с помощью *matres lectionis*. Ср. индийское письмо деванагари, где знаки для k , p и т. д. выводятся из знаков для ka , pa и т. д., а не наоборот. Одного этого,

факта достаточно, чтобы постулировать для индийского письма семитский источник.

Не подлежит сомнению, что и характерная для древнеперсидского двойственность $T = T + a$ или $= T$ восходит к семитскому алфавитному письму, развитие которого, как это можно видеть из пехлевийского письма, шло к обозначению гласных i и u через *matres lectionis*, тогда как $\bar{a}$ оставалось необозначенным¹. Первоначальная многозначность консонантического знака превращалась, таким образом, в двузначность. Знак T , первоначально равный Ta , Ti , Tu , T , постепенно стал означать Ta , T .

Тем самым объясняется еще одна двусмысленность древнеперсидского письма — неразличение i и $\bar{i}$, u и $\bar{u}$ (так, $T^i + i$ может обозначать как Ti , так и $T\bar{i}$). Алфавитное письмо имело тенденцию к использованию *matres lectionis* для записи i и u , в результате чего за счет неразличения количества устранялась неопределенность тембра огласовки.

Наряду с указанными чертами древнеперсидской письменности, отражающими особенности арамейского алфавитного письма, место и время существования которого еще предстоит установить, имеются также другие черты, непосредственно связанные с фонетическими особенностями древнеперсидского языка. Они ясно проявляются при анализе с о с т а в а ф о н е м, о котором мы здесь не будем говорить подробно. Более глубокое понимание ф о н е м а т и ч е с к о й с и с т е м ы древнеперсидского языка изобретателями древнеперсидской клинописи выявляется при изучении о г р а н и ч е н и й числа слоговых знаков. Ниже мы покажем, что эти ограничения находят удовлетворительное объяснение в самих особенностях древнеперсидской фонологии.

Влияние, оказываемое на слоговое письмо семитским алфавитом, приводило к тому, что слоговые знаки T^i , T^u разлагались на $T + i$, $T + u$ (то есть на $T^a + i$, $T^a + u$), если в фонетической системе языка соответствующая согласная могла выступать перед согласной, то есть без последующей гласной. Так, (глухие) спиранты,

¹ Ср. Залеман в «Grundriss der iranischen Philologie», I, 1, стр. 255.

как правильно отметил уже Мейе¹, обычно представлены лишь одним слоговым знаком — x^a , o^a , f^a , s^a , $\check{s}^a$, а сочетания Ti и Tu передаются в этом случае через $T^a + i$, $T^a + u$, а не через $T^i + i$, $T^u + u$. Глухие спиранты — это именно те фонемы, которые в древнеиранском могут выступать и часто выступают в положении перед согласной. Поэтому в слогах, соответствующих знакам x^a , ϑ^a и т. д., могут быть выделены благодаря наличию сочетаний $-xg-$, $-\vartheta v-$, $-\vartheta g-$ и т. д. согласная и гласная части. Мы получаем, таким образом, $\vartheta^a = \vartheta + a$, но также $= \vartheta$, откуда появляется возможность передачи ϑi , ϑu через $\vartheta^a + i$, $\vartheta^a + u$. То же самое верно в отношении z — звонкого соответствия фонемы s .

Иначе обстоит дело со взрывными. Все они имеют более, чем один слоговой знак. Кроме того, в целом звонкие взрывные имеют больше различных знаков, чем глухие:

k^a — k^u	$\check{c}^a$ — —	t^a — t^u
g^a — g^u	$\check{j}^a$ $\check{j}^i$ —	d^a d^i d^u

Полное отсутствие глухих взрывных k , $\check{c}$, t в положении перед согласной делает в данном случае невозможным понимание T как $T + a$ и последующую замену T^i , T^u на $T^a + i$, $T^a + u$. Точно так же звонкие спиранты γ , $\check{z}$, δ , выступающие в середине слова в положении перед согласным, не отождествляются с начальными взрывными g , $\check{j}$, d . В начальных сочетаниях $gr-$, $dr-$ и т. д., вероятно, могли наблюдаться вставные гласные, хотя это и нельзя точно доказать².

Таким образом, взрывные согласные имеют в принципе три различные формы: T^a , T^i , T^u . Об отсутствии $\check{c}^i$, t^i см. ниже; отсутствие k^i , g^i , $\check{c}^u$, $\check{j}^u$ объясняется особенностями древнеиранской фонетической системы, которая более строго, чем древнеиндийская, сохранила старое распределение между k , g и $\check{c}$, $\check{j}$.

Губные согласные (p , b) имеют, однако, лишь по одному знаку (с внутренним a): есть p^a , b^a , но нет p^i , b^i , p^u , b^u . Это особое положение губных находит объяснение в авестийском, где p и b действительно засвидетельствованы

¹ A. Meillet, *Vieux perse*, стр. 36.

² Там же, стр. 74. Kent, *Old Persian*, стр. 45, § 28.

в положении перед согласными, а именно перед t, d : hapta «семь» и т. д.; abda- «безногий», bibda- «двуногий», θrīyda- «трехногий», θispabda- «оковы на все ноги» (все от rad- «нога»); x^vabda(ya) — именные формы от x^var «спать», ubdaena «из ткани» (θraḫāda- «изобилующий» следует рассматривать как *θramīθa-, ср. ихда- «сказанный» = ихθa-, рихда- «пятый» = *рихθa-). Возможность вычленять p, b, выступающие перед согласными, имела только в авестийском языке. Вероятные последствия такого вычленения для древнеперсидской клинописи предполагают у изобретателя или изобретателей этого письма правильное произношение таких авестийских слов, как hapta, x^vabdaya-. Произношение pt (bd) в авестийском гарантируется строгим и правильным распределением p и t во всех других положениях и, таким образом, никак не связано с недифференцированностью p, t в пехлевийском алфавите.

Сонанты и полугласные дают следующую картину:

m ^a	m ⁱ	m ^u
n ^a	—	n ^u
r ^a	—	r ^u
v ^a	v ⁱ	—
y ^a	—	—

Сонанты m, n, выступающие перед согласными, не отождествлялись со взрывными m, n, так как назализовали предшествующую гласную и поэтому вообще не отмечались. Чередование «m, n перед гласной: назализация перед согласной» было живым; отождествление m, n в положении перед согласными с m, n в положении перед гласными было невозможно.

Иначе обстояло дело с фонемой r, которая могла также выступать в качестве слогообразующей, в чем оказалась сходной с y, v. Впрочем, здесь необходимо учитывать следующие важные различия:

1) u и v — разные фонемы, ср. различие между uga- и vga-, uya- и vya-;

2) i и y — это аллофоны, изображаемые, однако, по традиции различными знаками¹;

¹ В эпоху возникновения персидского слогового письма у и i (так же, как v и u) были различными фонемами, поскольку, как мы

3) неслоговое и слоговое г — это аллофоны, обозначаемые единым знаком g^a .

Распределение y/i опирается на распределение v и, распределение g/g — на оба предшествующих. Ср. $-T_1iT_2-$; $-T_1uT_2-$; $-agT-$; $-aiT-$, $-auT-$ и спонантизацию (β , δ , ζ , γ) взрывных, которая происходит как после ai , au , так и после ag . Вокалический характер g в сочетании $-agT-$ препятствует его отождествлению со взрывным g (ср. u в $-auT-$ и $v-$, которые являются разными фонемами).

Отсюда следует, что для рассмотренных сонантов и полугласных можно ожидать наличия трех разных знаков — T^a , T^i , T^u . Поскольку сочетания v^u , y^i в иранском невозможны, неожиданным оказывается отсутствие только трех особых знаков: pi , gi , yu .

Отсутствие знаков для $\check{c}^i$, t^i , pi , gi неясно. Обращает на себя внимание тот факт, что при наличии двух различных слоговых знаков отсутствует всегда T^i , а не T^u . Отсутствие j^u при j^a , j^i обусловлено, как мы видели выше, фонологической системой; таким образом, j^a , j^i соответствует трехчленному: d^a , d^i , d^u ; $\check{c}^a$ соответствует двучленному t^a , t^u (поскольку $\check{c}^u$ исключено по указанным выше причинам). Точно так же потенциально трехчленно v : v^a , v^i и исключенное v^u .

От чего же зависит различие между знаками с внутренним i и знаками с внутренним u ?

Характерное для индоиранского распределение $-iya$ и $-ya$, $-uva$ и $-va$ не находит отражения в древнеперсидском слоговом письме. Во всех случаях — как после долгого, так и после краткого слога — употребляется $-iya$, $-uva$; $-ya$ встречается только в $-hya$, $-tya$; $-va$ только в $frāharvat$ «всего, в итоге».

В индоиранском первичные формы подчинялись закону Зиверса ($-iya$, $-uva$ после долгого, $-ya$, $-va$ после краткого слога), продуктивные же суффиксы, например, суффикс прилагательных $-iya$ или суффиксы женского рода $-ī$ (тип $vṛkī$ «волчица»), $-ū$ (тип $tanū$ «тело»), выступали и после долгого, и после краткого слога в полной форме

увидим ниже, $i(y)a$, $u(v)a$ и ya , va могли выступать в одинаковом контексте, а именно после краткого слога.

(-iya-, -uva-). Подчинение и этих производных закону Зиверса наблюдается лишь в поздних частях Ригведы.

Распределение -iya- и -ya- в гатах Авесты показывает, что в древнеиранском сохранялось в общем то же положение, что в древних частях Ригведы: после долгого слога здесь обязательно выступает -iya-, а после краткого различаются исторически непродуктивный суффикс -ya- и продуктивный суффикс -iya. Ср.:

1) -iya- после долгого слога:

raoīya- «первый, прежний» (др.-перс. raōviya-); в 12 местах -iya- обязательно или, по меньшей мере, допустимо (только в Ясне 30,7 метрически предпочтительно -ya-);

mažya- «человек» (др.-перс. martiya-); 10 раз -iya- (только в Ясне 48,5 предпочтительно -ya-);

(a)vāstrya «(не)скотоводческий»; 8 раз -iya- (только в Ясне 29,1 предпочтительно -ya-);

zəvīstyā- «быстрейший»; 3 раза -iya-;

išēnghya- «полезный»; 2 раза -iya-.

Кроме того, -iya- обязательно или, по меньшей мере, допустимо в хšaθya- «властитель», dāfsnya- «тот, кого предстоит обмануть», partya- «потомок», yesnya- «достойный почитания, восхваления», vaērya- «pathicus» (NB pl!), sarəīdyā- «товарищ», staomya- «хвалебный», возможно, также в aoīya- «достойный похвалы» (в каждом случае по одному разу). Напротив, в xṛūnya- «кровопролитие», dūtya- «посольство» (NB t!), vaintya- «умоляющий» метрически предпочтительно -ya-.

2) Непродуктивное -ya- после краткого слога:

haiθya- «истина»; 11 раз -ya- (в Ясне 46, 6 размер нарушен); auya- «другой»; 8 раз -ya-.

3) Продуктивное -iya- после краткого слога:

īzya- «к которому следует стремиться»; 3 раза -iya-;

vairya- «который следует выбрать»; 3 раза -iya-;

āvīzya- «явный»; 2 раза -iya- (ī чисто графическое, ср. вед. āvīḥ «явно»).

Г Кроме того, -iya- обязательно или, по меньшей мере, допустимо в maṇaḥya- «духовный», vərəzənya- «принадлежащий к общине», raīθya- «путь», zaoya- «которого сле-

дует призывать», *zaḥya-* «оставляемый на произвол судьбы», *hvarḥaoya-* «праведная жизнь», а также возможно в *miθaḥya-* «фальшивый». Ср. вед. *gathiya-* «относящийся к колеснице», *vṛjaniya-* «принадлежащий к общине», *haḥiya-* «подлежащий принесению в жертву», прилагательные на *-av-īya-* от основ на *-u-* и т. п.

Аналогичное положение находим у основ женского рода на *-ū-*. Как и в ведийском, перед гласными окончаниями здесь обычно встречается *-uv-*, независимо от характера предшествующего слога:

tanū- «тело»; 4 раза *-uv-* (в Ясне 53, 5 метрическая неясность); в Ясна 33,10 предпочтительно чтение *tanūm*, а не *tanuvəm*

hizū- «язык»; 5 раз *-uv-*, но 3 раза *hizvā* «языком» (в два слога); в Ясне 45,1; 47,2; 51,3

fsəratū- «вознаграждение» и *aṇhū* «меч» (каждое по одному разу) *-uv-*.

Приведенные данные дают основание полагать, что в этом отношении древнеперсидский язык отражает более позднее состояние, приблизительно соответствующее классическому санскриту.

Первоначальное существование в древнеперсидском *-īya-* после краткого слога доказывается наличием взрывных *p*, *t*, *č* (а не *f*, *θ*, *š*) в таких словах, как *Naṛauvatiya-* «арахозийский», *Ākaufačiya-* «житель страны», **Ākaufaḥa Mačiya-* «житель страны Мака»¹. Однако, по-видимому, в древнеперсидском произошло стяжение этого продуктивного *-īya-* в *-ya-* после краткого слога. Мы считаем возможным предположить это на основании того, что написание *īya* распространяется на все случаи. Так, если написанию *Mačiya-* соответствует произношение *Mačya-*, то и наоборот, произношение *hačya-* «истинный» (др.-инд. *satya*), *apua-* «другой» будет передаваться написанием *hasiya-*, *apiya-*. Схематически это может быть представлено следующим образом:

1) До стяжения:

<i>-īya-</i> в <i>-āTiya-</i> , <i>-āTiya-</i> ;	<i>-uva-</i> в <i>-āTuva-</i>
<i>-ya-</i> в <i>-āTya-</i>	<i>-va-</i> в <i>-āTva-</i>

¹ Kent, цит. соч., стр. 50.

Следует отметить различие между суффиксами с -у- и суффиксами с -v-. В первую группу входит продуктивный суффикс прилагательных -iуа-, вторая же группа не содержит в древнеперсидском продуктивных суффиксов.

2) После стяжения:

Совпадение -ăTiуа- с -ăTuа- приводит к появлению графического -iуа- на месте старого -уа-. Ср. замену написания ll написанием ld в датском языке, происшедшую после фонетического изменения ld в ll.

Отношение -ăTiуа- : -ăTiуа- (то есть графическое обобщение -iуа-) ведет в свою очередь к установлению отношения -ăTuа- : -ăTuа- (то есть к замене графического -ăTva- графическим -ăTuа-).

Более важными оказываются, однако, ф о н о л о г и ч е с к и е последствия этого стяжения. Согласные ç, ċ, t̄, n, g попадают в непосредственное соседство с последующим у. Таким образом, произношению -çуа-, -ċуа-, -t̄уа-, -пуа-, -гуа- соответствует написание с -iуа-, в том числе и после краткого слога: hamīçiуа- «мятежный», Maçiуа- «из страны Мака», harauvatiуа- «арахозийский», daraniуа- «золото», Ađiriуа- «ассириец». Совершенно естественным оказывается введение ç^a, ċ^a, t̄^a, n^a, g^a как знаков для записи согласных в положении перед согласными вместо первоначальных çⁱ, ċⁱ, t̄ⁱ, nⁱ, gⁱ. Использование знаков типа T^a перед -iуа- приводит затем к тому, что Tⁱ вообще заменяется на T^ai.

Возникает вопрос, как обстоит дело с другими согласными, которые в результате стяжения оказываются в непосредственном контакте с у.

В случае -jiуа-, -diуа- ничто не меняется, поэтому знаки jⁱ, dⁱ сохраняются; действительно j, d были и остаются звонкими спирантами (ž, ð). Что же касается m и v, то, по-видимому, после губных стяжение не имело места; ср. поразительную параллель в романском¹: -ius (-eus) -ia (-ea) перешли здесь в -iуs, -iа только после зубных и заднеязычных, тогда как после m, v (p, b) стяжение не имело места. Такое же распределение, вероятно, существовало в древнеперсидском, где оно и объясняет

¹ W. Meyer-Lübke, Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft, изд. 3, 1920, стр. 172.

сохранение особых знаков m^i , v^i . Здесь следует отметить также одну интересную параллель из авестийского. Так называемая эпентеза i - имеет место перед g , p , перед зубными и губными шумными, а также перед сочетанием nt^1 , но не имеет места перед m и v .

Подводя итоги, мы можем сказать, что древнеперсидская клинопись находилась под постоянным влиянием семитского алфавита. Это влияние существовало не только в момент ее создания (использование знаков типа T^a для обозначения простого T , использование *matres lectionis* для записи как долгих, так и кратких i , u , но также и после стяжения $-iua-$ > $-ya-$, которое сделало возможным устранение ряда слоговых знаков с внутренним i . Последним обстоятельством объясняется отсутствие параллелизма между знаками с внутренним i - и знаками с внутренним u -; знаки с u - представлены шире, чем знаки с i - (отношение 7 : 4).

Употребление большинства знаков типа T^a перед i , u , а также почти обязательное использование *matres lectionis* при знаках типа T^a , T^i , T^u превращают знаки T^i , T^u в комбинаторные варианты знака T^a . T^i , T^u — это просто формы, которые принимает перед i , u знак типа T^a у определенных согласных. Предположение о том, что T^i сохранялось для различения звуко сочетаний Ti и Tai (на письме T^ai), следует отвергнуть как неправильное; наоборот, поскольку у определенных согласных T^ii сохранилось, возможно графическое различие i и ai (но только после именно этих согласных).

Отказ от этих комбинаторных вариантов превратил бы древнеперсидское слоговое письмо в клинописный алфавит семитского типа.

Из этих заметок следует, что древнеперсидская клинопись в той форме, в которой она нам известна, предполагает определенную историю развития. Она не может, таким образом, представлять собой изобретение Дария или его современников.

¹ «Grundriss der iranischen Philologie», I, 1, стр. 176.

СВЯЗЬ МЕТРИКИ С РАЗГОВОРНЫМ ЯЗЫКОМ ¹

(1930)

Как показал опыт, при исследованиях метрики наиболее часто приходится обращаться к фонетической системе данного языка и к его истории, которые помогают объяснить элемент ритма, или так называемые респонзии (соответствия), а также метрические вольности (*licencja*).

Однако вопрос о том, следует ли пользоваться здесь лингвистическим объяснением и в какой мере, зависит лишь от такта исследователя. Языковые явления носят, как правило, столь общий характер, что не могут исчерпывающе объяснить индивидуальные и спорадические черты определенной стихотворной формы. Однако чем более общими будут эти черты, чем меньше они будут зависеть от личности творца, тем больше шансов, что они являются характерными чертами используемого материала, то есть языка. Сам факт выбора определенного языка как материи ритма ограничивает поэта в его творчестве структурой этой материи. В данном плане деятельность поэта сводится к селекции, к выбору формы — более обычной или более редкой, — которая поможет ему достигнуть эстетической цели. Как пример ср. польский ямбический ритм, которому посвятил недавно несколько прекрасных работ проф. Юлиуш Клейнер ².

Греческий поэт никогда не мог бы создать стиха на основе ритма у д а р е н и я, подобного стиху современных европейских народов, так как греческий язык не знал ударения в том смысле, в каком оно существует теперь в польском, немецком или французском языке. Греческий

¹ J. K u r y ł o w i c z, *Związki metryki z językiem potocznym*, «Księga Pamiątkowa II-go Gimnazjum we Lwowie, 1930.

² «Prace polonistyczne ofiarowane Janowi Łosiowi», PF, XII, стр. 35—43.

слог, который мы называем ударным, отличался от других не силой, а высотой тона. Высота же тона не может быть элементом ритма. Элемент ритма может существовать только в сильной или слабой форме (например, слог ударный — слог неударный в польской метрике, слог долгий — слог краткий в греческой метрике), а высота тона образует в языке шкалу, охватывающую больше чем две ступени. Единственным элементом ритма, который предоставлял поэту греческий язык, было количество (*quantitas*), им и пользовался греческий поэт. В греческом языке (речь идет, конечно, о древнегреческом) каждый слог был кратким или долгим (*tertium non datur*). Хотя объективно долгий слог длиннее краткого (произношение слога *тѣ-* или *тѣр-* требует больше времени, чем произношение слога *те-*), принимается во внимание только субъективное время или же субъективный изохронизм. Объективно *тѣ-* и *тѣр-* не были изохронны (как показывают экспериментальные изучения современных языков), но ощущались как изохронные. С этой точки зрения (то есть в смысле количества) *тѣ-* и *тѣр-* эквивалентны. Еще более интересно, что *тѣр-* и *тѣрл-*, а также *тѣ-* и *тѣж-* эквивалентны друг другу, хотя между членами каждой из этих пар должно было бы существовать различие, равное различию между *те-* и *тѣр-*. Однако существует лишь различие между кратким и долгим слогом; *те-* — краткий слог, *тѣ-*, *тѣр-*, *тѣж-*, *тѣрл-* — долгие слоги, эквивалентные друг другу. Отсутствие среднего по количеству слога является необходимым для квантитативной метрики, поскольку, как мы уже говорили, элемент ритма может выступать только в двух формах — сильной и слабой.

Аналогичные выводы напрашиваются *mutatis mutandis* и в области польского стихосложения. Построение польского стиха, опирающееся на количество, невозможно, так как польский язык не знает этой категории. На самом деле объективно некоторые слоги дольше (например, в слове *баба* первое *ба* дольше, чем второе), но субъективно количественной разницы нет (это значит, что разница в количестве не ощущается). С точки же зрения ударения все слоги распадаются на ударные

и неударные; ударение имеет в польском языке с у б ъ е к т и в н о е существование, поэтому оно может быть элементом ритма. В таких стихах как:

Skąd Litwini wracali? Z nocnej wracali wycieczki.
Wieźli łupy bogate, w zamkach i cerkwiach zdobyte.

Мчатся откуда литвины? С ночного мчатся набега.
Скачут с ценной добычей, захваченной в замках и храмах¹

xx xxx xx xxx xxx xx

сущность ритма та же самая, что в стихе

τὸξ' ὤμοισιν ἔχων ἀμφερεφία τε φαρτέρην (A45)

Лук за плечами неся и колчан со стрелами закрытый²
или

κίλχας Θεστορίδης, οἰωνολόλων ἔχ' ἀριστος (A 69).

Калхас восстал Фесторид, верховный птицагадатель³.

(— — — ∪ ∪ — — — ∪ ∪ — ∪ ∪ — —)

Правда, обычно в понятии ритма содержится и понятие элемента ритма, что формы — ∪ ∪ (дактиль, состоящий из долгого и двух кратких) и xxx (дактиль из ударного и двух безударных) считаются формами принципиально разными, но ритм в обоих случаях основывается на последовательности элемент сильный + элемент слабый + элемент слабый.

В результате можно сказать, что данный элемент ритма предполагает: 1) субъективное существование данной категории в языке, 2) бинарность (bipartycja) этой категории. Например, количественный характер греческого стиха требует не только существования категории количества в греческом языке, но также отсутствия средних по количеству слогов, сверхдолгих или сверхкратких (zanikowy); существуют только долгие или краткие слоги. Противопоставление элементов относится к типу а — не а (выражения сильный элемент — слабый элемент могут быть употреблены только в некоторых, правда самых важных, случаях, например при наличии категории количества и категории ударения). Выше мы видели, что все слоговые типы τερ-, терл-, тл-, тлх- более

¹ А. Мицкевич, Конрад Валленрод, перевод Н. Асеева, «Избранные произведения», т. I, М., 1955.

² Гомер, Илиада, перев. Н. И. Гнедича, М., Academia, 1935.

³ Там же.

долгие, чем тип *те-*, значительно отличаются друг от друга. Здесь перед нами именно пример противопоставления *те-* (открытый слог с кратким гласным) — не *те-* (то есть закрытые слоги, как *тег-*, *тегп-*, *тгк-*, и слоги с долгим гласным, как *тг-*).

Однако язык определяет не только элемент ритма, но и другие принципиальные особенности метрики. С эстетической точки зрения важнейшей чертой, характерной для каждой метрической формы, является ее изменчивость (в определенных границах).

Так, например, изменчивость гексаметра основывается: 1) на возможности замены дактиля спондеем; 2) на подвижности места цезуры (в то же время *д в о я к и й* — *апсепс* — характер слога перед паузой, цезурой или концом стиха не влияет на ритмический облик стиха). Заменяемость определенных элементов (или их комплексов) другими элементами (или их комплексами) в метрике обычно называется респонзией (*responsio*). Мы употребили выше термин *эквивалентность* (для определения равенства *тег* = *тегп* и т. д.) и будем им пользоваться в дальнейшем изложении, говоря, например, об эквивалентности — $\approx$ (долгий слог равен двум кратким) в греческой и латинской метрике.

Раньше чем давать примеры метрической эквивалентности, мы должны прежде всего обратить внимание на определенную трудность, вызванную тем, что языковое происхождение данной эквивалентности на первый взгляд не очевидно. Вопрос этот тесно связан с характером поэтического творчества. Элементы ритма существуют, как мы видели, и в разговорном языке. Возможно, в какую-либо эпоху определенные фонетические комплексы подвергнутся перемещению или изменению. Фонетические изменения в языке совершаются не в один день, а в течение долгого периода времени, иногда на протяжении нескольких поколений. Фактически они основываются на медленном отборе одного из двух типов — старшего или младшего (последний представляет собой изменившийся старший тип). Этот отбор, причины которого могут быть самыми разными, действует в отдельных случаях (или формальных категориях) в пользу либо одного, либо другого типа; иногда вследствие дифференциации их языковых функций удержи-

ваются оба типа. В какой-то период оба они даже могут быть относительно равноправны. Тогда существует их эквивалентность в разговорном языке. Ср., например, польские формы *trzeba* и *trza*, из которых вторая моложе. В преобладающем количестве случаев возможно использование любой из этих форм; в относительно редких случаях можно употребить только первую форму. Разумеется, эквивалентность в разговорном языке повлечет за собой и эквивалентность в поэтическом языке. Поэт сможет употреблять эти формы в зависимости от метрических требований или чтобы разнообразить метрическую форму. Однако рано или поздно одна из двух форм будет вытеснена из языка путем отбора, а другая утвердится окончательно. Эквивалентность исчезнет прежде всего в разговорном языке. Поэтический язык эволюционирует медленнее, так как испытывает влияние не только современного ему разговорного языка, но и более ранних произведений, служащих ему образцами. Вместе с метрической формой из этих образцов заимствуются и определенные языковые формы, таким образом, в метрике какая-либо эквивалентность может удержаться намного дольше, чем в разговорном языке, и стать благодаря этому чисто метрической эквивалентностью, не имеющей параллелей в современном разговорном языке.

1) В латинском языке 3 в. до н. э. сократились конечные долгие гласные всех двусложных слов с кратким первым слогом, например: *bēpē* «хорошо» перешло в *bēpē*, *ātmā* «люби» — в *ātmā*; в то же время такие формы, как *certē* «наверняка», *laudā* «хвали», сохранили долготу конечного гласного в силу долготы первого слога. Такое явление мы называем ямбическим сокращением¹. В соответствии с этим поэты того времени могли расценивать формы *bene*, *ama* либо как ∪, либо как ∪— (под влиянием случаев *certē*, *laudā*, где долгота удержалась). Метрической эквивалентности здесь соответствует эквивалентность в разговорном языке.

¹ В таких словах, как *amicitia* «дружба», *rudicitia* «стыдливость», долгий гласный второго слога был позднее восстановлен под влиянием исходных форм (*amicus* «дружеский», *rudicus* «стыдливый»).

2) В среднеперсидскую эпоху, растянувшуюся от упадка государства Ахеменидов до упадка государства Сасанидов (период в тысячу лет), персидский язык подвергся глубоким изменениям. Важнейшим была утрата последнего гласного слова и всех следующих за ним согласных. При словосложении выпадал также конечный гласный первого члена. Однако в случае, когда его утрата приводила к возникновению группы долгий гласный + два согласных или группы из трех или более согласных (например, в случае, когда конечным гласным первого члена предшествовали долгий гласный + согласный или два согласных, а второй член начинался с согласного; или в случае, когда конечному гласному предшествовал единичный согласный, но второй член начинался с группы из двух согласных), тогда конечный гласный первого члена удерживался в виде краткого *i*. Например, н.-перс. *šahr* из *xšaŋra-* «власть», *-yār* (в сложных словах) «держущий», отсюда сложное слово *šahrīyār* (а не **šahr-yār*) «держущий власть», то есть «властелин»; *zam* «мороз, холод», *-stān* (в сложных словах) «место, время», отсюда *zamistān* (а не **zamstān*) «холодное время», то есть «зима»¹.

Кроме того, в среднеперсидском языке все начальные группы из двух и более согласных были разбиты в зависимости от диалекта, либо гласным в середине группы (так называемый «анаплексис»), например *xratu-* «разум, ум» > *xīrad*, *stār* «звезда» > *sītāra*, либо развитием гласного перед группой *d* (так называемая «протеза»), благодаря чему согласные в группе разделились на два слога, например *brū-* «бровь» > *abrū* (слогораздел *ab-rū*). Если слово, начинающееся с группы согласных, является вторым членом сложения, анаплексис не имеет места, поскольку само сохранение конечного гласного первого члена представляет собой как бы протезу (например, *zami-stān*, ср. выше, а не **zamsitān*, хотя второй член как самостоятельное слово звучал бы **sitān* с анаплексисом; *baḫrad* дословно «с разумом», то есть «разумный», хотя второй член как самостоятельное слово звучит *xīrad* «разум» с анаплексисом).

¹ Ср. «Grundriß der iranischen Philologie» I, 1, стр. 274.

В разговорном новоперсидском языке существуют многочисленные примеры протезы, анаптиксиса и сохранения конечного гласного первого члена сложных слов. Еще более интересно, что эти явления живут и в метрике. Если в пределах стиха какое-нибудь слово кончается на долгий гласный + согласный или на два согласных, то перед следующим словом, начинающимся с согласного, развивается так называемый метрический гласный. Ср. стихи:

sikandar ču bišnīd kāmād sipāh
 bizād kūš u āvurd laškar barāh
 (Šāhnāma 1791, 152, ed Vullers-Landauer)
 Когда Искандер услышал, что пришло войско,
 [Он] ударил в барабан[ы] и направил [свое] войско в путь.

Для того чтобы в них был соблюден нормальный ритм, они должны читаться следующим образом:

si-kan-dar ču biš-nī-di kāmād si-pāh
 bi-zad kū-su ā-vur-di laš-kar ba-rāh

(———————)

Итак, слова в стихе осознаются как члены одного большого сложного слова.

С этим явлением мы часто встречаемся и в других метриках. Оно объясняется тем, что каждый стих противостоит как замкнутое целое другим стихам (предшествующему и последующему) и отделен от них паузами; проявлением же теснейшей связи между отдельными членами этого целого (словами стиха) является сандхи, то есть фонетические изменения на границе слов. Другой пример: в персидском языке в первом члене сложных слов сокращается долгий гласный, стоящий перед *h*, например, *sipāh* «армия», но *sipāhbad* «вождь». Внутри же стиха долгий гласный также может быть сокращен перед *h* конечным, поскольку слово, стоящее внутри стиха, является как бы частью одного большого сложного слова и подвергается тому же самому явлению с а н д х и, которое имеет место при словосложении. Очевидно, что в метрах с внутренней паузой — цезурой — последняя может препятствовать явлениям с а н д х и между словами, которые она разделяет.

В приведенных выше стихах персидского эпоса мы находим еще одну метрическую вольность (*licensja*), которая объясняется уже упомянутыми среднеперсидскими фонетическими тенденциями. Слово *bišnīd* «он услышал» состоит из префикса *bi* и формы личного глагола *šanīd*. Внешне здесь перед нами как будто синкопа краткого *a* в *šanīd* (*bi* + *šanīd* > *bišnīd*). Однако в действительности дело обстоит несколько иначе. Мы видели, что среднеиранский избавился от начальных групп с помощью протезы или анаптиксиса (чаще с помощью анаптиксиса — исконного персидского явления; протеза свойственна скорее центральному и надкаспийскому наречиям), например, **dṛavad* переходит в *dīravad*, но в сложном *bidṛavad* группа *-dṛ-* остается без изменения (поскольку она разделена на два слога). По образцу *bidṛavad*, которому соответствовало простое слово *dīravad*, поэт создал соответствие *bišnīd* (из *bi* + *šanīd*) к простому слову *šanīd*, хотя в этой последней форме *a* — отнюдь не анаптиксис, а существующий с давних пор гласный. Здесь мы вновь имеем дело с метрической вольностью (*licensja*), основывающейся на искусственном обобщении уже отмершей фонетической тенденции языка.

3) Важнейшая эквивалентность как греческой, так и древнеиндийской метрики определяется правилом *vocalis ante vocalem corripitur*; это значит, что в позиции, требующей краткого слога, можно употребить слог с долгим гласным или с дифтонгом в том случае, если непосредственно за ним вновь следует гласный (начальный гласный слова или следующего члена сложения). В случае, когда мы имеем дело с дифтонгом, это сокращение (*correptio*) представляется рациональным, например: *-ai* + *a-* (*ai* к о н е ч н о е + а н а ч а л ь н о е) переходит в *-a* + *ja-*, то есть и к р а т к и й + к р а т к и й.

В случае с долгим гласным, например, *-ā* + *a-* мы ожидаем стяжения или (в случае сохранения зияния) сочетания д о л г и й + к р а т к и й. В «Prace Filologiczne» (XI, стр. 225 и сл.) показан языковой источник сокращения долгого гласного перед гласным; первоначально такому сокращению подвергались только некоторые долгие гласные (так называемые исконные долгие).

В отдельных индоевропейских языках следы этого фонетического процесса незначительны (см. там же, а также ср. гр. *ἄτῃ* «эта» с кратким *а* наряду с артиклем *ἄ, ἡ* с долгим *а*). В древнегреческом это правило не имеет языкового обоснования, оно узаконено только традицией и представляет собой чрезвычайно старое наследство эпохи индоевропейского единства.

Основой перечисленных и подобных им эквивалентностей служат языковые факты прошлого. Как мы уже указывали, язык поэта в отличие от языка других членов данного языкового коллектива претерпевает, с одной стороны, влияние разговорного языка, с другой — влияние языка поэтических произведений древних авторов. В уме поэта возникают определенные пропорции и соответствия между разговорным языком и языком древних поэтических памятников, что это создает для него возможность конструирования архаических форм, примеров которых нет и даже не могло быть в древних поэтических произведениях и в языке раннего периода. Ранние образцы могут быть известны поэту из традиционной декламации или из литературы. В последнем случае мы имеем иногда дело с чисто визуальными влияниями, классический пример которых дают новоанглийские рифмы¹. Такие пары, как *espy* [is'pai] «заметить» : *soberly* ['soubəli] «трезво», *form* [fɔ : m] «форма» : *worm* [wə : m] «червяк», *breast* [brest] «грудь» : *feast* [fi : st] «праздник», в новоанглийском разговорном языке рифмами не являются.

В поэзии эти слова рифмуются либо по традиции, как они рифмовались к о г д а-т о, либо потому, что они рифмуются визуально (*y—y*, *orm—orm*, *east—east*), причем даже визуально эти рифмы — категория вторичная, развившаяся из традиционных форм. Еще одну категорию составляют рифмы, возникшие из перекрещивания правильных рифм (то есть слуховых рифм) с рифмами визуальными, например, рифма *eye* [ai] «глаз» : *soberly*, возникшая на основе таких рифм, как *eye* : *espy* (слуховая) и таких, как *espy* : *soberly* (визуальная).

¹ Ср. P. Verrier, *Métrique anglaise*, I, стр. 230.

4) Интересную метрическую эквивалентность, связь которой с разговорным языком до сих пор не была исследована, представляет принцип моры, состоящий в том, что долгий слог равняется двум кратким. Этот принцип, характерный для греческой метрики, в классической латинской поэзии является не исконным, а заимствованным (как и некоторые другие эквивалентности и метры).

Поэтому в своих дальнейших рассуждениях мы ограничимся греческой метрикой. Принцип моры касается всех слогов, долгих в метрическом отношении: не только слогов с долгим гласным (или дифтонгов), но также и так называемых долгих по положению. Кроме того, эта формула обратима. Возможна замена не только долгого слога двумя краткими, но также двух кратких долгим. Разумеется, эта эквивалентность, как и всякая другая, допустима только в некоторых, хотя и многочисленных метрических позициях. В преобладающем количестве случаев можно установить, что первично — один долгий слог или два кратких. Так, например, в 3 и 4 мере дактиля первичны два кратких слога, а долгий слог вторичен, в то время как в 1 и 2 мере долгий не может быть заменен двумя краткими, так как формула эквивалентности на эту позицию не распространяется.

Принцип моры — самая характерная черта греческой метрики, отнюдь не являющаяся обязательным следствием ее квантитативного характера.

Такие системы стихосложения, как индийская, арабская, новоперсидская, не знают принципа моры, хотя они тоже квантитативны. Все они построены на ритме количества (чередовании долгих и кратких слогов), а также на постоянстве количества слогов в стихе.

В греческом языке вместо этого постоянно количество стоп, в пределах которых может иметь применение принцип моры. При постоянном количестве слогов этот принцип был бы невозможен, так как эквивалентность $\text{д о л г и й} = \text{д в у м к р а т к и м}$ необходимо изменяет (увеличивает или уменьшает) количество слогов в стихе. В таких квантитативных системах стихосложения, как ведическая, арабская и т. д., вместо этого возникает эквивалентность $\text{д о л г и й} = \text{к р а т к о м у}$, известная, впрочем, и греческой метрике (а отсюда и латинской); речь идет о так

называемом слоге апсепс, который мы встречаем прежде всего перед паузой (концом стиха или цезурой) и реже в других позициях. При этой последней эквивалентности количество слогов в стихе остается, конечно, неизменным.

В сравнении с ведической системой стихосложения, хотя и квантитативной, но не знающей принципа моры, греческое стихосложение, вероятно, стоит на более поздней ступени развития. Однако мы не можем принять этого а priori. Только раскрыв происхождение этой эквивалентности, мы смогли бы решить проблему его относительной хронологии. Чтобы обнаружить связь принципа моры с греческой языковой системой, следует прежде всего обратить внимание на тот факт, что количественное отношение долгого слога к краткому (2 : 1), которое мы встречаем в греческой метрике, не может опираться ни на какие сознательные физиолого-физические наблюдения. Как подтверждают современные экспериментально-фонетические исследования языков, обладающих категорией количества, это отношение, во-первых, является не постоянной величиной, а лишь функцией многих переменных (структуры долгого слога, его позиции в слове, позиции слова во фразе и т. п.); и, во-вторых, оно в среднем намного меньше, чем отношение 2 : 1.

Количественное отношение долгого слога к краткому имеет только дифференциальную и субъективную ценность. Это значит, что в языках, обладающих количеством, говорящий индивид ощущает долгий слог как более долгий по сравнению с кратким и ничего кроме этого. Возникает вопрос, не произошли ли в греческом языке изменения, которые привели к тому, что долгий слог стал ощущаться равным двум кратким.

Такие перемены усматриваются в стяжениях гласных, которые несомненно больше всех других фонетических изменений преобразили первоначальный облик древнегреческого языка. Стяжение является одной из наиболее характерных черт греческого языка. Можно смело утверждать, что с момента возникновения языковой обособленности греческого языка вплоть до образования койнэ на протяжении более десяти веков не было периода, в который греческий язык не знал бы зияний между внутренними гласными, а также стяжений, как следствия

этих зияний. Здесь можно выделить ряд хронологических периодов: два периода стяжений относятся к индоевропейской эпохе. А ранний представлен такими случаями, как окончание дат. ед. -φ из ο + οί (или ε); в более поздний период стяжение имело место после выпадения согласных элементов ε в интервокальном положении¹. Третий, прагреческий период, схватывает зияния и стяжения, возникшие после выпадения интервокальных ε, ι. В разговорном языке эпохи Гомера все эти стяжения уже осуществились (если не считать исконных двусложных слов типа θεός «бог» и т. п.). Четвертый и последний период связан с выпадением ι (дигаммы) в отдельных греческих диалектах уже исторической эпохи. В этом последнем случае стяжение не только не было правилом, но, напротив, возникало исключительно лишь в некоторых, точно определенных случаях (при равном тембре гласных).

В том, что зияние и стяжение играли значительную роль в греческой морфологии в историческую и в доисторическую эпохи, убеждает хотя бы поверхностное обследование парадигм. Ср., например, стяженные имена первого и второго склонения, основы на -s- (например: γένεος > γένους «рода», εὐγενέα > εὐγενή «благородные», ср. мн. αἰδώς > αἰδοῦς «страха, стыда», αἰδία > αἰδῶ²), на -οι- (например: πειθός > πειθοῦς «убеждения», πειθία > πειθῶ), на -υ-, -ευ- (например, ἰδέες > ἰδεῖς «приятные», βασιλῆες > βασιλῆς «цари»); из спряжения — чрезвычайно продуктивные классы слитных глаголов на -ῶ, -έω, -ίω (например: ἐτίμαε > ἐτίμα «он уважал», ἐποίηε > ἐποίη «он делал», ἐδούλοε > ἐδούλου «он поработал», конъюнктив и опатив у глаголов с основой на гласный (например, τιθῶ от глагола τίθημι «кладу», τιθεῖν «пусть он положит») и т. п.; из словообразования — такие суффиксы как -εος и т. д.

В зависимости от характера компонентов и диалекта результатом стяжения может быть долгий гласный или

¹ Ср. статью «Quelques problèmes métriques du Rigvéda», RO, IV, стр. 196—218.

² Ср. также такие архаические формы компаратива, как μεῖζω (акк. ед.) «большой», μεῖζους (ном. мн. ч. м. ж. р.) и μεῖζω (ном. мн. ч., ср. р.) из *μείγιοσα, *μείγιος, *μείγιοσα.

дифтонг, то есть во всех случаях долгий слог, хотя оба компонента были краткими гласными.

Кроме того, важно следующее обстоятельство: стяжение двух гласных при зиянии не влечет за собой непосредственного исчезновения нестяженной формы; она существует и употребляется наряду со стяженной формой на протяжении довольно длительного периода времени, иногда даже очень долгого¹.

Выбор той или другой формы зависит от языковых и внеязыковых причин, разбирать которые здесь мы не можем. В период сосуществования обеих форм возникает ощущение эквивалентности двух слогов одному долгому слогу, возникшему из их стяжения, конечно, в границах определенных морфологических категорий. Два кратких слога равноценны одному долгому, но объективно долгий слог как результат стяжения может быть эквивалентным не только двум кратким, но также двум долгим или *д о л г о м у + к р а т к и й* (*к р а т к о м у + д о л г и й*). Итак, метрическая эквивалентность, которую мы называли принципом моры, является, с одной стороны, расширением, а с другой — сужением объема той эквивалентности, которая возникла в греческом языке в периоды стяжений (речь идет, главным образом, о третьем, прагреческом периоде, а не о четвертом, диалектном): расширением, поскольку она относится ко всем долгим слогам, а не только к тем, что возникли из стяжения, даже к долгим по положению слогам, которые не могли возникнуть из стяжения; сужением, поскольку формула метрической эквивалентности — *д о л г и й с л о г = д в у м к р а т к и м*, и никогда *д о л г и й = д в у м д о л г и м*, или *д о л г о м у + к р а т к и й*, или *к р а т к о м у + д о л г и й*.

Как следует объяснять это расширение или сужение исконной эквивалентности? Напрашивается следующий ответ: метрическая эквивалентность первоначально была необратимой, а именно *д в а к р а т к и х → д о л г и й*

¹ В старофранцузском языке в результате выпадения некоторых согласных в интервокальном положении возникли зияния, и стяжение гласных происходило на протяжении почти трех веков (XII—XV вв.).

(а не долгий $\rightarrow$ два кратких). Поскольку между двумя краткими слогами (гласными) возникало зияние, они могли измеряться как один долгий, так как факультативно можно было заменить два кратких слога с зиянием между ними стяженным слогом. Эквивалентность же долгий $\rightarrow$ два кратких представляется вторичной. Она является обращенной первой эквивалентностью, что также объясняет, почему мы встречаем только долгий $\rightarrow$ два кратких, а не долгий $\rightarrow$ долгий + краткий и т. д.

Впрочем, и эта обратимая формула, которую греческая метрика относит ко всем долгим по природе или по положению слогам, имеет применение в разговорном греческом языке; правда, там она относится лишь к слогам долгим по природе, и притом только конечным, а также к односложным словам. Такие слоги получают формальный показатель эквивалентности в виде автономного циркумфлекса.

Прежде чем обосновать это утверждение, полезно сделать несколько замечаний о характере греческого циркумфлекса. Лучшее представление о нем дает греческая музыка, в которой существовал следующий принцип: акцентированный слог не мог петься на более низкой ноте, чем неакцентированный. Если циркумфлексный слог поется на две ноты, то первая из них не может быть ниже второй¹.

Из этого вытекает, что греческий циркумфлекс был двухвершинным тоном, причем первая вершина была тонически выше второй. С этим согласуются результаты стяжения: при стяжении двух последних слогов слова мы получаем циркумфлекс или акут в зависимости от того, какой слог был акцентирован — первый или второй.

Известно, что циркумфлекс (так же, как и акут) существует автономно только в последнем слоге слова и в односложных словах, внутри же слова он зависит от количества последнего слога.

Автономный циркумфлекс в слогах, возникших не из стяжения, служит доказательством восприятия соот-

¹ Cp. J. Wackernagel, Das Zeugnis der delphischen Hymnen über den griechischen Akzent, Rheinisches Musäum, 51.

ветствующего слога как синтеза двух кратких слогов и такой же оценки его разговорным языком. Примеры:

1) Поскольку от таких слов, как πατήρ «отец», ἀνήρ «мужчина», γυνή «женщина» и т. д., вокатив звучит как πατέρ, ἄνερ, γύναι, то от слова Ζεὺς «Зевс» (с акутом) он звучит как Ζεῖ (с циркумфлексом). Именно εὐ в Ζεὺς оценивается как сумма двух слогов, из которых акцентирован второй (так как Ζεὺς имеет акут); но в вокативе ударение должно падать на первый из этих двух мнимых слогов, отсюда Ζεῖ (с циркумфлексом).

2) Лесбийцы избегали окситона, отодвигая ударение назад, отсюда πατέρ, ἄνερ и т. д.; в связи с этим ионическо-аттическое Ζεὺς звучит в лесбийском как Ζεῖς.

3) Третье лицо сильных аористов типа βῆ «он пошел» (с аугментом: ἔβη) имеет циркумфлекс, в противоположность причастию βῆς, который имеет акут, так как аорист ἔλιπε «он оставил» (с аугментом: ἔλιπε) в противоположность окситоническому причастию ἔλιπ' является баритоническим.

4) Односложные слова среднего рода κῆρ «сердце», σῆρ «навоз» имеют циркумфлекс (хотя η, ω, так же как εὐ в Ζεῖ или η в βῆ, происходят не из стяжения), поскольку во всех словах среднего рода третьего склонения, состоящих из двух и более слогов, ударение отодвигается как можно дальше к началу слова.

Во всех приведенных примерах (их число легко можно было бы увеличить) циркумфлекс в односложных словах является как бы отражением рецессивного (то есть отодвинутого к началу) ударения в словах из двух и более слогов. Именно под влиянием последних циркумфлекс возник и в односложных словах; это обстоятельство предполагает оценку долгой гласной (или дифтонга) как суммы двух кратких, из которых первая получает рецессивное ударение. Такая оценка исходит из существования в греческом языке форм с зиянием и стяженных форм.

Итак, в свете сказанного принцип моры может быть объяснен как явление, полностью зависимое от фонетического характера греческого языка. Из этого следует, что принцип моры в количественной метрике какого-либо другого языка может быть объяснен, как и в греческом, фактами зияния и стяжения (за исключением латинского,

где принцип моры, как и вся метрика вообще, целиком заимствованы из греческого языка, а не развивались спонтанно). Среди известных нам метрик этот принцип свойствен еще некоторым индийским метрам, а именно метру āryā и метру gīti¹.

Эти метры, как доказал Якоби, первоначально неизвестные санскриту, свойственны практическому наречию mahārāṣṭrī, и в санскрит были введены поздно, только в XI в. н. э.²

С языковой точки зрения пракрит соотносится с санскритом так же, как романские языки с латинским. Наиболее характерным фонетическим изменением, отличающим пракрит от санскрита, бесспорно, является выпадение большинства согласных в интервокальном положении (ср. выпадение латинских t, d и т. п. во французском); так, например, в наречии mahārāṣṭrī выпадают интервокальные k, g, c (то есть ṭṣ), j (то есть dʒ), t, d, y, а в некоторых случаях даже губные, включая v. Например, санскритскому caturdaśa «четырнадцать» соответствует в этом отношении наречие coddasa, где o возникает из стяжения a + u (catur- > *ca-ur-), санскритскому sthavira- «крепко» соответствует therā-, где e также является результатом стяжения (из a + i). Отсюда вывод: если пракритская метрика, как и греческая, обладает принципом моры, то это сходство не является случайностью, а обусловлено сходством фонетической структуры обоих языков (выпадение согласных и стяжение).

Было бы весьма желательно исследовать, находят ли свое обоснование в языке другие эквивалентности греческой метрики, кроме принципа моры. В частности, возникает вопрос, не связана ли эквивалентность — ◡ = ◡ — с фонетическим явлением, которое грамматика определяет как количественную метатезу (πόλις > πόλεως «города» и т. д.).

Проблема происхождения греческих метров связана с затронутым здесь вопросом лишь косвенно.

¹ J a c o b i, Zur Kenntnis der Āryā в «Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft», т. 40, стр. 336.

² Таким образом, принцип моры был первоначально незнаком санскритской метрике и был введен в нее из пракрита (так же, как он был перенесен из греческой метрики в латинскую).

Если бы даже мы могли принять мысль об эгейском происхождении гекзаметра, к чему склоняется А. Мейе в своей работе «*Les origines indo-européennes des mètres grecs*», раздел VIII), то эквивалентность $\text{два кратких} = \text{д о л г о м у}$, которую мы встречаем в эгейском, находит свое обоснование в разговорном греческом языке; поэтому мы должны были бы либо предположить, что данная эквивалентность существовала и в эгейском языке, либо, что замена дактилей спондеями развилась только на почве греческого языка, в то время как первоначально гекзаметр был чисто дактилическим. Однако до тех пор, пока эгейская природа гекзаметра не будет доказана, эти комбинации не имеют никакого значения.

Против приведенной выше теории возникновения метрической эквивалентности $\text{два кратких} = \text{д о л г о м у}$ можно было бы выдвинуть следующее возражение: самая древняя греческая поэзия, по-видимому, неразрывно связана с музыкой; в музыке же известны такие простые временные отношения (отношения продолжительности тонов), как 2 : 1. Отношение 2 : 1 могло, таким образом, быть перенесено из музыки в метрику.

Впрочем такой подход вызвал бы целый ряд трудностей: 1) метрическое количество не является функцией музыкального количества: каждый слог слова может петься, в зависимости от необходимости, в течение одной, двух и т. д. временных единиц; 2) независимо от музыки, количественная метрика знает принцип моры только там, где соответствующий разговорный язык знает зияние и стяжение (греческий, пракрит) и, наоборот, языку без зияния и стяжения соответствует обязательно количественная метрика без принципа моры (ведийский, арабский); 3) ведийские метры пелись (отсюда такие названия, как *pragātha*- от корня *gā* «петь») и, несмотря на это, им был неизвестен принцип моры; в то же время пракритские метры, как *āguā* и *gīti*, которые тоже пелись, знали принцип моры.

5) В заключение хотелось бы обратить внимание на определенную эквивалентность, существующую в западногерманской метрике, параллельную принципу моры в греческой метрике. Западногерманская метрика (древневерхненемецкая, древнесаксонская, англосаксонская) осно-

ывається на ритме ударе́ния (так же, как, например, новофранцузская или польская метрика). Однако от этих последних западногерманская метрика отличается приблизительно так же, как греческая метрика отличается от ведийской. Дело в том, что в немецком стихе количество слогов непостоянно (так же, как в греческом гекзаметре), постоянно лишь количество тактов (так же, как количество стоп в греческом).

Постоянство количества слогов в стихе практически невозможно по той причине, что существует эквивалентность $\acute{ } = \grave{ } \cup$; это значит, что долгий ударный слог равен двум слогам, из которых первый, краткий, является ударным. Ср., например, два следующих полустихия из «Hildebrandslied» (около 800 г. н. э.).

20a *prūt in būre*

и

24a *fātēres mīnes*

Слогу *prūt* в 20a¹ соответствуют два слога *fātē-* в 24a¹.

На первый взгляд, если не учитывать акцентуацию, здесь имеет место та же самая эквивалентность, что и в греческом языке. Однако это только видимость. Западногерманская метрическая эквивалентность $\acute{ } = \grave{ } \cup$ имеет совсем иную языковую основу, чем греческий принцип моры. Существует фонетическое явление, в такой же мере характерное для западногерманского, в какой для греческого характерно зияние и стяжение; это явление синкопа кратких гласных. Правило западногерманской синкопы звучало в общих чертах следующим образом: после долгого ударного слога синкопируется краткий гласный следующего слога (конечного или внутреннего)², в то время как после краткого ударного слога синкопы нет. Например, зап.-герм. **gasti* «гость» переходит в *gast*, но *wīni* «друг», удерживая конечное *i*, не меняется; зап.-герм. **handu* «рука» переходит в *hand*, но *sunu* «сын» сохраняет конечное *u*. Внутри слова, например, др.-в.-нем. *perīta* «я спас», но *hōrta* (а не **hōrita*) «я услышал».

¹ K ö g e l, *Geschichte der deutschen Literatur*, I, 1, стр. 292.

² Если конечный слог синкопировался, внутренний первоначально удерживается.

Различия в вышеприведенных примерах объясняются тем, что слоги *gast-*, *hand-*, *hōg-* — долгие, а *wīn-*, *sun-*, *per-* — краткие.

Несомненно, то же правило должно было первоначально регулировать синкопу и в староскандинавском¹.

Западногерманская синкопа доказывает, что ударение, падающее на краткий слог, дополнялось побочным ударением, падающим на следующий слог. Сумма этих двух ударений равнялась ударению, падающему на долгий слог. Отсюда отсутствие синкопы после краткого ударного слога, а также метрическая эквивалентность $\overset{'}{\cup} = \cup \cup$. Важным различием между немецкой и греческой эквивалентностью служит то обстоятельство, что в греческом языке в определенную эпоху формы с двумя краткими слогами ($\cup \cup$) и формы с долгим слогом (—) сосуществовали одна рядом с другой для одних и тех же слов, например ($\epsilon\tau\iota$ -) $\mu\acute{\iota}\epsilon$ наряду с ($\epsilon\tau\iota$ -) $\mu\bar{\alpha}$, в то время как в немецком языке $\overset{'}{\cup} \cup$ противопоставлялось $\overset{'}{\cup}$ в р а з н ы х словах, хотя и принадлежащих к идентичным морфологическим категориям (*gast* : *wīni*, *hand* : *sunu* и т. д.).

¹ G. N e c k e l, Die dreisilbigen Akzenttypen des Germanischen IF, 40, стр. 133.

ПРИНЦИПЫ ЛАТИНСКОЙ И ГЕРМАНСКОЙ МЕТРИКИ¹

(1949)

Между классической латинской просодией и просодией более древнего периода, представленной в драмах Плавта и Теренция, имеется существенное различие. Первая основана на эквивалентности $\text{—} = \text{˘} \text{˘}$, хорошо известной также в греческой просодии; вторая использует другой способ нарушения однообразия ритма, а именно эквивалентность $\text{—} = \text{˘} \text{—}$, то есть подстановку двух слогов, первый из которых краток и несет ударение, на место одного долгого слога, несущего метрическое ударение или ictus. Например, «Амфитрион» Плавта, Пролог²:

ст. 1 и сл. ut vós in vóstris vóltis mércimóniis
emúndis véndundisque mé laetúm lucris
adficer(e) atqu(e) ádiuvár(e) in rébus ómnibus
et út res rátiónesque vóstror(um) ómnium
ben(e) éxpédire vóltis péregriqu(e) ét domi...

Хотите, чтобы я вам помогал в делах,
В продаже-купле, с радостью давал бы вам
В торговле прибыль? Чтобы удавались вам
Дела все и расчеты ваши всякие
В чужих краях и дома?..³

ст. 21 tametsí pr(o) império vóbis quód dictúm foret

Хоть знает он, что волю вы исполните...

¹ J. Kuryłowicz, Latin and Germanic Metre, English and Germanic Studies, II, 1949, стр. 34—38; см. также BPTJ, X, 1950, стр. 37—42.

² «Развернутые» стопы даны курсивом.

³ Здесь и далее переводы даются по изданию Тит Макция Плавт, Избранные комедии, М.—Л., Academia, 1933, т. 1.

Стр. 45 *deorúm regnátor árchitétust ómnibus*

[К чему считать все те благодеяния,
Что] даровал вам царь богов, [родитель мой?]

Ст. 54 *eand(em) hánc, si vóltis, fáciam éx tragóedia*

Хотите, перестрою всю трагедию
В комедию, [стихи ж оставлю прежние.]

Однообразие ямбического или спондеического ритма нарушается развертыванием — в $\cup \cup$, отсюда — $\cup \cup$ (например, *adícere*) или $\cup — \text{—}$ (например, *tametsí*).

В старолатинской просодии это явление (эквивалентность $\text{—} = \cup \cup$) носит название «ямбического сокращения» в связи с тем, что слог, следующий за $\cup$, становится, как полагают, кратким. В действительности же мы сталкиваемся с примерами превращения не только — — в $\cup \cup$, но и $\cup — \text{—}$ в $\cup \cup \text{—}$ (*deorúm*). Это означает изменение размера — превращение ямба в пиррихий. Хотя вначале это сокращение казалось специфической чертой старолатинской просодии (несколько примеров встречается, правда, и в старых дактилических стихах), мы знаем теперь, что это не искусственное метрическое правило, а явление, тесно связанное с фонетической структурой языка.

Окончание двойственного числа $-\bar{o}$ сохраняет долготу в *ambō* «оба» (то есть после долгого слога), но сокращается в *dūō* «два» (после краткого слога). То же происходит с наречным суффиксом $-\bar{e}/\bar{o}$: *longē* «далеко», *rūrē* «чисто», *sērō* «поздно», *bonē* «хорошо», *malē* «плохо», *cītō* «быстро». В 1 л. ед. ч. наст. вр. изъявит. накл. мы находим *laudō* «хвалю», *cantō* «пою» (с сохранением долготы), но *āmō* «люблю» (с сокращением) и т. д. В некоторых морфологических категориях рано обобщился один из двух вариантов. Так, имена женского рода на древнее $-\bar{a}$ в ном. ед. ч. всегда имеют краткое $-\bar{a}$ независимо от долготы предшествующего слога.

Ф. Зоммер¹ открыто отождествляет метрические и грамматические явления. Однако такое отождествление едва ли

¹ F. Sommer, Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre, стр. 127 и сл.

может быть правильным. Во-первых, второй слог слова *tametsi*, долгий по положению, не может подвергнуться сокращению. Во-вторых, ударное *ō* в формах типа *deogum* в разговорном языке никогда не сокращалось. Действительно, сам Зоммер говорит: «Правильное объяснение дает (устно) Турнейзен, а именно: в связи с экспираторным характером латинского ударения два слога, первый из которых состоял только из краткого гласного, при условиях, указанных выше для закона ямбического сокращения, произносились одним экспираторным усилием, выделяясь как единый «ударный слог» («Drucksilbe»). Мы должны, таким образом, допустить, что драматурги воспроизводили разговорный язык, когда рассматривали (начальные) два слога в словах типа *sēnex* или *gubernābunt* как неделимое целое, как одну единицу. Действительное сокращение происходило только в том случае, если второй слог мог ему подвергаться, то есть если он содержал долгий гласный.

Мы можем, таким образом, сделать вывод, что в древнелатинский период последовательность $\cup \cup$ выступала в качестве неделимой единицы как в языке, так и в стихотворном размере, а именно функционировала как один долгий слог.

Аналогичное явление засвидетельствовано в древнегерманской просодии. Так, древнеисландская строфа *fornyrðislag* состоит из четырех стихов, каждый из которых распадается на два полустихия, содержащих по два ударения (1 и 2, 3 и 4). Аллитерация соединяет первое и третье или первое, второе и третье ударения, например

iǫrþ fannsk æva — né upphiminn

Земли тогда не было, не было неба¹

В силу тенденции скальдов к изосиллабизму каждое полустихие содержит четыре слога. Однако и ударный, и безударный долгий слог может быть заменен последовательностью $\cup \cup$, например

vara sandr né sær — né svalar unnir

Ни морского песку, ни холодной волны².

¹ «Эдда», перевод С. Свириденко, М., 1917, стр. 94.

² Там же.

Первый и третий стихи строфы *lióðrahátt* представляют более древний тип, чем *fornyrðislag*. Здесь нет тенденции к изосиллабизму, и строка может оканчиваться либо на $\bar{}$, либо на $\cup \cup$ (которые, таким образом, эквивалентны друг другу), но не на $\bar{}$ $\cup$. Примеры:

vin sínum skal maðr vinn vera

Другу плати за приязнь ты приязнью

или

en óvinar síns skyli engi maðr

Делать другом себе никогда ты не должен того,
Кто был другом врагу твоему¹.

В древнеанглийском и древнесаксонском, а также в древневерхненемецком стихе односложное слово может само по себе составить полную метрическую единицу («такт»). Двусложное слово типа $\bar{}$ — может иметь два метрических ударения, то есть принадлежать к двум разным метрическим единицам (это бывает главным образом в случае со сложными словами типа *hring-net* «кольчуга»); со словами типа $\cup \cup$ этого не бывает никогда. Здесь мы снова сталкиваемся с метрической эквивалентностью $\bar{}$ = $\cup \cup$.

Данный принцип продолжает действовать даже в средневерхненемецкий период; это хорошо засвидетельствовано рифмами, то есть наиболее чувствительным элементом размера. В одной и той же поэме и даже в одной и той же строфе Вольфрам фон Эшенбах использует такие рифмы, как *sanс : enklanc*, *nahtegal : tal*, *twanc : lanc* наряду с такими, как *klagen : tagen* (все в качестве мужских рифм). Вальтер фон дер Фогельвейде считает рифму *kranz : tanz* эквивалентной рифме *maget : traget*; далее, мы находим у него *stât : hât*, *arbeit : leit*, *ensol : wol*, *mê : wê*, *siht : giht* наряду с *jehen : geschehen*, *tage : klage*, *nimet : gezimet*.

Эквивалентность $\bar{}$ = $\cup \cup$ как в северогерманском, так и в западногерманском подтверждается также ко с в е н н о процессом синкопы. В западногерманском краткий конечный или срединный гласный (i, u) синкопируется после долгого ударного слога, но сохраняется

¹ «Эдда», перевод С. Свириденко, М., 1917, стр. 293.

после краткого ударного слога. Это различие ясно видно в древнеанглийском, где древние основы женского рода на -ā сохраняют конечное -u после краткого слога основы (например, *giefu* «дар», *swalu* «смерть», *scolu* «толпа», *lufu* «любовь» и т. д.), но теряют его после долгого слога основы (например, *gód* «распятие», *tearg* «знак, граница», *sorg* «печаль», *heall* «зал» и т. д.). То же самое происходит с древними основами на -i и на -u: *wine* «друг», *giest* «гость», *stede* «место», *hete* «ненависть», *scyte* «выстрел», но *wurm* «червь», *feng* «схватывание», *wyrm* «бросок»; *sunu* «сын», *wudu* «дерево», *meodu* «мед», но *feld* «поле», *weald* «лес», *hád* «состояние, суть». Ср. также прошедшее время первого слабого спряжения *perede* «спас», *cnysede* «толкнул», *swefede* «спал», но *démdé* «думал», *híerde* «слышал», *fylde* «наполнял».

Независимо от того, как мы будем рассматривать германскую синкопу, она четко свидетельствует о метрическом различии между $\underline{\text{ } \cup}$ и $\underline{\text{ } \cup} \cup$.

Происхождение метрического сходства между архаической латынью и древнегерманским подлежит, таким образом, обсуждению. Несомненно, это сходство следует считать результатом сходства соответствующих фонологических структур.

Для латыни важнейшим обстоятельством является полное отсутствие полноударных односложных слов, оканчивающихся на краткий гласный. Имеются именны́е формы типа *re*, *spē*, *vī*; глагольные формы типа *dā*, *dō*, *flā*, *flō*, *pā*, *pō*, *stā*, *stō*; местоимения *mē*, *mī*, *quī*, *sē*, *tē*, *tū*; парадигма *hīc* и т. д.; наречия *ne*, *quā*, *quī*, *quō*; предлоги *ā*, *dē*, *ē*, *prō*, *sē*; союзы *nē*, *pī*, *sī*; междометия *ā*, *fū*, *mū*, *ō*, *prō*. Но на краткий гласный могут оканчиваться только энклитики, то есть безударные элементы, например *-ce*, *-ne*, *-pe*, *-que*, *-te*, *-ve*.

Авэ в «*Études romanes dédiées à Gaston Paris*» (стр. 311) утверждает, что в доисторический период в односложных словах происходило удлинение всех конечных кратких гласных (как, например, в императиве *dā*, ср. *dāre* или в наречии и предлоге *prō*, ср. санскр. *prá*, гр. *πρό*). Это предположение, само по себе вполне вероятное, играет, однако, лишь второстепенную роль. Важно то, что с точки зрения латинской фонологической системы слово типа:

сѣпех не допускает деления на слоги. Точно так же, как в слове петр, п является здесь эксплозивным и принадлежит к следующему слогу (-пех); первый слог вида сѣ-не имеет в латинском языке параллелей, поскольку, как мы видели выше, односложные слова такого типа не встречаются. Слогом, возможным для данного языка, мы можем считать только такой звуковой комплекс, который фонологически допустим в качестве самостоятельного слова. С другой стороны, мы не можем делить сѣпех на сѣп-пех с имплозивным п в первом слоге и эксплозивным во втором. Слог сѣп-, конечно, возможен в латинском языке (ср. такие слова, как геп, ап и т. д.), однако разделение имплозивной и эксплозивной частей свойственно только геминатам (например, в реп-па, ап-пус, Сап-пае и т. д.). Хотя у слова сѣпех два слоговых центра (две гласных), разделить его на два слога невозможно. Следовательно, оно должно функционировать как неделимая единица, эквивалентная самостоятельной единице, то есть играть роль одного долгого слога (эквивалентность, разумеется, не означает тождества).

Из вышеизложенного можно заключить, что положение, засвидетельствованное в просодии древнелатинской драмы, обусловлено двумя фонологическими явлениями: а) отсутствием односложных слов, оканчивающихся на краткий гласный, и б) существованием геминат.

Обе эти фонологические черты характерны также для тех древнегерманских и среднегерманских языков, в которых используется метрическая эквивалентность $\bar{\text{—}} = \text{—}$.

а) Отсутствие односложных слов, оканчивающихся на долгий гласный. В древнеисландском, древнеанглийском и т. д. такой гласный удлинялся; ср., например, указательное местоимение (и артикль) ном. ед. ч. м. р.: гот. sa, но др.-исл. sá, др.-англ. sé. Значительное число односложных слов с долгим гласным возникло из форм с конечным h, например др.-исл. á, ó «вода» < *ahwu; др.-англ. tá «палец ноги» < *taihu и т. д.

б) Существование геминат (ss, rr, ll, nn, mm, kk, tt, pp, а в западногерманском также gg, dd, bb, hh, þþ, ff). Например, имеется фонологическое различие между

древнеанглийским *wīne* «друг» и *wīppe* ед. ч. наст. вр. сосл. накл. от *wīppan* «трудиться, стараться».

Эволюция средневекового германского размера и его превращение в романский изосиллабизм довольно поучительны. Такое изменение стало возможным только после утраты противопоставления простых и геминат. Геминация исчезла после того, как в средние века произошло удлинение кратких ударных гласных в открытых слогах, как, например, в англ. *week* «неделя», *wood* «лес» или в нем. *sieben* «семь», *Biene* «пчела». Исчезновение типа «краткий ударный гласный плюс простой согласный» лишает тип «краткий ударный гласный плюс гемината» фонологически противопоставленного члена; иными словами, гемината утрачивает свой фонологический статус и упрощается. Таким образом, в среднеанглийском и средневерхненемецком вновь появляются слова с ударными краткими гласными в открытых слогах. С фонологической точки зрения слово типа *bitter* (английское или немецкое) представляет собой /bitɪ/ с кратким гласным и простым согласным. Поскольку в этих языках нет односложных слов с кратким гласным, казалось бы, следует считать, что такие слова не делятся на слоги. Однако такое заключение было бы неверным. Мы можем расчленить *bitter* на *bit-* (равное существительному *bit*) + *-ter* (равное *-ter* в *barter*); действительно, *bit* + *ter* в сумме дает /bitɪ/ именно потому, что в английском языке отсутствуют геминаты. Черта $\frac{1}{6}$ отсутствует в современном английском и в современном немецком языке.

Параллельная, но независимая эволюция, засвидетельствованная в английском и немецком языках, лежит в основе того изменения в метре, которое произошло (также независимо) в этих языках. Мы можем установить здесь один важный хронологический момент: романский изосиллабический метр мог пустить корни в этих двух языках только после удлинения кратких ударных гласных в открытых слогах, или, точнее, после его прямого следствия — упрощения геминат.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК С ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ¹

(1947)

В ходе подготовительной дискуссии перед пятым Конгрессом лингвистов в Брюсселе (август—октябрь 1939 г.) был предусмотрен в качестве одной из тем пленарных заседаний вопрос о поэтическом языке (*la langue poétique*). На эту тему до начала Конгресса было опубликовано около десяти работ, что и послужило основанием для дискуссии. В них ставился вопрос о том, является ли поэтический язык (а если да, то в какой степени) предметом лингвистического исследования, что в свою очередь тесно связано с сущностью, с определением поэтического языка. Вопрос этот сводится к тому, будем ли мы относить к поэтическому языку только неповторяемые языковые явления того или иного произведения (тогда у нас было бы столько языков, сколько произведений) или ряд определенных поэтических явлений, которые по характеру являются, может быть, не конвенциональными, как разговорный язык, а конвенционализированными. Эти явления, создающие как бы традиционный арсенал писателей и поэтов, занимают промежуточное положение между спонтанными неологизмами лирической экспрессии, с одной стороны, и конвенциональным разговорным языком — с другой. Каждая из этих точек зрения имеет среди лингвистов своих сторонников. Так, итальянский компаративист Пизани говорит только об индивидуальном аспекте поэтического языка: «Формулой поэтического языка является свобода» (*la formula della lingua poetica è libertà*). То же полагает и Франц Дорнзайф (из Грайфсвальда): сущность поэтического языка — это пластика и экспрессия, достигаемые метафорой («Сдвиг синонимов — это самое сильное в

¹ J. K u r y ł o w i c z, Język poetycki ze stanowiska lingwistycznego, SprWTN, 2, 1947, стр. 4—11.

поэтическом языке»), обращением к диалектному и архаическому материалу и т. д. Согласно мнению итальянского лингвиста Террачини, поэтический язык есть выражение чистой лиричности: („linguaggio come espressione della pura liricità"): поэтический язык исключительно субъективен. Он пригоден только для синхронной интерпретации. Исследование отдельных поэтических элементов в сравнении с разговорным языком, и даже с языком других произведений того же автора, способствует пониманию поэтического языка лишь в тех случаях, когда эти элементы не противостоят экспрессивному содержанию произведения в целом, благодаря которому это произведение и может быть отнесено к поэзии. Поэтический язык как таковой понятен людям, но не годится для подражания и не имеет традиционного продолжения, поэтому его нельзя втиснуть в схему исторического развития. Такая точка зрения не противоречит тому факту, что поэты оказывали влияние на язык своих современников и потомков. Влияние это объясняется, по мнению Террачини, в значительной степени «психологической симпатией, модой, вкусом, школой», то есть причинами внепоэтическими. Кроме того, добавляет Террачини, «это объясняется тем, что в ходе определенной и необходимой аналитической работы любые конкретные элементы поэзии исчезают».

Большинство лингвистов высказалось за такое определение поэтического языка, которое подчеркивает его конвенционализированный и традиционный характер. Орельен Соважо выдвигает гипотезу о том, что поэтический язык может составлять систему: «Мы могли бы констатировать, что явление, именуемое поэтическим языком, подчиняется совокупности весьма точных законов». Однако он недооценивает лексического аспекта, который вопреки его странному и наивному, как нам кажется, мнению следует выдвинуть на первый план по сравнению с фонетикой, морфологией и синтаксисом. Классик Шантрэн считает, что в разные эпохи и в разных странах проблема поэтического языка представляется по-разному. Существуют поэтические языки, в которых основной слой создают традиционные элементы определенного литературного жанра (Гомер). Существуют и другие поэтические языки, где основной слой создан индивидуальными

выразительными средствами писателя (Пиндар, Эсхил, Софокл, Аристофан). Лингвиста интересуют только поэтические языки первого вида. Такие, первые по времени языки были закреплены поэтическими корпорациями (филидами в Ирландии, тулами («*thular*») в Исландии, скопами в Англии, аэдами в Греции). Они отличаются прежде всего подбором исключительно архаичных, зачастую едва понятных для слушателей слов, особой конструкцией фраз, обилием сложных слов и т. д. (параллелью в современном французском поэтическом языке может служить препозитивное употребление прилагательного, которое пришло в поэтическую прозу, но в разговорном языке представляет собой остаточное явление). Если же речь идет о втором случае («индивидуальная поэзия»; в Греции — уже от Гесиода), то исследование поэтического языка перестает быть предметом науки (пожалуй, точнее, перестает быть предметом лингвистики) и совпадает с анализом стиля.

Виктор Маньян (классик из Тулузы) и парижский семитолог Марсель Коэн признают общественный характер поэтического языка (что в отношении Гомера не подлежит, по мнению Маньяна, никакому сомнению).

Луи Мишель (Брюссель) также различает поэтический язык и поэтическую речь (в понимании де Соссюра) в зависимости от того, рассматриваем ли мы общественные (межиндивидуальные) признаки или индивидуальные. По мнению Мишеля, фактор успеха действует так, что определенные формы поэтической «речи» становятся поэтическим «языком» («*grâce aux facteurs psycho-sociaux du succès, il arrive que certaines formes de la parole poétique deviennent langue poétique*»). Под поэтическим языком (*langue poétique*) Мишель понимает «формулы-типы, которые являются условными и немотивированными единствами». Его рассуждения опираются на историю старофранцузского эпоса.

В подходе Мишеля и Шантрена бросается в глаза один крупный пробел: отсутствие внимания к тому, что придает такому конвенционализованному поэтическому языку характер языка, а именно к его продуктивности. Этот пробел восполняют рефераты Ману Леймана из Цюриха и автора данной статьи. Лейман предлагает такое определение:

«Поэтический язык как предмет лингвистики представляет собой не особую языковую форму выражения одного изолированного индивидуального поэта, а коллективную языковую форму духовной общности». Этой коллективной языковой форме (именуемой поэтической) придает торжественное достоинство и освященность только тот факт, что употребленная впервые эта форма связывалась в данном конкретном случае с возвышенным, волнующим и вдохновенным содержанием. Культ содержания был перенесен и на форму, которая стала восприниматься как поэтическая. Однако, поскольку каждый поэт сознательно или бессознательно находится под влиянием поэтической традиции, поэтический язык более связан традицией, чем разговорный, и потому в большей мере архаичен.

Одним из двух эталонов для оценки поэтического языка служит современный разговорный язык. Границей отличия поэтического языка от разговорного является понимаемость. Это негативное условие понимаемости допускает определенные неологизмы, но в поэтическом языке неологизмы более рискованны и не подвергаются проверке на пригодность путем отбора, как в разговорном языке. Впрочем, принципиально способ их возникновения и там и здесь одинаков.

Второй (внутренний) критерий поэтического языка принадлежит сфере индивидуальности поэта, причем, индивидуальный стиль находится за пределами интересов лингвиста. Этот критерий может обладать и коллективной значимостью; тогда он ограничивает свободу образования неологизмов, а также определяет такие «негативные» черты, как эвфемизмы, стремление избежать банальных или неприличных выражений (что весьма характерно, например, для Гомера или Ригведы) и т. п.

С лингвистической точки зрения в языке литературных произведений можно различить два слоя: 1) слой, мотивированный системой разговорного (прозаического) языка, современного данному произведению; 2) слой, не находящий мотивировки в разговорном языке. Поэтическое новообразование, как бы ни была велика его оригинальность и эстетическая ценность, не является для лингвиста проблемой, отличной от проблемы любого другого неологизма, поскольку также объясняется живыми процессами

современного языка. Быть может, можно было бы усматривать разницу в том, что поэтический неологизм является индивидуальным, а неологизм разговорного языка — скорее коллективным (*pluralistyczny*), поскольку его создает какая-нибудь общественная прослойка, профессиональная группа и т. п.; кроме того, поэтический неологизм не проходит проверку отбором. Однако несомненно, что, если бы мы попытались установить точный генезис какого-либо общеупотребительного неологизма, мы и здесь убедились бы в его индивидуальном происхождении. Что же касается распространения неологизма в языковом коллективе, то здесь поэтический неологизм и неологизм разговорного языка проявляют точное соответствие друг другу: литературный неологизм находит распространение в языке определенного литературного жанра или литературной школы, а неологизм разговорного языка — в языке общественной прослойки, территориальной или профессиональной группы. И тот и другой могут в результате эволюции распространиться в языке целого общества. Сколькими словами, сколькими выражениями современный немецкий язык обязан художественному языку Лютера: *Wer einem anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein* «Кто роет другому яму, сам в нее попадет»; *durch die Finger sehen* «смотреть сквозь пальцы»; *der Dorn im Auge* «бревно в своем глазу»; *sein Licht unter den Scheffel stellen* «зарыть свой талант в землю»; *lästermaul* «злой язык, клеветник»; *sündenbock* «козел отпущения» и т. д. Слова *Grund* «причина» и *Beruf* «профессия» получили свое современное значение именно у Лютера.

Но, впрочем, чаще неологизм ждет ограничение употребления и языковая смерть или по крайней мере окостенение; в таких комплексах, как *дай kurze grzędę* «дай курице грядку, она весь огород разроет», *faire chère lie* «хорошо поесть», *sein Schäfchen ins Trockene bringen* «обеспечить себя», слова *grzędę* «грядка», *lie* «веселый», *Schäfchen* «овечка» уже не употребляются самостоятельно в собственном смысле.

Лингвистические проблемы можно поставить при рассмотрении того слоя поэтического языка, который не находит мотивировки в процессах разговорного языка. Здесь опять-таки минимальный интерес лингвиста вызы-

вают звуковые метафоры и звукоподражание, поскольку эти образования возникают по тем же творческим законам, что и соответствующие образования живого разговорного языка, а также потому, что они не поддаются в силу редкости и спорадичности общим оценкам. Некоторые поэтические школы усматривают в массовом создании таких образований сущность поэтического творчества, однако сторонники таких взглядов, так же как и те, кто усматривает сущность поэзии в создании неопределенных смысловых туманностей (вроде известных *mirośladow* Ю. Тувима), неправы. Нельзя представить себе литературное произведение, в особенности поэтическое, совершенно лишенным смыслового содержания.

Нас же здесь интересуют языковые формы, которые употребляются автором как поэтические в противоположность прозаическим. Речь идет о формах, заимствованных поэтом из известных ему литературных образцов и позволяющих предполагать существование литературной традиции и наряду с разговорным языком языка литературного и поэтического. Если же в момент возникновения литературы в каком-либо языке не было традиции и образцов, то приходится говорить не о поэтическом языке, а лишь об индивидуальном языке автора, ибо лингвистическое понятие поэтического языка подразумевает общественный продукт, межиндивидуальный. Противопоставление **р а з г о в о р н ы й : п о э т и ч е с к и й** не совпадает с противопоставлением **о б щ е с т в е н н ы й : и н д и в и д у а л ь н ы й**, а пересекается с ним. Так же, как и разговорный, поэтический язык проходит этапы определенного исторического развития. Используя здесь термин «разговорный», мы отдаем себе отчет в том, что существует целый ряд факторов (территориальные, классовые, профессиональные, возрастные и т. д.), разрушающих кажущееся единство разговорного языка, однако все эти варианты в их совокупности мы противопоставляем как единство поэтическому языку.

Компоненты противопоставления **р а з г о в о р н ы й : п о э т и ч е с к и й** неравноправны: первый обязательно должен существовать, если существует второй, но может существовать и без второго. Из этого более широкого

объема разговорного языка вытекает маркированный характер поэтического языка, имеющего более узкую область употребления. Это значит, что поэтический язык мы воспринимаем как имеющий определенные характерные положительные признаки, определенные характерные черты по сравнению с разговорным. В соответствии с этим описание поэтического языка представляет собой описание черт, отличающих его от разговорного языка, а не описание языка произведений или произведения как единого целого. Словом, поэтический язык определяется как разновидность разговорного. Это, если так можно выразиться, норма, но существовали и крайности, когда, например, многовековая поэтическая традиция приводила к нарушению контакта между обоими языками и поэтический язык становился непонятен среднему человеку. Санскрит, позднее пракрит, позднее апабхрانشа — это последовательные фазы языка, закрепленные в определенных литературных жанрах. Здесь уместно сравнение с ролью латинского по отношению к сосуществующим романским языкам (литература на итальянском языке возникает только в XIII веке!). Санскрит и средневековая латынь как литературные языки являются в значительной мере транспозицией соответственно пракрита и романского. Центры тяжести при описании разговорного и поэтического языков различны. Центральная часть описания разговорного языка — грамматика — отступает при описании поэтического языка на второй план по сравнению с расширенной лексической частью: слова, совсем не употребляемые в разговорном языке или употребляемые не в том значении, которое дал им поэт, целые выражения, устаревшие процессы словообразования и т. п. Например, обращение И.-Я. Бодмера в сороковых годах XVIII в. к миннезангу ввело в немецкую литературу такие слова, как *Minne* «любовь», *Hort* «клад», *Kämpfe* «герой, воин», *Recke* «богатырь», *küren* «выбирать», *Ferge* «перевозчик», *Wat* «одежда», *Brünne* «кольчуга» и т. д., которые, впрочем, уже и в XIII в. частично были только поэтическими. Ср. также архаизацию лексики в трилогии¹ и еще большую в

¹ Имеются в виду три исторических романа Г. Сенкевича: «Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Володыевский». — *Прим. ред.*

«Крестonosцах»¹. Из провансальской французской поэзии целый ряд суффиксов перешел в итальянскую поэзию: -iere, -iero, -aggio, -ardo, префикс mis-, а оттуда — и в разговорный язык: guerriero «воин»; coraggio «мужество», messaggio «посол, весть, сообщение»; misfatto «преступление» и т. д.

И лишь далеко позади идут морфолого-синтаксические явления: употребление грамматических категорий в уже не существующем значении; употребление необычного для разговорного языка порядка слов и т. п. Так, например, во многих языках в поэтических произведениях используется форма двойственного числа, в то время как в разговорном языке она уже не употребляется. Вот примеры особого порядка слов в поэтических произведениях: Röslein rot (Гёте, «Красная розочка»); In seinen Armen das Kind war tot («В руках его мертвый ребенок лежал», Гёте, «Лесной царь»); Er also sich zur Seite kehrt, Und tut, als hätt'er's nicht gehört («Он отходит в сторону и делает вид, что ничего не слышал»); La belle au bois dormant (название сказки Перро «Спящая красавица»); Il veut sa patrie sauver («Он хочет родину спасти», Ромен Роллан).

Следует заметить, что звуковой облик также может выглядеть архаично. Мы имеем в виду не только случаи, когда какое-либо слово выступает в своей старой форме (например, польское *ta*ko вместо *tak*), но и систематическое «переименование» в звуковом отношении целых категорий слов. Ср., например, так называемые протяженные формы у Гомера или стяженные формы в Ригведе наряду с нестяженными формами. К этой категории явлений относится произношение и участие в метрике (*liczenie*) так называемого «е тует» во французской поэзии начиная с XVII века.

Можно сказать, что архаизмы теряют свой собственный характер и приобретают новую функцию — функцию языковой поэтической формы. Итак, налицо переход противопоставления *новый : старый* в противопоставление *разговорный : поэтический*. Благодаря синхронизации формы, относящиеся к разным эпохам, приобретают новые функции. Поэтический язык, возникший из архаического языка, можно назвать языком в лингвистическом смысле слова лишь

¹ Исторический роман Г. Сенкевича. — *Прим. ред.*

постольку, поскольку он продуктивен. Критерием служит наличие форм, которые можно было бы назвать ложными архаизмами или «гиперархаизмами». Поэт, руководствуясь отношением, существующим между какой-нибудь разговорной формой и соответствующей поэтической формой, придает другой разговорной форме аналогичную поэтическую форму, которой в архаическом языке никогда не было. Ср., например, зияние в окончании род. п. ед. ч. -*суа* в Ригведе (в соответствии со случаями *dyáuś* «небо, свет и день»: *diyáuś*); метрику Гомера с основным соотношением долгий слог равен двум кратким; форму *gewalkieret* (использование французского суффикса как поэтического) у Генриха Фельдеке (*Eneit*, 5201); *Wsiądzna mój rączy koń* «Сядь на моего быстрого коня» у одного из современных польских писателей — псевдоархаизм в соответствии с *wsiąść pa koń* «сесть на коня»; *quadragénaire* в значении «восемьдесятiletний старец» во французской газетной статье (по аналогии с *sexagénaire* «шестидесятилетний старик» и т. д. при наличии французского *quatrevingt* «восемьдесят»). У братьев Ронис встречаем искусственно созданное *Passé défini il fuu* (вместо *Il fut*) «Он бежал». Конечно, поэтическое образование по аналогии во многих случаях совпадает с формами, которые существовали или могли существовать в архаическом языке, но они как бы заново созданы, а не заимствованы непосредственно из соответствующих образцов. Гиперархаические формы, кажущиеся ошибками только с точки зрения исторической грамматики, не являются таковыми с точки зрения той функции, которую они выполняют: это не архаизмы языкового археолога, а лишь поэтические формы, созданные по аналогии с формами, встреченными поэтом в известных ему литературных образцах. В то же время они свидетельствуют, что поэтический язык (в приписываемом ему здесь значении) — это язык, обладающий механизмом, создающим по аналогии неологизмы не столько символического, сколько экспрессивного характера.

Очевидно, ту же роль может играть местный говор, или язык, родственный общеразговорному языку. Ср. приведенный выше пример провансальско-французских связей с разговорным итальянским языком.

ЗНАЛ ЛИ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК А НАРЯДУ С О?¹

Хотя учение, согласно которому индоевропейские долгие гласные представляют собой результат стяжения основного гласного *e* с определенными консонантными элементами, и не является повсеместно принятым, оно продолжает завоевывать новых сторонников. Совсем недавно к нему присоединились Бенвенист², Куврер³, Сэпир и Стертевант⁴. Сэпир попытался описать упомянутые согласные с фонетической точки зрения. Как и мы⁵, Сэпир допускает четыре различных согласных, для которых он принимает следующие символы: ', *x*, *y*; ̣. Эти символы сами по себе предполагают фонетическую идентичность рассматриваемых согласных с определенными звуками египетского или общесемитского языка. Мы же в своих работах всегда ограничивались рассмотрением функций этих элементов в фонетической системе индоевропейского языка-основы и изучением их дальнейшей судьбы в исторических индоевропейских языках. Принятые нами символы (*ə*₁, *ə*₂, *ə*₃, *ə*₄) ничего не говорят о фонетической природе обозначаемых согласных. Единственный функциональный признак, который удалось констатировать — это корреляция г л у х о й : з в о н к и й между *ə*₂ и *ə*₃⁶. Независимо от нас Куврер сделал тот же самый вывод

¹ J. Kuryłowicz, L'indoeuropéen connaissait-il A coté de O?, «Mélanges J. van Ginneken», Paris, 1937, стр. 199—206.

² E. Benveniste, Origines de la formation des noms en indoeuropéen, I, стр. 148 и сл.

³ Couvreur, De Hettitische h, Katholieke Universiteit de Leuven, PhS, Teksten en verhandelungen, N 12, 1935.

⁴ L., XII, стр. 141—143.

⁵ См. J. Kuryłowicz, Quelques problèmes métriques du Rigvéda, RO, IV, стр. 216, примечания;

J. Kuryłowicz, Études indoeuropéennes, I, стр. 75 и 254—255.

⁶ Ср. J. Kuryłowicz, Études indoeuropéennes, I, стр. 254, а также «Résumés des Communications du IV Congrès International des Linguistes», стр. 53.

изучая хеттскую орфографию (интервокальное противопоставление $-h\bar{h} : -\bar{h}-$). Он приписывает этим обоим согласным природу семитских h и $'$ и отождествляет наше $\bar{a}_1$ с гортанным смычным $'$ (coup de glotte).

Куврер допускает только три исчезнувших элемента, определяемые следующими уравнениями: $e' > \bar{e}$, $'e > e$; $e\bar{h} > \bar{a}$, $he > a$; $e' > \bar{o}$, $'e > o$. Мы же высказались в пользу четырех таких элементов: $e\bar{a}_1 > \bar{e}$, $\bar{a}_1e > e$; $e\bar{a}_2 > \bar{a}$, $\bar{a}_2e > a$; $e\bar{a}_3 > \bar{o}$, $\bar{a}_3e > o$; $e\bar{a}_4 > \bar{a}$, $\bar{a}_4e > a$ (комплекс $e + \bar{a}$ дает долгий гласный перед согласным и краткий гласный перед гласным). Различие между $\bar{a}_2$ и $\bar{a}_4$ проявляется в хеттском и индоиранском. В индоиранском элемент $\bar{a}_2 =$ хетт. h не вызывает изменения предшествующего глухого взрывного, а элемент $\bar{a}_4$, соответствующий в хеттском нулю (или, может быть, гортанному смычному), влечет придыхательность предшествующего глухого взрывного¹.

Тембр a наблюдается в большом числе примеров, где он обусловлен соседством элементов $\bar{a}_2$ или $\bar{a}_4$ (x и $\bar{u}$ Сэпира, h у Куврера). В то время как e и o мы приписываем самостоятельное существование, поскольку они встречаются часто и нормально (e не только перед или после $\bar{a}_1$ и o , не только перед или после $\bar{a}_1$ и $\bar{a}_3$, но и в любом возможном окружении, кроме соседства с $\bar{a}_2$ и $\bar{a}_4$), самостоятельность тембра a вызывает подозрение. Правда, в некоторых языках (а именно в южных — армянском, греческом, итальянском, кельтском) a является фонемой, не зависящей от какого бы то ни было фонетического окружения. Но если в этих языках заменить начальные a на $\bar{a}_2$ и e и $\bar{a}_4e$, исконные долгие a — на $e\bar{a}_2$ и $e\bar{a}_4$ и по крайней мере некоторые из дифтонгов ai , au — на $e\bar{a}_1$ и $e\bar{a}_3$, то значительная часть остающихся случаев может быть сведена к двум основным категориям².

а) Экспрессивные слова (звукоподражания, акустические метафоры), детские слова³ и, может быть, прилагательные, обозначающие физические недостатки⁴.

¹ J. Kuryłowicz, *Études indoeuropéennes*, I, стр. 254—255.

² Там же, стр. 106—107.

³ A. Meillet, *Introduction*, стр. 135.

⁴ F. de Saussure, *Recueil des publications scientifiques*, стр. 595 и сл.

Поскольку *a* несет в этих формах экспрессивную или смысловую нагрузку, оно является более поздним, чем фонема *a*, так как объяснять появление новой фонемы экспрессивными или семантическими причинами не представляется возможным.

б) Слова, в которых *a* является результатом ослабления гласных *e*, *o* перед сонантами *г*, *л*, *п*, *т*. Это явление удобно разложить на два этапа. Первый этап состоит только в изменении тембра: *e*, *o* > *a* перед *г*, *л*, *п*, *т*. На втором этапе происходит последующее изменение (например, лат. *ag*, *al* > *og*, *ol*; лат. *ap*, *at* > *ep*, *et*), однако тембр первого этапа в позиции перед гласными повсюду сохраняется: *ag*, *al*, *ap*, *at* (*ag*, *al*, *ap*, *at*). Передвижения ударения — последующие на первом этапе и предшествующие на втором — часто приводили к фиксации вокализма *a*¹.

Нам кажется, что, принимая учение об исчезнувших согласных звуках, мы вынуждены признать вторичный характер гласного *a* в индоевропейском. Более того, поскольку эта фонема ограничена единой областью южных диалектов и оба элемента э_2 и э_4 исчезли независимо в хеттском (сохранение э_2 , э_3) и в индоиранском (развитие придыхательности у глухих взрывных под воздействием элемента э_4 и, быть может, э_1)², мы пришли к гипотезе о диалектном происхождении фонемы *a*. Звук *a*, обусловленный соседством э_2 и э_4 , не мог функционировать в индоевропейском как самостоятельная фонема.

Если мы признаем неиндоевропейский характер фонемы *a*, нам придется решить прежде всего две следующие проблемы.

1) Как выглядели в индоевропейском звуковые комплексы е_2 и $\text{э}_2\text{е}$, е_4 и $\text{э}_4\text{е}$, если переход *e* > *a* в соседстве с э_2 , э_4 происходил не в индоевропейском?

2) Поскольку исчезновение элементов э_1 , э_2 , э_3 , э_4 происходило в отдельных диалектах или группах диалектов независимо, каково же сходство и различие между языками Севера (германский, балтийский, славянский, иллирийский) и языками Юга в отношении трактовки этих

¹ J. Kuryłowicz, *Études indoeuropéennes*, I, стр. 106. 107.

² Там же, стр. 254.

звук²? Если различие между *а* и *о* не является индоевропейским, появление самостоятельной фонемы *а* в последней группе должно быть тесно связано с южной трактовкой звуков ə_2 и ə_4 .

Поскольку ясно, что соответствие южные *о* и *а* = северное *о* должно объясняться как расщепление индоевропейского *о* в условиях, пока неизвестных, следует предположить переход и.-е. $\text{eə}_2 > \text{oə}_2$, $\text{ə}_2\text{e} > \text{ə}_2\text{o}$; $\text{eə}_4 > \text{oə}_4$, $\text{ə}_4\text{e} > \text{ə}_4\text{o}$. Иначе говоря, в соседстве с ə_2 и ə_4 индоевропейский допускал лишь задний гласный *о*. Оставим в стороне несколько разительных семитских (арабских) параллелей. Языки Севера (ср. ниже замечания о балтийском) сохраняют тембр индоевропейских гласных. Так, например, в германском мы имеем $\bar{o}$ и *а*, то есть те же самые отражения, которые германский дает для индоевропейских $\bar{o}$ и *о* в любом окружении. В языках Юга $\text{ə}_2\text{o}$ и $\text{ə}_4\text{o}$ переходят в *а*, а oə_2 и oə_4 — в $\bar{a}$. Мы видим, следовательно, что, в то время как в северных языках переход $\text{ə}_{2,4}\text{o} > \text{o}$ заключается просто в исчезновении $\text{ə}_{2,4}$, в южных языках то же самое исчезновение связано с изменением тембра. В *Études* мы уже указывали¹, что любая новая фонема является результатом изменения фонетической системы, которое сводится к совпадению двух членов системы в определенных условиях. Это равносильно следующему утверждению: если южные языки приобрели новую фонему *а*, эта новая фонема не может происходить только из $\text{ə}_{2,4}\text{o}$, а должна иметь еще и другой источник, который мы дважды пытались определить².

Откровенно признаем, что ни одна из этих попыток нас не удовлетворила.

Было отмечено, что перед *г*, *л*, *п*, *т* следующего слога (а в более раннюю эпоху также и перед *г*, *л*, *п*, *т* того же слога) *е*, *о* переходят в языках Юга в *а*. Такой переход мог бы рассматриваться как второй член искомого совпадения (поскольку *е*, *о* перед *г*, *л*, *п*, *т* дают тот же результат, что $\text{ə}_{2,4}\text{o}$); однако это правильно лишь отчасти. Если появление фонемы *а* в языках Юга объясняется расщеплением индоевропейского *о*, то переход $\text{e} > \text{а}$ в силу того,

¹ J. Kuryłowicz, цит. соч., стр. 104 и сл.

² Там же, стр. 109 и 255.

что он не связан с появлением новой фонемы, должен был произойти позже, чем переход $o > a$ перед сонантом. А если оба перехода ($eg > ag$ и $og > ag$) не одновременны (первый — более поздний, чем второй), то переход $og > ag$ не может объясняться влиянием последующего сонанта (то есть своеобразным поглощением гласного сонантом). Этот переход следует скорее приписать редуцированному характеру гласного o . Отсюда кажется простым следующий вывод: в южных языках индоевропейский редуцированный гласный o превратился в a одновременно с переходом $\bar{a}_{2,4}o$ в a .

Это уравнение может быть выражено следующими формулами: $\bar{a}_{2,4}o > a$; $\bar{a}_{2,4}o > a$; $\bar{a}_{2,4} \bar{o} > \bar{a}$; $o > a$; $\bar{o}$ остается без изменения. Происходит совпадение $\bar{a}_{2,4}o$ и o (оба дают a), но в то время как фонологические отношения группы $\bar{a}_{2,4}o$ сохраняются ($\bar{a}_{2,4}o : a = \bar{a}_{2,4}o : a = \bar{a}_{2,4} \bar{o} : \bar{a}$), отношения гласного o с o и $\bar{o}$ нарушаются, поскольку o переходит в a . (Трактовка группы $o\bar{a}_{2,4}$ идентична трактовке группы $\bar{a}_{2,4}o$, за исключением того, что в первой группе обычно перед согласными есть долгота.)

Лишь после становления новой системы гласный e перешел в a перед сонантами. Речь идет о совпадении тембров гласных в позиции перед согласными; это общеизвестное явление не требует комментариев.

Попытаемся решить теперь вопрос, как проверить приведенную выше формулу на конкретном материале? Поскольку во всех примерах вокализма a в южных языках в отличие от вокализма o в северных языках, a уже издавна постулируется в качестве индоевропейского вокализма, обратимся к спискам на стр. 115—119 в «Études indoeuropéennes»; там собраны почти все относящиеся к данному вопросу примеры. Разумеется, мы не будем рассматривать все те a , объяснение которых уже давно найдено, то есть начальные a , a в дифтонгах ai и au , южное $a = i - e, i$, а также южное a перед сонантами следующего слога¹. Примеры: арм. *darbin* «кузнец», лат. *faber* «кузнец»: готск. *gadaban*, лит. *dabnūs* «наряженный, украшенный», ст. сл. *дѣръ*; лат. *barba* «борода»: др.-в.-нем. *bart* «борода», лит. *barzdà* «борода», ст. сл. *брада*; арм. *ał*

¹ J. Kuryłowicz, цит. соч., стр. 115.

«соль», греч. ἄλς «соль», лат. sāl «соль», др.-ирл. salann. гот. salt, латыш. sāls, ст.-сл. соль (долгота в латинском и латышском вторична); гр. κῆνδρος «жук-скарабей», ἄνθραξ «уголь, карбункул», лат. candeo «блистаю, белею», галльск. сапп : алб. haпe (др.-инд. candrā- представляет ступень е) и т. д. Объяснение, прибегающее к э (между взрывными) или допускающее для всех форм, содержащих *a* + сонант, ступень *o* в языках Севера и ослабленную ступень в языках Юга, не обладало бы достаточной вероятностью. Предположение о заимствованиях применимо лишь в индивидуальных случаях; скорее следует считать, что в языках Юга вокализм *a* обусловлен в большинстве случаев перемещениями ударения, более поздними, чем переход э_{2,4} > *a*. В языках Севера редуцированное *o*, на которое падает вторичное ударение, выступает как *o*; в языках Юга аналогичное перемещение ударения неизбежно приводит к *a*. Таким образом, очевидны случаи, когда один и тот же морфологический фактор (перемещение ударения) ведет к разным фонетическим последствиям, поскольку он воздействует на формы, разнящиеся с фонетической точки зрения. Приведем следующую параллель: формы др.-инд. sácante «он следует (за)» и гр. ἑλονται (то же) не совпадают с фонетической точки зрения, хотя основаны на формах sácate и ἑλεται, восходящих к индоевропейскому *séke-. Однако между индоевропейской эпохой и эпохой перестройки форм 3 л. мн. ч. (по формам 3 л. ед. ч.) произошли индоиранская палатализация и лабиализация в языках centum. Таким образом, sácante и ἑλονται не идентичны, хотя образованы одним и тем же морфологическим способом от форм, идентичных по происхождению. Равенство южного sal < *sal < *sol и северного sol < *sol — явление, как мы полагаем, по сути дела то же самое. Примеры южн. *a* = сев. *o*, приведенные выше, являются следами параллельного морфологического развития языков на севере и на юге Европы. Впрочем, сами по себе северные языки не позволяют решить вопрос о том, восходит ли их *o* к полному *o* или к редуцированному *o*, попавшему под вторичное ударение до перехода *o* в *u* перед *g*, *l*, *n*, *m* (ст.-сл. ѡр, ѡл, ѡн, ѡм = лит. ug, ul, up, um; ср. также герм. ug < eg и og и т. д.).

Среди языков южной группы также можно найти соответствия *a* : *o*, однако более редкие, чем соответствия южн. *a* : сев. *o*. Теперь мы понимаем, что здесь дело в апофонии *o* : *o*, которая аналогична апофонии *ei* : *i*, *eg* : *eg* и т. д. Например, гр. $\eta\acute{\iota}\chi\alpha\nu\omicron\varsigma$, лат. *cano* «пою», др.-ирл. *canim* «пою»: лат. *ciscōnia* «аист»; гр. $\lambda\acute{\alpha}\sigma\kappa\omega$ «кричу; возвещаю»; лат. *loquor* «говорю»; лат. *sapo*, *sarpus* «каплун»: гр. $\kappa\acute{\alpha}\lambda\tau\omega$ «бью, ударяю», лат. *capio* «беру, хватаю», *capsa* «ящик», гр. $\kappa\acute{\alpha}\lambda\eta$ «ясли»: гр. $\kappa\acute{\omega}\lambda\eta$ «рукоять»; лат. *badius* «гнедой»: др.-ирл. *buid* (< **bodios*); лат. *fastigium* «вершина», др.-ирл. *barr* : ср.-ирл. *borr*; лат. *mare* «море»: др.-ирл. *muir* (< **mori*); лат. *sarmen(tum)* «ветка, лоза»: гр. $\beta\acute{\omicron}\lambda\eta\varsigma$ «ветка, копье»; лат. *scabo* «чешу, скребу»: *scobis* «опилки», *scobina* «напильник» и т. д.

Исчезновение элементов $\mathfrak{a}$ и развитие вокализма *a* на части европейской территории предполагает следующую относительную хронологию: 1) совпадение $\mathfrak{a}_1$ и $\mathfrak{a}_3$, совпадение $\mathfrak{a}_2$ и $\mathfrak{a}_4$. Во всей Европе группы $\mathfrak{a}_{1,0}$ и $\mathfrak{a}_{3,0}$, $o\mathfrak{a}_1$ и $o\mathfrak{a}_3$, $\mathfrak{a}_{2,0}$ и $\mathfrak{a}_{4,0}$, $o\mathfrak{a}_2$ и $o\mathfrak{a}_4$ трактуются одинаково; из четырех $\mathfrak{a}$ остается только два (палатальный гортанный смычный и велярный гортанный смычный, если принять фонетическое описание Сэпира); 2) утрата этих двух элементов на Севере, переход $\mathfrak{a}_{2,4,0}$ и $o\mathfrak{a}_{2,4} > a$ на Юге, где этот переход объясняется фонологическим совпадением $\mathfrak{a}_{2,4,0}$ с *o*. Балтийский и, быть может, иллирийский занимают промежуточное (между Севером и Югом) положение: здесь совпадают $\mathfrak{a}_{2,4,0}$ и *o* (как на Севере и на Юге), а также совпадают $\mathfrak{a}_{2,4}$ и *o* (как на Севере), но различаются $\mathfrak{a}_{2,4}$ и $\bar{o}$ (как на Юге); 3) переход $e > a$ перед *r*, *l*, *n*, *m* на Юге; переход $o > u$ перед *r*, *l*, *n*, *m* на Севере. Параллельные морфологические инновации, развившиеся за период между 2) и 3), приводят к появлению известного числа соответствий *a* : *o*, которые натолкнули исследователей на мысль о самостоятельной индоевропейской фонеме *a*.

Фаза 1) относится к более поздней эпохе, чем отделение хеттского и индоиранского от индоевропейского языка-основы: в хеттском еще различаются как $\mathfrak{a}_1$ и $\mathfrak{a}_3$, так и $\mathfrak{a}_4$ и $\mathfrak{a}_2$ (нуль или гортанный смычный в отличие от *h*), а в индоиранском еще различаются $\mathfrak{a}_2$, $\mathfrak{a}_3$, не влияющие на предшествующие взрывные, и $\mathfrak{a}_4$, $\mathfrak{a}_1$, которые вызывают придыхательность этих взрывных. Хеттский язык, который

знал только два гласных, выступает здесь, как и во многих других отношениях, в роли более консервативного.

Из того факта, что в индоевропейском языке существовали только *e* и *o*, а *a*, если даже и встречалось в соседстве с э_2 , э_3 , существовало лишь как фонетический вариант фонемы *o*, вытекает простое следствие, касающееся индоевропейского прототипа гласного *э*, то есть южн. *a* = сев. *o* = индо-ир. *i*. Европейское отражение позволяет просто постулировать редуцированный гласный *o*. Мы уже пытались показать¹, что *э* представляет собой ослабление сочетания *эе*, а не *еэ*. Однако, сосредоточившись на согласных, мы не уделили достаточного внимания вокалическому тембру этого сочетания. Теперь мы можем уточнить нашу точку зрения и постулировать и.-е. $\ast dh\text{э}_1ot\acute{o}$ - «сделанный», $\ast st\text{э}_2ot\acute{o}$ - «поставленный», $\ast d\text{э}_3ot\acute{o}$ - «данный» (лат. *fāctus*, *stātus*, *dātus*; гр. $\Theta\epsilon\tau\acute{\iota}\varsigma$, $\sigma\tau\alpha\tau\acute{\iota}\varsigma$, $\delta\omicron\tau\acute{\iota}\varsigma$; др.-инд. *hitá-*, *sthítá-*, $\ast dítá-$). Правда, вокализм *e* встречается в параллельных образованиях $\sigma\eta\tau\acute{\iota}\varsigma$ «тот, кого можно иметь (держатъ)» и $\acute{\alpha}\sigma\pi\epsilon\tau\omicron\varsigma$ «невыразимый, несказанный», однако иранское *azgata-* предполагает более поздний вокализм (вокализм ир. *gmata-* остается неизвестным). Наиболее важно, что категории со ступенью *э* (причастия на *-to-*, абстрактные имена на *-ti-* и т. д.) имеют в качестве исходной (производящей) формы форму 3 л. ед. ч. среднего залога корневого аориста. Судя по типу вед. $\acute{a}$ -*dat* и по хеттскому окончанию *-a*, эта исходная форма имела следующий вид: $\ast dh\text{э}_1o$, $\ast st\text{э}_2o$, $\ast d\text{э}_3o$. Если *e* в $\Theta\epsilon\tau\acute{\iota}\varsigma$ — исконное, оно относится к *a* в *factus* так же, как *e* в $\acute{\alpha}\sigma\pi\epsilon\tau\omicron\varsigma$ к *o* в *azgata-*. Тембр *a* не обусловлен элементом э , скорее он объясняется последующим редуцированным гласным.

Таким образом, является совершенно регулярным чередование *a* : *o*, которое констатируется в начале слов южных языков: гр. $\acute{\alpha}\kappa\rho\iota\varsigma$ «горная вершина», $\acute{\alpha}\kappa\omega\nu$ «дротик», лат. *acies* «острие» : гр. $\acute{\iota}\kappa\rho\iota\varsigma$, др.-лат. *ocris*; гр. $\acute{\alpha}\mu\nu\acute{o}\varsigma$ «ягненок», лат. *agnus* «ягненок» : др.-ирл. *úan* (< $\ast ognos$) «ягненок»; арм. *akn* «глаз» : гр. $\acute{\iota}\sigma\sigma\epsilon$ «глаза», лат. *oculus* «глаз»; арм. *ateam* : гр. $\acute{\iota}\delta\acute{\iota}\sigma\sigma\omicron\mu\alpha\iota$ «сержусь, гневаюсь», лат. *odium* «ненависть». Здесь мы имеем дело с

¹ J. Kuryłowicz, цит. соч., стр. 55—65.

количественной апофонией $\underline{\text{э}}\text{о}(=\text{э}!):\underline{\text{э}}\text{о}$, полностью параллельной количественной апофонии $\text{о}:\text{о}$, которая была отмечена выше в таких примерах, как $\text{scabo}:\text{scobis}$ и т. д.

Опираясь на некоторые гипотезы относительно природы фонологических изменений, на существование согласных $\underline{\text{э}}$ в индоевропейском языке-основе, на природу апофоний $\underline{\text{а}}:\underline{\text{э}}$ и на тот факт, что апофония $\text{е}:\text{о}$ предшествует ослаблению гласных (все эти вопросы рассматривались в неоднократно цитированной работе), мы утверждаем, что соответствие ю ж н о е а : с е в е р н о е о всегда и везде представляет собой развитие индоевропейского вокализма o , идет ли речь о $\underline{\text{э}}\text{о}$ или o , или $\underline{\text{э}}\text{o}(=\text{э})$. Таков, по нашему мнению, окончательный вывод, который необходимо сделать на основе «Мемуара» и против «Мемуара» шестьдесят лет спустя после его появления.

СИСТЕМА РУССКОГО УДАРЕНИЯ¹

Занимаясь вопросом ударения в русском языке, я ограничиваюсь в настоящей работе ударением слова, вовсе не рассматривая ударения словосочетаний, групп слов или предложений. С другой стороны, интересует нас здесь только чисто синхроническая проблема функций, отражающих нормальное ударение в русском языке XX столетия, но не, например, диахронический вопрос происхождения русского ударения или его первоначальной связи с интонацией и количеством гласных. Это — историческая проблема, которую исследуют около пятидесяти лет, которой занимался и я в некоторых своих работах, но которая составляет отдельный вопрос в сопоставлении с интересующим нас здесь вопросом, вопросом функций ударения в русском языке. Я имею в виду литературный язык, ударение которого описано в словарях и других работах ученых, и русских и иностранных. Язык последних тридцати или сорока лет показывает некоторые отклонения от старой нормы, объем которых пока трудно определить.

Ударение в русском языке является индивидуальным признаком слова, то есть характеризует слово наряду с отдельными фонемами. Например: *му́ка* : *мука́*, в которых разница смысла связана с разницей места ударения. Само по себе ударение не является фонемой, и даже признаком фонемы: в слове *му́ка* ударение является не признаком гласного *у*, хотя оно и падает на нем, но признаком целого слова, потому что подчеркивает один слог, или

¹ Ю. Р. Курлович, Система русского ударения, Наукові записки Львівського Державного Університету ім. Ів Франка, т. III, в. 2, 1946; статья перепечатывается без редакционных изменений.

одну морфему, которая противопоставляется всем остальным. Поэтому ударение и называется прозодическим признаком, то есть признаком, который мы добавляем к уже готовому фонетическому составу слова. Итак, например, слово *му́ка* надо анализировать не *м + у́ + к + а*, но *м + у + к + а + ударение на у*. Ударение является н а д с т р о й к о й над фонетическим составом слова. В слове *му́ка* — это надстройка, обусловленная корнем: корень *мук* требует определенного ударения, не считаясь с окончанием (*му́ки, му́ками*). Однако ударение может являться надстройкой над корнем и окончанием вместе, ср. *голов-а́ми* в сопоставлении с *ли́п-ами* и с *го́лов-ы* (при изменении окончаний или корня изменяется и ударение). В словах производных или мотивированных, то есть таких, которые образуются от других существующих в языке слов путем живого морфологического процесса, функция ударения может быть другого рода: например, в прилагательных на *-ический* ударение является надстройкой над суффиксом, так как никогда не зависит от акцентуации основной формы. Но оно может являться надстройкой над к о р н е м + с у ф ф и к с, ср. *сто́л-о́вый* в сопоставлении с *ма́к-о́вый* и *сто́л-ик* (при изменении суффикса или корня изменяется и ударение).

Чтобы установить все эти функции более подробно, надо познакомиться с главными типами ударения в основных и производных формах.

Главные типы склонения имен существительных

Непроизводные существительные

Для всех трех родов можно установить следующие типы:

1а) С ударением на определенном слого корня-основы, например:

<i>го́вор</i>	<i>копы́то</i>	<i>бесе́да</i>	<i>мы́сль</i>
<i>го́вора</i>	<i>копы́та</i>	<i>бесе́ду</i>	<i>мы́сли</i>
<i>го́воры</i>	<i>копы́та</i>	<i>бесе́ды</i>	<i>мы́сли</i>
<i>го́ворами</i>	<i>копы́тами</i>	<i>бесе́дами</i>	<i>мы́слями</i>

1б) С ударением на окончании:

<i>сто́л</i>	<i>до́брó</i>	<i>ста́тья</i>	<i>пу́ть</i>
<i>стола́</i>	<i>дсбра́</i>	<i>статѣ́й</i>	<i>путѣ́й</i>
<i>сто́лы</i>	<i>дсбру́</i>	<i>статѣ́й</i>	<i>путѣ́й</i>
<i>стола́ми</i>	<i>до́брóм</i>	<i>статья́ми</i>	<i>пу́тьями</i>

2а) С подвижным ударением, колеблющимся между начальным слогом слова и окончанием:

<i>го́род</i>	<i>да́р</i>	<i>зе́ркало</i>	<i>по́ле</i>
<i>го́рода</i>	<i>да́ра</i>	<i>зе́ркала</i>	<i>по́ля</i>
<i>города́</i>	<i>да́ры</i>	<i>зеркала́</i>	<i>поля́</i>
<i>города́ми</i>	<i>да́рами</i>	<i>зеркала́ми</i>	<i>поля́ми</i>

<i>борода́</i>	<i>рука́</i>	<i>по́весть</i>	<i>кость</i>
<i>бо́роду</i>	<i>ру́ку</i>	<i>по́вести</i>	<i>ко́сти</i>
<i>бо́роды</i>	<i>ру́ки</i>	<i>по́вести</i>	<i>ко́сти</i>
<i>борода́ми</i>	<i>рука́ми</i>	<i>псее́стьями</i>	<i>ксс́тьями</i>

2б) С подвижным ударением, колеблющимся между последним слогом корня-основы и окончанием:

<i>высо́та</i>	<i>трава́</i>	<i>полстно́</i>	<i>вино́</i>
<i>высо́ту</i>	<i>траву́</i>	<i>полстна́</i>	<i>вина́</i>
<i>высо́ты</i>	<i>тра́вы</i>	<i>полотна́</i>	<i>ви́на</i>
<i>высо́тами</i>	<i>тра́вами</i>	<i>полотна́ми</i>	<i>ви́нами</i>

В группах 1а и 1б ударение является надстройкой над корнем-основой, в группах 2а и 2б — надстройкой над корнем-основой и окончанием.

Производные существительные

В то время как непроизводные существительные склоняются как все вышеупомянутые типы, у производных выступают только группы 1а, 1б, т. е. типы с неподвижным ударением на определенном слоге во всех формах образца:

<i>сто́л-ик</i>	<i>на́дпись</i>	<i>вещ-е́ствó</i>
<i>сто́л-ика</i>	<i>на́дписи</i>	<i>вещ-е́ствá</i>
<i>сто́л-ики</i>	<i>на́дписи</i>	<i>вещ-е́ствá</i>
<i>сто́л-иками</i>	<i>на́дписей</i>	<i>вещ-е́ствáми</i>

Главные типы склонения имен прилагательных

Непроизводные прилагательные

Склонение прилагательных в русском языке обнимает и полные и краткие формы. При этом полные формы сами по себе образуют всегда образец с неподвижным ударением (или на корне, или на окончании), а только краткие формы могут внести (но не всегда) в образец элемент подвижности.

1а) С ударением на определенном слоге корня-основы:

здорóвый (здорóвая, здорóвог, здорóвого и. т. д.)

здорóв

здорóвы

вхóжий; *вхож*, *вхóжа*, *вхóже* *вхóжи*

1б) С ударением на окончании:

нагóй; *наг*, *нагá*, *нагó*, *нагí*

2а) С колебанием ударения между начальным слогом слова и окончанием:

молодóй *пустóй*

мóлод *пýст*

молодá *пустá*

мóлодо *пýсто*

мóлоды *пýсты*

2б) С колебанием ударения между последним слогом корня-основы и окончанием:

тяжéлый *óстрый*

тяжéл *остёр*

тяжелá *остра́*

тяжелó *остро́*

тяжелы́ *остры́*

2в) С колебанием между начальным слогом, последним слогом корня-основы и окончанием:

дешéвый *чйстый*

дéшев *чист*

дешевá *чистá*

дéшево *чйсто*

дешевы́ *чйсты́*

В группах 1а и 1б ударение является надстройкой над корнем-основой или окончанием; в группах 2а, 2б, 2в — надстройкой над корнем-основой и окончанием.

Производные прилагательные

В то время как непроизводные прилагательные склоняются, как все приведенные здесь типы, у производных выступает только неподвижный (1а, 1б), с ударением на определенном слоге во всех формах образца, тем более что производные прилагательные большей частью краткой формы не имеют.

Например: торжественный, торжествен(ен), торжественна, торжественно, торжественны; ручной, маковый, морской и т. д.

Главные типы спряжения глаголов

Здесь различаем такие типы:

1а) С ударением на определенном слоге корня (основы):

<i>лѣзу</i>	<i>плáчу</i>	<i>кíсну</i>	<i>мѣчу</i>	<i>вѣжу</i>
<i>лѣзѣшь</i>	<i>плáчѣшь</i>	<i>кíснѣшь</i>	<i>мѣтишь</i>	<i>вѣдишь</i>
<i>лѣзѣт</i>	<i>плáчѣт</i>	<i>кíснѣт</i>	<i>мѣтит</i>	<i>вѣдит</i>
<i>лѣзть</i>	<i>плáкать</i>	<i>кíснуть</i>	<i>мѣтить</i>	<i>вѣдеть</i>

1б) С ударением на окончании:

<i>везú</i>	<i>молчú</i>
<i>везѣшь</i>	<i>молчѣшь</i>
<i>везѣт</i>	<i>молчѣт</i>
<i>везтѣ</i>	<i>молчѣть</i>

2б) С колебанием ударения между окончанием и последним слогом корня (основы):

<i>клеплú</i>	<i>тонú</i>	<i>ношú</i>	<i>смотрим</i>
<i>клеплѣшь</i>	<i>тónѣшь</i>	<i>нóсишь</i>	<i>смóтришь</i>
<i>клеплѣт</i>	<i>тónѣт</i>	<i>нóсит</i>	<i>смóтрит</i>
<i>клеплѣть</i>	<i>тонúть</i>	<i>носítь</i>	<i>смотрим</i>

В группах 1а, 1б ударение является надстройкой над корнем (основой) или окончанием; в группе 2б — надстройкой над корнем и окончанием.

Производные глаголы спрягаются только по неподвижному образцу, например:

<i>слѣпну</i>	<i>испóлню</i>	<i>глушú</i>
<i>слѣпнешь</i>	<i>испóлнишь</i>	<i>глушíшь</i>
<i>слѣпнет</i>	<i>испóлнит</i>	<i>глушít</i>
<i>слѣпнуть</i>	<i>испóлнить</i>	<i>глушítь</i>

Таким образом, получаем основной принцип ударения в русском склонении и спряжении: образцы непроеизводных слов — с подвижным и неподвижным ударением, но образцы производных слов — только с неподвижным ударением (и с к л ю ч е н и е: тип *учíтель : учителя, формирóвать : формирóван*).

Другими словами, когда ударение определяется суффиксом, оно не может определяться одновременно и окончанием; или ударение не может являться одновременно надстройкой над суффиксом и окончанием.

Второй вопрос — это ударение в производных формах, то есть отношения между ударением основной и ударением производной формы.

IA) Ударение падает или на корень (основу), или на определенный слог суффикса: *горóховый, бúковый, лúковый, мáковый, ла́ковый, ли́повый*; но: *дворóвый, бобóвый, дроздóвый, китóвый, ножóзый, серпóвый, слонóвый, сно́повый, столóвый, чижóвый, шипóвый, рублéвый, осетрóвый, замкóвый* (от *замóк*-, -á, в противоположность к *зámковый*, от *зámок*-, -а); наконец, с ударением на окончании: *рядóвый, краевóй, паевóй, даровóй, боевóй, домовóй, жировóй, мозговóй, носовóй, паровóй, половóй, часовóй, строевóй, круговóй, громовóй, ногтевóй, полевóй, полосовóй*.

Здесь один и тот же суффикс выступает в тройной форме: как неударяемый — *-овый*; как ударяемый на последнем слоге — *-овóй*; как ударяемый на первом слоге — *-óвый*.

В словах типа *горóх* ударение падает во всех формах образца на определенный слог корня (основы), потому и в производном слове остается на нем; в словах типа *дворóвый* оно падает во всех формах образца на первый слог окончания (*двор, двора́ми*), потому и в производном слове падает на первый слог суффикса. В случае подвижного образца основного слова (*ряд, полосá, по́ле*) производное

слово имеет ударение на последнем слоге суффикса (*рядово́й, полосово́й, полево́й*). Другими словами, мы имеем суффикс *-овый* (без ударения) для группы 1а (как *горо́х*), суффикс *-бый* для группы 1б (как *дво́р*), суффикс *-ово́й* для группы 2а (как *ря́д*).

Идентичное явление встречаем при суффиксе *-аный, яный* (для группы 1а: *ко́жаны́й*), *-яный* (для группы 1б: *коно́пляны́й*), *-яно́й* (для группы 2а: *вдо́яно́й, ко́стяно́й*).

В случае суффиксов *-ной/-ный* и *-ской/-ский*, которые в отличие от *-ово́й* и *-яно́й* начинаются согласным, это обстоятельство имеет последствия для ударения. Для группы 1а нет разницы: *ю́жный, ре́пный*; для группы 2а тоже нет разницы: *це́тны́й, ле́сны́й, зу́бно́й, голо́вно́й, но́жно́й, ручны́й*. Но для группы 1б разница в отношении к *-о́вый* состоит в том, что ударение падает не на суффикс, а на последний слог корня-основы (*ко́нечны́й, по́стны́й, су́дный, трудо́ный*).

То же самое в случае суффикса *-ской/-ский*: 1а *поса́д: поса́дский*; 2а *го́род: горо́дско́й, мо́ре: морско́й*, но 1б *бу́рла́к: бу́рла́цкий*.

В вышеупомянутых примерах производные от группы 1б отличаются от производных группы 2а, так как суффикс сам по себе является ударяемым на окончании. Но для суффиксов вроде *-ы́стый* существует только две возможности: для группы 1а *азо́тисты́й, боло́тисты́й*, для группы 1б *волн́и́сты́й, воло́кни́сты́й*, но и для группы 2а *волосы́стый, басы́стый, тени́стый*.

Сюда принадлежат и суффиксы *-ить, -еть*, образующие производные глаголы: для группы 1а *балагу́рить*, для группы 1б *вини́ть, вклю́чить*, но и для группы 2а *вкоре́нить, вме́стить, боро́здить, боро́нить*; для группы 1а *бере́менеть, бары́шничать, бессты́дничать*; для группы 1б *вдове́ть*, но и для 2а *вече́реть*.

І Б). Ударение падает всегда на определенный слог суффикса: *атом́ический (а́том), рифм́ический (ри́фма), гармон́ический (гармо́ния); биржеви́к, бобови́к, грузо́вик*; далее, производные слова на *-ёнок (воро́нёнко, волчо́нок), -ёнка -о́нка (бабе́нка, избе́нка, ручо́нка)*; производные на *-а́к (бурса́к), -а́ч (борода́ч), -ня́к (березня́к)*, иностранные суффиксы, как *-и́зм, -и́ст, -и́чный (вандалі́зм, бандури́ст, аналогі́чный)* и т. д.

II А). Ударение падает или на корень, или на начальный слог: *маши́нопись* (машина — 1а), *ко́новязь* (конь — 1б), *ру́копись* (рука — 2а).

II Б). Ударение падает или на корень, или на предсуффиксальный слог: *каранда́ш*, *ба́нт*, *биле́тик* (бант, биле́т — 1а); *каранда́шик*, *ви́нт*, *кля́чик*, *ко́тик* (каранда́ш, винт, ключ, кот — 1б); *до́мик* (дом — 2а).

В одной только группе I Б ударение является единственной надстройкой над суффиксом, в остальных (I А, II А, II Б) оно является надстройкой над корнем+суффикс.

С точки зрения основного слова надо отметить, что в группах I А, II А, II Б ударение основного слова сохраняется, если его образец имеет неподвижное ударение на корне (основе), то есть принадлежит к группе 1а:

I А *гору́х* > *гору́ховый*
 II А *маши́на* > *маши́нопись*
 II Б *биле́т* > *биле́тик*

Эти три группы (I А, II А, II Б) различны только в тех случаях, когда основы имеют или ударение на окончании, или подвижное ударение:

I А *двор:дворо́вый*; I А *ряд:рядо́вый*
 II А *ко́нь:ко́новязь*; II А *рука́:ру́копись*
 II Б *ключ:кля́чик*; II Б *дом:до́мик*

Прежде всего нас здесь интересует группа I А, о которой можно было бы сказать, что в производных словах остается ударение основного слова:

гору́х,-а *гору́ховый*; *бук,-а,-и,-ов*, *бу́ковый*
двор,-а́ *дворо́вый*; *боб,-а́* *бобо́вый*

Но для существительных с подвижным ударением, как *город*, *мост*, *год*, получаем *город-ово́й*, *мост-ово́й*, *год-ово́й*, причем ударение прилагательного не соответствует ни ударению падежей *го́род-а*, *-у*, *-ом*, (в) *-е*, ни *гору́д-а́*, *-о́в*, *-а́м*, *-а́ми*, (в) *-а́х*; в первом случае мы ожидали бы **го́род-овый*, во втором — **гору́д-о́вый*. Кажется, что здесь суффикс имеет свое собственное ударение, независимое от образца основного слова.

Таким образом, для производных 1а и 1б преобладает ударение корня, для производных 2а — ударение

суффикса. Другими словами, у существительных типа 2а 1А совпадает с 1Б.

Только для существительных групп 1б различается четыре разных способа акцентуации производного слова:

1А: ударение на корне-основе;

1Б: передвижение ударения «направо» (на суффикс);

1АА: передвижение ударения «налево» (на начальный слог);

1ББ: передвижение ударения на предсуффиксальный слог.

Поражает сходство роли ударения в словообразовании с ролью его при склонении и спряжении:

1а: ударение на корне-основе (ср. 1А — сохранение ударения основы);

1б: ударение на окончании (ср. 1Б — ударение суффикса);

2а: ударение на начальном слоге (ср. 1АА — ударение начального слога);

2б: ударение слога перед окончанием (ср. 1ББ — ударение предсуффиксального слога).

Ударение на окончании в некоторых падежах образцов 2а и 2б не является для этих групп характерным, так как оно повторяется и в группе 1б.

К русскому ударению можно применить понятия «отрицательный» и «положительный», применяемые пока только к фонемам.

Но, в то время как, например, в древнегреческом или древнефранцузском эти понятия применяются в первую очередь к месту ударения в целом слове, в русском языке они применяются к разным морфемам слова: ударение может передвигаться к корню или к конечной морфеме; иногда это движение является сложным, включающим оба направления.

Движением отрицательным является движение «влево», как в санскрите, и обратное литовскому. Начальное ударение слова — это п о л я р и з а ц и я ударения на любом слоге суффикса или окончания¹.

¹Ср. обратное явление в литовском. Четырем возможностям русского соответствуют четыре возможности литовского: 1А: ударение на суффиксе или окончании; 1Б: «налево» (на корень); 1АА: «направо» (на последний слог суффикса или окончания); 1ББ: на слог после корня-основы.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- AL — Acta Linguistica, Copenhagen
- AO — Archiv Orientalni, Praha
- AS — Année sociologique, Paris
- ASPhE — Acta Seminarii Philologia Erlangensis, Erlangen (Bavaria)
- BdPh — Blätter für deutsche Philosophie, Berlin
- BPTJ — Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego, Kraków
- BSL — Bulletin de la Société Linguistique de Paris, Paris
- BSPL — Bulletin de la Société polonaise de Linguistique, Kraków
- IJSLP — International Journal of Slavic Linguistics and Poetics
- IEFIZD — Istanbul Edebiyat Fakültesi İngilizce Zümresi Dergisi, Istanbul
- EF — Etymologische Forschungen, Berlin
- IF — Indogermanische Forschungen, Berlin
- JP — Język Polski
- JPs — Journal de Psychologie
- KZ — Kuhn's Zeitschrift (Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, hrsg. von A. Kuhn), Berlin
- L — Language
- LP — Lingua Posnaniensis
- MB — Mélanges Bally (Mélanges de linguistique offerts à Charles Bally), Genève
- OL — Orientalistische Literaturzeitung
- PrF — Prace filologiczne
- RBF — Revista Brasileira de Filologia, Rio de Janeiro
- RO — Rocznik orientalistyczny
- RO — Rocznik sławistyczny
- RVF — Revista Valenciana de Filologia, Valencia
- SB — Studii Baltici, Firenze
- SPh — Studia philosophica, Basel
- SprTNL — Sprawozdania Towarzystwa naukowego Lwowskiego
- SprPAUm — Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków
- SprWTN — Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
- TCLC — Travaux du Cercle Linguistique de Copenhagen, Copenhagen
- TCLP — Travaux du Cercle Linguistique de Prague, Praha
- ZrPh — Zeitschrift für romanische Philologie, Tübingen
- ВСЯ — Вопросы славянского языкознания
- ВЯ — Вопросы языкознания

БИБЛИОГРАФИЯ¹

1. A propos de l'accentuation indo-européenne.— BSL, vol. 49, fasc. 138, 1952, p. 20—23.

Ответ на рец. М. Lejeune (см. № 3).

2. L'accentuation des composés oréfixaux en slave commun. (Thèmes en -o-).— „Bulletin International de l'Acad. Polonaise des sciences et des lettres. Classe de Philologie ... d'histoire et de philosophie“ (1929) zesz. 4—6, 1930, s. 125—127.

3. L'accentuation des langues indo-européennes, Kraków, 1952, 527 p. (Polska Akad. Umiejętności, Prace Komisji językowej, 37).

Рец.: Lejeune М.—BSL, vol. 48, fasc. 137, 1952, p. 24—30; Lejeune М.—„Revue des études latines“, vol. 30, 1952, p. 375—376; Vaillant А.—„Revue des études slaves“, vol. 29, 1952, с. 120—121; Ernout А.—„Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes“, vol. 27, 1953, p. 100; Martinet А.—„Word“, vol. 9, 1953, p. 282—286; Pisani V.—„Paideia“, vol. 8, 1953, p. 303—305; Carnoy А.—„Leuvense Bijdragen“, vol. 43, „Bijblad“, 5—7; Zgusta L.—„Archiv Orientalni“, vol. 21, 1953, s. 472—474; Zgusta L.—„Bibliotheca orientalis“, t. 10, 1953, s. 164; Иванов В. В., —ВЯ, 1954, № 4. с. 125—136; Leumann М.—OL, 1955, s. 12—15.

2-е издание книги вышло в Wrocław — Kraków, 1958.

4. The accentuation of the verb in Indo-European and in Hebrew.— „Word“, vol. 15, N 1, 1959, p. 123—129.

5. Akcentuacja połabska.— „Studia z filologii polskiej słowiańskiej“, N 1, 1955, с. 349—374.

6. Akcentucja polska.— в кн.: „Sprawozdania z posiedzeń naukowych za rok akad. 1952—1953*, Instytut językoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 17—22.

¹ Библиография составлена К. Г. Филоновой. Звездочкой отмечены те работы, сведения о которых получены из косвенных источников и потому включены в список не de visu. Работы, вошедшие в данный сборник, напечатаны курсивом. Названия наиболее часто встречающихся изданий даны в сокращениях; список сокращений см. на стр 445.

7. Akcentuacja prasłowiańskich twórców prefiksalnych (tem. na -o-).— SprPAUm, t. 34, N 4, 1929, s. 6—10.

8. Akcentuacja słowińska (pomorska) — RS, 1952, t. 17. N 1, s. 1—18.

9. *Allophones et allomorphs*. — в кн.: „Omajiu lui Iorgu Iordan“, București, 1958, p. 495—500.

10. Apophonia w językach semickich.— „Sprawozdania z prac naukowych Wydziału nauk społecznych“, 1960, zesz. 2—3, s. 33—38.

* 11. L'aoriste du point du vue formel.— EOS, vol. 32, 1929, c. 221 nst.

12. L'apophonie en indo-européen, Wrocław, 1956, 430 p. Рец.: Berger H.—OL, 1958, N 1—2, s. 22—29; Benveniste E.—BSL, t. 53, 1957—1958, fasc. 2, p. 46—50; Watkins C.—L., t. 34, 1958, p. 381—398; Zgusta L.—AO, № 1, t. 27, 1959, s. 153—155.

13. L'apophonie en sémitique, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1961, 224 s. (Komitet językoznawczy Polsk. akad. nauk. Prace językoznawcze, 24).

14. Un archaïsme de la conjugaison indo-iranienne.— RO, t. 8, (1931—1932), 1934, c. 94—101.

15. *Aspect et temps dans l'histoire du persan*. — RO, t. 16 (1950), 1953, p. 531—542.

16. Bałtosławiańska jedność językowa.— В кн.: „Słownik starożytności słowiańskich“. Zesz. probny, Warszawa, 1934, s. 4—7.

17. Le changement accentuel dans la langue française du XVI siècle.— „Bulletin linguistique de la Faculté des Lettres de Bucarest“, t. 13, 1945, p. 39—45.

18. *Contribution à la théorie de la syllabe*. — BPTJ, t. 8, 1948, s. 54—69.

19. Le degré en indo-iranien.— BSL, vol. 44, N 128, 1947—1948, c. 42—63.

20. Le degré long en balto-slave.— RS, t. 16, N 1, 1948, c. 1—14.

21. Le degré long en sémitique.— RO, t. 17 (1951—1952) 1953, c. 138—145.

22. *Dérivation lexicale et dérivation syntaxique*. (Contribution à la théorie des parties du discours).— BSL, vol. 37, 1936, p. 79—92.

23. Les désinences moyennes de l'indo-européen et du hittite.— BSL, vol. 33, fasc. 1—4, 1932, p. 1—5.
24. Le diptotisme et la construction des noms de nombre en arabe.— „Word“, vol. 7, N 3, 1951, p. 222—229. То же — BPTJ, t. 11, 1952, c. 174—180.
25. Dnieprowe progii.— В кн.: „Słownik starożytności słowiańskich“, Jesz. dyskusyjny, Wrocław, 1958, s. 30.
26. *Do metodyki badań akcentowych*.— В кн.: „Polono-slavica ofiarowane Prof. Dr. H. Ułaszynowi“, 1939, p. 111—121.
- Имеется отдельное издание, вышедшее в Poznani в 1939 г.: „La contribution à la méthode des recherches d'accentuation“.
27. Die Doppelvertretung von idg. *ei*, *oi* im Littolitauschen.— В кн. „MNIMIS Charin. Gedenkschrift Paul Kretschmer“, I, Wien, 1956, s. 227—236.
28. Dwa przyczynki do akcentologii słowiańskiej.— BPTJ, t. 14, 1955, c. 112—121.
29. *ə* indoeuropéen et *h* hittite.— В кн.: „Symbole grammatical in honorem Joannis Rozwadowski, I, Cracovide, 1927, p. 95—104.
- Рец.: см. № 30.
30. Les effets de *ə* en indo-iranien.— PrF, t. 11, 1927, c. 201—243.
- Рец.: Meillet A. — BSL, vol. 29., fasc. 2, 1929, p. 60—62.
31. Esquisse d'une théorie de l'apophonie en sémitique.— BSL, vol. 53, fasc. 1, 1957—1958, p. 1—38.
32. Etudes indo-européennes, 1, Kraków, 1935, 294 p.
- Рец.: Meillet A.— BSL, vol. 36, fasc. 3, 1935, p. 20—22; Sommerfelt A.— „Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap“, 11, 1939, s. 260—267.
33. Les formes verbales composées de Rigveda.— BPTJ, t. 5, 1936, s. 39—46.
34. La genèse d'aspects verbaux slaves.— PrF, t. 14, 1929, c. 644—657.
35. La genèse de certaines alternances qualitatives en sémitique.— BPTJ, t. 13, 1954, s. 109—116.
36. La genre verbal en indo-iranien.— RO, t. 6 (1928), 1929, p. 199—209.
37. The Germanic vowel system.— BPTJ, N 11, 1952, s. 50—54.
- Рец.: Vachek J.— „Časopis pro moderní filologii“, t. 35, 1935, c. 220—226.

38. Germańsko-słowiańskie stosunki językowe.— В кн.: „Słownik tarożytności słowiańskich. Zesz. dyskusyjny“, Wrocław, 1958, c. 34—35.
39. Le hittite.— В кн.: „Proceedings for the Eight international congress of linguists. Oslo, 1957“, 1958, p. 216—251.
40. Homerowy genitivus sing. πολλοῦ—SprWTN, 1, 1946, s. 24—30.
41. L'indépendance historique des intonations baltiques et grecques.—BSL, vol. 35, 1934, p. 24—34.
42. L'indoeuropéen connaissait-il A à côté O? — В кн.: „Mélanges van Ginneken“, Paris, 1937, p. 199—206.
- * 43. Indo-europejskie *ō*, *ā*, w językach bałtyjskich.—SprTNL, t. 6, N 3, 1926, c. 108—109.
44. Indoiranica. 1. Le VII^e aoriste indien; 2. Le pluriel masculin ind, devāsaṅ-avest. devāijhō; 3. Les suffixes féminins -ī/yā (devī-), -ī/yi (vrkī) et -ā.—Extrait des „Comptes rendus de la Société des sciences et de lettres de Wrocław“, 3, N 1 (1948). 1951, 16 p.
45. Injonctif et subjonctif dans les Gāthās de l'Avesta.—RO, t. 3 (1925), 1927, s. 164—179.
- * 46. Intonacje litewskie.—SprTNL, s. 82—83.
47. Intonation et morphologie en lituanien.—SB, t. 7, 1939, c. 37—87.
48. Intonation et morphologie en slave.—RS, t. 14, 1938, c. 1—66.
49. Jeszcze o „L'accentuation dans les langues indoeuropéennes“ (Na marginesie artykułu K. Janáčka w Slavii roč. 26, 1957, s. 489—499).—„Slavia“, 1958, roč. 27, ses. 3, s. 329—333.
50. Język poetycki ze stanowiska lingwistycznego.—SprWTN, t. 2, 1947, c. 4—11.
51. Językoznawstwo ogólne w dziesięcioleciu 1945—1954.—BPTJ t. 14, 1955, c. 1—10.
- Развитие общего языкознания в Польше.
52. Językoznawstwo rosyjskie ostatniej doby.—JP, t. 27, 1947, N 1, p. 1—7.
- О языкознании в СССР.
- * 53. Klasyfikacja genealogiczna znaczeń greckiego medium.—„Kwartalnik Klasyczny“, t. 3, 1929, s. 417 nst.
54. Les labiovélares éthiopiennes.—RO, t. 9, 1934, c. 37—42.
55. Latin and Germanic metre.—„English and Germanic Studies“, 2, 1949, p. 34—38.

- To же.— BTPJ, t. 10, 1950, p. 37—42.
56. *Linguistique et théorie du signe*.— JPs, 1949, p. 170—180.
57. La „loi de Brugmann“ en indo-iranien.— BSL, vol. 45, 1949, p. 57—60; см. также „Rozprawy Komisji orientalistycznej“, 1951, N 4.
- * 58. Lois générales de changement linguistique.— В кн.: „Actes du 11 Congrès International de Psychologie“, 1938, p. 244.
59. Lotewsko-litewska monoftongizacja *ai, ei* $\geq$ *ie*.— BPTJ, t. 15, 1946, c. 113—126.
- * 60. Miejsce akcentu wyrazowego w języku starej Awesty.— SprTNL, t. 6, 1926, s. 50 nst.
61. *Męski ass.-gen. i nom.-acc. w języku polskim*.— SprPAUm, t. 48, N 1, 1947, s. 12—16.
62. La mimation et l'article en arabe.— AO, t. 18, N 1—2, 1950, p. 323—328.
63. *Morphological gemination in Keltic and Germanic*.— В кн.: „Studies presented to Joshua Whatmough on his sixtieth Birthday“ s'Gravenhage, 1957, p. 131—144.
64. Les mutations consonantiques. (Réponse à M. E. Buysens).— BPTJ, t. 17, s. 203—206; см. ст. E. Buysens'a — „Lingua“, vol. 7, p. 421—427.
65. *La nature des procès dits „analogiques“*.— AL, t. 5 (1945—1949), fasc. 1, 1949, p. 15—37.
66. New discoveries in Indo-European studies. a. le hittite. Rapport.— См. № 39.
67. Notes d'étymologie romane.— PrF, t. 10, 1926, c. 322—336.
68. *La notion de l'isomorphisme*.— TCLC, 5, 1949, p. 48—60.
- * 69. Nowy typ pierwiastków indo-europejskich.— SprTNL, t. 6, 1926, s. 57 nst.
70. O jedności językowej bałto-słowiańskiej.— BPTJ, t. 16, 1957, s. 71—113.
71. Odpowiedź językoznawstwa.— BPTJ, t. 19, 1960, s. 201—210.
72. On certain analogies and differences between the Slavonic, Gothic and O Irish conjugations.— BPTJ, t. 19, 1960, 117—124.
73. On the development of the Greek intonation.— L, t. 8, 1932, p. 340—343.
- * 74. Czas i aspekt w językach indoeuropejskich.— SprTNL, t. 7, 1927, s. 124 nst.

* 75. Obecny stan badań nad językiem hetyckim.— „Sprawozdania z prac naukowych. Wydz. nauk społecznych Polsk. akad. nauk“, 1958, N 1.

* 76. L'origine de l'accentuation scandinave.— SprPAUm, 1936, t. 41, N 10, s. 301—306. См. также: „Bulletin International de l'Acad. Polonaise des sciences et des lettres“, 1937, p. 133—152.

77. Origine indoeuropéenne du redoublement attique.— „Eos“, t. 30, 1927, p. 206—218.

Рец.: Meillet A.— BSL, vol. 29, fasc. 2, 1929, p. 60—62.

78. *Le pluriel masculin ind. devāsaḥ* = *avest. devāñhō*. См. № 44.

79. Pochodzenie słowiańskich aspektów czasownikowych.— Praha, 1929. См. также: PrF, t. 14.

Изложение доклада на Первом съезде славистов в Праге.

80. Polski gen.-acc. plur. mesnoosobowy.— BPTJ, t. 3, 1931, s. 107—110.

81. *La position linguistique du nom propre*.— „Onomastica“, roč. 2, N 1, 1956, p. 1—14.

Резюме на польском языке.

Рец.: K r a j č o v i ě R.— „Slavia“, t. 27, 1952, c. 314—316.

82. Powstanie słowiańskich aspektów czasownikowych.— SprTNL, t. 9, 1929, s. 70—75.

83. Le problème des intonations balto-slaves.— RS, t. 10, 1931, c. 1—80.

84. *Le problème du classement des cas*.— BPTJ, t. 9, 1949, p. 20—43.

Рец.: J. S.— JP, t. 29, 1949, s. 130; J. T.— „Poradnik językowy“, 1952, N 2, c. 21—23; Bauer J.— „Listy filologicke“, 1951, c. 318—320.

85. Problems of Germanic quantity and metre.— BPTJ, t. 10, 1950, c. 20—44.

Рец.: V a c h e k J.— „Časopis pro moderni filologii“, t. 35, 1953, c. 220—226.

86. Proposition et verbe.— BPTJ, t. 9, 1949, c. 76—79.

87. Quelques mots romans d'origine orientale.— RO, t. 2 (1919—1924), 1925, s. 251—259.

88. Quelques problèmes de consonantisme indo-européen.— PrF, t. 17, 1937, c. 90—96.

89. Quelques problèmes métriques du Rigveda.— RO, t. 4, 1926, p. 196—218.

Рец.: Meillet A.— BSL, vol. 29, fasc. 2, 1929, p. 60—62.

90. Les racines set et la loi rythmique $\bar{i}/\bar{i}$ — RO, t. 15 (1939—1949), 1949, p. 1—24.

91. Réflexions sur l'apophonie qualitative en indoeuropéen.— „Word“, vol. 6, N 3, 1950, c. 205—216.

92. *Réflexions sur l'imparfait et les aspects en vieux slave*.— „International journal of Slavic linguistics and poetics“, 1—2, 1959, p. 1—8.

93. *Remarques sur le comparatif (germanique, slave, v. indien, grecq)*.— В кн.: „Festschrift A. Debrunner, 1954“, p. 251—257.

94. Ruský jazykospyt poslednych čias.— „Slovo a tvar“, 1947, c. 65—69.

95. *Le sens des mutations consonantiques*.— „Lingua“, vol. 1, 1948, c. 77—85.

Рец.: Z a b r o c h i L.— „Lingua posnaniensis“, 3, 1951, c. 344—352.

96. *Le VII-eme aoriste indien*. См. № 44.

97. Stosunki etniczne w przedhistorycznej Europie.— В кн.: „Zbiór prac poświęconych E. Romerowi“, Lwow, 1934, s. 543—550.

98. La structure de l'imparfait slave.— В кн.: „Mélanges linguistiques offerts à H. Pedersen“, Aarhus, 1937, p. 385—392.

99. *Structura morfemu*.— BPTJ, t. 7, 1938, s. 10—28.

100. La structure morphologique.— В кн.: „V-e Congrès International de linguistes. Rapports“, Bruxelles, 1935, p. 461—463.

101. *Les structures fondamentales de la langue: groupe et proposition*.— SPh, 3, 1948, p. 203—209.

102. Sur quelques mots préromans à propos de l'a celtique.— В кн.: „Mélanges Vendryes“, Paris, 1925, p. 203—216.

103. Synonimika i kontekst w zeszycie próbnym Słownika polszczyzny XVI w.— JP, rocz. 38, N 2, 1958, s. 87—92.

104. Le système de l'accentuation grecque.— BCLC, 5, 1940, p. 7—8.

105. Le système verbal du sémitique.— BSL, t. 45, fasc. 1, 1949, p. 47—56.

106. Le système de l'accentuation védique.— AL, t. 1, 1939, p. 104—118.

107. *Szerzenie się nowotworów językowych* (na przykładzie pewnych końcówek koniugacyjnych germańskich).— SprPAUm, t. 47, N 8, 1946, c. 266—273.
108. T. zw. prawo Brugmanna w indyjskim.— „Rosprawy komisji orientalistycznej“, N 4, 1951, s. 58—62.
См. также № 57.
Рец.: P i s a n i V.— „Paideia“, t. 8, 1953, p. 408.
109. *Les temps composés du roman*.— PrF, t. 15, N 2, 1931, p. 448—453.
110. *Trace de la place du ton en gâthique*, Paris, 1925, 39 p.
Рец.: A. M[eillet]—BSL, t. 27, 1927, p. 46.
111. *Trace de substantifs neutres en lituanien*.— BPTJ, t. 4, 1934, c. 16—21.
112. *Le type védique gr̥bhāyāti*.— В кн.: „Etrennes Benveniste“, Paris, 1928, c. 51—62.
113. *Uwagi o akcentuacji kaszubskiej*.— „Slavia occidentalis“, 1960, t. 20, zesz. 2, s. 71—77.
114. *Uwagi o mazurzeniu*.— В кн.: „Universitet Jagellonski“, Zesz. naukowe N 5. Ser. nauk społecznych, Filologia, N 1, Kraków, 1955, s. 229—232. См. также: BPTJ, t. 13, 1954, p. 9—19.
115. *Uwagi o polskich grupach spółgłoskowych*.— BPTJ, t. 11, 1952, s. 54—69.
116. *Uwagi o romańskich czasach złożonych*.— SprTNL, t. 10, 1930, s. 52—56.
117. *Uwagi o „Słowniku etymologicznym języka polskiego“*, Fr. Sławskiego.— JP, t. 33, N 2, 1953, c. 65—70.
118. *W sprawie genezy rodzaju gramatycznego*.— SprPAUm, 1934, fasc. 10, p. 5—8.
- *119. *Zasadnicze uwagi o kwestii intonacji słowiańskich*.— SprPAUm, t. 42, № 10, 1937, s. 281—284.
120. *Zmiana akcentu francuskiego w XVI w.*— SprPAUm, t. 47, 1946, N 7, s. 243—246.
- *121. *Zmiana derywacji istotg. t. zw. analogii językowej*.— SprPAUm, t. 38, N 10, 1933, c. 3—8.
122. *Związki językowe słowiańsko-germańskie*.— „Przegląd Zachodni“, t. 7, N 5—6, 1951, s. 191—206.
123. *Związki metryki z językiem potocznym*.— В кн.: „Księga pamiątkowa II-go Gimnazjum we Lwowie“, Lwów, 1930, s. 16—18.

Работы на русском языке

124. Система русского ударения.— „Наукові записки Львівськ. держ. ун-ту, т. 3, вып. 2, с. 75—76.

125. Заметки о значении слова.— ВЯ, 1955, № 3, с. 73—81.

Рец.: Kuiper F. B. J.— „Lingua“, vol. 5, 1955—1956, с. 324—326.

126. О балто-славянском языковом единстве.— ВСЯ, 1958, № 3, с. 15—49.

127. Эргативность и стадиальность в языке.— Изв. АН СССР, Отделение литературы и языка, т. 5, 1946, с. 387—394.

Воспоминания, рецензии, отзывы

128. Andrzej Gawroński (1885—1927).— BPTJ, t. 1, 1927, s. 37—39.

129. Bloch J., L'indoaryen du Vêda aux temps modernes.— RO, t. 10, 1934, s. 186—187.

130. Brøndal V., Les essais de linguistique générale.— AL, t. 6 N 2—3 (1950—1951), 1951, p. 100—109.

131. Brøndal V., Les parties du discours (parties orationes). Etudes sur les catégories linguistiques.— AL, t. 6, N 2—3 (1950—1951), p. 100—109.

132. Gonda J., The character of the Indoeuropean moods.— „Kratylos“, Jg. 1, Heft 2, 1956 p. 123—130.

133. Lognon A., Les noms de lieu de la France, Paris, 1920—1929.— „Przegląd kartograficzny“, t. 8, 1930, s. 189—201.

134. Mańczak W., Tendence generales du chengement analogique.— BPTJ, t. 17, 1958, p. 207—219.

135. Otrębski J., O najdawniejszych polskich imionach osobowych. Wilno, 1935, 83 s.— RS, t. 13, 1937, s. 20—29.

136. Sprawozdanie z czasopism: 1) BSL, XXVIII, 2, XXIX, 1, 2) IF, XLVI, 3) „Zeitschrift für vergleich. Sprachforschung“, LV,— „Kwartalnik klasyczny“, 3, 1929, s. 87—89.

137. Stang Ch. S., Slavonic accentuation. Oslo, 1957, 192 p.— RS, t. 20. cz. 1, 1958, s. 40—53.

138. Wijk N. van., Die baltischen und slavischen Akzent und Intonationssysteme. 2 Aufl.'s — Gravenhage, Mouton, 1958, 160 s.— „Kratylos“, 1959, Jg. 4, Heft 2, p. 198—204.

139. Wüst W., Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen (Altindischen).— RO, t. 11 (1935), 1936, s. 245—249.

140. Zygmunt Rysiewicz, Wspomnienie.— В кн.: Z. Rysiewicz, Studia językoznawcze, Wrocław, 1956, s. V—XI.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	5
От автора	7
Лингвистика и теория знака. <i>Перевод с французского И. А. Мельчука</i>	9
Понятие изоморфизма. <i>Перевод с французского Л. Н. Иорданской</i>	21
Аллофоны и алломорфы. <i>Перевод с французского И. А. Мельчука</i>	37
Основные структуры языка: словосочетание и предложение. <i>Перевод с французского Л. Н. Иорданской</i>	48
Деривация лексическая и деривация синтаксическая. <i>Перевод с французского Л. Н. Иорданской</i>	57
Структура морфемы. <i>Перевод с польского М. Я. Гловинской</i>	71
О природе так называемых «аналогических» процессов. <i>Перевод с французского И. А. Мельчука</i>	92
Эргативность и стадиальность в языке	122
Сложные времена в романских языках. <i>Перевод с французского И. А. Мельчука</i>	134
Вид и время в истории персидского языка. <i>Перевод с французского А. А. Зализняка</i>	141
Заметки об имперфекте и видах в старославянском. <i>Перевод с французского А. А. Зализняка</i>	156
Древнеиндийский аорист VII. <i>Перевод с французского А. А. Зализняка</i>	167
Проблема классификации падежей. <i>Перевод с французского И. А. Мельчука</i>	175
К вопросу о генезисе грамматического рода. <i>Перевод с польского М. Я. Гловинской</i>	204
Аккузатив-генитив и номинатив-аккузатив мужского рода в польском языке. <i>Перевод с польского В. Ф. Конновой</i>	210
Множественное число мужского рода др.-инд. devāsaḥ — авест. daēvāŋho. <i>Перевод с французского А. А. Зализняка</i>	218
Заметки о сравнительной степени (в германском, славянском, древнеиндийском, греческом). <i>Перевод с французского А. А. Зализняка</i>	225
Заметки о значении слова	237
Положение имени собственного в языке. <i>Перевод с французского И. А. Мельчука</i>	251

Вопросы теории слога. <i>Перевод с французского В. Ф. Конновой</i>	267
Заметки о группах согласных в польском языке. <i>Перевод с польского В. Ф. Конновой</i>	307
К вопросу о методике акцентологических исследований. <i>Перевод с польского В. Ф. Конновой</i>	324
О понятии передвижения согласных. <i>Перевод с французского И. А. Мельчука</i>	334
Заметки о мазурении. <i>Перевод с польского В. Ф. Конновой</i>	345
Морфологическая геминация в кельтских и германских языках. <i>Перевод с английского И. А. Мельчука</i>	360
К вопросу о древнеперсидской клинописи. <i>Перевод с немецкого А. А. Зализняка</i>	383
Связь метрики с разговорным языком. <i>Перевод с польского М. Я. Гловинской</i>	392
Принципы латинской и германской метрики. <i>Перевод с английского И. А. Мельчука</i>	411
Поэтический язык с лингвистической точки зрения. <i>Перевод с польского М. Я. Гловинской</i>	418
Знал ли индоевропейский язык <i>a</i> наряду с <i>o</i> ? <i>Перевод с французского И. А. Мельчука</i>	427
Система русского ударения	436
Список сокращений	445
Библиография	446